

МИСТИФИКАЦИЯ

МИСТИФИКАЦИЯ





МИСТИФИКАЦИЯ

СБОРНИК
ФАНТАСТИКИ

Лениздат • 1990

84.3P7

M65

Составитель
А. И. Шалимов

Мистификация: Сборник фантастики/Сост. А. И. Шалимов.— Л.: Лениздат, 1990.—416 с.

ISBN 5-289-00830-6

В очередной сборник научно-социальной фантастики вошли повести и рассказы ленинградских писателей О. Ларноновой, В. Рыбакова, А. Гая, А. Столярова, С. Снегова, А. Бельтюкова, А. Шалимова, А. Щербакова, Д. Каралиса, А. Шейкина, Л. Куклина и А. Измайлова. В произведениях подняты проблемы развития человеческого общества в будущем, защиты окружающей среды, общения с внеземным разумом, раскрытия неограниченных возможностей человеческого мозга.

М $\frac{4702010201-137}{M171(03)-90}$ 157—90

84.3P7

ISBN 5-289-00830-6

© А. И. Шалимов, составление, 1990
© А. В. Сергеев, оформление,
иллюстрации, 1990

Ольга ЛАРИОНОВА

Перун

Рассказ



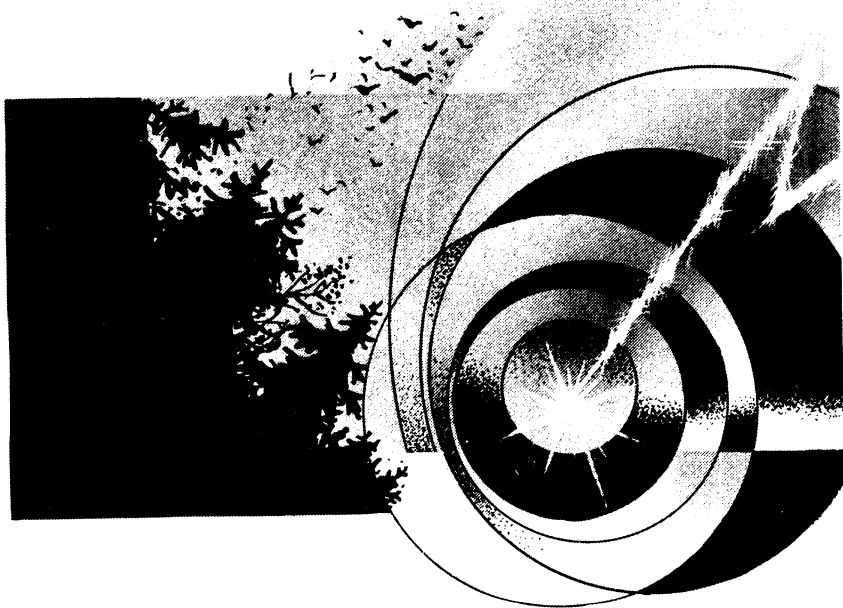
тим летом он был полон и упоен той стремительностью, гибкостью и всемогуществом, которые так легко дались и его телу, и его духу. Вообще-то год назад он был уже почти таким, как сейчас; но — почти. Тогда это ощущение было перманентным открытием, а не нормой. Вернувшись из своего первого полета, он взял себе сорокапятидневный отпуск и, как ему казалось, только и делал, что нырял, играл в ручной мяч и озираал окрестности Эльбруса с вершин соплеменных гор. Но, вернувшись на Валдайку-предполетную, он с ужасом обнаружил, что набрал чуть ли не полпуда никчемной плоти, столь обременительной для его новой профессии. Ему стало стыдно поджарого Гейра, и он вогнал себя в норму методами форсированными и несколько жутковатыми.

Два полета без перерыва — это протянулось ровно на год, и он ничего не имел против, и вовсе не потому, что не хотел отстать от экипажа Инглинга, вложившего столько сил в то, чтобы сделать из него человека, — нет, ему и в самом деле без особого труда давались и тягомотина самого перелета, и разнокалиберные сюрпризы чужих планет, отличавшихся весьма умеренным с точки зрения Земли гостеприимством.

Сейчас все было иначе, чем год назад. Не подумав, он снова выписал себе сорок пять дней, и еще хорошо, что догадался осведомиться у командира, где его искать в случае чего, — да откуда ему, в самом деле, было знать, во что выльется это самое «чего».

Вылилось это в то, что на семнадцатый день он уже был на Пике Елены, и полное отсутствие восторга при виде

осиянных вершин истинно рериховского ландшафта поставило его перед безрадостным фактом, что восхождения ради восхождений отодвинулись для него в прошлое. Он хлебнул настоящей работы, и игры на свежем воздухе перестали его наполнять. У него хватило мужества признаться в этом открытии своим ребятам, и его милосердно спустили вниз на вертолете.

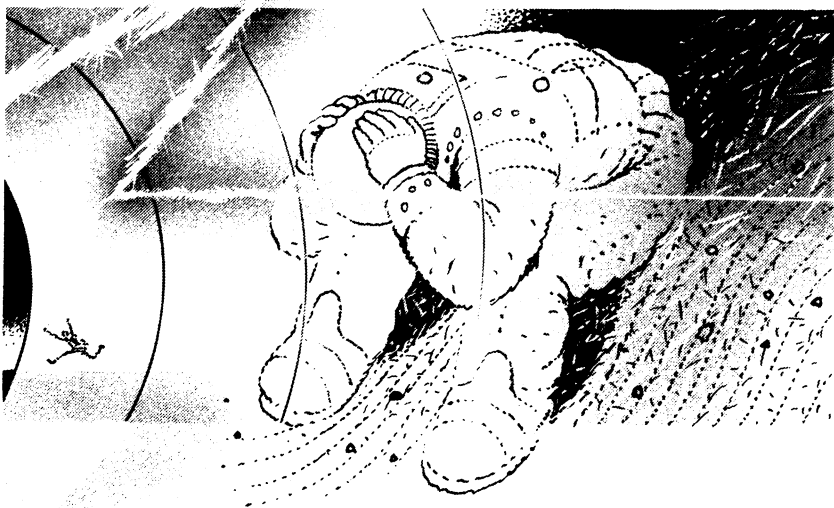


Еще полтора дня ушло у него на то, чтобы найти Гейра Инглинга.

Командир гостил у папы с мамой на станции региональной метеокорректировки и самым буколическим образом пилил дрова наперегонки со списанным однощупальцевым кибом, когда новобранец его экипажа свалился на него весь в соплях от собственного комплекса разочарований.

Гейр не впервые возился с новичком и в отличие от него сознавал, что полтора года — срок недостаточный для полной акклиматизации в космосе и что сейчас насту-

пает одна из самых неприятных, хотя и быстропроходящих, фаз — отчуждение от Земли. Силушки многовато, мускулы, парадоксальные с точки зрения классической анатомии — концентрат мускулов, — играют просто в силу инерции; быстрота реакций воспринимается как отточенность ума, а его-то и не хватает для того, чтобы не обольщаться по поводу всемогущества превосходного биоробо-



та, взлелеянного в себе самом во славу инопланетных одиссей. Настоящим зубром дальних зон становишься только тогда, когда вот так тянет поколоть дрова...

Но такие вещи не объясняют на словах.

Поэтому мудрый Гейр, не навязывая сочувствия, но и не впадая в сентенции, тут же связался с Байконуром и разрешил подключить космолингвиста Анохина к не входящим в его обязанности работам по уборке трюмов. Конечно, правила гостеприимства обязывали его предложить отставному альпинисту отдохнуть на метеостанции, тем более что она располагалась на берегу прелестного

малахитового озера, вобравшего в себя всю разномастную зелень окрестных лесистых холмов. Но для Анохина сейчас самым полезным было по маковку окунуться в работу, и командир посоветовал ему пуститься в путь за светом, потому как его мать, владетельная Унн Инглинг, в части метеокорректировки была несколько дальнзорка, и если во всем регионе поддерживается строго заданный климатический режим, то в окрестностях станции, под самым носом, порой творится ну прямо черт-те что. А так как до ближайшей вертолетной стоянки километров двенадцать безлюдными прибрежными тропами, то еще лучше попросить рейсовую машину завернуть на минутку сюда. Иначе благополучного возвращения на корабль он не гарантирует.

Как и следовало ожидать, Анохин самонадеянно заявил, что доберется до вертолетной пешком и прибудет на «Харфагр» своевременно. Излишне добавлять, что у такого командира, как Гейр Инглинг, корабль и не мог носить другого имени.

Анохин простился с Гейром и владетельной Унн чуть торопливее, чем следовало младшему члену экипажа, и, обогнув стадо противоградовых «кальмаров», запрыгал по узловатым корневищам каких-то реликтовых великанов, вместе с тропинкой спускающихся к самой воде. Там он свернул влево и пошел берегом, временами выбираясь на крупный буроватый песок, над которым стлались звероподобные вечерние комары; затем тропинка круто брала влево, совершенно нелогичным образом забираясь на продолговатую гряду, поросшую можжевельником, словно тому, кто проложил этот путь, казалось невыносимым и противоестественным все время двигаться по прямой.

Он шел уже около получаса, радуясь безлюдности и только искоса поглядывая на густо-зеленую тучу, исполинским жабьим животом наваливающуюся на противоположный холмистый берег. Мокнуть не хотелось. Но тропинка ныряла в хаотический лесной молодняк, совершенно скрывающий противоположный берег, и когда горизонт открывался снова, становилось ясно, что скорость движения тучи не оставляет ни малейшей надежды на благополучное завершение этого маленького путешествия.

Туча была грозовой, поэтому стоило подумать о чем-то более безопасном, нежели развесистое дерево.

Он ускорил шаг и совершенно неожиданно услышал впереди себя голоса. Он удивился так, словно где-нибудь на Атхарваведе увидел человека без скафандра. Затем рассердился на себя за это изумление, а заодно и на своих

непрощенных попутчиков,— невидимые за поворотами петляющей тропочки, они явно шли в том же направлении, что и он. Анохин досадливо замедлил шаг, оглянулся на тучу — и невольно припустил чуть ли не бегом. Ладно, ничего страшного не произойдет, если он их попросту обгонит. Невежливо. Ну и пусть. Они — заблудшие туристы, после недельного сидения в своих лабораториях и информаториях снедаемые мазохистским намерением обязательно преодолеть двадцатикилометровую дистанцию с кострово-котелково-комариным финалом. Святые люди. Он даже поздороваётся с ними. И даже приветливо.

Дорожка выпрямилась и в сотый раз пошла вниз, впереди замаячил последний рюкзак, и цепочка людей, предшествующая ему, насчитывала еще не менее двух десятков рюкзаконосцев. Анохин сделал рывок и начал обходить их одного за другим, временами кивая и бормоча нечто нечленораздельное, должное означать приветствие; но тут тропинка вылилась на прибрежный песок, цепочка людей потеряла свою четкую последовательность, и Анохин невольно оказался в самой гуще туристов, впрочем не очень от них отлучаясь. Он уверенно двинулся вперед, лавируя между людьми как-то даже не глядя, но сзади крикнули: «Кира!» — и он автоматически обернулся, прежде чем понял, что зовут, конечно, не его. Сказалась скорость реакции, совершенно излишняя тут, на Земле.

Кто-то слева от него обернулся с той же стремительностью, разве что чуть более плавно, и он поднял глаза просто потому, что его поразила точная зеркальность этого движения.

Разумеется, если бы он с самого начала взял на себя труд оглядеть своих попутчиков, он несомненно отличил бы эту тоненькую фигурку от всех остальных — уже хотя бы потому, что она была в каком-то облачно-сером платье и без ноши. Что-то еще бросилось ему в глаза, что стоило рассмотреть повнимательнее, но он, опять же в силу быстроты отточенной в полетах реакции, проследил за направлением, откуда прозвучал зов и куда естественно потянулась она, а когда взгляд его вернулся на прежнее место, рядом никого уже не было. На то, чтобы произвести это движение — уже не телом, а всего направлением взгляда, — ему потребовалось две сотые секунды, не более; и все-таки облачно-серое платье плавно двигалось впереди метрах в пяти-шести, ускользая от его внимания. Ассоциации возникали столь же мгновенно, сколь и непрощено, и Анохин уловил странное сходство с прыгающими бликами на Ингле, в предпоследнем полете. Световые

«зайчики», отброшенные нефиксируемым источником, да еще и при постоянно спрятанном за тучами солнце, преследовали группу десанта на протяжении всей экспедиции — холодные, ускользающие, любопытные. Их пришлось оставить вместе с серебряным песком и прочими немногими радостями этой металлической планеты, совершенно непригодной к заселению в силу отсутствия кислорода. Серебра, конечно, было навалом, но не тащить же его из девятой зоны дальности... Планета была занесена в каталоги как бесперспективная, и вместе с пепельно-сыпучими воспоминаниями отложились досада на то, что поторопились связаться с Базой и в полном очаровании этим платиновым мерцанием занесли бесполезную тарелку в официальный список под именем Земли Гейра Инглинга, одарив ее звучным именем древних викингов и современных звездных капитанов. Да, поторопились.

Одним из неперменных качеств, которое Гейр старательно воспитывал в Анохине, было неукоснительное доведение до логического конца любого начинания, и именно в силу этой звездной, а отнюдь не земной привычки он догнал обладательницу пепельного нетуристского одеяния. Раз уж что-то показалось необычным и задержало его весьма привередливое внимание, то это надо было зафиксировать почетче.

Она (а если верить обращению, то — Кира) вдруг выбросила вправо руку одновременно плавным и стремительным движением, как это делают любители старинных велосипедов; узкая, белая до серебристости ладошка мелькнула перед самыми глазами Анохина, точно уклейка, и, повинувшись этому жесту, брючно-рюкзачная стайка свернула от воды в лощинку между холмами, где в смутной лиловатости непонятно откуда взявшегося тумана замаячили торчки плетеной ограды. За торчками угадывался домик, затененный зеленью, и Анохин сразу понял, что она, в отличие от всех остальных, не пришлая, а, скорее всего, хозяйка этого домика, и вдруг совершенно неожиданно его захлестнула досада от того, что сейчас этот одинокий маленький дом, похожий на заброшенный в сад скворечник, будет переполнен рюкзаками и тапочками, запахом вывернутых курток и топотом ног в одних носках...

На эту досаду ушло не более полутора секунд, и взгляд, отброшенный уклеечным движением ладони к обреченному скворечнику, вернулся на прежнее место, где только что стояла она.

Ее, естественно, не было. Ускользнула куда-то за спину и теперь подгоняла увязающих в песке аутсайдеров не-

терпеливыми и зябкими движениями плеч и маленького подбородка. Он опять не разглядел того, что хотел, но возвращаться назад, к ней, было по меньшей мере глупо и неестественно, и Анохин решил подождать, когда она пройдет мимо него; но тут первая капля величиной с конский каштан шмякнулась на песок, туристы дружно загалопировали, трюхая снаряжением, и он вдруг поймал себя на том, что уже расстегивает на себе куртку, потому что тому, кто добежит последним, от недосмотра дальнорзоркой Унн достанется более всего; он вытянул шею, высматривая поверх голов пепельные, как и платье, волосы, и с традиционным недоумением снова ничего не обнаружил. Не было ее на берегу.

Он с трудом углядел ее возле садовой ограды, сквозь плетенку которой цепко лезла на волю одичалая неухоженная жимолость. Туман сползал по лощинке, разделявшей холмы, и вдруг с тою же радостью, уже начавшей его тревожить, с которой отыскивал он серое платье, Анохин понял, что непрощенные посетители зеленого озера вовсе и не думают оккупировать чужой дом, а, минуя его, ныряют в туман и топчут, как невидимые гномы, к какому-то приюту, ожидающему их где-то среди холмов; приглядевшись, он даже различил смутный огонь, трепетавший в глубине сгущающихся сумерек. Последний топотун исчез, едва окунувшись в туман, и, опережая собственный взгляд, Анохин понял, что возле ограды ее уже не будет.

И ее не было.

Он сделал несколько шагов и взялся за шершавые ивовые прутья заборчика. Из сада тянуло зеленолиственной влагой и пронзительным одиночеством. Он ждал, что в доме зажжется свет, и тогда она глянет в окно, отделенное от него какими-то десятью шагами, и заметит его блестящую форменную куртку, и вернется. Проще простого было бы крикнуть в темноту: «Кира!» — но он знал, что этого он не сделает. Слишком уж примитивно. Перенести его на порог ее дома должно было какое-то волшебство, родственное тому, которое позволяло ей беспрепятственно исчезать в одном месте и являться в другом — вот именно, являться, а не появляться. Он стоял не шевелясь, чтобы не спугнуть это надвигающееся на него навязание, и уже знал, что простоят тут всю ночь, ожидая своей минуты, и редкие тяжеловесные капли всё крепче и крепче прибавляли его к забору с методичностью, возведенной в степень фатальности. И она стояла перед ним на расстоянии протянутой руки, явившись неизвестно в какой миг, и смотрела на него непомерно расширившимися

глазами, как смотрят на добровольного мученика-идиота, с той долей иронии и сострадания, которая была завещана Франсом и утверждена Хемингуэем.

Он увидел эти глаза и понял, что же еще в ней он старался углядеть.

— Все ушли,— проговорила она, хотя и так было ясно, что они тут в полном одиночестве, то есть вдвоем.

— А как же я?..— проговорил его губами кто-то очень маленький и вконец растерявшийся.

— Ну так догоняйте!— сказала она легко и снисходительно.

Он молчал, ожидая, что она сама догадается хотя бы по его куртке со звездами и молниями — которых, между прочим, в космосе никогда не бывает,— что гномы-топтуны никакого отношения к нему не имеют; но молчание затягивалось, и он вдруг осознал, на пороге какого дома он остановился. Это был дом, где даже не знают, как выглядит форма звездолетчика.

Все, что делало его суперменом в собственных глазах — ну и еще кое для кого из окружающих — все последние полтора года, не имело здесь решительно никакого значения. Он до того растерялся, что толкнул калитку и влез в мокрый сад, как буйвол — на грядку со спаржей. Она повернулась и поплыла к дому, по пояс в тумане, и совершенно непонятно было — то ли это форма возмущения его бесцеремонностью, то ли приглашение следовать за нею. Как настоящий мужчина, он выбрал то, чего сам добивался.

— Вас ведь зовут Кирилл?— не оборачиваясь, спросила она, подымаясь по ступеням крыльца.

Значит, она как-то чувствовала, что он следует за ней, хотя двигался он совершенно бесшумно, как учил его Гейр. И отвечать ей не нужно было — она спрашивала не для того, чтобы услышать вежливое «Да, вы очень любезны, что сообразовали запомнить мое имя». Или еще что-нибудь столь же изысканное, почерпнутое из юношеского благоговения перед стендалевским Фабрицио. Он молча поклонился ее узенькой серебряной спине.

Она поднялась на последнюю ступеньку и растворила дверь, пропуская его перед собой. Он вошел в единственную комнату, из которой и состоял этот дом, и внезапно понял, что здесь ему делать нечего.

Всю переднюю стену занимало окно — вернее, ивовый изящный переплет, на который была натянута стекляннстая пленка. За нею глухо зеленело озеро, слева и справа очерченное буроватыми лунками пляжа. Правую сте-

ну занимало нагромождение полок и экранов, ваз и шкафчиков, кофеварок и консольных компьютеров, в которое скромно вписывался едва ли не детский письменный стол. Два узких стула с очень высокими спинками подчеркивали хрупкость и неприкасаемость всей обстановки, и с этим еще можно было бы смириться.

Но у левой стены снежно белела узенькая постель с кисейным пологом, от которой девственно веяло температурой абсолютного нуля.

В эту комнату она спокойно могла привести озверелого легионера, пьяного каторжника или хорошо выдержанного монаха.

Или потерявшего маму олененка.

— Что вас тревожит?— спросила она, переступая следом за ним порог своей обители.— Сейчас мы свяжемся с вертолетной, и машина будет сразу же, как только утихнет гроза.

— Знаете, я пойду,— поматывая головой, проговорил Кирилл.— В этой комнате совершенно невозможно развалиться, взгромоздиться, швырнуть куртку на пол, сбросить тапочки... Словом, чувствовать себя человеком.

— Действительно,— грустно согласилась она,— не располагает... Но у меня есть кофе и ром, это поможет мне сгладить недостаток гостеприимства.

— Я бы не подумал, что вы грешите недостатком коммуникабельности,— волокни по берегу целую ораву...

— А, эти!.. Что же делать, они относились к той категории людей, которые никогда не знают, где находится то место, откуда надо поворачивать.

— А я?— жадно спросил он.

— Вы, вероятно, интуитивно находите места, куда вам сворачивать не стоит. И делаете обратное.

— Верно. А вы?

— Я... Вы управитесь с кофемолкой?

— Я управлюсь с любым механизмом, от турбогенератора до гильотины. Например, я априорно знаю, что этот стул меня не выдержит. Проверять или не стоит?

— Не стоит, пожалуй. Вот шкатулка с кофе, а я пока вызову вертолетную.

— Я бы в такую грозу вам этого не рекомендовал... Кира! Это действительно опасно.

Она медленно протянула руку и выключила передатчик.

— Вы физик?— спросила она.

Кирилл подумал, что такие обороты свойственны только дремучим гуманитариям.

— Я переводчик,— сказал он, избегая высокой титулатуры.

— С древних языков?

— С инопланетных.

— А.

Он чуть было не рассердился, но вовремя спохватился и заставил себя сказать то, что он думает,— был у него такой аварийный прием, которым он обезоруживал противника: предельно просто и лаконично обрисовать сложившуюся ситуацию.

— Слышали бы вы со стороны, как прозвучало это ваше коротенькое «А!». Глубокий финальный аккорд, после которого слушателям остается только пройти в гардероб. А ведь я так обрадовался, что мне представилась возможность задать вам вопрос о вашей профессии, и у вас просто не было бы варианта, позволяющего уклониться от прямого ответа.

— Вы немножечко неточны: я сказала «А». Без восклицательного знака. И кофейные чашки вон там, на второй полке.

Он стиснул руки и мысленно поздравил себя с тем, что сумел сдержаться и не грохнуть кулаком по письменному столу. Почему из всех женщин, которые встречались ему за последние два года и на Земле, и вне ее, именно эта была самой неуловимой, самой ускользающей? Все было, как на Ингле, когда набираешь полные горсти серебряного звенящего песка, и, как бы крепко ни стискивал руки, все равно неуловимые струйки текут между пальцев, и ладони уже пусты, и только печальное, беззвучно тающее облачко маятся на том месте, где ты только что владел целым сокровищем...

— Это было моей последней надеждой,— упавшим голосом доложил он.— Нужно было говорить теми же словами, что и думаешь. Вы замечали, что человек думает одними словами, а говорит — другими? Да? Так вот, если так раскрыться, вывернуться наизнанку той розовой шерсткой, которая внутри у нормальной человеческой души, то тебе обязательно отвечают тем же...

— Зачем, Кирилл?

Эти два слова прозвучали в холодной сумеречной комнате словно два тихих удара маленького серебряного колокола. Снаружи грохотали почти непрерывные, громовые разряды, но они ровным счетом ничего не значили, да, скорее всего, они оба их попросту и не слышали, словно звуками на самом деле было только то, что произносилось в этой комнате, а все остальное относилось к иной

категории явлений и было яркой, но беззвучной декорацией.

— Действительно, зачем? — отозвался он устало и почти безразлично — эти два серебряных удара вышибли из него весь былой энтузиазм. — Я, конечно, осел. Даже если вы подробно растолкуете мне, кто вы, откуда и на какой ниве приносите пользу всему человечеству, я все равно не узнаю главного...

Она приподняла свои не очень темные, словно чуть припудренные, брови, как бы сомневаясь в том, а совпадет ли то главное, что подразумевает он, с тем главным, которое есть на самом деле.

— А главное — это то, почему сегодня, двадцать седьмого августа, в душный и почти субтропический вечер, вы замерзаете в этой ледяной комнате. Я сейчас уйду, и вы замерзнете совсем. А уходить надо, потому что мне здесь делать нечего. У меня уже есть небольшой опыт, мы уходили с целых планет, когда понимали, что, в общем-то, не нужны друг другу. А это были сказочные планеты, вы уж поверьте мне на слово. По одной у меня останется тоска на всю жизнь, да что поделаешь...

Он поискал глазами, куда бы поставить совершенно ненужные чашечки кофе, и увидел, что она сидит на узеньком своем стуле, от подбородка и до кончиков туфель туго завернувшись в какую-то бесцветную шаль, с безупречно прямым углом согнутых коленок, как у статуэток древних египетских богинь. Он поставил чашечки ей на колени и сел прямо на пол, жадно и безнаказанно глядя ей прямо в лицо.

— Сейчас я уйду, — пообещал он, — потерпите еще немного, я отсчитаю семь зеленых молний и уйду. Честное звездное.

Он обернулся к застекленной стене, и в тот же миг небо над озером раскололось глубокой трещиной, и по обеим сторонам этого провала очертились набухшие темно-зеленые пласты, как будто разомкнулись чудовищные губы нависшего над озером злобного, гневливого дива. Целая обойма ломаных, ступенчатых молний разом саданула в разглаженную дождем поверхность воды, и, ни доли секунды не медля, неистовый грохот вмял в комнату дрожащую от напряжения, пузырящуюся в частых переплетах окна сверхпрочную пленку.

Кирилл вскочил раньше, чем зеленое зарево осветило всю комнату — молний было ровно семь, и чем бы это ни было — дьявольщиной, совпадением или вмешательством каких-то inferнальных сил, подвластных этой пепельно-

ледяной женщине,— его человеческий своевольный дух вздернул тело на дыбы раньше, чем разум смог отдать какой-то обдуманный приказ.

Он схватил ее за плечи и поднял, так что несчастные чашечки покатались в разные стороны, прочерчивая на подоле стремительные траурные траектории, и вместо злости ощутил вдруг неистовую радость освобождения от собственной мечты и беспомощности, словно дурацкое вмешательство зеленогубого громовержца одним махом отменило все правила, условности и запреты.

Он кричал ей что-то прямо в лицо, и понимал, что за несмолкаемой канонадой ничегошеньки не слышно, и смеялся от неожиданно обретенной свободы. Черта с два он теперь уйдет отсюда! Хватит с него прощаний...

Гром поутих.

— Думаешь, я теперь уйду?— крикнул он, успевая вклиниться в образовавшуюся паузу, и голос его прозвучал непомерно звонко и нетерпеливо.— Фу, прости за львиный рык, в этом грохоте и не сообразишься... Никуда я не уйду. Ты только погляди на него, ишь разевает пасть... Кашалотище. И оставить тебя одну — с ним? Не выйдет! Набегался я с других планет. Нажалелся. Натосковал. Теперь я на своей Земле.

За окном, уже успевшим зарости новой пленкой, оглушительно и протестующе громыхнуло.

— Обратила внимание: когда у него молнии свисали с верхней губы, он был похож на зеленого моржа? Ну ничего, дождя почти не было, такие жуткие грозы бывают только всухую, так что я сейчас наберу чего бог пошлет и разведу тебе настоящий живой огонь, с треском и гарью, рыжий...

— Уходи,— с неожиданной силой освобождаясь от его рук, проговорила она.— У-хо-ди.

От неожиданности он даже попятился, пытаясь найти нужные слова и не находя их, а она наступала на него, запрокинув голову и закрыв глаза, и повторяла с яростной настойчивостью:

— Уходи. Уходи. Уходи.

Он наткнулся спиной на дверной косяк, нащупал запор и распахнул дверь. Ветер, несущий ветки, листву и сырой песок, едва не сбил его с ног.

— Уходи!— крикнула она, стараясь перекрыть вой бури, но все-таки не открывая глаз, и тогда на него снова нахлынула радость, оттого что она боялась его видеть, оттого что, кроткая, милосердная и безразличная, она

гнала его в грозу, и он замер, боясь сделать что-нибудь не так и спугнуть снизошедшее на нее наваждение.

Не слыша больше его шагов, она испуганно насторожилась, лицо ее напряглось, и она боязливо приподняла ресницы.

Он стоял близко-близко.

— Уходи же!— крикнула она с отчаянием.

Кирилл оглянулся на темные пришибленные кусты, на мелкие ядовитые молнии, сыплющиеся с неба, точно иголки, на подсвеченную этими сполохами мутную стену наконец-то собравшегося ливня.

— Так ведь страшно,— пробормотал он почти виновато.

И вдруг, холодея, вспомнил, что сам, как идиот, напросился на немедленное возвращение на корабль.

Молния впиалась в дерево где-нибудь метрах в тридцати.

— Вот так и убьет,— обреченно пообещал он, пересчитывая в уме дни, оставшиеся до отлета, и уже твердо зная, что явится на «Харфагр» никак не раньше чем за три минуты до старта...

Как и бывает с письмами, которые раз в месяц идут навстречу друг другу, они были наполнены довольно бессвязными воспоминаниями и не содержали даже намека на ответы всем тем сомнениям и вопросам, коим не посчастливилось родиться в мучительно долгий промежуток между краткими и ненадежными сеансами связи. Получая пакет с информационной точкой, Кирилл мчался в свою каюту, минуя нелюбопытный взгляд ничего не знавшего Гейра. У себя он запирался и запускал точку в дешифратор, и каюта наполнялась озерными бликами ясного, чуточку печального голоса, исказить который не могла даже непредставимая фантазмагория многоступенчатой галактической связи.

Он бросался тут же надиктовывать ответ, прекрасно понимая, что за предстоящий месяц появится еще тысяча поводов для десятков тысяч слов, но он ничего не мог с собой поделать, потому что, пока он говорил с нею, она была с ним. И он описывал бесконечные перипетии довольно тяжелого рейса и свою работу, наконец-то настоящую, когда от его интуиции и опыта зависела судьба контакта с предполагаемой и почти иллюзорной цивилизацией. Экспедиция затягивалась на год, потому что приходилось ждать прибытия комплексников, которые всегда

тянули со сборами, и в отчаянии от этой задержки, которая в предыдущем рейсе показалась бы ему просто подарком судьбы, он в который раз уже вспоминал поминутно каждый из двадцати четырех дней, отсчитанных от грозового двадцать седьмого августа до самого отлета «Харфагра», и устраивал ей шуточные сцены ревности к затаившемуся за прибрежной горой Перуну, так старавшемуся с треском выставить его из ее домика; и запугивал ее старинными легендами о феерических супермолниях, которые хорошо видны с космических орбит Приземелья, но почему-то неизвестных на самой Земле,— потоках огненной энергии, из которых, вероятно, и рождались языческие легенды о пылающих копьях мстительных громовержцев...

И, как это всегда бывает с чересчур затянувшейся перепиской, на исходе полугода одной из сторон стало просто невыносимо тесно в точечном объеме одного послания, а другой — уже ощутимо просторно.

Он сходил с ума, улавливая эту сдержанность и недоговоренность, он предполагал все, что угодно,— естественно, кроме того, что было на самом деле; не в силах помешать этому, он чувствовал, что она снова ускользает от него, и именно потому, что это ускользание было неотъемлемой ее чертой, он любил ее еще неистовее. Она ни в чем не упрекала его, но ничего и не обещала; она не отнимала у него ни грана прошлого, но для нее словно перестало существовать будущее. И с каждым разом он все больше и больше боялся, что следующего письма уже не будет.

В начале июня пакета для него не пришло.

В начале июля, не дождавшись нового сеанса связи, они направились в обратный путь, оставляя поле действия только что прибывшим кораблям комплексной разведки. Планета, пригодная для освоения,— это всегда было поводом для заслуженного восторга, граничащего с телячьим; Анохин, как мог, уклонялся от общего ликования. Он ждал приземления, он видел ее в толпе пропыленных встречающих, изнывающих под байконурским солнцем,— облачно-прохладную, истосковавшуюся от безответного говорения в пустоту диктофона...

На космодроме ее не было.

— Гейр,— крикнул он, врываясь к командиру,— ты можешь поверить, что мне сейчас нужна самая скоростная машина... и, если можешь, пропуск-аллур?

Гейр посмотрел на него и понял, что это ему действительно нужно. Ни о чем не спрашивая, он выписал ему разрешение на самую быстроходную из машин глайдер-

ного парка и проставил шифр, позволяющий Кириллу получать преимущество в любых коридорах и на всех горизонтах воздушного пространства.

К вечеру он уже был над озером. Он посадил машину на песок, осторожно выбрался из кабины и ужаснулся тягостному покою, нависшему над зеленой водой, расчерченной узкими отсветами вечерних костров, уже зажегшихся под звероподобным холмом на другом берегу.

Пока он шел к домику, он не спугнул ни одного зверя, ни одной птицы.

Когда он возвращался назад, к машине, золотоглазый нерасторопный уж пересек ему путь и, скользнув под стабилизатором, бесшумно ушел в воду. Кирилл поднял машину и, не утруждая автопилота, отыскал внизу розовеющие под закатным солнцем корпуса метеокорректировочной станции.

Большеносая Унн Инглинг, похожая на полярную сову, приветливо приняла его, нисколько не обеспокоясь тем, что он прибыл несколько раньше ее собственного сына. Гейр летал давно, бывало всякое. А с космодрома он уже звонил. Так что же беспокоит юношу? Ах, ничего не беспокоит... Да, отдых здесь прекрасный, разумеется, для тех, кто считает уединение благом. А домик? Домик пуст, как это ни печально...

Она тоже недоговаривала, тоже ускользала, очевидно полагая, что все происшедшее на их берегу не касается посторонних.

— Там жила... женщина, — проговорил Кирилл, с трудом разжимая губы.

Маленькая полярная сова нахохлилась, раздраженная его настойчивостью.

— Это совершенно непонятно и очень, очень печально. Она умерла всего... месяца два назад. Мы были почти незнакомы.

— Молния? — вскрикнул он, потому что ничто другое просто не было властно над этим берегом.

— Нет, конечно, нет, — протянула владетельная Унн с некоторым высокомерием. — Разве я бы допустила... Она упала в воду. У самого поворота к вертолетной есть небольшой обрыв, всего-то метра два, и тропинка не узкая... Женщины в эту пору иногда забывают, что прежняя ловкость может им изменить. Гроза? Ну, что вы, Кирилл! Девятнадцатого мая был исключительно тихий вечер. Как сегодня. Я оградила этот берег от гроз сразу же, как только узнала, что она... Кирилл?!

Он очнулся в маленькой палате, которую заливало солнце. У окна сидел кто-то свой, и блестящая звездная куртка натягивалась на согнутой спине при каждом вдохе.

— Гейр,— сказал Кирилл.

Командир обернулся. Он был очень похож на мать, только ровно вдвое выше.

— Что там?— спросил Кирилл.

Гейр повел носом в сторону подоконника, недоумевая, в какой степени интересуется Анохина открывающийся из окна пейзаж.

— Там море,— коротко сказал он.

Кирилл прикрыл глаза. Мутная темно-зеленая тошнота захлестнула его с головой, как и в тот раз, когда он вдруг осознал весь ужас немгновенности ее смерти.

Несколько минут было тихо, потом послышались шаги — настороженно подходил командир. Кирилл мысленно проверил, может ли он говорить, и только тогда открыл глаза.

— Послушай, Гейр,— проговорил он медленно,— вытащи меня отсюда. Я здоров.

Гейр втянул голову в плечи и по-птичьи встрепенулся. Вероятно, это должно было означать отказ.

— Вытащи меня,— настойчиво повторил Кирилл.— И засунь на какую-нибудь станцию. Все равно где. Только бы там не было ничего, кроме стен и машин. И чтоб выйти было некуда. Никаких встроенных пейзажей. Голые стены и звезды за окном.

Командир пытливо всматривался ему в лицо — он еще ничего не понимал.

— Да вытащи ты меня!— чуть не плача, крикнул Анохин.— Не может быть, чтобы ни на одном буйке не было свободного места! Я могу работать кем угодно, ведь любой космолингвист — обязательно и связист по совместительству. Пойди поговори с центральным диспетчером... Ты сам-то скоро уходишь обратно?

— Через неделю. На Шеридан.

— Нет. Это не для меня,— через силу проговорил Кирилл, припоминая пасмурные озера Земли Мейбл Шеридан и снова заходясь от удушья.— Выкинь меня по пути на любом маяке. Только бы отсюда. От этого моря.

Командир наклонился к нему — глаза Кирилла, голубые хулиганские глаза, освещавшие целый корабль или четверть планеты, были подернуты зеленой мутью.

— Что с тобой?— спросил Инглинг, потому что ему необходимо было это знать.

За окном шуршало, наваливая гальку к подножию больницы, теплое лиловое море. Лицо Кирилла снова светло судорогой.

— Не могу видеть воду, — с каким-то недоумением проговорил он. — Море ли, река... Пить могу, не бойся. Только из глиняной кружки. Ну, иди же, звони. Или я действительно тронусь.

Осторожно ступая, командир вышел. Он пропадал около получаса, и, когда вернулся, вид у него был какой-то неболезничный — как у потрепанного боевого петуха.

— Представь себе, ради тебя пришлось выставить на пенсию одного зануду. Зато место — синекура! Странноприимный дом. И всего один светляк от Базы. Подходит?

Кирилл кивнул. Странноприимный дом — так были прозваны спасательно-аварийные буйки в дальнем Приземье. Раскиданные на расстоянии светового года от Солнца, что по теперешним меркам считалось уже окрестностями Земли, они были готовы оказать помощь сбившимся с курса кораблям, которые в силу неисправности или еще по каким-нибудь причинам выныривали из подпространства слишком далеко для того, чтобы идти дальше на планетарных, и слишком близко от Земли, чтобы манипулировать неисправными гиперпространственными двигателями.

— Вызывай машину, я сейчас подымусь, — сказал Кирилл, шурясь от слишком яркого света.

— А вот это не пройдет! Я с трудом уговорил здешних церберов забрать тебя через неделю под личную ответственность, да и при условии...

— Ну и черт с ними, — неожиданно сдался Анохин. — Неделю я продержусь, это я тебе обещаю. Но ни дня больше... И сделай милость, задерни шторы. Раз осталась неделя, тебе пора...

Он методично обходил станцию, свыкаясь с каждым ее уголком. Кольцевой док, куда загоняли покалеченные корабли, — дырка от космического бублика. Сам бублик — машинные отсеки, реакторный зал, оранжереи и жилые корпуса были смонтированы из двухслойного астролита, без которого немислимо было бы современное строительство в Пространстве. Станции возводились там и тогда, где и когда удавалось подстеречь и, главное, притормозить приличных размеров астероид. Затем к нему на паре сухогрузов перебрасывался небольшой плавильный цех,

который превращал бесцельно блуждающую по Вселенной глыбу камня в тонкие полупрозрачные панели, из которых специально выдрессированные для этого кибы возводили висячие сады Семирамиды вкупе с дворцами Аладдина,— разумеется, с поправкой на каноны космической архитектуры. На такой-то рукотворный островок, подвешенный в черноте Пространства, точно елочная игрушка, он и попал по собственной воле и неукротимому желанию.

На станции было все необходимое и ничего лишнего; то же самое можно было сказать и о немногочисленном персонале, принявшем Анохина, как он это понял, с гипертрофированным радушием вовсе не благодаря его личным качествам или блистательному послужному списку, а в силу неумемного восторга по поводу расставания с каким-то неведомым Кириллу занудой, который отбыл на базу днем раньше.

Поэтому с Анохиным все было донельзя приветливо, но никто к нему не приставал. А иного ему было и не нужно.

Он заглянул в обе обсерватории, рубку связи, скромные оранжереи, где тоже было только все необходимое — помидоры, клубника, фейхоа — и никакой экзотики. Он миновал только бассейн. Со временем, по-видимому, он и к этому привыкнет, но время это еще не наступило. Мысль о времени заставила его взглянуть на часы — до начала вечерней вахты оставалось пятнадцать минут.

Он направился в центральную рубку. С нехитрыми своими обязанностями он познакомился еще на пути сюда, на борту «Харфагра», и поэтому первый свой рабочий день он начинал без энтузиазма, свойственного новичкам в космосе. Инструкций ему почти никаких не дали — в самом деле, какие тут могут быть инструкции: сиди себе и жди сигнала от приборов, они за тебя все заметят и ничего не пропустят — каждый надежно дублирован; в случае чего решение примет большой станционный вычислитель, тебе придется только проконтролировать это решение. Но такое встречается нечасто, поэтому сиди себе, гляди в черный иллюминатор или играй с малым вычислителем в тихие настольные игры...

Ему пожелали спокойной вахты, и он остался один. Раскрыл вахтенный журнал, автоматически проставил: «11-я вахта, 25 августа 2261 года. Дежурство принял Кирилл Анохин».

И только увидев эту дату написанной на бумаге, он внезапно понял, что она означает. Прошел год. Ровно год с того дня, когда он, в полном смятении от бессмыслен-

ности своих развлечений, кубарем катился с Гималаев, чтобы вернуться к «настоящей» жизни. Он связался с Инглингом...

Нет. Инглинга он еще не нашел. Сейчас он сидит в нижнем лагере, держа в руках дымящуюся кружку, в которой ром пополам с чаем, и сморщенные ягоды горного можжевельника, и два юнца из спасательной команды презрительно повернулись к нему спиной. Инглингу он позвонит позже, часа через два, когда в верхнем лагере зажжется нежное и тоскливое пятнышко костра...

Он стряхнул с себя наваждение прошлого и обернулся к дисплейному пульту. Оливковые экраны высвечивали ненужную информацию, все механизмы станции жили своей размеренной машинной жизнью, где любое вмешательство человека — даже элементарное любопытство — было просто нелепо. Да, это счастье, что он догадался захватить с собой незаконченные расшифровки из последней экспедиции.

Он включил ММ — малый мозг — и, задав ему определенную долю кретинизма, сыграл с ним несколько партий в столеточные шахматы. Было интересно, но утомляло. Он запустил на боковом экране короткометражку «Из жизни комет» — видовой фильм без намеков на сенсационность — и мельком взглянул на циферблат.

Прошло два часа.

Сейчас он разговаривал с Гейром Инглингом.

Он грохнул кулаком по панели пульта и забегал по рубке — благо размеры позволяли. Он просто физически чувствовал, как затягивает его прошлое, — словно сзади, к затылку, приставили раструб вытяжной воронки, и холод воздуха, скользящего по вискам и утекающего назад, шевелил его волосы. Он противился этому притяжению назад, как инстинктивно сопротивляется человеческий мозг внезапному приходу безумия. Так ведь нет же, нет! С завтрашнего дня — восемь часов в спортивном зале, и даже за обедом — мытарство с дешифровкой, и в форсированном режиме — шериданский язык, здесь, кажется, механик по гипертрансляторам чешет на всей группе альфа-эриданских как бог. И пора учиться ручному монтажу, не на каждой же планете за спиной будет торчать услужливый киб...

«Прилетай!» — сказал Инглинг.

Кирилл почувствовал, что спина его покрывается холодным потом. Теперь это уже не был только страх потери равновесия во времени и падения в пустоту, которая за спиной; сейчас к этому миленькому, но уже не новому

ощущению примешалось еще одно: раздвоение воли. Потому что внутри уже проснулся другой Кирилл — так и не пришедший в себя от горя и теперь готовый отдать все свое настоящее за поминутное воспроизведение тех двадцати четырех дней, которые остались в прошлом.

«Надо что-то делать, надо что-то делать...» — с тоскливым отчаянием повторял он себе, и выплескивал остатки чая с ромом в костер, и брел к западному склону — ловить ультрамариновый рериховский закат, подальше от высокомерных и ничегошеньки не понимающих юнцов. И еще через час возвращался в лагерь, окончательно замерзнув, чтобы сразу же влезть в мешок и тихонечко включить незабвенную Сорок девятую Гайдна...

Кирилл рванулся к пульту, с непривычки долго искал каталог станционной фонотеки и, не мудрствуя лукаво, врубил на естественную громкость какую-то из шестнадцати симфоний Шнитке. Оказалось — вторую. Но это было уже неважно, потому что любой Шнитке заполнял его целиком, изгоняя и естество настоящего, и иллюзорность прошлого. Было только могущество музыки и непомерная гордыня человеческого духа — неотъемлемая черта всего второго тысячелетия... Кто-то приоткрыл дверь в рубку, вероятно встревоженный громовым «Санктус».

— Да? — спросил Кирилл, выключая фонограмму.

— Нет-нет, ничего, — ответили ему из-за двери, и тотчас же в рубку проник отголосок беззаботных, как ласточки, гайдновских скрипок...

Он запустил пальцы в распатланную шевелюру и зарычал. Тогда дверь все-таки распахнулась настежь, и в рубку вкатился коротконогий смешливый механик-полиглот с неожиданными печальными и внимательными глазами древнего врачавателя.

— Вам что, нехорошо? — скорее констатировал, чем спросил он.

— Да нет же! — Кирилл с отчаянием замотал головой — он все силы положил на то, чтобы здесь никто и ни о чем не догадался. — Просто воспоминания одолевают...

Механик закивал, словно именно это он и ожидал услышать.

— Придется привыкать, голубчик, придется привыкать. Мы тоже первое время маялись. Каждый. Ну, за исключением особо толстокожих. Надо как-то приспособливаться, экранироваться, а тут вряд ли дашь совет, это — индивидуальное...

— От чего экранироваться?— ошеломленно спросил Анохин.

— Ну, от того самого, что вас одолевает, как вы изволили выразиться. До Земли-то ведь ровно световой год,— он, мелко перебирая ногами в меховых сапожках, подбежал к иллюминатору, ткнул коротеньким пальцем в бестелесную черноту,— так что стоит прищуриться — и вы увидите себя самого, в объеме и цвете, и точнехонько на год моложе. Ну и весь антураж, разумеется.

Кирилл, окаменев, глядел мимо его руки и мимо стен станции, глядел на крошечную янтарную бусинку, которая на самом-то деле была Солнцем, но на таком расстоянии каждому казалась Землей. И вот на этой видимой ему Земле все было, как год назад.

Маленький механик деликатно вздохнул, снова превращаясь в халдейского мудреца.

— Год — очень точно фиксируемый отрезок,— продолжал он задумчиво, время от времени приподнимая брови и наклоняя голову набок,— вероятно, такое движение позволяло ему экономить на произнесенных «понимаете ли», которые были эквивалентны,—поэтому здесь, на нашей станции, на нас накладывается не просто наше прошлое, долетающее с Земли, а **ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ** прошлое. Пси-излучение, пролетающее через глубины космоса, попадает в совершеннейший усилитель — наш собственный мозг. А он еще и настроен в резонанс — воспоминания-то идут день в день. Вот и начинается твориться с человеком всякая чертовщина, а он еще убеждает себя не верить собственным ощущениям. А его трясет все сильнее и сильнее, и ни в одном медицинском анамнезе такового заболевания не значится. Потому как это не заболевание, а состояние, я его называл — темпорально-психологический флаттер, точнее — пси-темпоральный, один хрен, меня все равно не слушают, было же время — в телекинез не верили. Видели, а не верили. На психотронную связь перейти не могли, потому что потихонечку пользовались, а с высоких кафедр разыгрывали аутодафеи с вариациями... Теперь в этот пси-темпоральный флаттер не верят, а самих трясет, вас вот, например. А вы себя, поди, убеждаете, что — грипп. А?

— Не «а». Удивляюсь, как это мне самому в голову не пришло.

— Да вы умница!— восхитился халдей в меховых сапожках.— Может, попользовать вас, то есть попытаться приглушить воспоминания? Я в какой-то степени могу...

В конечном счете ведь любой усилитель можно сбить с режима.

Кирилл ужаснулся:

— Так топором еще проще. Надежнее, главное.

— Нет, мы определенно найдем общий язык! Тогда, может, просто посидеть с вами?

— Спасибо. Буду искать способы экранироваться.

— Ну, спокойной ночи. Главное, что могу сказать вам в утешение, — что это ненадолго. Через год вы улетите с Земли сюда... то есть уже улетели — и конец флаттеру. Финита ля флаттер! — крикнул он, исчезая за дверью.

Кирилл, не отрываясь, продолжал глядеть на янтарную крупцу света. Теперь, осознанное и уже не иллюзорное, прошлое вливалось в него без сопротивления его пугливого разума; музыка, правда, исчезла, но он весь был полон странного покоя...

А полон ли? Что-то кончилось. Оборвалось. Зачем он слушал эти объяснения? Они всё испортили. Ввели в логические рамки. Обернули наваждение реальностью. Что он натворил?

Кирилл метнулся к пульту, наклонился над светящимся циферблатом. Было половина двенадцатого.

Он просто спал.

Двадцать шестое августа он пережил относительно спокойно — лихие перегрузки, которым он сознательно предавался всю первую половину дня, почти не оставили ему сил на то, чтобы обращать внимание то на промелькнувший под крылом льдисто-сизый висячий аэропорт Санхэба, то на плывущий навстречу пестротканый заповедник реконструированного Багдада, где он имел неосторожность пообедать, чтобы потом мучиться изжогой всю Флоренцию, бесцельно пошататься по которой он позволял себе каждый раз, когда судьба забрасывала его в узкое голенище итальянского сапога.

Вечерняя вахта была беспокойна — из подпространства не вышел супертанкер «Парсифаль», и рубка была набита народом до четырех утра, пока неповоротливый гигант не дал о себе знать аж из четвертой зоны дальности, где в благополучном удалении от любого из обитаемых миров он стравливал в пустоту несметное количество жидких соединений ксенона из своих продырявленных метеоритом баков, что грозило Вселенной образованием отвратительнейшей зловонной микротуманности.

Он уснул, уносясь на северо-восток в уютном гнездышке трансконтинентальной подземки.

Двадцать седьмого, обессиленный той двойною жизнью, которую он теперь вел ежеминутно, он едва поднялся с постели, не очень отчетливо воспринимая и сугубо мужские шуточки за завтраком по поводу последствий протечки «Парсифаля», и собственную щенячью исповедь Гейру над березовой поленицей на заднем дворе метеокорректировочной станции. Он вяло поиграл в баскетбол, отказавшись от обеда и побрел на вахту, произвольно отыскивая в заоконной черноте теплую кроху бесконечно далекого солнышка, отождествляемого не просто с Землей, а именно с круглым, неярко отсвечивающим озером. Грозовая толща набухла над противоположным берегом, и надо было торопиться.

Он заскакивал в перелесок, выпрыгивал обратно на прибрежный песок и все озирался, настороженно и нетерпеливо,— не слышно ли голосов? Вроде бы уже...

Но когда они донеслись и сердце мягко и обморочно запрыгало куда-то вниз, потому что — началось, он вдруг стряхнул с себя эту рабскую покорность уже раз прошедшей чередой событий.

Нет, не пройдет, ваше сиятельство, громовержец всемогущий, но отнюдь не всеблагий! Представления не будет. Вообще ничего не будет. Он просто не догонит этих перепуганных непогодой горе-путешественников, они свернут себе на боковую тропинку, и встреча не состоится...

Смертная тоска охватила его, когда он понял всю нелепость своего слишком позднего бунта. Что ж, сейчас он заставит себя переждать грозу здесь, прямо на берегу,— с ним-то ведь ничего не случится! Но он не увидит больше серого платья, ускользающего от него каждый раз, как только он отводит глаза, он не будет прижиматься лбом к шероховатым прутьям мокрой ограды, он не услышит...

Он побежал.

Расталкивая упругие рюкзаки, он ворвался в самую гущу смешавшейся толпы, вздрагивая и озираясь на каждый звук, и внутри него все натягивалось, словно струна, которую настраивают все выше и выше,— ну же, ну... «Кира!»— донеслось из-за спины, и он задохнулся, ловя воздух ртом, потому что в следующий миг он должен был увидеть ее.

Он должен был увидеть ее — и отвести взгляд, но он этого не сделал, потому что знал, как мало ему оставалось смотреть — только двадцать четыре дня; и он с мучительной гримасой, совладать с которой он уже не мог, глядел ей прямо в глаза — серые огромные глаза, такие светлые, словно миллиарды звездных искр удалось оправить в один темный ободок; и она глядела на него, и продолжалось это так долго, что она не выдержала и подняла руку, заслоняясь ладонью от его взгляда.

Он охнул и закрыл глаза. Не было! Не было этого!!! Да что же это такое?..

Он открыл глаза — она ускользнула, как и должна была сделать, и он побежал вперед, повинаясь ее уклещно поблескивающей ладонке, и она вдруг очутилась уже за оградой, и вот он и до порога добрался... Все было, все мучительно и сладко повторялось, но он уже знал, что властен в этом течении событий, что она повинуется его взгляду, а когда будет нужно — и его слову; теперь он уже твердо знал, что вмешается в ход событий, которые обрывались на мокрой тропинке девятнадцатого мая этого года, — только вот цена будет непомерная: их любовь.

Одного он не мог — оборвать это вот сейчас, сию минуту. Еще полчаса, говорил он себе. Только до тех слов о зеленых молниях; но молнии срывались с исполинских распухших губ разбушевавшегося Перуна, и он давал себе еще минуту... две... три...

«Уйди!» — нет, она ведь повторила это несколько раз, еще можно помедлить несколько секунд, сейчас она повторит это по складам, мучительно выговаривая каждый слог: «У-хо-ди...» Он уже десять, двадцать раз повторял про себя это слово, а она все молчала; и тогда он понял, что Перун перехитрил его, и молчание затянулось так надолго, что у него нет уже повода к отступлению, и теперь уже будет все, что было, и двадцать четыре дня бездумного счастья, и емкие всплески-точечки, в которые умещались ежемесячные письма, и скользкий берег майского озера, и ожидание последнего письма, которого не будет... Он искал каких-то слов, чтобы хоть что-то объяснить, но слова не находились, и он просто обхватил голову руками и ринулся вон, в незатихающий грохот и свист бури, и продрался сквозь кустарник, и побрел, пошатываясь, куда-то в гору, и падал, и захлебывался зеленой от молний водой, и шарил оцепеневшими руками по какой-то стене, пока ему не отворили, и он ввалился в комнату, переполненную разомлевшими от тепла людьми, где с него содрали мокрое, и напоили, и укрыли, и не приставали,

и всю ночь дружелюбно бубнили то тут, то там, перешагивали через него, подталкивали, пристраиваясь теплым боком или шершавым спальником, а он лежал неподвижно и той частью души, которая полностью слилась с ним — прошлогодним, околевал от боли и тоски по всему несбывшемуся, от чего он так бесповоротно бежал, чтобы уберечь ее от озерного берега в тот проклятый майский день; другая же часть его естества, не потерявшая зоркости, преодолевавшей расстояние в световой год, могла видеть маленький домик на самом берегу и ее, тоже неподвижно лежащую на своей ледяной постели, и угадывать ее боль, и обиду, и тоску непрерывавшегося одиночества, и неведение собственного спасения...

Маленький халдей-механик заглянул в его комнату, наклонился, перехватывая взгляд немигающих глаз, что-то проговорил, но Кириллу пришлось собрать все свои силы, чтобы расслышать это слово, которое он повторял с упрямой и назидательной настойчивостью:

— ...Немедленно. Немедленно!

— Что,— с трудом разлепляя губы, спросил Кирилл,— что?

— Немедленно уезжайте. Выберите себе другой буюк, где-нибудь в шестой-седьмой зоне, а то так в ближнем Приземелье... Здесь вам оставаться смертельно опасно. Флаттер — он любой опасен, он в бараний рог скручивает и прахом рассыпает. Это относится и к людям, и к машинам. А пси-темпоральный флаттер — с ним не то чтобы бороться, его и распознавать-то не научились... Улетайте сегодня же. Противостоять этому могут лишь немногие, и вы не из их числа...

Он вещал, ритмично наклоняясь вперед и прикрывая круглые глаза выпуклыми веками, как это делают птицы, издавая отрывистый крик. Сказать бы ему, что он — из того единственного числа, кто не только решился противостоять этому непрерывно мчащемуся потоку прошлого, но и сумел повернуть этот поток в другое русло. Тяжелая это штука — ворочать прошлым. Все мускулы ноют, словно одними руками переворачивал вверх гусеницами десантный вездеход...

— Дурной сон привиделся,— старательно выговаривая слова, проговорил Кирилл.— Подождите меня в столовой, я сейчас подымусь...

Он поднялся, дивясь тому, что смог сделать. Внутри него было что-то тяжелое, мертвое, что теперь постоянно нужно было носить при себе. Господи, тошно-то как! Он оттолкнулся щекой от чьей-то свернутой куртки, подсу-

нутой ему под голову, — ушли ведь и забыли... Его одежда, уже высохшая, висела напротив погасшего камина. Он оделся, выбрался из дома. Вчера, в темноте, он не рассмотрел это причудливое сооружение — что-то вроде длинного павильона, с одной стороны ограниченного островерхой колокольней, а с другой — старинной пожарной башней с серебряным шаром на плоской крыше. Что ж, если это все сооружено специально для таких аварийных ночлегов, то, наверное, каждая такая архитектурная причуда имеет строго функциональное объяснение.

Он невесело усмехнулся. Тонкий утренний туман, производное от вчерашнего ливня, слоистой палево-сиреновой дымкой прикрывал выход из лощины. Не задохнуться от этой свежести, этой тишей красы мог только робот... или мертвец. Чем был он после того, как вчера уничтожил то единственное, ради чего и стоило-то жить на белом свете? Ведь она так и сказала ему, расставаясь: «Без этого не стоило бы жить на Земле...» Сказала бы.

Теперь не скажет.

Он глотнул холодного воздуха, преодолевая боль, — надо было привыкать, теперь ведь боль будет постоянной составляющей всех его ощущений. Сейчас он пойдет вниз, к озеру, пройдет мимо ее дома, и тогда боль взиграет уже в полную силу. Так что держись, Кирилл Павлович!

Я держусь, отвечал он себе, я просто удивляюсь, как это у меня получается. Никогда бы не заподозрил, что у меня столько силы все это выдерживать... И что-то будет дальше?

Он тихонечко двинулся в туман, уже угадывая слева очертания маленького дома. Все было тихо, и он, не опасаясь, обошел палисадник и подобрался к окну. И замычал, потому что такой боли он и представить себе не мог: она стояла у письменного стола, во вчерашнем примятом платье, и медленно перекладывала какие-то бумаги. Как он мог забыть, что вот так же побежал к озеру умываться и подобрался к окну, и она так же стояла, перебирая все лежащее на столе — искала носовой платок; теперь ему стоило только провести мокрой рукой по натянутой пленке, чтобы та скрипнула и запела под его пальцами, — и все началось бы сначала, словно вчера он и не бежал с ее порога: она вскинула бы голову и, как это умела она одна, в доли мгновения очутилась бы у окна, прижимаясь щекой к тому месту, где он опирался на тонкую, стремительно теплеющую пленку... Он заставил себя сделать назад шаг, другой; она так и не поднимала голову, и движения ее были замедленны и механичны, словно

она и сама не знала, зачем вот так перебирает совершенно ненужные ей бумаги. Было в ней что-то неживое, погасшее, и от нее — вот такой — уходить было во сто крат тяжелее.

Он пятился, пока не влез в воду, потом набрал полную грудь воздуха, словно собирался туда нырять, круто повернулся и помчался по тропинке, ведущей вдоль берега к вертолетной станции. Когда он позволил себе обернуться, домика уже видно не было.

Через час с четвертью, задыхаясь, он выбрался к вертолетному стойбищу. Ни одной машины, как ни странно, не было. «Когда рейсовая?» — спросил он киба-диспетчера, услужливо выползшего из своей будки. «Через четыре часа». — «А если вызвать?» — «Да вряд ли получится быстрее, в нашем регионе лишних не держат. Чай, не Альпы».

Кирилл отошел на кромку поля, проверил траву — нет ли пятен смазки, присел и натянул куртку на голову. Сердце болело так, что заполняло собой каждый уголок его тела.

Обратно, даже если бегом, — не меньше часа. Это если он совсем рехнется и ринется назад, ополоумев от боли. Но он выдержит. Так или иначе, а час времени у него есть. «Если я куда-нибудь двинусь до прибытия вертолета, — сказал он кибу, — держи меня за ноги и не пускай. Силушки хватит?» — «Не сумлевайся», — заверил его киб.

Он дождался последний кусок омлета, с усилием проглотил. Столовая была пуста, только из-за соседнего столика, страдальчески приподняв брови, с бесконечным сожалением глядел на него маленький механик.

— Знаете, я действительно прилягу еще на часок, — сказал ему Кирилл. — Только сделайте милость, не насылайте на меня во сне кибермедика.

— Клянусь Волосами Береники! — не без аффектации откликнулся халдей. — Но, видит Вселенная, кого боги хотят погубить — лишают разума...

— К счастью — не сердца.

Он добрался до своей каюты и рухнул на койку, уповая не на богов, а на исполнительность киба, который в случае чего удержит его за ноги...

Проспал он не час, а все четыре и проснулся от зудящей тревоги. Зудел вертолет, дававший полукруг над неожиданным пассажиром и примериваясь, как бы подсесть поближе. Но кроме вертолета было и еще что-то, уже пришедшее в голову, но пока не нашедшее словесного выражения. Чего-то он не учел... Недодумал... Ну хорошо,

сейчас он улетит, последняя возможность накликать непоправимую беду исчезнет.

Ну да. Он-то исчезнет. Но раз это произошло...

Ведь это может быть и НЕ ОН!!!

Он вскочил, и тотчас же гибкое щупальце хлестким арканом оплело ему ноги. Он шлепнулся, взыв от бешенства.

— Кретин! Я же тебе велел — до вертолета. До!

— Извиняюсь. Вертолет еще не сел.

Вертолет сел.

— Есть в кабине фон дальней связи? Быстренько contacting меня с диспетчерской Байконура.

Киб со свистом свернул щупальце, кальмаром метнулся к вертолету и наполовину скрылся в окошечке.

— Сработано! — доложил он через десять секунд.

— Вот и умница. А теперь проинформируй диспетчера, что космолингвист Кирилл Анохин прибудет на «Харфагр» точно к моменту отлета. И не ранее.

Он шагал по тропинке вниз, к зеленеющему, еще не осеннему озеру, и твердо знал, что оставшиеся двадцать три дня не позволят себе ни одной встречи, ни единой фразы.

Но если возле нее появится хотя бы захожий турист — он свернет ему шею. Потому что, оставаясь для нее невидимым, он не спустит с нее глаз ни днем ни ночью.

И, уже подходя к ее дому, он вдруг вспомнил, что за сегодняшний день уже дважды проходил ТО САМОЕ место. И ведь ничего не почувствовал. Даже не заглянул вниз, в воду. Значит ли это, что он сумел обмануть судьбу, или все-таки она обманывала его, и беды нужно было ждать просто в другом месте?..

Его приютил длинный нелепый коттедж, в котором ночевали туристы, — пропахший сеном, которого в нем не было ни клочка, шуршащий полевыми мышами, набитый, оказывается, самой разнообразной всячиной. Настоящий странноприимный дом... Не много ли на него одного?

Следить за ней, скрываясь в кустарнике на склонах холмов, оказалось делом несложным, — повинуясь каким-то внутренним толчкам, она неизменно приходила туда, где бывали они вместе... где могли бы они быть вместе. Безучастная ко всему, она отсиживала положенное время и медленно брела домой, совершенно не зная, что ей делать по пути, чтобы не вернуться к дому слишком поспешно. Один раз она вдруг запнулась и беспомощно поглядела вправо, словно не зная, как же быть дальше... Кровь застучала у него в голове, и он, перестав владеть

собой, вылез из своего укрытия и двинулся ей навстречу: ведь это здесь он взял ее на руки и нес до самого дома, распевая дикую языческую песню собственного сочинения. Какая сила заставила ее оглянуться призывно и растерянно? Или жить не могла она больше вот так, без его рук?

Она увидела его, и лицо ее засветилось. Так освещается озеро, когда ясный костер зажигается на той стороне и золотая дорожка силится дотянуться до противоположного берега. Он смотрел на это лицо и с ужасом понимал, что все начинается сызнова, пусть тремя днями позже — это не имело значения. Важен был только конец, только девятнадцатое мая... «Вы не улетели?» — срывающимся голосом проговорила она. Он медленно выдыхал воздух, так что внутри получалась ледяная пустота, и, пока этот холод не заполнил его всего, он не разжал губ. Потом отвел глаза, медленно произнес: «В тот раз я был болтлив и навязчив. Извините». И пошел прочь, с трудом переступая негнущимися ногами.

Больше он не позволял себе забыться.

Дважды проходили толпы — то геологи-практиканты, то просто гуляющие, чудом забредшие в такую даль. Все это не имело значения — она к ним не вышла (да и как могло быть иначе — в эти последние дни они прятались от любого шума, способного помешать им).

Потом к ней, сиротливо сидящей на замшелых мостках, подошел человек, и Кирилл узнал Гейра. Гейр? Неужели — Гейр?..

Он готов был снова ринуться вниз, но в этот миг взвыли спасительные сирены: совсем неподалеку, из подпространства, вываливался совершенно истерзанный корабль. И вахтенные, и те, кто был свободен, — все уже через три минуты были в скафандрах, готовые ринуться в гофрированные переходники, ведущие к уже изготовившимся буксирам.

«Всем оставаться на местах, отчалить буксиру-толкачу, команда — киберы!»

Приказ, раздавшийся в шлемофоне каждого спасателя, ошеломил не одного Кирилла — ведь люди могли еще быть живы, и кому, как не им, персоналу спасательного буя, было мчаться на подмогу? Но команду отдал человек, не один десяток лет проведенный в дальних зонах. Буксир рванулся вперед с ускорением, которого не выдержало бы ни одно живое существо, — нет, прав был начальник станции. Прав был он и тогда, когда, оглядевшись, рывкнул на весь тамбурный отсек:

— А почему связники в шлюзовой? Марш на место!

На бегу расстегивая скафандры, связники помчались по коридору, как проштрафившиеся приготовишки. Конечно, четкая связь — это сейчас чуть ли не главное, когда надо сбалансировать человеческий разум и скорость, доступную только механизмам. Они мчались галопом, и начальник, гулко фыркая, старался не отстать от них.

— Торбов — держать буксир, Маколей — держать Базу, — выпалил он, врываясь следом за всеми в центральную рубку. — Анохин и Нгой — в резерве. И повремените-ка стаскивать скафандры...

Ждать и быть наготове. Нгой гибким и естественным движением скользнул вдоль стены и опустился на корточки, готовый в любой момент оттолкнуться лопатками и в один миг занять по команде нужное место. Анохин покосился на него — и присел рядом. Так они всё видели и никому не мешали. А на экране у Торбова буксир, лихо тормознув и разбросав во все стороны опоры-захваты, уже присасывался к борту искалеченного корабля как раз в том месте, где смутно виднелись пазы катапультного отсека. Если там есть хоть кто-нибудь живой, то теперь осталось совсем немного...

«Все собирался заглянуть к вам, да как-то не получалось, — сказал Гейр. — Ну, до будущего лета!» — и пошел берегом, и она стояла лицом к озеру и даже не поглядела ему вслед.

— В шлюзовой, готовить десантный бот! — крикнул начальник станции. — Шесть человек, для связи Нгой, он сейчас подойдет.

Нгой вскочил и выметнулся в дверной проем. Гейра тоже уже не было видно.

— Анохин — держать бот на связи!

Вглядываясь в еще не засветившийся экран и с недоумением замечая, как неслышно подобралась осень, — вот ведь и зелень на том берегу вся покрылась желтыми и багряными пятнами, — он вдруг впервые и оттого с особой остротой осознал всю несоизмеримость того, что долетало до него с берега похолодавшего и посеревшего озера, — и той настоящей жизни, движущей частью которой были его руки, его глаза, его мозг.

— Пошел бот! — крикнул начальник станции.

Руки сами собой замерли на пульте настройки, не выпуская улетающий бот из рамок экрана. «Иди, — сказал он ей, — иди, пожалуйста, — мне сейчас будет тяжело...» Она послушно побрела к дому, ступая неуверенно, как ходят больные или почти незрячие. Буксир, прилепившийся к боку корабля, рванул на себя все щупальца и вместе с

выданным кубом катапультной камеры отлетел в сторону. Она уже подошла к изгороди и теперь держалась за прутья, словно у нее не хватало сил добраться до порога.

— Буксиру оставить камеру, уводить корабль!

По-видимому, на дисплее, не видимом Кириллу с его места, появились какие-то угрожающие данные, переданные буксирным компьютером. Буксир разжал щупальца, так что камера едва видимым кубиком повисла в черноте, и уверенно боднул громадную тушу гибнущего корабля, как муравей толкает перед собой увесистую гусеницу. Видно, корабельный котел пошел вразнос, потому что снова послышалась отрывистая команда:

— Буксиру развить полную мощность, выбрасывать на ходу кибов!

Она вошла в сад, и мокрые листья, задевая ее светлосерое платье, оставляли на нем темные пятна и полосы. Сейчас она войдет в дом, и сегодня ей уже ничего угрожать не сможет. «Спокойной ночи тебе, серая ящерка», — и она обернулась, словно услышала. Бот подлетел к вишащему в темноте кубу и слился с ним. В наушниках тотчас же треснуло и заверещало.

— Живы! — крикнул Кирилл. — С бота передают — изнутри доносится стук! Сейчас будут налаживать переходник...

Она кивнула вечернему серому озеру и затворила за собой дверь. В рубке, куда набилось уже человек двадцать, стоял радостный гвалт. Живы! И это на корабле, который по меньшей мере вылез из подпространства в кометный хвост, если только не в ползучую малую туманность... Везунчики!

Кирилл скосил глаза — с момента аварийного сигнала, когда автоматически включается отсчет аврального времени, прошло ровно сорок восемь минут. Где-нибудь там, на приличном уже отдалении, вскоре беззвучно гроыхнет обреченный корабль. Буксира жалко, да и что поделаешь? Главное — живы люди. Сорок восемь минут, и спасательная операция прошла, как будто перед глазами развернулась то ли учебная, то ли приключенческая лента. Нет, в этой настоящей жизни он не жил. Работали руки, работали безупречно, и кибер позавидовал бы... Тогда какая же разница между этим настоящим — и тем прошлым, с которым он денно и ночью мыкается один на один?

Да вот в том и разница — то прошлое неразделимо принадлежит ему одному. И тем более — подчиняется.

А в остальном прошлое и настоящее равны — он так же, как и в реальной жизни, спасает человека. Любимо-

го, дорогого, но если оценивать со стороны — какая разница? Важно, что спасает человеческую жизнь. И не за сорок восемь минут. Девять месяцев надо продержаться под этой двойной нагрузкой, ни на час не отвleчься, ни на день не заболеть. И молчать. Не поверят ведь, помешают. Значит, молчать и делать свое дело — спасать человека.

Экран погас — бот подвалил к шлюзовому причалу.

Три последних дня, которые оставались ему на холмистом берегу, он провел почти спокойно. То, что раньше было болью и страхом, теперь обернулось заботой и делом. Ему даже показалось, что он утратил какую-то долю своего чувства, — что ж, неудивительно: ведь все то, чем он занимался с того момента, как бежал от нее в исполо-сованную молниями ночь, было не чем иным, как методичным убиением любви. «Во имя жизни, да! — кричал он себе. — Во имя жизни, как убивают колос во имя сотворения куска хлеба...»

И замечал, что логика его безупречна и доводы убедительны.

Он успокоился настолько, что в последний день позволил себе пройти мимо нее. Она стояла у воды, безучастно глядя на отражение лесистого мыса, который когда-то напоминал им ассирийского царя, омывающего озерной водой свою черную бороду. Услышав его шаги, она не обернулась.

— Кира! — окликнул он ее каким-то чужим голосом.

Она посмотрела на него через плечо, не отвечая.

— Вот я и улетаю... — совершенно потерянно забормотал он. — Теперь уже — окончательно...

Он ведь приготовил какую-то фразу, но сейчас ничегошеньки не мог вспомнить.

— Живите счастливо! — выдохнул он, хотя смысл сейчас имело только первое слово.

В ее широко раскрытых глазах не было ничего, кроме отражения озерной воды.

— А я... не живу, — с каким-то спокойным удивлением проговорила она. — Мне просто незачем жить.

На него нахлынул такой ужас, что он закрыл глаза. И он знал, что, когда откроет их, ее уже не будет на этом месте.

Он заставил себя глянуть — она стояла все так же, не исчезая, не пропадая, не утекая струйкой серебряного песка. Словно это была уже не она.

Он пошел прочь, все время оглядываясь и ожидая, что не увидит ее на прежнем месте, но она не ушла даже тог-

да, когда он скрылся за поворотом, и тогда он понял, что из этого потока прошлого исчез он, прошлогодний, а весь берег остался, только виден он теперь не вблизи, а из какой-то дальней точки — то ли сверху, то ли из глубины холмов. И кроме этого неожиданного виденья осталась спокойная уверенность в своей власти над всем происходящим на этом берегу.

Она теперь редко выходила из своего домика, и, когда это случалось, он неотступно следил за ней, готовый остановить любой ветер, утихомирить самую неистовую бурю. С первых чисел октября она стала на два дня улетать в соседний городок, где давала какие-то уроки и брала материалы для работы у себя, на берегу. Городок он видел смутно, и это его не тревожило — почему-то он знал, что там с нею ничего не может случиться. Вертолет неизменно подлетал к самому ее дому, и эти ее отлучки приходились на вторник и среду.

Девятнадцатое мая было субботой.

Когда выпал пухлый снег — раз на всю зиму устоявшийся и ни разу не подтаявший, — с того берега так и не замерзшего озера стал приходить старик егерь, тот самый, который любил разводить костры под «ассирийской головой», и они молча бегали на лыжах — он по своим делам, осматривая зимние пристанища знакомых ему зверей, а она просто так, следом, чтобы не бродить совершенно одной. Это было хорошо, что она каталась под таким присмотром, и удивляло Кирилла только одно — что никакое зверье не подходило к ней и ничего из ее рук не брало.

В монотонной напряженности совершенно одинаковых дней время летело неуловимо, и, когда снег разом стоял и холмы подернулись неуверенной прозеленью, он вдруг изумился собственному спокойствию: ЭТО надвигалось, и страха не было.

На девятнадцатое он взял себе ночную вахту и с первых же минут почувствовал неудержимое желание как-то взбодриться. Коньяку выпить, что ли? Ни одним уставом пить на вахте не запрещалось, потому что такое никому и никогда просто в голову не приходило. Но сегодня он знал, что стоит вне правил и вне времени, и не пошел на камбуз только потому, что сам сказал себе: рано. Еще, может быть, и не так припечет. Ночные часы текли неторопливо, все световые индикаторы фиксировали тишь и благодать, и серебряной звездочкой тлел ночник в квадратном окне, оплетенном по низу уже набравшим силу плющом.

К восьми ночник еще не погас; явился кто-то на смену, и Кирилл, косясь на видимый одному ему огонек, побрел по коридору, чтобы заправиться всякой снедью. Желательно было целый день пребывать в собственной каюте, и чтобы никаких авралов. Но настоящее не было в его власти, и это весьма его тревожило. Он наскоро похватал бутербродов, запасся целым пакетом погремушечно дребезжащего кофе и задумался перед редко открываемым баром. В тот первый вечер она пообещала ему кофе и ром. Чашечки с кофе он поставил на ее прямые колени. Рома не было. Восполним, сказал он себе.

В каюте он обратил внимание на то, что светлячок погас; он забрался с ногами на койку и принялся за дело. В первую очередь он испортил погоду: мелкий колючий дождь и резкие срывы ветра никак не наводили на мысль о прогулке. Легкий озноб заставил ее забраться обратно в постель с прелестной старой книжкой, которая каким-то чудом отыскалась на верхней полке; так прошло время до обеда. Часа в три он что-то отвлекся, и выглянуло солнышко — пришлось срочно подключать вариант «старый егерь». Какая-то мелочь, срочно понадобившаяся старику, обернулась цепью воспоминаний, затянувшихся на добрых три часа. Итого — шесть вечера. Начинало темнеть, и Кирилл забеспокоился: сумерки и весенняя пора располагали к порывам необдуманным и трудно программируемым. Оставалось не очень приятное, но абсолютно надежное средство: легкая зубная боль. Переборщить тоже нельзя — последовал бы вызов врача или обращение к сильнодействующим средствам, а тут чем черт не шутит... А легкая — это снова постель, и искусственный камин, и таблетка совершенно безобидного болеутоляющего. В половине девятого началась трансляция из Байрёйта — давали «Тристана и Изольду», и можно было позволить себе несколько расслабиться. Вагнера он не любил, считая безнадёжной архаикой, сейчас же его и подавно интересовала только продолжительность спектакля. Закончился он, хвала обстоятельным классикам, достаточно поздно, чтобы напрягать фантазию в поисках каких-то занятий, — автоматически включился маломощный гипноизлучатель, навещающий мысли о сне, и до полночи остались минуты.

Кирилл вытянулся на койке, закинул руки за голову. Устал он безумно, и это не было приятной ломотой в меру поработавших мускулов — нет, это было одеревенением тела, слишком долгое время проведенного в полной неподвижности. Вот только какое время — сутки? Или почти год?

Что-то заставило его сесть, напряженно всматриваясь в противоположную стенку, как будто на ней могло появиться какое-то слово. Но слово уже явилось, оно звучало как гонг — год! Год! Добровольно приковав себя к прошлому, он ни разу не подумал, что за это время на настоящей Земле прошел почти год. Свое дело он сделал, уберег ее, ничего не подозревавшую, от всего, что могло быть, и даже от того, чего и быть не могло. Жизнь ее, направленная его волей по новому руслу, безмятежна и безопасна. Во всяком случае, она обещала быть такой год назад. Но что бы ни случилось за этот год — всё равно это была жизнь БЕЗ НЕГО! И, шумная или одинокая, счастливая или безрадостная, это была реальная жизнь, а не скрупулезное, поминутное повторение прошлого. И он сам сделал так, чтобы вытравить у нее малейшее воспоминание о нем!

Так чем же она жила все эти девять реальных месяцев, промелькнувших на родной планете?

Он поймал себя на том, что сидит скрестив ноги и обхватив пальцами узкие щиколотки и непроизвольно раскачивается, как медведь в тесной клетке, и вместо того торжества, о котором он мечтал всю зиму, — ведь справился, ведь получилось, ведь поломал он, к чертовой бабушке, ту нелепую трагическую околесицу, которую нагородила судьба, — вместо всего этого он получил в награду один коротенький вопрос: а теперь-то что?

Он глянул на часы — было двадцать минут первого. У него появилось ощущение, что где-то он оступился и беззвучно ухнул в зыбкую, студенистую массу — то ли двадцать минут назад, то ли год... Как герцог Кларенс — в бочку с мальвазией.

Он нагнулся и нашарил под койкой открытую, но так и не тронутую бутылку рома. Справились с прошлым — справимся и с будущим. Хватит с него космоса, и далекого, и близкого. Дождаться первого же корабля, а там будет видно, что-то теперь. И если увиденное будет уж чересчур расходиться с желаемым — что ж, ломаем и это. Опыт обращения с судьбой уже имеется.

Он нарочно подходил к домику справа, по сосновому молодняку, прилично вымахавшему за год... Он потряс головой — за два года! Прошлой осенью он спустился прямо на пляж, а потом бежал к станции Унн, не очень-то глядя по сторонам. Как всегда, пристально глядели на него два ясных костра, зажигавшихся с начала сумерек у подножия «ассирийской головы», что на том берегу. Небо бы-

ло прозрачно, и он отнюдь не стремился услышать голоса любителей дальних прогулок, спасающихся от напастей погоды. Но ее он должен был увидеть уже сейчас, до того, как тропинка пойдет по песку.

Он замедлил шаг, высматривая впереди светло-серое платье.

Под ногами захрустел песок.

Ну, хорошо. Пусть не светло-серое. Пусть не платье. И пусть не здесь. Хоть в саду. Хоть на пороге...

Калитка была распахнута. Из окна лился яркий свет, но обходить дом и заглядывать через стекло у Кирилла не хватило сил. Он перепрыгнул через четыре ступеньки, рванул на себя дверь и остановился, не входя дальше.

Пустые книжные полки, на письменном столе — лампа без абажура и чучело крупного бурундука. На полу стебли камыша, и лохматая шкура, сваленная на топчан, и живой бурундучок, остекленелыми глазками засмотревшийся на чучело собрата, и острый запах полыни и формальдегида.

Здесь ее быть не могло. А где она могла быть? Не может же быть, чтобы этого никто не знал!

Вот тебе и год, прошедший в реальной жизни...

Сзади, в саду, затрещало, и Кирилл, стремительно обернувшись, увидел старого егеря, который привязывал к забору двух пестрых коз. Взгляды их встретились, и егерь, оставив вдруг свое занятие, медленно пошел по дорожке, шурясь и явно стараясь что-то припомнить.

— Добрый вечер, — сказал Кирилл, очень стараясь, чтобы голос у него не сорвался. — Вы не пытайтесь меня вспомнить, я ведь был здесь два года назад... Конец августа... Сентябрь... Вы тогда на том берегу жили. А здесь, в этом доме...

Он остановился, потому что, собственно, уже спросил все, что ему нужно было знать, чтобы жить дальше. Старик подходил, отводя руками ветки бузины и жасмина, вылезające на тропинку, и по его лицу нельзя было сказать, понял ли он, о чем его спрашивают, или нет. У последней ступеньки он замер и уставился тусклым взглядом в нижнюю пуговицу блестящей Кирилловой куртки. Похоже, что он намеревался молчать долго.

— Вы не помните?.. — потерянно пробормотал Кирилл.

Старик вскинул подбородок, и лицо его было неприветливо и замкнуто.

— Так ее давно уже нет, — скупно проговорил он, словно осуждая Кирилла за неуместное любопытство.

Кирилл молчал, словно не расслышал его слов. Нет, этот старик что-то путает. Нужно бежать к Унн. Нужно

спрашивать. Нужно искать. Да не может быть, чтобы все пережитое и выстраданное им оказалось напрасным! Он же чувствовал, что ломает прошлое, повертывает, не дает вернуться на прежний путь! Почти год он ворочал эту глыбу, у него все тело ноет от этой текущей на него тяжести — и голова, и руки, и позвоночник... В конце концов, существует же какая-то мировая справедливость, какой-то вечный закон, по которому за великую жертву должно следовать и великое воздаяние, — а жертвовал он ни много ни мало как любовью! Он же отнял любовь у них двоих, и пусть это останется тайной, чем была эта любовь для нее, — но у себя вместе с нею он отнял половину жизни. Так не может быть...

Не может быть, чтобы такой ценой он не купил хотя бы неделю.

Хотя бы день.

— Год назад, — проговорил он хрипло, ожидая, что его остановят и поправят. — Год назад, девятнадцатого мая...

— Нет, — досадливо поморщился старик. — Вы что-то путаете, молодой человек. Это случилось два года назад, двадцать седьмого августа. Была чудовищная гроза. Слышали вы когда-нибудь о молнии Перуна? Поток огня и грохота, в тысячи раз превышающий обычный грозовой разряд... Это считалось легендой. Я и сам не верил, пока...

Он замолчал и неодобрительно пожевал губами, словно упрекая себя в излишней словоохотливости. Потом обернулся и пошел к калитке, чтобы заняться своими козами.

— Не понимаю... — бормотал он себе под нос. — Не понимаю. Какая сила заставила ее выбежать на берег в такую грозу? Не понимаю...

Вячеслав
РЫБАКОВ

Достойн свободы

Повесть



высоты Европа напоминала черепаху. Фонтаны тумана и ветра взлетали от синтезаторов и раскручивались циклоническими спиралями, а в сумеречные просветы между витками просматривались многоугольные щитки городов. Изъеденные атмосферными окислами Баварские Альпы туманно громоздились на юге — жутко было смотреть на них. Но я смотрел. Потому что целых три года перед моими глазами маячили лишь коридоры станции Оберон да хаос скал, освещенных то искрой Солнца, то грязно-зеленой опухолью Урана.

Города утонули во мгле позади. Под нами простиралось бурое пространство без пятнышка зелени; изредка взблескивала вода, отражая прорвавшийся солнечный луч. Балтика пряталась в молочном месиве слева; там тоже ревели ураганы, ежеминутно выбрасывая в атмосферу десятки кубокилометров воздуха первозданной чистоты.

Кресло мягко, предохранительно охватило меня с боков, и тут же снижающийся лайнер буквально запрыгал — на малых высотах турбулентии были особенно сильны. Мы почти падали, облака уносились вверх; снизу, как взрывы, взлетали другие. И вдруг отовсюду сразу надвинулось нечто огромное. Свет в иллюминаторах пресекался, а потом возник вновь — уже искусственный, и лайнер невесомо опустился в гнездо. Я прилетел.

Получилось удачно — мой двухнедельный карантин закончился ровно в тот день, когда Соломину вручали Нобелевскую; церемонию вручения я смотрел по Евровидению, а к вечеру уже смог попробовать свалиться Соломину как снег на

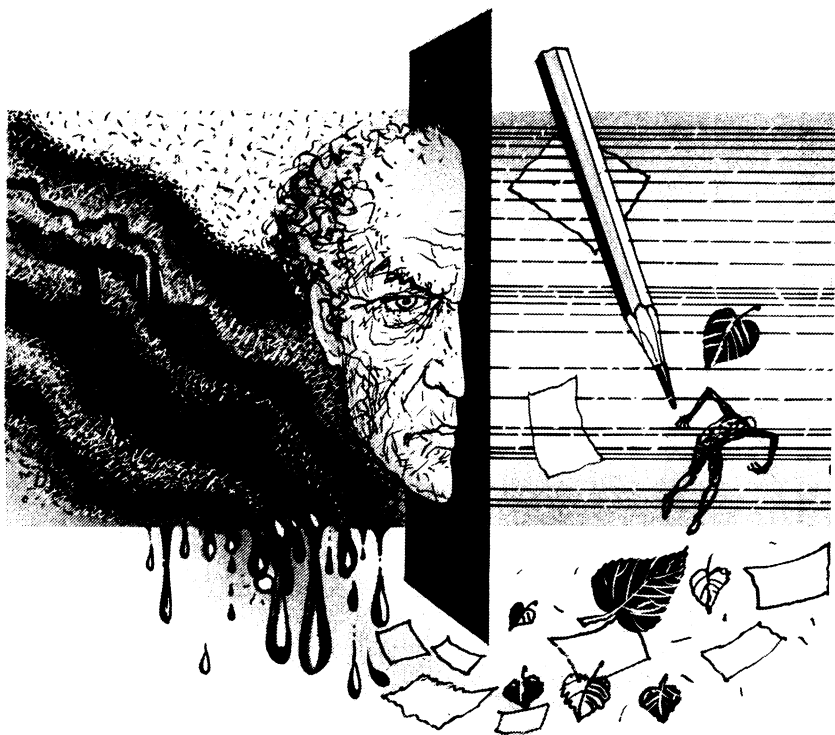
голову. Как снег на голову. Он часто повторял эту фразу своим гортанным, занудным голосом — так невкусно, что угасал весь ее снежный блеск. Как сингулярные локусы на восьмимерной проекции пучностей континуума. Подобного рода фразы он произносил ровно с той же интонацией — свесив голову ниже покатым плеч и подперев костистый нос карандашом. Все, что нарушало ритм работы, было для него снегом на голову. Наверное, и Нобелевка.

И при всем том я не знал человека добрее и мягче. Когда быт вытряхивал его на часок-другой из-за письменного стола, Соломин так трогательно, так нелепо пытался сделать что-нибудь хорошее любому первому встречному. К счастью, обычно это сходило незамеченным. Если замечали — смотрели странно. Он катастрофически ничего не умел. Умел только, сидя за письменным столом, бродить где-то в безмерной глубине мира... и то, что он время от времени, непонятно как — скорее интуитивно, нежели логически, — находил там, падало как снег на голову всем. Всем, кто мог понять. До моего отлета на Оберон я года два работал с ним в паре и слишком хорошо узнал, как трудно бывает понять его, угнаться за ним в его безднах...

Но вот смысл его последней находки понял каждый. Все-таки это справедливо, думал я, медленно идя в толпе спешащих, смеющихся, встречающихся, глядя на их воскрешенные лица. Справедливо, что это нашел именно Соломин. Он наконец сделал хорошее для всех. Три года я не видел толпы, казалось, забыл, как она выглядит, — но сейчас понимал, что она изменилась. Прежде лица были темны. Нет, не все кусали губы или мрачно смотрели в пустоту — конечно, и щурились, и зевали, и подмигивали, и улыбались, но как-то темно. Как бы на миг забыв о вечной заботе.

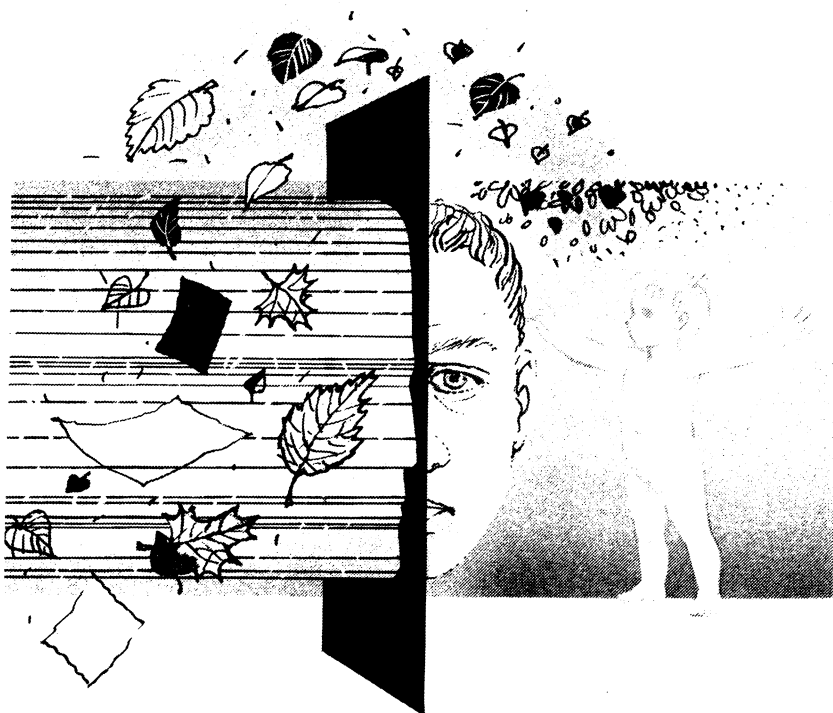
А вот теперь загорелся свет. Я вспоминаю — полвека назад, в детстве, я видел такие лица, когда человечество, припертое к стенке экологической катастрофы, начало наконец разоружаться. Тогда казалось — стоит лишь уничтожить запасы смертей, утечка которых в среду возрастала вместе с возрастанием запасов, стоит лишь остановить военную промышленность, сжиравшую две трети ресурсов и мощностей, положить конец бесчисленным локальным конфликтам, а заодно учениям и маневрам — и сами собою вернутся голубое небо, бабочки, кувшинки в озерах... Наверное, в прошлом веке такие лица были у людей, когда кончались мировые войны. Но оказалось, что последняя мировая война — с наследием тех, кто ставил на войну, — еще впереди. Никто не заметил, когда лица мало-помалу вновь угасли. Война оказалась долгой.

И только когда заработал первый соломинский синтезатор, как снег на голову она свалилась — Победа, не менее важная, чем та, которую русские до сих пор называют просто — Победа, и любой сразу понимает, о чем речь... Это справедливо, думал я, идя по полю аэродрома, залитому искусственным светом. Меня обгоняли сверкаю-



щие лица, улыбки и взгляды яркими цветами летели мимо, время от времени в мельтешне голосов, насканивающих справа-слева, слышалась его фамилия. То с французским ударением на последний слог, то юлящая как-то по-скандинавски, то спетая в китайских тонированных слогах: «Со-луо-мин», но чаще — по-русски, вбиваемая, как свая, одним увесистым азартным взмахом: «Сал-ломин!..» Потом

я остался один, толпа схлынула — кто вверх, кто вниз, кто к цоколю соседнего гнезда, уходящему в потолок; глухо рокотали моторы верхнего яруса, отправляя воздушные корабли в атмосферу, бьющуюся в судорогах долгожданного вдоха; порывы теплого, пахнущего механизмами воздуха то и дело окатывали меня — я шагал неприкаянный и



счастливый. Когда жизнь всех меняется к лучшему, даже собственная неприютность, давно заледеневшая в душе, вдруг кажется преходящей и уютно неважной, как база однодневного отдыха. Это справедливо, в сотый раз с наслаждением думал я. Это справедливо, что именно Соломин нашел Победу.

Я и не подозревал, что войны кончатся не для всех.

...В квартире было тихо и темно. Я застыл у стены, беззвучно замкнувшейся за моей спиной.

— Добрый вечер, коллега Гюнтер,— раздался из темноты знакомый голос. Я облегченно вздохнул.— От души рад вашему приходу.

Телеокно замерцало, и в комнату упал холодный свет полной луны из прозрачно-черного неба. Он был рассечен пополам узким силуэтом человека, сидящего ко мне лицом.

— Мне особенно лестно, что время для визита вы смогли выкроить именно сегодня, в день моего триумфа. Прошу пройти. Как поживают ваши изыскания?

— Вполне, вполне, вполне,— стараясь говорить ему в тон, отвечал я и, пройдя, опустился в подлетевшее ко мне кресло.— Итак, я поздравляю вас, коллега. Прошу вас принять мои самые искренние...

— Соболезнования,— глухо уронил он и встал — вырос из кресла, словно телескопическая антенна. Сутулясь, привлекая ноги, пошел к синтезатору.— Вы отужинаете со мной, коллега?

— Я буду рад разделить с вами трапезу, коллега.

Он нагнулся над пультиком, выпавшим из стены.

— Что бы вы хотели?

— Возьми, что себе.

Выпятив цыплячью грудь, он гордо распрямился.

— Сомневаюсь, что вы стали бы ужинать из одной тарелки со мною!

Коротко пропел синтезатор.

— Не считите за труд, коллега, свое возьмите сами,— сказал Соломин, идя к столу — в одной руке тарелка со столовой массой (у меня глаза полезли на лоб), точь-в-точь такой, какую все мы вынужденно ели еще так недавно, в другой — бокал с молоком.

— Вот те раз.— Я пошел к синтезатору, взял свою тарелку. Соломин заказал мне отличный ростбиф.— Ты так привык к... к этому?

Он не ответил, сосредоточенно набивая рот густыми кусками брикета. На его гладкой могучей лысине лежал отчетливый лунный блик. Я вернулся к столу, с наслаждением вдыхая аромат, выпускаемый моей тарелкой. Изображая домашнюю непринужденность и раскованность, я с чуть нарочитым азартом вонзил вилку и нож в сочный кусок. Брызнула кровь.

Соломин подскочил, уронив наполненную ложку, лицо его страшно исказилось.

— Вы меня обрызгали, Гюнтер! — с гортанным надсадом крикнул он, остервенело отряхивая рукав свитера. — Кровью!!

— Прости,— ответил я так кротко, как только позволял мой баварский акцент. Мне уже становилось не по себе.

Неуловимо быстрым движением Соломин канул под стол и тут же возник с ложкой, крепко стиснутой в кулаке.

Некоторое время мы молча насыщались. Потом я сказал задорным голосом:

— Замечательный ростбиф. Что же ты — сам придумал из вакуума ростбифы, а теперь отравиться боишься? Так и брикет твой теперь ведь тоже из твоего вакуума...

Он поперхнулся. Он кашлял долго, с бульканьем и хрипом, корчась, а потом вытер пальцами слезы и, надтреснуто дыша, объяснил:

— Пенка в молоке...

— Какой ужас,— сказал я.

Он поставил локти на стол и вцепился длинными пальцами себе в щеки; с минуту сидел так, едва заметно раскачиваясь из стороны в сторону и глядя мимо меня. Потом сказал:

— Вот и все.

— Что — все?

Не глядя, он точным движением коснулся стены своей длинной рукой, тонкой и ломкой, как два шарниром скрепленных шеста. Беззвучно раскрылся телекамин, и лицо Соломина, налившись оранжевым светом, выдвинулось из лунной тьмы. Пылающие поленья трещали, выбрасывая клубящиеся облака искр,— корчилось, кричало пламя, заживо сгорая в самом себе. Иллюзорное. Соломин, не мигая, чуть раскачиваясь и скомкав щеки, смотрел в огонь. В меня вдруг вошла его страшная усталость.

— Все и есть все, коллега,— проговорил он. — Странно.

— Еще бы,— медленно ответил я. — Девятнадцать лет...

— Двадцать три,— поправил он.

Я только головой покачал. Он откинулся на спинку кресла — лицо ушло из оранжевого полыхания.

— Впрочем, тогда я и не подозревал, что из этого выскочит синтез. Просто хотелось разобраться с вакуумом наконец.

— Вот и разобрался наконец,— сказал я.

— Да, разобрался. Подарить только уже некому.

— Некому?! Да всем!

— Знаете, коллега,— помедлив, тихо сказал он,— порой мне хочется стать... музыкантом...

Я знал это давным-давно.

— Правда? — спросил я.

— Пассакалия ля минор.— Он словно творил заклинания.— Хоральная прелюдия номер семь... Знаете, даже снилось, будто выхожу на сцену.— Он запнулся.— Сколько раз. Клавиши, клавиши... и острия вверх. Трубы. Они ведь серые, да?

— Свинец.

— Свинец...

Мне хотелось его обнять.

— Мортон звал меня на Трансмеркурий,— проговорил я. Соломин передернулся от отвращения и закрыл камин.— Ты не знаешь? — спросил я в темноту, словно высосавшую глаза.— Назревает локальный пространственно-временной прогиб, сегодня ждут. Взаимодействие собственного поля Солнца с полем Галактики под каким-то редкостным углом — раз в тысячу лет, что ли... Совершенно непечатый край. Вот где для твоей головы...

Черный силуэт беззвучно вздыбился передо мной — узкий, длинный, как подводная лодка из глубины.

— Вот!! — выкрикнул Соломин.— Четыре полки!! — Он сделал шаг и прильнул к полчищам книг. Медленно, любовно провел плоскими ладонями по корешкам своих работ.— Поле... Континуум, локальные вихри... синтез... Синтез!!! — Он хрипло, с каким-то гортанным звоном, дышал.— Неужели вам мало?!

Он качнулся — свет луны упал ему на щеку и словно взорвался на ней, окутав все лицо мгновенным сверкающим туманом. Я увидел безумные белые глаза и провал заглатывающего воздух рта.

— Мало?!

Я молчал. Соломин пошел поперек комнаты, распарывая, словно катящееся лезвие, поток зябкого лунного света.

— Я мог бы стать музыкантом. Я мог бы стать баскетболистом. Но я всего лишь физик,— надменно и отрывисто вещал он и ходил, ходил по комнате, пытаясь горделиво расправить сутулую спину, узкие, зализанные плечи.— Простой физик. Я умею только это. Имеет смысл делать только то, что умеешь.— Дыхание сухо вхрустывалось в тишину.

Я ловил каждое слово и все пытался заглянуть ему в лицо, но было темно, только черный силуэт двигался.

Потом он остановился и поник.

— Останьтесь до завтра, коллега,— раздался тихий, чуть сорванный голос.— Я постелю вам здесь.— Соломин протянул руку к контактной панели, чтобы достать постель, и опять застыл.— Скажите... прошу простить, если вопрос мой покажется вам несколько бестактным... ваша... подруга... она не любила вас или вашу работу?

— Она не любила нас с работой,— ответил я.— У тебя лирическое настроение? Позвони Пелетье, поговори с ним. Я слышал, он ушел от очередной жены.— Я изобразил грустно-всепрощающий голос шефа лаборатории слабых взаимодействий.— Она тоже не сумела стать настоящим другом...

— Я постелю вам здесь,— сухо сказал Соломин.

Когда стена спальни закрылась за ним, я обнял подушку и в течение часа честно пытался заснуть. Конечно, ничего не получилось. Соломин потряс меня. Ему было плохо. Я никогда не подозревал, что ему может быть так плохо.

Я сел на постели, спустив ноги на пушистый теплый пол. Потянулся к висящей на спинке кресла куртке, достал из кармана радифон и несколько секунд держал его в кулаке, тщаься понять, имею ли я право сделать то, что хотел. Вызвать Информаторий Академии Чести и Права кодом «нужно другу» было не сложнее, чем любое другое учреждение или любого человека. Но я не делал этого ни разу, да и никто практически не пользовался правом на информацию о близком человеке. Жутко и стыдно было знать, что через минуту экстракт сведений, которые с самого дня рождения Соломина собирала и хранила электроника, будет предоставлен в мое распоряжение.

Но Соломину было очень плохо.

2

Я проснулся довольно поздно, оттого что задремал лишь под утро. Вяло оделся, подошел к столу, допил холодный чай, оставшийся с ночи. Я был омерзителен себе. Я влез в чужую жизнь, не имея ни малейшего права на это, потому что ничем не мог помочь. Как теперь смотреть Соломину в глаза?

За спиной у меня приглушенный женский голос произнес: «Буди, буди, на тренировку опоздаешь». Я обернулся. Это напоминало бред. Стена была приоткрыта, в щель выглядывал растерянный, разлохмаченный Соломин. Секунду он смотрел на пустую мою постель, потом повел взглядом по комнате, увидел меня и расплылся в улыбке. У меня пересохло во рту.

— Доброе утро,— нежно проворковал Соломин добродушным, мягким басом.

Стена раскрылась настежь; выхлестнуло солнце, путаясь в белобрысой Женькиной гриве, окружая его голову неистово сверкающим нимбом. Я улыбнулся Соломину, отчетливо чувствуя дрожание своих губ.

— Как спалось? — Женька высился, блистая загорелой гладкой кожей, будто обшитая листовой медью дозорная башня,— ирреально широкоплечий, широкогрудый, бугристый от мышц.

— Да...— невпопад ответил я.

Он засмеялся. Из залитой солнцем спальни в тон Женьке зазвенел женский смех, и женщина показалась на пороге.

— Познакомьтесь,— проговорил искрящийся от удовольствия и гордости Женька.— Это Марина. А это достославный Энди Гюнтер.

— Очень рада.— Она улыбнулась дружелюбно, но чуть напряженно.

Я молчал.

— Позавтракаешь с нами? — спросил Женька.— У нас гостевой резерв не израсходован, так что пожалуйста...

Я молчал.

— Маринушка...— сказал он, чуть повернув к ней голову, и мускулы шеи и плеч его веско шевельнулись.

Она прошла на кухню, сразу замурлыкав там что-то весьма музыкальное.

— Слушай, Энди, я после завтрака ускачу, ты не обижайся. И не уходи. Тренировка, понимаешь, пропускать никак нельзя...

— Баскетбол? — спросил я. Молчать дальше было невозможно.

— Не-ет.— Он заулыбался. Он все время улыбался.— Верно, была такая мысль. Попробовал поначалу, да без толку.

— С твоим-то ростом? — изумился я.

— Ну! И мячик точно вкладывал, а все прахом. Нету чувства команды. Торчал посреди поля дурак дураком. Прыгаю в длину теперь.— Он вдруг принялся вздергивать на уровень своей головы то одну, то другую необозримую ногу. По комнате пошел прохладный ветерок.— Через месяц мировые!..— Он застенчиво улыбнулся и поплевал через левое плечо.— Очень замечательно, что ты заглянул,— сообщил он, произнося слова чуть отрывисто, в такт могучим махам.— Мы тут живем бобылями совсем. Серега в турпоходе с группой на Большом Неволь-

ничьем, там приличный оазис сохранился... Полный восторг! Больше года очереди ждали...— Он перестал пинать воздух, и речь стала плавной. Но все равно какой-то дерганой.— Впервые, знаешь, человек увидел зелень под открытым небом. А карапуз в дошкольном лагере. В городе, как ни крути, нельзя расти детям. Хоть куда-то надо на простор. Маришка-то, конечно, все бы их при себе держала, что восьмилетнего, что восемнадцатилетнего, но я настоял!

У меня обмякли ноги. Я нащупал кресло и сел.

— И конечно, сам тоже, знаешь, скушаю. Однако! — Он назидательно тряхнул вытянутым пальцем.— Мало ли чего мы хотим. Важно, что им надо. Я тут столько учебников по педагогике проработал...— застенчиво сказал он и улыбнулся.— Ой, давно тебя не видел, столько рассказать всего хочется! Мысли скачут... Вчера-то толком так и не поговорили...

— Господа! Кушать подано! — раздался звонкий голос.

На тарелках дымился завтрак.

Марина сунула полную ложку себе в рот и сказала:

— М-м, какая вкуснотель!

Эта реплика явно предназначалась Женьке, который, присев на краешек стула, удрученно принюхивался.

— Да...— пробормотал он.— Конечно, это еще ничего. С молочком...— Он осторожно прихлебнул молока из бокала.

— Опоздаешь,— заметила Марина.

Женька стрельнул глазами на часы и, ахнув, врубил ложку в брикет. Марина улыбалась, поглядывая на него исподлобья, потом глянула на меня, приглашая поулыбаться тоже. Я поулыбался тоже. Ее улыбка была почти материнской. Женька, отставив пустую тарелку и бокал, поднялся и растерянно замер.

— Что-то ведь я еще хотел...

— Побриться,— уронила Марина, не поднимая головы и продолжая аккуратно есть.

— Ой, точно! — простонал он и улетел в ванную. Там сразу что-то громко упало и раскатилось по полу.

Марина стала собирать посуду. Я смотрел. Стоило смотреть. Стоило только и делать, что смотреть на нее.

— И так вот каждый день,— произнесла она, а руки ее между тем что-то открывали, закрывали, включали: широкое солнце телеокна льнуло к ее гибкой спине, смуглым ногам.— Дитятко, ей-богу...— Она глянула на меня и тут же отвернулась. Я вдруг понял, что она меня боится.

— Побежал! — крикнул Женька, просовывая голову в кухню на какой-то нечеловеческой высоте. — Энди, не уходи! Все мне расскажешь про Оберон!

— Счастливо! — хором крикнули мы с Мариной, и он исчез.

— Вечно опаздывает, — недовольно сказала Марина.

— Почему? — спросил я. Соломин никогда никуда не опаздывал. По нему можно было проверять часы. — Это я его немного задержал...

— Немного, — усмехнулась она чуть пренебрежительно. — Это самый несобранный человек на свете. Я ничего не могу поделаться, и так старалась, и этак... Сегодня из-за вас. Сидит на кровати и бурчит: нельзя будить, устал с дороги... а сам косит на часы, ерзает... Завтра из-за мальчишки на улице, который попросит его достать залетевший на карниз планер, или из-за соседки, одинокой старушки, которая любит с ним болтать, или с парнями будет возиться, сюсюкать, словно не сыновья у него, а дочери, или... да мало ли, мне и в голову не придет. — Она помрачнела. — Увидит, например, очередной номер «Вакуума» или «Физикл» в киоске и станет, кусая губы, крутиться возле, а потом с отчаяния возьмет «Моды». «Посмотри, родная, что я тебе принес!»

— Он был талантливый физик, Марина, — сказал я после паузы.

Она словно ждала, что я заговорю об этом. Ответила сразу:

— Гениальный. К сожалению. Все ему мешали, все было не так. Это ведь тоже от громадной внутренней несобранныости. Почему я могу, почему все могут и работать с интересом, и оставаться нормальными людьми!

— Что это — нормальные?

— Вы... — несколько секунд она молча смотрела мне в глаза. — Видеться раз в неделю — это нормально? Тысячи самых прекрасных слов, преданность удивительная, женская почти — а потом опять дни и ночи ни слова, ни звука от него... и сама-то боишься позвонить, как же, помешать гению не дай бог! Это нормально? Три месяца не решалась сказать, что жду ребенка... сам не замечал. А потом — то же сумасшествие навыворот. Либо совсем не заботиться о нас, твердо зная, что у него одни права и никаких обязанностей, либо только одной заботой и заниматься, так, что в голову, кроме этого, вообще ничего не идет! Наверное, по-вашему, это нормально, ведь вы один. И он был бы один. Если б я его не спасла — засох бы. До меня он всегда был один. Это — нормально?

— Он сам вам сказал?

— Конечно, нет.— Она усмехнулась.— Хорохорился. Но когда... я же не девчонка, это понятно сразу...

— Вы не уважаете его, Марина? — тихо спросил я. У нее сверкнули глаза.

— Я его люблю. Вы знаете, что это?

— Думаю, что знаю,— проговорил я.

— Думаю, что не знаете,— проговорила она.

Я улыбнулся. Некоторое время мы молчали, потом она рассмеялась, смущенно махнув рукой:

— Что это я развевалась? Простите, Энди!..

Я облегченно засмеялся с нею вместе.

— Просто я струсил,— призналась она.

— Я догадался. Но умыкать вашего мужа в пользу теоретической физики мне даже и в голову не приходило...

— Глупо, да? Вы не думайте, я им ужасно гордилась. Даже свысока на всех посматривала: вот такая я, что такой человек меня любит. И очень старалась... но это не могло длиться вечно.

— Марина, не надо. Я все понимаю. А вы будто прощения просите у меня.

— Не-ет,— ответила она.— Я права. Это вы просите у меня прощения, потому что когда-то были не правы с женщиной — вот и соглашаетесь со всем, что я говорю.

Я даже не помню, о чем мы, собственно, с нею дальше беседовали. Мне было удивительно хорошо. Странно — еще лучше, чем вчера на аэродроме. Я как-то даже забыл, что ничего не понимаю. Она рассказывала про детей, про Женьку — как он побеждает всех других прыгунов в своей возрастной категории; как трудно бывает вытащить его в филармонию, хотя ему нравится старинная музыка, особенно — органная, к которой она ухитрилась его приучить еще в ранние годы; как он часами возится с детьми, с таким удовольствием, словно сам ребенок, играющий со сверстниками; как о нем, будто и впрямь о маленьком, надо заботиться, все напоминать... Я тоже болтал — про космос, наверное. Помню, она ахала с замиранием: «Да неужто?» И мне было хорошо.

...Только мы с Женькой уселись в комнате, предвкушая беседу и обед, как запел вызов.

— Елки зеленые,— пробормотал Женька, идя к экрану.— С Маришкиной работы, что ли...

На экране появился мужчина с красным, блестящим от пота лицом. Ворот его рубашки был расстегнут.

— Товарищ Соломин, здравствуйте,— выдохнул он.— Директор детского лагеря «Рассвет» Патрик Мирзоев.

— Узнал.— Женька встревоженно подобрался.— Что... Вадька?

Мирзоев судорожно кивнул. Женька вцепился в спинку кресла.

— Нет-нет, ничего не случилось! Просто Вадик с другом покинули лагерь. С ними был третий, но он испугался и отстал. От него мы узнали, что они хотели уйти в горы.

Женька желтел на глазах. Мирзоев с мукой смотрел на него.

— Предгорья прочесывают двенадцать орнитоптеров. К сожалению, одоролокаторы почти неприменимы: идет дождь...

— Дождь,— бессмысленно повторил Женька.— Пойдите, орнитоптеры... как же видимость?

Мирзоев пожевал толстыми коричневыми губами и смолчал.

— Все камни скользкие...— пробормотал Женька.— Вы... да это же... Я лечу к вам!

Из кухни, пробиваясь сквозь шум текущей воды, доносилось мирное пение.

— Марина! — неверным голосом позвал Женька.

— Аушки? — ответила она.— Изголодались? Уже скоро.

Женька двинулся на кухню.

Там перестала бежать вода.

...Женька сел за пульт и уставился на свои руки. Руки ходили ходуном.

— Дай-ка мне,— попросил я.

— Да,— бесцветно согласился он и неуклюже, боком, выкарабкался с переднего сиденья.

Летели молча. Впереди были медленно ворочающиеся облака и острые взблески голубизны.

— Все это пустяки,— вдруг заявил Женька бодрым жидким голосом.— Далеко ли уйдут два клопа? На кручу не полезут, а в долине разве что промокнут. Ты не волнуйся, Маринушка.

— Энди,— спросила Марина,— там такие тучи. Они нам не помешают?

— «Рассвет» в дожде,— ответил я.— Нам это никоим образом не мешает.— Я заметил, что выламываю акселератор, дошедший до упора.— Главное — спокойствие! — сказал я громко и положил руки на колени, сцепив пальцы. Пальцы хрустнули.

— Ты, главное, не волнуйся.— Женька погладил Марину по неподвижному плечу.— Главное — спокойствие. К нашему прилету их, конечно, уже найдут.

— Энди,— спросила Марина,— нельзя ли побыстрее? Мне все кажется, мы стоим.

— Мы делаем тысячу триста сорок.

— Благодарю вас, я вижу спидометр.

Я скособочился так, чтобы она не видела спидометр.

— Вот сейчас еще прибавлю,— пообещал я и бесцельно потрогал рычажок акселератора.

— Спасибо,— сказала она.

— Сейчас Энди еще прибавит...— беспомощно сказал Женька.

Я бросил оптер глубоко вниз и врезался в гребни туч. Мы пронизывали их, на миг выныривали в небо, с неистовой быстротой на нас рушился очередной блистающий, будто бы плазменный, горб, накрывал, мелькал за светозащитным стеклом дымными серыми струями. Стало лучше.

— Как мы летим...— произнесла Марина.

А потом вдруг сразу все кончилось. Я пошел на посадку, тут позвонил Мирзоев: дети нашлись живы-здоровы, даже не промокли, преспокойно пережидая дождь в семи километрах от лагеря, в маленьком гроте. Засекший их орнитоптер кружил в облаках, не обнаруживая своего присутствия. Пилоту был дан приказ скрытно сопровождать ребят до завершения побега. С минуты на минуту синоптики приоткроют небо над лагерем, и ребята смогут успеть вернуться посуху.

— А если они дальше пойдут?— хрипел умирающий от счастья Женька.— Хватайте их за шкирки!

Мирзоев отрицательно покачал головой. Глаза его буквально светились от облегчения, что дети нашлись.

— Придут сами,— проговорил он твердо.— Мы обеспечили их безопасность, но унижать их не имеем права. Вмешаемся только в крайнем случае. Пусть работают.

А Марина молчала, улыбаясь и прикрыв глаза. На прокушенной губе поблескивала капелька крови.

Приземлились на плоском поле, поросшем реденькой настоящей травой. В сизой дымке угадывались смутные тени гор. Клубящиеся тучи нависали над полем, над стеклянными глыбами зданий: из туч хлестал прямой светлый ливень, и рахитичные метелочки травы часто вздрагивали. Чувствовалось, что скоро проглянет солнце. Накрываясь блестящими плащами, к нам бежали люди, из дождя выныривали орнитоптеры, трепеща туманными крылышками.

— Какой ливень,— проговорил у меня за спиной Женька.— Ну вот, Энди, скоро увидишь нашего карапуза...

Я приоткрыл колпак. В оптер прорвался шум дождя, гул моторов, широкий сырой воздух, напоенный ароматом земли. Я мгновенно промок, волосы седым клоком свесились на глаза, и по спине потекло.

— Вы меня извините, ребята,— сказал я и выпрыгнул из оптера.

— Энди!— крикнула Марина. Только один раз.

Оскальзываясь, я пошел прочь, раздвигая сверкающий звонкий дождь окаменелым лицом. А потом, когда машина пропала за переливчатой завесой, опустил на колени, а потом припал к земле, как к жене. Земля была теплой, и дождь тоже. Я не был необходим — значит, был не нужен.

3

Месяц прошел. Месяц на Земле. Среди лиц, на которых даже под улыбками темнели привычные озабоченность и тревога. Месяц...

Я очень много успел. Вечером первого же дня я запросил Трансмеркурий Мортон — тот, захлебываясь от возбуждения, стал рассказывать, что происходило минувшей ночью в метрике околосолнечного пространства. Он ничего не знал. Я улетел к нему, проработал почти неделю, вернулся... Кто бы поверил мне? В общих чертах я уже представлял механику процесса, но голова шла кругом от мысли, что я, благодаря какой-то микрофлуктуации на прогибе поля, единственный, быть может, человек, оставшийся с памятью о том варианте. Приблизительно раз в тысячу семьсот двадцать шесть лет — я вычислил периодичность с точностью до секунд — дикое искажение пространственно-временного континуума приводят к его разрыву. Происходит скачок на другую мировую линию. Одна из бесчисленных неосуществившихся вероятностей становится реальностью, реальность — всего лишь одной из неосуществившихся вероятностей. Вчера я установил, что энергетика процесса на пределе и текущий вариант, мир Б,— неустойчив. Сегодня — что время работает на него. Чем дольше он продержится, тем меньше вероятность обратного перехода. Года через полтора возможность спонтанного соскальзывания обратно в мир А практически исчезнет, но сейчас любой толчок мог вызвать возвращение.

С Женькой я не виделся — он тренировался, готовясь к мировым соревнованиям, у меня тоже не было времени.

Пару раз мы созванивались. Марина смотрела на меня дружелюбно.

Сейчас я отдыхал.

Бар назывался забавно: «У доктора». Я набрел на него, бесцельно бродя по извилистым улочкам старого города. Взял два пива, уселся в затемненном углу. Пиво, оседая, шуршало в кружках.

Я отдыхал долго. Иногда входили люди, и бармен, видимо, всех их знал, потому что говорил: «Курт, я слышал, твой мальчик вернулся с Каллисто?», «Илза, дорогая, экспедиция наконец-то разрешена! Как печальна эта радость для меня — ты уезжаешь так надолго...», «Войтек, дитя мое, вы плохо выглядите. О эти женщины! Лучше совсем не иметь с ними дела!»

С пустыми кружками я подошел к стойке.

— Еще можно?

— Понравилось?— спросил бармен, листая какой-то журнал.

— Пива вкуснее вашего я не знаю.

Он отложил журнал.

— Это настоящее баварское пиво,— задумчиво проговорил он, неспешно наполняя кружку.— Простите, больше не могу. На ваш приход я не рассчитывал. Я сам, по случайно оброненным замечаниям в источниках, воссоздал рецепт. Мой бог, как надо мной смеялись коллеги!

Я понял, почему бар называется «У доктора». Я узнал бармена, его фото были в газетах несколько раз. Пиво мне наливал доктор истории и социологии Йозеф Айзен-трегер.

— Но почему, объясните мне, почетно вытаскивать на свет грязные секреты политиканов и зазорно — вкусные секреты пивоваров? Два вечера в неделю я с искренним удовольствием стою у стойки, говорю и слушаю, угощаю друзей и делаю им немножко приятно...

— Совсем настоящее?— спросил я.

Он впился взглядом мне в лицо и ответил не сразу.

— Вы шутите,— наконец проговорил он,— и очень неудачно. Конечно, я вынужден отчасти прибегать к синтетике. Но за это спросите не с меня.— Он махнул короткой волосатой рукой куда-то в сторону далекой, гниющей Атлантики. Со стуком поставил кружку передо мной, поправил рукав рубашки. Пиво вскинулось от сотрясения.— Было уже предельно ясно: если не принять срочных мер, к концу века планета начнет умирать. Но их же совершенно не волновало, чем дышать и что есть нам сегодня!

— И завтра,— добавил я.

— И тем более завтра. Мой бог, на родной планете мы забираемся под колпаки...

Мне вспомнились спиральные вихри, с ревом бьющие из шахт обогатителей там, в том мире.

— Я тоже чувствую эту боль, доктор,— сказал я.— Слишком обидно расплачиваться за ошибки, сделанные так давно, не нами — теми, кто давно исчез и давно осужден...

— Мой бог, они же предвидели все это! Столько слов! Вы не поверите, сколько было слов! И ученые были, они всё знали и били тревогу, но эти горе-политики на ней только спекулировали. Я очень мирный человек, но я бы...— он помедлил,— расстреливал...

— Да, пожалуй,— согласился я.

— Мне семьдесят лет. У меня три сына и ни одного внука. Люди боятся иметь детей.

— Далеко не все.

— Не все. Но я не знаю, кто прав. И кого уважать за мужество.

— И тех и других,— улыбнулся я.— Знаете, доктор, я встречал довольно много разных людей. И кажется, не встретил ни одного, кто не заслуживал бы уважения.

— Мой бог, если б это могло помочь...

— В конечном счете лишь это и может помочь. Я не философ и не историк, но мне так нравится, что на любого человека можно положиться!

— Если вам этого хватает,— сказал Айзентрегер печально,— вы счастливый человек. У вас есть дети?

— Нет.

Он покивал и опять чуть нервно поправил рукав.

В кармане у меня запел радиодфон.

— Добрый вечер, доктор Гюнтер,— удрученно произнес с экрана Абрахамс, когда я дал контакт.— Я крайне виноват... Вы, вероятно, будете сердиться, но увидеться с вами в ближайшее время я не смогу.

Девять часов назад я договорился с ним, с лучшим из учеников Соломина, о встрече, чтобы кое-какие расчеты провести вместе. Мне не хватало знаний.

— Что-нибудь случилось?— спросил я Абрахамса, прощально кивнув доктору и отходя от стойки.

— Н-нет... пока ничего не известно...— промямлил он.— Но дело касается моего учителя, я не мог отказать...

— Что такое?— картинно изумился я, чувствуя, как сердце валится куда-то в холод.

— У нас вдруг затеяли переезд в новое здание. При разборе институтских архивов наткнулись на документа-

цию его работы — той, что он оставил. Материалы крайне скупы, ведь перспективной ее не считали,— но в свете последних открытий, в частности моих скромных работ... Меня попросили срочно проанализировать.

Я даже зажмурился на миг. Достаточно мелочи, чтобы все покатилося обратно...

Например, возвращения Женьки к работе над синтезом.

— Ведь Соломин оставил работу,— осторожно сказал я.— Признался, что попал в тупик.

Абрахамс красноречиво пожал плечами.

— Я крайне счастлив был бы заняться вашей проблемой, она увлекла меня,— сказал он очень виновато.

Мы договорились, что он позвонит мне через пять дней.

...На стадион я не пошел и не стал смотреть телевизор. Соломин получил золото.

Вечером я навестил их. Дверь разомкнулась, и голос Женьки, донельзя бодрый и веселый, возгласил из глубины:

— Кто еще пришел поздравить старого прыгуна со славной победой?

Раздались шаги и смех — громкий и старательный.

— Это я,— сказал я.

Секунду он смотрел на меня, будто не узнавая. Потом ссутулился и перестал улыбаться — лишь в глазах светилась неподдельная, но какая-то старческая радость. Горел телекамин. Как тогда.

— Вот ты...— пробормотал Женька.— Иди скорее. Садись.

— Прими мои поздравления,— сказал я. Он бессильно мотнул головой.— Марина дома?

— Она тебе нужна?

Я сел в кресло и протянул ноги к камину.

— Что, греет?— чуть улыбнулся Женька.

— Нет, Марина мне не нужна.

— Дома.— Женька понизил голос и оглянулся на спальню.— Поздравители утомили — легла вздремнуть. А я сижу и ду-маю о чем-то.— Он неловко повел рукой и снова улыбнулся. Гибко растянулись черные трещины морщин.— Я рад, что ты прилетел.

В дровах что-то с хрустом обвалилось, взлетел фонтан искр.

— Столько лет мечтал,— Женька покачал головой, и встрепанная грива его волос мягко заколебалась.— А вот и все.

— Что — все?

— Все и есть все.

— Почему, Женя?

Он шевельнул глыбами плеч:

— Так... Не нужно это. Я для растительной жизни создан. Срам, Энди. Любить жену, детей, из кожи лезть, чтобы радовались, и все. Свои дела — чушь, чтобы время скоротать, пока они не нуждаются во мне, пока у них свои дела. Вот она спит, не вижу ее — и мне уже одиноко. Сижу и жду. — Он вспомнил, что стоит, и опустился в кресло. — Пусть поспит... — нежно проговорил он. Так нежно, что у меня сжалось горло. — Из-за моей победы устала...

Не то чтобы я всю жизнь был один. Но это другое. Будто летишь на задание. Мертвые черные скалы внизу, страшно чужие, страшно чужие... Медленно меняется узор ослепительно рыжих облаков. Бывает, радары засекут другой оптер, идущий другим курсом, с другим заданием. Подружишь навстречу, зависнешь, коснешься бортом — и тот, усталый, соскучившийся по человеческой речи не меньше тебя, сделает то же. Хлопнешь по затылку в пятислойный пластик плечу. Лица не видно за ситаллопластом шлема. «Ты куда?» — «Туда». — «А я туда». — «Устал?» — «Дьявольски». — «Я тоже». — «Машина тянет?» — «Спасибо, порядок». — «Ну, счастливо». — «Удачи». Захлопнули фонари, двигатели на форсаж — надо наверстывать время. Может, успеешь оглянуться, увидеть, как темная точка проваливается в складки облаков. Нет базы. Негде снять скафандр.

Женька, приоткрыв рот, смотрел на меня. Учужал что-то...

— Как твои ребята?

— Ну что. — он сразу заулыбался, — Вадька ведет себя прилично. Жаль, ты тогда... — Он осекся. — А Сережка засел на Невольничьем до начала занятий. Остальные уже вернулись... кроме еще одной девочки, — добавил он со странным придыханием. — Позвонил, сказал, им хочется побыть вдвоем. Удивительно, как рано начинают любить наши... — Он опять осекся и закончил, воровато, даже как-то виновато покосившись на меня: — Наша молодежь!

Он был так горд...

— С ним это впервые, — благоговейным шепотом поведал он. — В самый-самый первый раз...

— А ты как?

— Что я? — Он погас. — Буду Марине помогать. Наверное, снова поедем на тот атолл... Не один я, есть чем заняться.

— Она у тебя кто?

— Океанолог,— со вновь проснувшейся гордостью сообщил он и мечтательно уставился на биение огня.— Океан, песок...— задумчиво проговорил он.— Мы там познакомились... Ты приедешь? Ты приезжай, пожалуйста.

— Обязательно.— У меня рвался голос.

«Что-то я совсем раскис,— подумал я.— Нельзя мне ездить к нему».

— Ты счастлив?— спросил я.

Он смотрел в пламя. Оранжевый свет плескался на его узком лице, вынутом из тьмы. Смутно трепетали далекие стены. Будто удивляясь себе, он сказал:

— Да...

Пока Марины нет, надо начинать.

— Кстати, помнишь Ивана Абрахамса?

— Конечно. Такой одаренный, милый мальчик. Он ведь сейчас один из ведущих?— Он встрепенулся.— Конечно, помню. У него еще было с языками неважно... Знаешь, школьный минимум подняли до двенадцати. А Сережка собирается сам взять еще четыре.

— С ума сошел,— искренне сказал я.— Он что, в лингвисты собрался?

— Ну, он еще не знает,— со скромным достоинством ответил Женька.— Просто у него к языкам способности. И тут вышла она.

Женька перехватил мой взгляд и стремительно обернулся.

— Маринушка!— Он весь расцвел ей навстречу.— С добрым утром!

— Ба!— сказала она, сладко потягиваясь.— С каких пор у тебя утро?

— С тех пор, как ты проснулась,— ответил он и застенчиво улыбнулся.— Когда ты спишь, всегда темно. Вот.

Она, усмехнувшись, потрепала его по голове — он с готовностью пригнулся, чтобы ей легче было достать,— и заметила меня.

— Добрый вечер, Энди. Вы удивительно удачно приехали. Вы ужинали?

— Я все придумал!— воскликнул Женька.— Хватит тебе надрываться! Мой праздник — мне и работать.— Он ринулся в кухню.

Я опять уже смотрел на пляшущие остря, на черные, изломчатые поленья, истекающие синеватыми огоньками. Видимость огня...

— Что ты будешь, Энди?— раздалось из кухни.

— Баварское пиво!— страшным голосом ответил я.

Женька показался на пороге, дрожа полусогнутыми коленями.

— Националист!— перепуганно пискнул он.— Мама! Мамочка! Националист меня съест!

И порскнул обратно. На кухне зашумело и засвистело, Марина порывисто качнулась на подмогу:

— Ошпарится...

Я улыбнулся, и она, смущенно поджав губы, опустилась в кресло. Мы помолчали, Марина с беспокойством прислушивалась. Потом, чуть принужденно открывая беседу, спросила:

— Жека вам рассказывал, что отчудил наш Неистовый Роланд?

— А кто это?— спросил я.

— Не рассказывал? Нет? Сергей остался на Невольничьем с какой-то девчонкой из их группы. И ведь уже осень. Там плюс пятнадцать только, ночью — заморозки на почве. А они в палатке.

— Вдвоем же,— успокоил я ее.

— Вот именно. Вокруг никого. Кошмар!

— Не думаю, что слишком большой,— сказал я о кошмаре.

— Разумеется!— воскликнула Марина.— Он совсем еще мальчик!

Вошел Женька — озабоченный, внимательно прислушивающийся.

— Я разогреваю остатнее,— сказал он деловито и пристроился на подлокотник кресла, в котором сидела Марина.— Мы будем пировать. Все вместе. По-моему, мы имеем право. Да!— Он опять прыгнул, теперь — к книжному шкафу.— Смотри, Марина, что я тебе принес!— Он протянул ей толстый, яркий журнал.

Она благодарно засмеялась.

— Когда ты успел?

— Провожал всех, смотрю... «Мо-оды»!

С польщенным видом она листала, приговаривая:

— В такой день обо мне вспомнил... Что за муж у меня. Золото, а не муж. Можно подумать, я каждый месяц меняю платья!

— Все равно, должна быть в курсе.— Женька важно надулся.— Такова моя воля.

Из кухни донесся пронзительный свист. Женька вздрогнул и провалился туда. Свист затих, тревожно повеяло горелым.

— Я так и знала,— процедила Марина и поднялась, бросив журнал на пол. Но Женька уже выдвигался к нам,

осторожно неся на вытянутых руках дымящийся сосуд.

— Пригорело немножко,— сказал он виновато.— Ничего, уголь сам съем. Ах, черт, вилки забыл.— Он опять прыгнул в кухню.

— Ну что ты так суетишься?— спросила Марина очень ровным голосом. На шее у нее проступило алое пятно.— Подумай один раз и делай спокойно. Что ты скачешь? Ты не на стадионе ведь уже!

— Марина...— донесся с кухни растерянный голос.

— Слышал новость?— спросил я лениво и сцепил пальцы рук.

Крепче. Чтобы хрустнули.

— А?— раздался незаинтересованный Женькин голос.

— Новость совершенно идиотская. Абрахамс берет твою последнюю тему. Ту, по вакууму. Делать им нечего, по-моему.

Наступил миг тишины. Женька замер на пороге с тремя вилками и тремя ложками в руке — оранжевый от света камина. Где-то далеко за ним призрачно колыхалась во мраке его тень.

— Ну, где обещанное?— Я с аппетитом понюхал дым.— Слюнки текут, хоть руками хватай.

— Откуда знаешь?— Женька медленно подошел. Марина автоматически разбросала массу по тарелкам.

— Иван сказал.— Я начал есть.— Так вот...— Я говорил невнятно, словно о пустяке, и они немного успокоились.— В институте архивы подняли... Жалуетса на тебя Иван, неотчетливо, говорит, ты писал. Они, может, за разъяснениями к тебе явятся. Ты, я знаю, человек сердобольный, начнешь их наставлять на путь истинный... так вот отвечай, что ничего не помнишь. Не стоит их подводить к тупику, в который сам когда-то забрался. Забредут в него — ничего не изменится, не забредут — тем лучше.

Марина с испугом смотрела на меня, прижав кулак с вилкой к груди. Женька проговорил:

— Я действительно ничего не помню. Странно, если они-то вспомнят обо мне...

4

Так я не работал ни разу в жизни. Неделя прошла в цифровом угаре, я не спал, глотал стимуляторы. Я должен был хотя бы в принципе понять, как закрепить этот мир, чтобы не висел над ним дамоклов меч соскальзывания к моменту перехода...

Я не смог.

Я принял снотворное и повалился на диван не раздеваясь.

Я проснулся оттого, что почувствовал взгляд. Разодрал глаза. Одурманенная голова кружилась. В тумане плавало, тошнотворно раскачиваясь, Женькино лицо. Животный ужас на миг затопил мой мозг, я задергался на диване, пытаюсь встать, но головокружение раз за разом бросало меня обратно.

— Что?!— выдохнул я, едва в состоянии шевелить языком.

Женька поспешно и чуть испуганно тронул меня за плечо:

— Ничего, Энди... елки зеленые, прости. Разбудил.

Я все-таки сумел спустить ноги с дивана и сесть. Женька, черной полосой рассекший багровый закат, снова поплыл куда-то вверх и вбок. Я сглотнул горечь и спросил снова:

— Что?

— Они приходили.

— Ну и что с того?

— Энди...— Он помедлил и прошептал:— Я боюсь.

— Вот что.— Я поднялся, еще пошатываясь, обошел вокруг него, встал спиной к телеокну. Женька повернулся ко мне и сразу сощурился.

Я не знал, что говорить. Я не психолог. Я друг просто.

— Чего ты боишься?

— Они идут неверным путем,— тихо произнес он.

— Ты рассуждаешь, что говоришь?— заорал я.— Ты что, знаешь верный путь? Ты же бросил работу потому, что не знал его!

Он долго молчал. Его веки дрожали.

— Я это чувствую, Энди. Чувствую. Ты понимаешь? Откуда-то... С тобой так бывает?

Я молчал.

— Я не бросал физику. Это физика бросила меня. Я дрянь, трава. Могу быть направлен только на одно. Пробовал работать, будто ничего не изменилось, но они всегда были рядом. Скучна стала цифирь. Мне хотелось радовать их все время, помогать все время... я растворялся. Ты слушаешь?

— Да.

— Понимаешь?

— Да, Женя. Да.

— Эти восемнадцать лет меня не было. И уже не будет. Мне хорошо, спокойно, тепло, я их очень люблю. А теперь Абрахамс неправильно это делает. А я не могу по-

мочь, голова пустая. Только чувствую. Я боюсь возненавидеть дом.

Я принялся ходить по комнате. Женька следил за мною, водя головой из стороны в сторону. Ждал. Чего? Я-то что могу? Что все мы можем друг для друга?

— Я расскажу тебе сказку. Жил-был великий ученый. Все его уважали. Но не любили. Он был мертвый человек, беспомощный и высокомерный. Никто не знал почему. Однажды — давно — ученый полюбил женщину. Тогда он был еще живой и очень добрый. Им было хорошо. Ученый думал, что женщина любит его за талант. А женщина думала, он любит ее за верность и заботу. Как обычно, каждый думал, что его любят за то, что он сам в себе любит. На самом деле было наоборот: ученый любил женщину, так как мог гордиться талантом, а женщина любила ученого, так как могла гордиться терпением и заботой. Но когда он работал и даже когда делал открытия, она чувствовала себя ненужной ему. А для ученого она была высокой наградой, которую он завоевывал снова и снова, швыряя к ее ногам очередные тайны. Он думал, они ей нужны. Он жил для нее и поэтому не мог жить с нею под одной крышей. А она хотела постоянно быть с ним. Поэтому она стала думать, что он эгоист. Он решил, что, раз она так думает, это так и есть. Он перестал чувствовать гордость и почувствовал вину. А от вины не любят. Любят только от правоты. Они начали ссориться и поэтому встречаться чаще, надеясь помириться, но только ссорясь сильнее. Женщина несколько раз порывалась сказать, что ждет ребенка и очень хочет его, но не решалась. Поэтому она очень обиделась на ученого. Однажды, едва не плача, она села в свой оптер и улетела — и через десять минут разбилась насмерть. Вероятно, это был сильный приступ дурноты. Из результатов расследования ученый узнал, что через полгода у него родился бы сын.

Он едва не сошел с ума. Наверное, даже немножко сошел. Через некоторое время он сделал великое открытие, которое спасло человечество. Но его самого уже никто не мог спасти.

Много лет прошло, и обо всем узнал его последний приятель — с ним ученый не успел поссориться, потому что приятель много лет работал на одном из спутников Урана. Приятель знался с нечистой силой. Он вызвал джинна, и тот сказал: «Хорошо, начнем сызнова». И все вернул. Земля перескочила на другую мировую линию. Вон, кстати, джинновы расчеты у меня на столе. Женщина в последнюю встречу сказала про ребенка, и с этого момента

началось расхождение. Но джинн сказал: «Энергетика процесса такова, что создаваемый мир будет первые годы неустойчив. Достаточно маленького изменения в сторону мира А, как все лопнет, соскользнет обратно в двенадцатое августа мира А, к моменту перескока. И тогда твой ученый проснется у себя дома лысый, великий и одинокий».

Женькино лицо отливало синевой, и под ногтями иступленно вцепившихся в подлокотники пальцев была синева. Стеклянными глазами он смотрел на меня. Сочились минуты.

— Мне можно посмотреть? — надломленным голосом спросил он.

— Можешь взять с собой, — ответил я.

...Не зажигая света в кабине, я круто вздыбил оптер в ночное ненастное небо. Ветер ударил в борт, машина накренилась, я потянул акселератор до упора. Двигатель взвыл. Оптер, качаясь в ветре, прыгнул вперед, вдавив меня в сиденье. Из тьмы впереди вдруг стало проявляться плоское туманное море огней, страшно далекое, страшно далекое... Мюнхен. Я положил машину на крыло. Куда я летел? Мне хотелось разбиться. Как она.

Из кармана загудел радиотелефон. Я не отвечал. Загудел опять. Я не отвечал. Загудел опять. Я выхватил его и хотел швырнуть в темную дождливую бездну. Загудел опять. Я дал контакт.

На экранчике появилось незнакомое лицо.

— Доктор Гюнтер. Я рад, что вы не спите. Добрый вечер.

— Добрый вечер.

— Мне хотелось бы побеседовать с вами.

— Я вас слушаю.

— Не уделите ли вы мне два-три часа? В случае вашего согласия я пригласил бы вас к себе.

— А с кем, собственно, имею честь?

— Простите мою бестактность. Николай Чарышев.

Я на секунду зажмурился. Председатель Экологической комиссии ООН... Так.

— Очень рад, — сказал я, открывая глаза.

...Странное место. Второй раз я ступил на древнюю брусчатку под древними, такими удивительно неевропейскими башнями — и второй раз стиснулось горло от сухого, отрешенного стука под каблуками. И второй раз нестерпимо захотелось стать лучше себя. Колдовское место.

Кутаясь в теплую куртку, Чарышев молча дал мне осмотреться. Потом, смущенно улыбаясь, вынул правую руку

из кармана. Мы обменялись рукопожатиями. Он был одного роста со мною, и маленькая, мягкая кисть его была горячей и влажной.

Мы пошли внутрь, и он пытал меня. Спросил, не устал ли я. Не проголодался ли? Быть может, хотя бы кофе? Или душ?

Я не хотел ни кофе, ни душа. Я хотел ясности. Мы вошли в кабинет, Чарышев усадил меня в очень старое кресло. За окном мерцала в ночи зубастая стена.

— Доктор Гюнтер,— проговорил Чарышев.— Вам, несомненно, известна, хотя бы в общих чертах, сложившаяся на планете обстановка.

— В общих чертах известна,— помедлив, сказал я.

— Все производственные мощности законсервированы. Все! Каждая гайка, каждая пуговица производятся вне планеты и завозятся из Пространства — знаете, сколько это стоит? Но бог с ними, с затратами,— хлеб даже на вес золота не вырастить нигде, кроме Земли, кроме тех жалких лоскутков Земли, которые нам еще остались, которые кормят нас, дают еще кислород! Их сейчас девять, и потеря любого из них покончит с земной цивилизацией. Между тем потеря более чем вероятна — Сахара ползет на юг, Конголезский оазис под угрозой. Вы это понимаете? Есть, конечно, несколько перспективных направлений работы, но у нас может просто не хватить времени.

Он замолчал. Я ждал.

— Абрахамс в тупике.

— Видимо, это не перспективное направление,— сразу сказал я. Будто тяжеленные камни провернул во рту.

Чарышев внимательно посмотрел на меня, в его глазах было какое-то запредельное понимание и запредельная усталость.

— Это самое перспективное направление,— мягко проговорил он.— Я в этом убежден. Но нет времени.

— Вы не специалист.

— Доктор Гюнтер,— проговорил Чарышев,— Соломину проблема по плечу. Мы с вами знаем, что это за талант. Былые обстоятельства вынудили его оставить научную деятельность, но они изменились. Семья его прочна и надежна. Как видите, я в курсе и говорю небезответственно. Помогите нам. Он твердит, что все забыл. Мы предложили ему мнемостимуляторы, но он даже от этого отказался. Он отказывается от всякого сотрудничества. Я не могу понять.

— Это его право.

— Человечество, доктор,— произнес Чарышев.

У меня кружилась голова, я видел Чарышева как бы сквозь залитое водой стекло. С тех пор как Женька разбудил меня, прошло уже девять часов, и я ни на минуту не сомкнул глаз.

Чарышев снял очки, и его глаза стали совсем беззащитными.

— Это выше всего,— медленно проговорил он.— Не просто сумма — я, ты, он... Цивилизация, прошедшая миллион адом от пещер до звезд. Кроме этого, нет ничего, доктор. Ничего.

Я молчал.

Он сидел сгорбившись. Над головой его недвижимо летела гипнотически прямая вереница портретов.

— Что делать — ума не приложу,— тяжело сказал он.

...Глубоко внизу текли назад бескрайние бурые равнины, чуть озаренные тлеющим справа туманно-желтым восходом, кое-где украшенные накрененными остовами догнивающих деревьев и изредка мерцающими провалами затянутых грязной накипью болот.

5

— Ребята знают?— спросил я, садясь.

Женька пожал плечами.

— Сережка давно выключил радио — знает, что мы бы звонили по десять раз на дню. А Вадик не поймет... наверное.

— Жека,— спросила Марина.— Ты действительно ничего не помнишь?

Секунду Женька пытался сдержаться. Я видел, как дергались его острые скулы, выпрыгивая из сети морщин и снова утопая в ней.

— Да!!! — завопил он.— Я все забыл! И уже не вспомню!

Марина съежилась от крика — ей показалось, он обвиняет ее. Мне тоже показалось. Преодолевая головокружение, я подошел к Женьке вплотную, краем сознания понимая, насколько я смешон в этой роли.

— Если ты еще хоть раз повысишь голос...— угрожающе сказал я, не доставая ему даже до плеча.

— Энди,— устало произнесла Марина.— Он не виноват.

— Я подлец, правильно они сказали! Но что я могу поделаты!— Он схватился за голову ручищами.— Я не знаю, как делать из вакуума вещество! Не знал и не знаю!

— Спокойнее!— крикнул я.

— Я не могу больше.— Марина встала.— Скоро мы начнем кусаться.

— Включи телевизор,— попросил Женька едва слышно.

— Думаешь, там что-то новое?— пожав плечами, спросила она и коснулась контакта.

На полстены вымахнул перрон магнитолета: опутанные паутиной ярусных дорог глыбы домов вдали, радужное зеркало тротуара, люди у эскалатора. Один — в цветастой рубашке и шортах, с грушей транслятора на поясе — держал микрофон у лица молодого, модно одетого парня.

«...И руководство института,— говорил парень,— тоже выступает не в лучшем свете».

«Не о том вы,— произнесла женщина с маленькой девочкой на руках, подавшись к микрофону. Девочка с любопытством озиралась, размахивая громадным белым бантом, сидящим на затылке.— Вечно у нас так: вместо того, чтобы дело делать, виноватых ищут».

— Я выключу,— сказала Марина.

— Нет,— ответил Женька умоляюще.

«Ну неужели вы не понимаете, что свобода — это всего лишь возможность поступать по совести!— возмутился царственный старик, рубя воздух роскошной тростью.— А дайте возможность поступать бессовестно — будет не свобода, а хаос!»

«Да кто поступает бессовестно?— крикнули сзади. Все обернулись, корреспондент проворно поднял микрофон повыше.— Вы умеете поступать бессовестно? Нет? Так почему думаете, что кто-то другой умеет? Почему кто-то хуже вас?»

«Позвольте мне»,— проговорил смуглый, усатый человек, стоявший поодаль от корреспондента.

Тот с готовностью поднес микрофон. Беззвучно подлетел магнитолет, выплеснул толпу.

«Представьтесь»,— громко, для всех, попросил корреспондент.

«Хосе Алигьери, инженер завода паутинных конструкций. Здесь в командировке. Понимаете... Оказывается, есть такой парень, который чуть не двадцать лет назад мог решить махом все проблемы. Вакуум-синтез! Товарищи, это же — все! Дешево! Атомарно чисто, без малейших отходов! Только энергию давай, а энергии у нас полно, орбитальные гелиостанции на холостом ходу. И этот парень говорит: не хочу. Да какое он право имеет не хотеть? Гнусно жить, когда знаешь, что так бывает. Оказы-

вается, где-то ходит человек, которому я, ни разу с ним не встречаясь даже, доверял. А он меня предал».

«Но если он действительно не в состоянии был двигаться дальше?— спросил модный парень.— Ведь в сводке сказано, Абрахамс даже не знает, как подступиться...»

Алигьери пожал плечами:

«Может, и так, конечно... Но бросил-то он работу не от того! Из-за каких-то своих душевных переживаний! Вот что омерзительно! Я что думаю? Ведь действительно, не он один физик, правильно. Раз ученые узнали такой путь, все сделают. Так? Но именно Соломина надо заставить участвовать в работе. Чтобы вылечить его от заскока. Ведь, как ни крути, заскок это у него, ведь не врожденный он эгоист, в самом деле! Он жить-то потом не сможет, совесть заест».

— Может, хватит?— опять спросила Марина, и опять Женька ее остановил.

«Разрешите»,— попросил человек из приехавших на магнитолете и, осторожно раздвигая толпу, протиснулся к корреспонденту. Человек был очень стар. Серая, морщинистая кожа его лица, оттянутая — я сразу сообразил — длительными перегрузками, висела мягкими складками, и через щеку шел застарелый неровный шрам.

«Представьтесь, прошу вас»,— сказал корреспондент, направляя на него микрофон.

Алигьери заулыбался и спросил:

«Ну вы-то со мной согласны?»

«В принципе»,— ответил подошедший, и его шрам заходил вперед-назад вместе с безвольными колебаниями провисшей кожи.— Я хотел только добавить... а, да. Мехрангиз Брахмачария, в прошлом пилот-испытатель, теперь конструктор, работаю в гиперсветовой программе. Товарищ Алигьери прав, безусловно, в том, что Соломин не врожденный эгоист. У меня есть ощущение, что в нашем мире эгоисту просто неоткуда взяться. И мы в быту прекрасно это знаем. Но когда начинаем так вот страстно и бестолково испытывать чувства по поводу человека, которого вживе ни разу не видели, оказывается, это знание не стало для нас естественным. По-моему, только этим и объясняется происходящее. Ведь, строго говоря, такого рода публичные дискуссии — безнравственны. Я вообще осуждаю администрацию, предавшую информацию о прошлом Соломина гласности.— Он поднял левую руку, успокаивая загомонивших людей.— Сейчас поясню. Передайте мне, пожалуйста, микрофон, мне будет удобнее... Мне кажется, что смешаны две проблемы. Одна из них —

проблема вакуум-мультисинтеза — лежит вне нашей компетенции, ее решат специалисты. Другая проблема — личный выбор Соломина. Она тем более вне нашей компетенции, ее может решить только сам Соломин. Смешав сгоряча эти две проблемы, мы получили абсурд, который столь поспешно назвали „рецидивом индивидуализма“».

«То есть вы отрицаете право любого человека судить о делах общечеловеческих, пусть и не входящих в область его специальных знаний? — не выдержал даже корреспондент. — Но это право закреплено в Конституции!»

«Опять! Где общечеловеческое дело? В Конституции закреплено равенство требований человечества к любому из людей — да. Но если бы фамилию Соломина не связали с синтезом, никому и в голову не пришло бы заставлять его бросить одно дело и заняться другим. Значит, сейчас налицо неконституционное завышение требований, не так ли?»

«Ну, знаете...»

«Нет и не может быть права вмешиваться в нравственные поиски взрослого, психически здорового индивидуума. Посмотрите. Диалектическая триада отчетливо прослеживается в развитии этого аспекта отношений. От невмешательства из равнодушия и страха — мол, хоть на голове стой, но меня не трогай; через безграмотное, пусть из благих побуждений, вмешательство — я добра желаю, делай, что говорю, я лучше знаю, как тебе жить... Наконец, к высокому невмешательству из уважения и заботы: я вправе лишь стараться понять и осторожно советовать, если моего совета спросили и мне кажется, он может помочь. Не более. Ибо доверяю человеку. Ибо если мне кажется, что он ведет себя не так, как вел бы себя я, это не значит, что он глупее или хуже меня».

«Но ведь факт преступления налицо! — крикнул старик с тростью. — Ученый по личным мотивам прекратил работу над общественно значимой проблемой! Это-то вы не отрицаете?»

«Отрицаю, — спокойно отозвался конструктор. — Талантливый ученый перестает заниматься делом, которому отдавал все силы. Налицо поступок, который кажется странным. Несомненно, он вызван каким-то чудовищным нравственным надломом, поиском выхода из неизвестной нам, но чрезвычайно болезненной ситуации...»

— Выключи, Жека, — попросила Марина. Женька не пошевелился.

«Вот это правильно», — сказала женщина с девочкой на руках.

«Вы эгоист похлеще Соломина!» — выкрикнул Алигери.

«Вы лично зажарили бы человека, чтобы разнообразить меню?! — с неожиданным гневом спросил Брахмачария, повернувшись к нему, и ткнул в его сторону микрофоном. Тот отшатнулся. Брахмачария выждал, но ответа не дождался. — Тогда зачем советуete это нам? Важнее человека ничего нет».

«Есть, — сказал старик с тростью. — Человечество».

— Может, хватит все же? — сказала Марина с нарастающим раздражением.

— Нет, пожалуйста, — моляще, как ребенок, выговорил Женька. — Мне надо...

«Вы правы, конечно, — после короткого раздумья ответил Брахмачария. — Но человечество состоит из людей. Два века лучшие люди боролись за очеловечивание человечества, сталкиваясь с необходимостью убивать людей. Наконец человечество становится человеческим. Если вернемся к прежнему — грош нам всем цена».

«Это так, — проговорил молчавший до сих пор мужчина в черном комбинезоне. Молния комбинезона была растегнута на груди; в левой руке мужчина держал черный шлем с голубым кругом на лбу — символом чистой Земли. — Гжесь Нгоро, Неотложная Экологическая Помощь, Конго. Там очень непросто, вы знаете. — Он помедлил, потом решительно сказал: — Но просто никогда не будет. Нельзя оправдываться мыслью, что, пока трудно, можно все. Мол, потом, преодолев, отмоемся. Займемся собой. — Он покачал головой. — Не отмоемся. Беречь друг друга надо всегда, и особенно — именно когда трудно. Сломался человек — он уже не товарищ, не работник. Мы у себя это слишком хорошо знаем. — Он опять помедлил. — Я уж не говорю о том, что сломанные люди вообще никогда не выберутся из трудностей».

— Выключи. Я умоляю.

Женька не ответил. Тогда я с трудом встал — комната качалась, — подошел к экрану и переключил программу. Там тоже спорили, только другие люди, в другом месте. И я выключил. Изображение сломалось и померкло, стало очень тихо.

— Зачем ты? — спросил Женька после долгой паузы.

Там, за экраном, люди решали — решать им за нас или нет. Впрочем, почему за нас? За Женьку. Он один. И в том мире, и в этом он один-одинешенек. Теперь я мельтешу тут, делаю вид, что помогаю, возможно, ему даже кажется что я действительно ему помогаю. Но он совсем один.

— Марина устала,— объяснил я.

Марина вскинула на меня удивленный взгляд. И тут же отвернулась, спрятав лицо.

— Будь человеком,— попросил я,— свари мне кофе, если у вас есть. Я зверски устал.

Женька вскочил.

Марина поднялась и безвольно пошла за ним.

Я ученый. Я знаю: нельзя заставить творить. Неужели Чарышев не понимает? Что за бессмыслица, он же сам — один из крупнейших экологов... Творчество — это бесшабашная уверенность, раскованность, свобода...

Я очнулся от гудка вызова. Дал контакт — на экране возник Абрахамс.

— Где учитель?— спросил он, увидев меня. Словно я и должен был быть здесь, в квартире Соломина.— Понимаете, что-то забрезжило... Мне необходимо поговорить.

— Он не физик,— сказал я.

Абрахамс заморгал и судорожно улыбнулся.

— Я не могу в это поверить,— тихо ответил он.

— Энди, кофе готов!— раздался с кухни голос Женьки, и Абрахамс встрепенулся.

— Учитель!— крикнул он.— Доктор Соломин!

— Это Абрахамс?— шепотом спросил идущий мне навстречу Женька и отступил обратно в кухню, чтобы пропустить меня в дверь. Я кивнул.— Я его прогоню,— неуверенно пообещал он.

Мы остались с Мариной вдвоем.

Я вспомнил, как она потчевала меня в первое утро. Дурнота ненадолго отступила. Я ободряюще улыбнулся Марине, но она резко отвернулась, будто я ее оскорбил. Я взял чашку в обе руки и поднес к лицу. Кофе был горячий.

— Нам нужно было разойтись?— вдруг совсем беспомощно спросила она. Я не ответил.— Теперь ведь получается, что я во всем виновата, да? Втащила его в не его жизнь...

— В чем виновата? Марина,— я засмеялся,— ну честное слово! Где криминал-то?

— В том, что он... перестал.— На ее щеке вспыхнули пятна.— Но он сам перестал, Энди! Сам! Сережке двух не исполнилось, я же помню тот вечер. Он сам сказал: все. Я поверить не могла, думала, это очередная хандра, у него бывает, когда что-то не получается... Я кричала: ты гений! Возьми себя в руки! А он только хихикает, как нелепый мальчишка, целоваться лезет — неинтересно, говорит, вы и так меня любите... Это — мужчина?!

Когда мы вошли в комнату, Женька внимательно слушал Абрахамса, шустро работая на невесть откуда взявшемся карманном компьютере. Абрахамс увлеченно излагал. Женька вдруг сказал: «Ого!» — и Абрахамс стал изгибаться и лезть из экрана, чтобы увидеть результат.

— Погодите, ребятки, сейчас, — пробормотал Женька не оборачиваясь. На ощупь взял со стола одну из появившихся там толстых пожелтевших тетрадей с торчащими уголками вложенных листков, стал рыться в ней. — А у меня тогда получалось... — бормотал он. — Сейчас... У меня получалось... — Нашел, всмотрелся. — Нет, это все тоже плешь собачья. — Задумался. Абрахамс ждал. Ждали и мы. У Марины подрагивали губы. — Вот что, — возвестил Женька наконец. — Плоский твой вакуум, конечно, нелепо. Но формально все преобразования верны. Попробуй представить себе эту нелепость во плоти. Когда я был ученым, — просто сказал он, — образность всегда помогала. Понял?

— Нет, — качнул головой Абрахамс.

— Вы просто устали, — нежно проговорил Женька, вдруг перейдя на «вы». — Имеется свертка по осям нашего пространства. Но это совсем не значит эн-мерной свертки. Вы же сами работали с подобными вещами, только по гравиполям. Покрутите оси!

У Абрахамса стала отвисать челюсть — ниже, ниже, потом он пробормотал едва слышно: «О боже...» — и отключился.

Женька стоял будто остолбенев. Изумление на его лице сменилось смазанным, забытым мимикой выражением гордости. Он высоко подпрыгнул и издал победный клич, восторженно хлопнув себя по голове ладонью и тетрадь.

— Работает! — заорал он. — Работает башка, Энди!

Я молчал. Стало очень тихо. Женька смотрел на нас, и во взгляде его гасло пламя. Тетрадь выпала из его руки, порхнули десятки листов, и вдруг Женька швырнул компьютер в экран. Раздался пронзительный короткий звон, по поверхностному слою экрана брызнули серебряные трещины.

— Нет!!! — крикнул Женька. — Нет! Марина, все остается!

...Наступила ночь. Я боролся со сном, накатывавшим, как обморок. Около полуночи Женька достал из какой-то коробки небольшое стереофото и протянул мне:

— Посмотри. Он звонил неделю назад, я снял с экрана. Ты ведь его так и не видел... — В голосе явно слышалось: «и не увидишь».

На фоне чахлого куста стоял длинный большеголовый парень в плавках и счастливо улыбался мне. У его ног, выставив смешные, совсем девчачьи еще коленки, сидела девушка. Она завороченно глядела вверх, на Сережку, и ей не было дела до объектива. Она вся словно светилась. Мы еще повоюем, дружище, сказал я Сережке.

— Отличный парень,— сказал я Женьке.— Очень на тебя похож. И девочка красивая, даже завидно.

Женька улыбнулся вымученно и благодарно.

— Старый греховодник,— проговорил он.

— Хотите есть, мальчишки?— спросила Марина.

Я не вбил бы в себя ни кусочка, но только повел рукой в сторону Женьки:

— Как хозяин.

— А что,— бесцветно согласился Женька,— мысль...

Они ушли на кухню. Сначала там было тихо, позвякивала посуда. Потом зазвучали приглушенные, сливающиеся голоса. Потом вышел Женька, сел, а Марина тихо заплакала там, на кухне.

— Странно,— задумчиво проговорил Женька.— Все-таки, значит, я эту штуку раздолбал там...— Он вздохнул.— Могу...

— Прекрати.

— Нет-нет, я не жалею. Просто дьявольски сложная штука. И интересная. Знаешь, в институте долго не верили, что стоит этой темой заниматься, я ее так пробивал... Очень здорово знать, что могу. Наверное, я все только для этого и делаю: узнать, могу ли.

— Можешь. Запомни. И успокойся. И езжай на свой атолл.

— Да,— ответил он почти шепотом.— Смотреть на небо и думать: я мог бы вернуть чаек. Обрабатывать Маришкины пробы и думать: я мог бы вернуть рыб. И все время бояться — как бы не вызвать переход. Опять — бояться, бояться...

Раздался вызов. Женька, глядя на меня, вопросительно поднял брови. Я пожал плечами. Он дал контакт.

Это был не Абрахамс. На экране возникли семь человек — пятеро мужчин и две женщины. Всех их я видел впервые.

— Доктор Соломин,— нерешительно сказал один из них.— Мы... тут подумали...

— Мы — это физики Канберрского центра,— вставил другой.

— Да. Собственно, никакого предложения, по сути, у нас нет. Иначе мы обратились бы к доктору Абрахамсу.

— Да будет мямлить!— прервала одна из женщин.— Мы хотим вам сказать только, чтобы вы не обращали на нас внимания. В смысле — ни на кого. Справимся. Не мучайтесь.

— Вот именно!— облегченно воскликнул первый мужчина.— Не думайте об этом. Никакой опасности нет, и это просто свинство, что они... Наш округ уже направил протест в Академию Чести и Права ООН. Живите спокойно, пожалуйста. Как вам хочется.

— Извините, что так бестактно вторглись,— робко попросила вторая женщина. И экран погас.

— Идем ужинать,— после долгого молчания сказал Женька.

Мы пошли ужинать. Едва мы вошли на кухню, Марина вышла, не глядя ни на меня, ни на мужа.

Мы не смогли есть. Молча сидели — каждый перед своей тарелкой, на которой остывала еда.

— Я ее теряю...— вдруг сказал Женька.

— Что?

— Она не понимает. А я смотрю на нее, и горло перехватывает: жива, жива... Она ведь не знает, что это только...— Он беспомощно шевельнул ладонью, не зная, как сказать.

— Горло перехватывает. Ты же ходишь мимо как чужой!

— Я глаз поднять не смею. Стыдно. И не могу правду сказать.

— Иди за ней!— прошипел я.— Быстро! Скажи, что она важнее всего!

Он замотал головой:

— Она не поверит.

— Она тебя любит.

— Она мне не верит.

— Она тебя любит!

— Не верит — и любит? Так не бывает.

— Все бывает. Иди! Ей хуже, чем всем нам!

И он пошел. Я включил окно. Сыпал косой осенний дождь. За сотни метров от меня, оглаживая слепые круглые колпаки, ветер нес острую мутную влагу.

— Ну помоги же им!— закричала Марина.— Почему отнекиваешься? Почему повинуюешься Энди? Чего он хочет, ты мне можешь сказать?!

Я стиснул голову руками и, ничего не слыша и почти не видя, пошел из квартиры вон.

В лестничном холле стоял Чарышев. Нахохлившись, засунув руки глубоко в карманы своей мохнатой куртки, он несколько секунд молчал, чуть искоса глядя на меня. Я соображал медленно. Очень болела голова, и хотелось, чтобы все кончилось хоть как-нибудь, только поскорее. Я отступил в сторону, приглашая Чарышева войти. Он отрицательно покачал головой.

— Здравствуйте, доктор Гюнтер,— проговорил он, когда я закрыл стену квартиры.— Вы ужасно выглядите. Просите меня.

— Не прощу.

— Воюете...

— Конечно. Зачем вы все это затеяли?

— Странно, что вы спрашиваете.

— Давлением можно лишь сломать.

— Никакого давления нет. Извне — нет.

Я только головой покачал. Он пожал плечами.

— Моя работа кончилась, когда в печать пошли первые сообщения. Это было не так просто, поверьте. Редакторы отказывались публиковать такой интимный материал, их пришлось... убеждать. Но с той поры я только жду. Я знаю, чем все кончится, но это произойдет само собой.

— Ему нельзя ненавидеть этот мир!— вырвалось у меня.

— Я знаю, доктор, не горячитесь так,— тихо произнес Чарышев.

— Что вы знаете?!

Он помолчал.

— Это очень странно, но я знаю то же, что и вы. По меньшей мере нас двое осталось после того разлома возле солнышка.

Я очень долго смотрел на него, просто не понимая смысла слов.

— Вы не догадывались, да? Я как-то сразу вас почувствовал. А потом не так уж сложно было интерпретировать копии с ваших расчетов на Большом компьютере института...

Я молчал. Он смотрел мне прямо в глаза.

— Знаю, что вы хотите сказать. Но человечество создавало и будет создавать гениев. Никакой гений не создаст человечества.

— Как вам легко...

— Да,— жалко улыбнулся он.— Вечная разница между тем, как посылает на смерть сына Родина-мать и просто мать...

— Тогда была война!— крикнул я. А он ответил:

— Всегда война.

— А вы не ошибаетесь?

Чарышев сощурился, с подозрением взглядываясь в меня.

— Я ошибаюсь?— переспросил он.— Я?

Голова разламывалась от боли.

— Я сжег нефть? Я отравил химикатами реки и озера, гербицидами и вспашкой — поля? Ртутные и сернистые дожди — это моих частных заводов заслуга?! Попробуйте вы с этим разобраться, доктор Гюнтер! Может быть, я рвал водородные бомбы на Морура и в Синьцзяне? Я перфорировал озонный экран?!

— Простите,— сказал я.

— Война пока всегда. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой...» Избитая цитата, к сожалению.

— Это уже не тот бой, в котором можно рисковать женщиной и двумя детьми! Они же на волоске висят!

Мне показалось, что Чарышев сейчас закричит. Но, наверное, у него просто не было сил закричать.

— Вы очень устали,— проговорил он ласково.— Вы опять ничего не поняли.

Кровь бросилась мне в лицо.

— Сядьте, доктор,— попросил Чарышев. Не разжимая челюстей, я помотал головой.— Сядьте,— настойчиво попросил он.— Право же, это смешно.

Я опять помотал головой. Он положил руки на спинку стоявшего в холле кресла и повел его ко мне. Кресло плыло над полом, приближаясь медленно и неотвратно. Очень хотелось сесть, но я лихо засунул руки в карманы и расставил пошире ноги. Чарышев остановился.

— Ну, потерпите,— сказал он после паузы.— Уже скоро.

— Что — скоро?

Он вздохнул.

— Обратный переход. Сядьте, прошу вас.

Мы долго молчали.

— Там проблема уже решена,— задумчиво проговорил Чарышев.— Неужели вы думали, что я рискну начать здесь работу заново? Я предал бы людей, избравших меня, если бы проявил такую халатность. Не пройдет и двух часов, как мы будем там, обещаю. Я знаю людей, доктор, знаю Соломина. Он не сможет здесь жить. Люди сильны и добры... Только начав все это, я понял, каких замечательных людей удалось воспитать. Всего полвека назад сюда

пришла бы толпа бить стекла. А Соломин бы всех ненавидел. А теперь они защищают его право на выбор и принимают ответственность на себя. Все понимают, что человек должен сам совершать свои поступки. Ему можно только помогать. Да и то с осторожностью величайшей, чтобы не исказить ни человека, ни его действий. Чтобы он быстрее видел последствия, больше думал... Помогать даже ошибкам. Как вы сейчас.

— Все дозволено?

— Да. Жизнь — это познание. Та же наука. Только каждый начинает со своего собственного нуля, неповторимого, как отпечатки пальцев. Ощущение неиспользованных возможностей калечит психику. Человечеству не нужны калеки, которые не ищут и не творят.

— Соломин не ошибся,— сказал я.— Перехода не будет.

— Будет, конечно. Забота и решимость порождают заботу и решимость. Здесь ему нечем заботиться. А человек есть любовь.

Я молчал.

— Там вас, наверное, уже заждались...

— Нет,— усмехнулся я.— Там я тоже не нужен. Но не будет перехода!— крикнул я, твердо зная, что не прав.

— Кажется, я был бы этому рад.

Едва войдя, я понял, что случилось нечто важное. Марина сидела, безжизненно глядя в сторону Соломина, но не на него. Женька потерянно стоял посреди. Я вошел — они даже не шевельнулись.

— Как удивительно,— произнесла Марина чуть погодя.— А я всегда что-то чувствовала. Будто это уже не тот ты, по которому я тогда сходила с ума целых три года.

Женька оторопело взглянул на нее. Он не этого ждал.

— Значит, и впрямь ненастоящее. Значит, по-настоящему ты нас убил, а это — так, картон...

— Ты рассказал?— вырвалось у меня. Женька беззвучно шевельнул губами: «Да».

Свалил ответственность, подумал я и против воли крикнул:

— Тряпка!

Его хлестнула судорога.

— Да!!! Да!!! Восемнадцать лет тряпка! Вытирайте ноги! Всех предал, всех!

И снова стало тихо. От крика звенело в ушах. Марина резко встала, и Женька метнулся к ней, замер и стал падать, как падает в слабом гравитополе веревка, если ее пе-

переза́ть сверху. Он медленно сломался в коленях, потом в пояс и при́ник к ногам жены.

Она положила руки ему на затылок и плотнее прижала к себе, голова ее запрокинулась.

— Все, Марина,— жалко пробормотал он.— Все. Не презирай. Я правда не могу. Уедем, а? Я помогать буду, аппаратуру таскать, водить катер, вести черновики... что скажешь. Возьмем ребят. Они рады будут, я им столько про остров рассказывал!

— Перестань кричать,— сказала Марина.

Он отстранился от нее, снизу заглядывая ей в лицо.

— Поедем! Хватит об этом, все будет хорошо, правда!

— Ну перестань же кричать!— жутко выкрикнула она, прижав кулаки к щекам и даже ногой притопнув, словно в негодовании.

— Да я... я не кричу же...— растерянно пролепетал он.

— Все кончилось,— произнесла она спокойно.

— Марина, какой вы еще ребенок.— Я старательно улыбнулся.— Да ничего не кончилось. Ложитесь спать, включите снотвор. Ненастоящее пройдет, настоящее останется. Просто вы устали.

— Настоящего нет.

— Нет,— вдруг согласился Женька, по-прежнему стоя на коленях. Она вздрогнула.

— Убей нас!— резко сказала Марина.— Убей нас опять!

— Маринушка! Ну чего ты хочешь?

— Чего ты сам-то хочешь?— спросил я.

— Я? Я сам?— Эта постановка его удивила. Он давно разучился хотеть сам. С тех пор, как решил, что его желания унизительны для нее. Он оглянулся на нее, ища взгляд, но она смотрела в сторону.— Мне противно и стыдно... Я не могу ни успокоить ее, ни порадовать, видишь?

— Всегда знала,— брезгливо сказала Марина,— что ты размазня, но настолько...

— Не смейте так говорить!— не выдержал я.— Вы поддерживать его...

— Ах, поддерживать! Что же мне говорить, Гюнтер? Спасибо тебе, любимый, бесценный повелитель мой, нежный, добрый, у тебя не получилось убить наложницу и детей, случайно не получилось, и других попыток ты не делал!— Она отрывисто, сухо рассмеялась.— Так? Ну нет!— Повернулась и почти выбежала в спальню. Стена закрылась.

Несколько минут мы молчали. Грязный дождь сек окно. Женька поднялся с колен.

— Темнеет...

— Ну и денек выдался,— сказал я.

— Осточертели дожди.

— Включи программу.

— Только солнца мне фальшивого не хватало... Там много солнца?

— Еще нет. Демонтировать колпаки начнут только осенью. От обогатителей дикие ветры.

— Ну конечно.— Он понимающе кивнул и прижался лбом к окну.— Еще бы... Тихо-то как.

— Вот и отлично. Хватит криков, надо передохнуть.

— Ко мне больше никто никогда не придет. Видишь, Энди, как все связано. Я всех предал и даже не заметил. А всплыло лишь теперь. Стал не собой — и этим предал и Маришку, и ребят, и Абрахамса. И даже тебя. Прости меня, Энди, пожалуйста.

— Не прошу.

Он пошел ко мне, но на полдороге передумал. Двинулся к спальне, но не сделал и трех шагов. Вынул из кармана радиодфон, подержал у лица и спрятал. Пальцы у него дрожали.

— Сядь и успокойся.

Он послушно сел и стал смотреть на меня, как ребенок. Он будто ждал дальнейших распоряжений.

— Не кисни. Все пройдет через несколько дней. Видишь, ты же консультировал Ивана, и ничего не случилось. Со временем этот вариант стабилизируется, а ты постепенно будешь наращивать темп, постепенно вернешься в физику...

— Да плевал я на физику.

А за стеной ждал Чарышев. Чего он ждал?

— Все нормализуется,— упрямо и безнадежно твердил я.— Бессонная ночь, волнение — кто хочешь спятит. А пройдет неделя-другая... у моря, Женя, с Мариной, с ребятами, в тепле!

Он не реагировал.

— Ну что ты молчишь?

— Да вот думаю. Если я сигану, например, с крыши — это ведь все разрушит, да?

Внутри у меня все обвалилось.

— Не знаю,— сказал я.— Никто этого не может знать.

Он задумался, подпер подбородок кулаком. Знакомое мне выражение проступило на его лице — спокойное, пылливое. Женька кончался. Начинался доктор Соломин.

— По-видимому, да,— сказал он рассудительно.

— А если — нет? Если просто самоубийство?— безжалостно спросил я.— Очередное и уже бесповоротное бегство от ответственности?

На миг он размяк, потом снова взял себя в тиски.

— Они-то останутся, а меня это вполне устраивает. Даже лучше. Меня нет, а они есть. Трудно требовать от меня...

— От тебя вообще никто ничего не требует.

Он покачал головой:

— Да, действительно. Я сам требую. Твержу себе: хочу туда, хочу, хочу... А как я могу туда хотеть, когда они здесь. Но такой, как здесь, я никому не нужен. А там их нет.

— Что ты несешь?— немощно закричал я.

Он встал, и у меня снова все оборвалось внутри. Несколько секунд он, хмурясь, размышлял, потом лицо его посветлело.

— Придумал,— сообщил он.— Не стану пачкать улицу. Долбанусь в орнитоптере.— Он даже улыбнулся, доставая радиодфон.— Примите заказ. Одноместный орнитоптер, если можно — голубого цвета. Ярко-голубого.— Он покосился на меня и просто сказал вполголоса:— У нее тогда был ярко-голубой... Да, спасибо.

Положил радиодфон в карман и аккуратно застегнул молнию. Ободряюще улыбнулся мне:

— Знаешь, Энди, мне сейчас так хорошо...

Я молчал. Он пошел к выходу. Завернул к столу, где с ночи лежала фотография сына. Постоял секунду, потом, не прикоснувшись, решительно двинулся к двери.

Я попытался отлепиться от стенки, на которую опирался спиной все это время. Мне казалось — стенка прыгает.

— Нет-нет,— испугался Женька,— ты меня не провожай, пожалуйста! Сейчас все кончится, потерпи еще четверть часа, я быстренько... Только над облаками поднимусь. Марине не говори, а?

Я все-таки загородил ему выход.

— Ну Энди, ну честное слово,— жалобно сказал он.

Он даже не стал меня бить или хотя бы отталкивать. Выждал немножко и аккуратно передвинул. И еще руку пожал.

До срока, назначенного Чарышевым, оставалось сорок минут.

Когда я вошел, Марина не обернулась. Она стояла неподвижно, глядя в серое сумеречное небо. Лохматые тучи бежали быстро и низко. Наверное, она смотрела на них.

А я смотрел на нее, зная, что вижу в последний раз. Я очень хотел позвать ее, но это было не нужно. Она так и не обернулась. Не знаю, сколько бы она еще так стояла, не оборачиваясь. Что-то мгновенно сместилось, стало темно, я понял, что лежу под одеялом, почувствовал, как это странно и чудесно, когда не болит голова, — и раздался крик. Я вскочил. Крик нарастал. Я бросился туда, споткнулся во мраке, и вдруг стало тихо — Соломин, длинный, тощий, сутулый, выбросился, как из ада, белеющей тенью. Он налетел на меня и тоже упал.

— Энди... — прохрипел он перехваченным от ужаса голосом. — Энди...

— Ты что это? — спросил я обеспокоенно и удивленно. Он поднял ко мне узкое, меловое лицо.

— Энди, — бормотал он, успокаиваясь. — Энди. Энди. — Он глубоко вздохнул. — Энди... — обессиленно прошептал он.

— Сон, что ли, страшный? — спросил я.

Он поднялся — бледное привидение тягуче, неспешно вздыбилось из бездны.

— Сон, — сообщило оно. — Такой сон.

— Утром расскажешь. Между прочим, я приехал усталый и спать хочу. Нервы у тебя, однако... Успокоился?

— Да, — процедил он с ненавистью. — А вы эгоист, Гюнтер. Я вам не говорил еще этого? Вы мерзкий, равнодушный эгоист.

— Мне это многие говорили, — утешил я его. — Не ты первый.

— В конце концов, вы перестанете мне «тыкать» или нет?! — фальцетом выкрикнул он. — Фамильярность — самая отвратительная вещь на свете!

...В окно лилось фальшивое солнце, заливая комнату ослепительным резким светом.

— Должен заметить, коллега, — Соломин набирал на шифраторе код своего завтрака, — что эта пренеприятная ночь прошла для меня все-таки не без пользы.

— Что вы говорите, коллега? — с восхищением и изумлением ответил я.

— Да. Представьте себе. Видимо, повлияло ваше вчерашнее сообщение об ожидавшемся прогибе метрики, которое я так некстати прервал... Я вел себя бестактно, простите. Нужно будет связаться с Мортонем. Мне пришлось в голову, что подобные прогибы, будучи созданными искусственно, — а мои работы по вакууму дают надежду, что это возможно, — при достаточной интенсивности могут за-

вершаться заранее рассчитанными разрывами пространства-времени.

— Что же вы ничего мне не заказали, коллега?— спросил я, идя к синтезатору, в то время как Соломин шел мне навстречу с бокалом молока и порцией столовой массы.

— Еще раз простите. Я, очевидно, слишком увлекся своими соображениями. Так вот. Если такая операция станет возможной, родится целая наука. Я назову ее хроновариантстикой. Я сохранил самые приятные воспоминания о поре нашего с вами сотрудничества и буду рад, если вы сочтете для себя возможным возобновить его.

— Полагаю, это пойдет нам обоим на пользу,— согласился я.

— Это же самое и я хотел сказать.

— Помилуйте, коллега,— проговорил я и заказал себе стандартный брикет столовой массы.

...Морозная дымка обесцвечивала высокое небо, на западе тихо таял закат. Задорно похрустывал снежок под ногами.

Неторопливо, с достоинством шагая, мы спустились по парадной лестнице института. Соломин, бледный, подтянутый, раскрепощенный, сиял горбатой лысиной, словно нимбом, и охотно улыбался корреспондентам, суевившимся вокруг нас.

— Ну вот,— сказал он удовлетворенно.— Мы свое дело сделали. Не так ли, коллега?— Он нагнулся, с удовольствием слепил снежок и, положив на лысину, стал извиваться, стараясь удержать его. Корреспонденты в восторге целились объективами. Снежок соскользнул. Соломин засмеялся.— Прорыв в принципе возможен, мы это доказали и в этом отчитались. Теперь поедem ко мне, запалим каминчик.— Он галантнейшим образом распахнул передо мною дверцу своего ярко-голубого орнитоптера. Сел за пульт.— А завтра поедem дальше. Не так ли, коллега?

— Полагаю, именно так, коллега,— ответил я.

Соломин, улыбаясь, поднял оптер к заре. Заснеженный городок канул вниз. Соломин шаловливо погрозил ему длинным суставчатым пальцем.

Запел радиофон. Соломин, не размышляя, дал контакт.

Это был шеф лаборатории слабых взаимодействий Клод Пелетье. Он улыбался восторженной улыбкой.

— Поздравляю вас!— воскликнул он.— Дорогие, дорогие мои Эжен и Энди, то, что вы сделали, грандиозно! Мне невероятно жаль, что я не смог присутствовать на вашем

замечательном докладе, но я и моя юная супруга прослушали все от первого до последнего слова по телевидению и оба спешим вас поздравить!

В поле экрана появилось счастливое девичье лицо. У меня заломило сердце.

Это была девочка с того стереофото. С Сережкой.

Сейчас она замороженно смотрела на Пелетье, и не было ей дело до экрана. Она вся будто светилась.

Поблагодарив, Соломин выключил радифон, медленно спрятал, аккуратно застегнул молнию кармана — пальцы его дрожали.

Оптер рушился в ночь. Тонкая, прозрачная пленочка зари скатывалась за жесткий горизонт. Лицо Соломина сделалось непреклонным и острым.

— Энди,— позвал он.— То... тогда... был не сон?

— Что?— удивленно спросил я сквозь колючий ком в горле.— Какой сон? Ты о чем?

Он бросил машину вниз. У меня засосало под ложечкой. Дальние тучи рванулись к нам навстречу, мимолетно лизнули стекла сизой мутию и, лопнув, провалились вверх.

— Они живы!! — закричал Соломин, впившись в пульт и все круче ставя машину на нос.— Они живы там, я знаю!

Под нами, дыбясь, распахивались заснеженные леса.

— Ты разобьешься!— закричал я и сам едва услышал себя.

— Не-е-ет!— донесся до меня иступленный визг.— Двух хватит!..

От перегрузки потемнело в глазах. Завывая, оптер натужно выровнялся.

Из радиана мчалась белая толща. Все летело мимо, мерцая и рябя, сливаясь в длинные черно-белые полосы. Соломин, озверев, оскалась, корчился над пультом.

— Почему так медленно, Энди? Почему так медленно?!

Что-то мелькнуло возле самого борта, раздался сухой хруст, нас крутнуло, я врезался плечом в стекло. На один миг я заметил позади, в снежной мгле, замершую в падении длинную темную тень, и вот она уже пропала, мы были далеко и летели, летели...

7

Из-за прямых деревьев осторожно выступил олень и уставился на нас. С широких, бархатных его ноздрей срывались облачка пара.

— Тс...— выдохнул Соломин.

Олень чуть наклонил большую голову. Высоко поднимая мослатые ноги над снегом, сделал еще шаг.

Я вспомнил перекошенные остовы деревьев и их длинные тусклые тени, катящиеся по бурой поверхности мертвых болот...

Снегопад затихал.

— Смотри какой...— сказал ошалевший от восторга Соломин.

Он торчал по колено в искристом снегу рядом с висющим оптером, зябко спрятав голову в воротник, и широко распахнутыми детскими глазами смотрел на оленя. А олень смотрел на него.

— Я буду работать, Энди,— тихо проговорил Соломин.— Ты меня знаешь. Я к ним пробьюсь.

Я кивнул.

Он попытался распрямить сутулую спину, смешно растопырил плечи.

— Как думаешь... такой я им нужен?

Олень вдруг прынул назад. За щемяще стройными стволами сосен вспыхнуло облако снежной пыли и потянулось, опадая, вслед слитному рокоту уходящего стада.

Арте́м ГАЙ

Мистификация

Повесть



Достижения любой цивилизации определяются в наибольшей степени ее нравственными вершинами, и никакими иными. Среди мыслящих существ всё — от простейшей жизни до сложнейших машин — имеет смысл лишь тогда, когда устремлено к достижению этих вершин.

Неизвестный философ
Авторизованный перевод с финикийского,
XIII век до н.э.

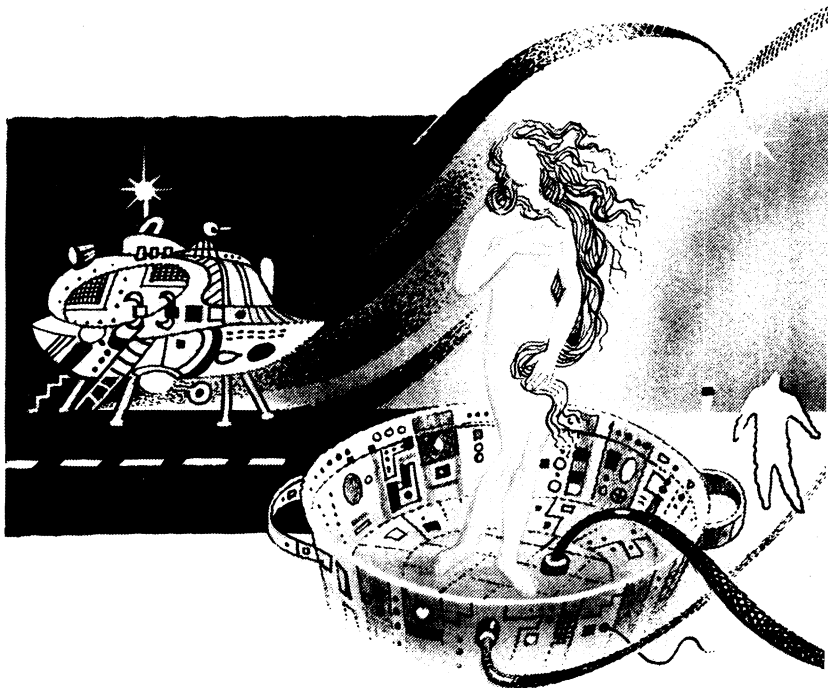
1

мая 1975 года специальная конструкция, созданная в США из кольца прожекторов радиусом в 300 метров и суммарной мощностью в 100 мегаватт, послала к зависшему над нею Неопознанному Летающему Объекту сигнал, означающий в двоичной системе число π с точностью до седьмого знака. Ждать не пришлось. Тут же с НЛО поступил сногсшибательный ответный сигнал, означавший в той же двоичной системе число $1:\pi$ (!) с точностью до того же седьмого знака (!!). Это был первый прямой контакт с НЛО...

В волнении Иван Петрович Левин положил густо отпечатанные через один интервал странички папиросной бумаги на грудь и нервно почесал под одеялом одной ногой другую. Что же это получается? С ним и черт знает как давно установлен уже, оказывается, контакт, а мы ничего не ведаем, словно пятки под одеялом! Начинаем функционировать, когда зачесется...

Иван Петрович был врачом, что, несомненно, сказывалось на образах его мышления. Он заведовал большим хирургическим отделением, но — человек одинокий и несуетный — вечерами, не занятыми в больнице, в медицинской библиотеке или с друзьями, занимался еще одним любимым делом — чтением. Тут с некоторых пор он отдавал предпочтение фантастике и приключениям, словно вернувшись в молодость. «Старею, — усмехался в разговоре с друзьями, — оттого, наверное, и усилилась тяга к

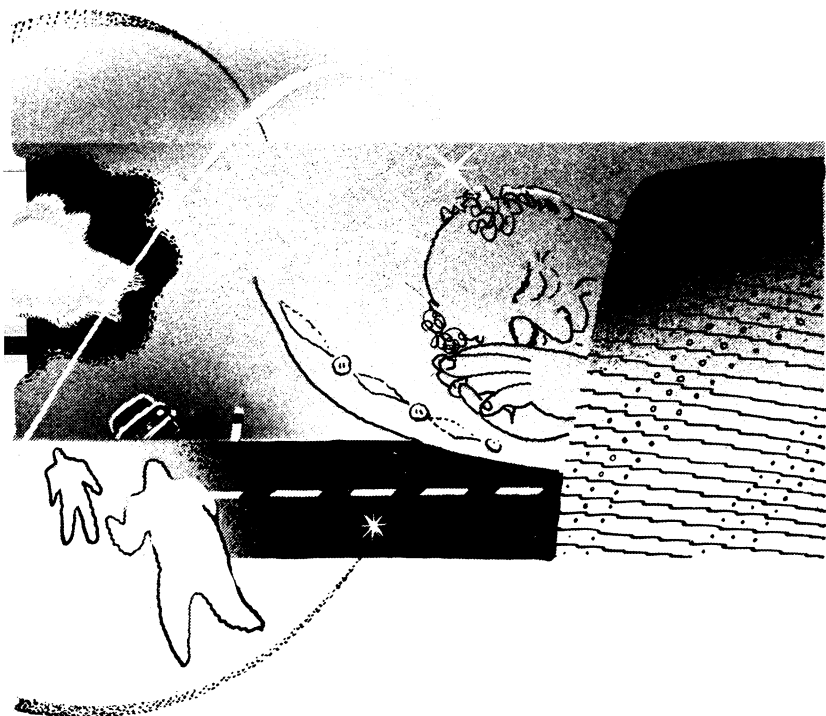
остросюжетному — сам-то уже сюжеты не закручиваю...»
Здесь он был прав. После того как развеялся угар его большой страсти, а затем и миф о прелестях супружеской жизни, после того как Вера, единственная его жена, через год оставила его, он предпочитал сюжеты тихие и простые, «не закручивал», хватало ему «закруток» и на его любимой работе без нормированного времени. И так шло



уже лет пятнадцать, привычно и мило. В свободные вечера он простодушно добирал «закруток» в томах «Зарубежного детектива», сборниках фантастики, журналах, перечитывал Лема, Брэдбери и братьев Стругацких. А сейчас перед ним была и вовсе не фантастика, а лекция доцента МАИ. Вот черным по белому отпечатано: «Прочтена 1 июля 1976 года». Все обозначено точно, хотя и смахивает на мистификацию.

Но мистификация тоже штука не простая, требует хо-

рошей основы — добротного ли фокуса, или ловкой манипуляции с реальными событиями, или умело подтасованной суммации действительных и вымышленных фактов. Нет, конечно же, не во всякой лжи обязательно есть доля истины, и дым бывает без огня, но... Человек, наверное, больше доверчив, чем недоверчив,— его тянет к неведомому...



Иван Петрович смущенно усмехнулся.

Вот еще один точно датированный факт с именами вроде бы реально существующих людей: 19 сентября 1961 года чета Хиллов возвращалась ночью на автомашине домой в Нью-Хемпшир и была остановлена, парализована, а затем отведена на НЛО, вернее, на вполне опознаваемую «летающую тарелку» больших размеров. Здесь Хиллов обследовали, с ними побеседовали и показали удивительную трехмерную карту звездного неба с загадочными

пунктирными и сплошными линиями, соединявшими звезды. Позже потрясенная Бетти Хилл многое расскажет об этой карте и отметит, что к Земле шел пунктир. А в ту ночь, обнаружив себя снова в машине с заглухшим мотором, Хиллы решительно ничего не помнили, отметив лишь с ужасом, что «потеряли» в эту ночь неизвестно где и куда два часа. Напуганная «потерей», Бетти обратилась к психиатру и под гипнозом...

— Иван Петрович, а, Иван Петрович! Что же это вы кухню превратили в парную?..

Что? Какую кухню?.. Ошалело вскинув густые седеющие брови, он смотрел поверх листов папиросной бумаги на дверь, за которой, недовольно шлепая задниками коммнатных туфель, удалялась тетушка. Слава богу, обошлось без разговоров о ремонте. Так что же там под гипнозом?.. Однако при чем тут парная? Ах, елки зеленые! Неужели он не погасил газ под чайником? За час распаялся, как пить дать. Ладно, теперь все равно ничего не изменить...

...А под гипнозом Бетти восстановила не только сам визит в «тарелку», но и многое из той замечательной звездной карты. Оказывается, долгие годы эта сенсация будоражит мир, а он, Иван Левин, ковыряется в человеческих потрохах и тратит попусту время на досужие (хотя и очень приятные) общения с друзьями, словно Бетти Хилл вовсе не существовала и не произошли все последующие удивительные события! А произошло вот что: через несколько лет определили, откуда мог быть такой вид звездного неба, какой запомнила по карте Бетти,— из созвездия «Сотки», что в тридцати световых годах от нас, и мощная ЭВМ в Огайо повторила довольно точно карту Бетти, хотя женщина имела туманное представление даже об элементарной астрономии. Некоторые звезды из этой карты стали известны и вовсе через восемь лет — в 1969 году. Вот это пироги!..

— Иван Петрович, вы спите?

— Где?!

— Чайник-то ваш, наверное, тю-тю.

— Тетушка, душа моя, завтра у меня дежурство!— взмолился Левин. Это обычно действовало безотказно.

— Ладно. Я сама посмотрю. Спите.

«Тетушка» и «дядюшка», соседи, были не его родственниками, а его бывшей жены, но относились к Левину с уважением и не очень надоедали, хотя отличались отменным занудством и постоянной потребностью в контактах. Иван Петрович, человек очень занятой, дома появлялся поздно, и они способны были это понять и оценить. И

все же уважение их к Левину основывалось в основном на убеждении, что он — «святой человек». На давней слабости людей к тем, кто «не от мира сего». Осуждая выросшую у них племянницу, неблагодарную девчонку, которая окрутила и бросила чудесного человека, они не понимали, как сам пострадавший может не осуждать ее, «сломавшую ему жизнь».

Вера была много моложе Левина, совсем тогда еще юная особа, недавно достигшая совершеннолетия, обворожительно живая, с такими светлыми, прозрачными, чистыми глазами, в которые он хотел смотреть непрерывно. Она работала недолгое время сестрой-хозяйкой в больнице, там они и познакомились, а потом перешла в костюмерный цех — ее непреодолимо влек театр. Она, несомненно, была рождена актрисой, веселой, непосредственной артисткой эстрады или оперетты, правда совсем без комплексов и сомнений, даже без тщеславия. Все в ней восхищало Левина. Не зная женщин, он, возможно инстинктом настоящего мужчины, совсем не принимал столь нередкой в них расчетливости, а тем более пресности. Но, может быть, главным, что неудержимо влекло его к Вере, было восприятие ее как воплощения м и р н о й ж и з н и, которую так ценил Левин и через десять лет после окончания войны. Однако все приятели Ивана Петровича видели в том браке лишь несуразный вызов здравому смыслу и по своему оказались правы. Вера ушла к актеру, потом разошлась и с ним, была включена в труппу какого-то периферийного театра или концертной группы, снова вышла замуж... Изредка приезжала на несколько дней к тетушке с дядюшкой, радуя и конфузя их своей простотой и ласковостью с Левиным. А он определенно не осуждал Веру! И вспоминал без малейшей горечи, и не считал, что «бывшая» что-то сломала ему. Нисколько! И жил с ее родными, как с хорошими приятелями, не поминая недобрым словом даже оказавшегося ненужным размена, от которого потерял отдельную однокомнатную квартиру. Левин был непостижим для них, как непостижимой оставалась для верующих икона.

Иван же Петрович, такой, каким его сотворила природа и обкатала жизнь, — спокойный парень с неколебимой верой в доброту, не пошатнувшейся у восемнадцатилетнего мальчишки в окопах последних лет войны и помогавшей уже взрослому человеку преодолеть трудности позднего института и становления, — такой Иван Петрович хорошо знал, что нет ничего вечного, кроме вечных проблем. И чувства конкретной человеческой личности — не

исключение. А отпущенный этим чувствам срок — условная единица, одинаково ничтожная рядом с вечностью, будь то минута или десятки лет. Пусть их с Верой полгода любви не подвиг самопожертвования или верности, но то было искреннее чувство, и мараť его злобой, беспамятством никак не гоже. Так считал Левин, так ощущал, погруженный постоянно в какие-то новые, пусть и не такие яркие, чувства, которые делали его жизнь не уныло одинокой, а наполненной и осмысленной, поддерживали в этом седеющем человеке ожидание, веру и незатухающий интерес ко всему, что он делал, о чем думал, что видел вокруг. Да, Иван Петрович Левин в свои пятьдесят «с хвостиком» остался в том благодатном состоянии, которое именуют «молодая душа». Он пришел с нею в окопы Великой Отечественной, где она не обожглась, а закалилась. Пройдя через величайшее зло, преодолев, победив его, Иван Петрович уверился в вечности и силе добра — не только как конкретного действия, но как закономерности жизни, заложенной, возможно, вместе с вечными проблемами во Вселенной. Ничего удивительного в этом нет: среди перешагнувших свой страшноватый юбилей немало остается романтиков и фантазеров.

Итак, взволнованно ворочаясь, хмыкая в своей постели, Иван Петрович в свете казенно-яркого плафона, который десять лет висел в его не очень уютной комнате, читал новую пачку густо усаженных машинописным текстом листочков папиросной бумаги — книгу «Наши космические друзья и доброжелатели». Всю эту «папиросную литературу» ему принес, как обещал когда-то, его бывший пациент, ярый сторонник футурологов. «Вот, обратите внимание на эту мысль! — страстно советовал Ивану Петровичу благодарный пациент, роясь в кипе тонких листов, собранных в аккуратной папочке. — Вот: место догматической религии заняла догматическая наука! А, какая мысль!..» Какая мысль? Броская. К таким Иван Петрович всегда относился немного недоверчиво. Но вместе с тем был убежден, что отбрасывать необъяснимое нельзя, тем более по принципу «не может быть, потому что не может быть никогда». Он утвердился в этом мнении за многие годы в медицине и хирургии, переживая общебиологические веяния и перемены. Он хорошо помнил «глубоко аргументированные» доводы лженауки Лысенко и «абсурдность лженауки» генетики. Помнил, что еще недавно антиматерия и гиперболоид инженера Гарина были чистейшей, можно сказать, рафинированной фантастикой. И летаргический сон или многолетняя бессонница после удаления

миндалин (без существенных нарушений биологии человека) не становятся из-за своей необъяснимости небылью! А одна из его пациенток демонстрировала ему и трем его ординаторам телекинез — двигала на столе флакончик из-под пенициллина, и никакие академики своим «не может быть!» не убедят его в том, что их всех попросту одурачила фокусница, ибо стол был родной, в его кабинете, а флакончик еще влажный от недавно забранного из него лекарства, и «фокусница» не приближалась именно к этим предметам никогда в жизни ближе чем на метр...

Теперь он читал о Шамбале, возможном космическом центре в Гималаях, защищенном неведомыми нам энергиями от любых попыток обнаружить его. О стремлении объяснить многие загадки чудесами Шамбалы. Неясным оставалось, откуда при такой защищенности ее известно, что Учениками Космических Учителей там были именно эти люди — Пифагор, Николай и Екатерина Рерих (хотя ее многотомная «Космическая этика» действительно способна удивить!), Будда, Магомет, Христос и совсем неизвестные Левину Аполлоний Тианский и граф Сен-Жермен? Но вот если допустить возможность этого, возникает соблазнительное предположение: не от единого ли источника повторы во всех верованиях и религиях?..

То были загадочные шарады сродни фантастической игре воображения, которые помогали оторваться от каждодневности, обыденности. Которые приобщали вроде бы к Невероятному, составляющему, наверное, суть Вселенной. Да, все это походило на игру, столь понятную всем нам в детстве, а к старости становящуюся, возможно, тоже необходимой. Несомненно одно: с годами приходит мудрость — соединение истины с благом, но поскольку истина непознаваема, а благо непредсказуемо, то и мудрость несет на себе отблеск этих двух манящих «не».

Левин читал, что Ф. Блюмарх, изучив книгу пророчества Иезекиля, которая начинается с 593—592 годов до н. э., обнаружил подробное описание посещения Земли космическими пришельцами. В Библии есть и другие указания на посещение Земли инопланетянами, вплоть до описания вида Земли из космоса и парадокса времени при полете на космическом корабле, — так, Энох был там несколько часов, а на Земле прошли десятилетия... Желание почти всегда наивно, как малое дитя, даже примитивно, наверное, но обладает силой, способной на многое. В том числе и силой, воздействующей на воображение. Иван Петрович снова усмехнулся.

Но вот это уже поразительно. Или снова мистификация, продолжение громадной мистификации на одну тему?

Центр по изучению НЛО в США под руководством физика Аллена Хейника с привлечением практически всех университетов страны анализирует многие тысячи (до 1978 года — 12 000!) сообщений. Гастон Алексис, возглавлявший в Министерстве воздушной обороны Франции специальное «научное бюро по изучению соответствующих технологических и технических программ», где с 1961 года ведется досье по наблюдениям за НЛО, в большой статье указывает, что «бюро» учитывало лишь явления, не идентифицируемые ни с одним из известных на Земле объектов или явлений! Книги, свидетельства, даты, имена, факты... Студенистая зловонная масса с волокнами «волос ангела», сброшенная в 1952 году на футбольное поле во Флоренции, на несколько дней наполнила зловонием весь прелестный город!.. Ну что это? Быль, небыль? Не позвонишь ведь по 09 и не спросишь. Вполне возможно, что какая-нибудь химическая корпорация избавлялась от неутиваемо благоухающих отходов! Иван Петрович беззвучно смеялся под привычным белесо-бельмастым глазом своего плафона и прижимал к груди дрожащие тонкие листки, норовившие испуганно соскользнуть на пол. Левин верил и не верил в возможность того, о чем читал.

2

А в это же самое время на другом конце города, в совсем другой, уставленной книжными стеллажами комнате с торшером под пестрым платком, умерявшим свет лампы до уютного полумрака, молодая женщина по имени Катя тоже читала, сидя в кресле под торшером, и тоже необычную книгу — доктора Р. Моуди, издательства «Стэкпоул», 1976 года. Книга содержала множество интервью доктора с людьми, подвергшимися оживлению или перенесшими критические состояния при болезни, выводившие их на грань жизни и смерти. Эта вроде бы документальная книга указывала на удивительную схожесть у всех «опыта смерти»: столкнувшись с ним, все ощущали отделение своей души (некой мыслящей энергии) от собственного тела, причем «опыт внетелесного существования» был легким и радостным, начисто лишаящим страха смерти. Доктор Моуди вслед за проинтервьюированными отмечал, что люди после возврата к жизни по-иному видят и воспринимают ее. Несомненно, это перекликалось с мыслью Платона, выраженной им в «Федре»: тело — тюрьма души, смерть освобождает из этой тюрьмы. Может быть, Платон знал о «предсмертном опыте»?.. «То, что мы называем вре-

менем, есть лишь подвижный, нереальный ответ вечности...» У Кати была удивительная память.

После тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной ею в автомобильной катастрофе два года назад, все отметили в ней перемены. Они касались не только заметного снижения интереса Кати к своей внешности и внешнему виду людей и предметов: одевалась она аккуратно, но строго, без прежнего щегольства и склонности к частым переменам; почти перестала пользоваться косметикой, что ничуть, кстати, не вредило ей, а лишь сделало несомненной естественную свежесть ее кожи и губ, мягкость и пышность светло-русых волос; она утратила интерес к красивым вещам — сумочкам, зонтам, украшениям, драгоценностям, — которыми обычно так увлечены женщины; и внешний облик других людей стал ей довольно безразличен. Не менее заметно обозначились перемены и в интересах Кати, и в ее поведении. Даже манера говорить изменилась: из слегка кокетливой стала подчеркнуто простой и даже резковатой, насколько позволял, по крайней мере, ее мелодичный голосок. Проявив незаурядные способности и желание, она в короткий срок добилась многого: быстро овладела английским, сдала экзамены кандидатского минимума, и как инженер-бионик, блиставшая до того в отделе в основном женским очарованием, она стремительно продвинулась в своей исследовательской работе, проявив талант и мужскую настойчивость, особенно эффективную при женской усидчивости. О ней заговорили в НИИ.

Библиотека и книга почти вытеснили из жизни Кати театры и обожателей. Ну, тут, как вы понимаете, не все зависело от нее. Обожатель ведь вроде преданной собаки (настоящий, понятное дело, обожатель): он способен понять многое, но не всё, и всё — на свой лад. От него так просто — «не хочу — не буду» — не отделаешься, да еще если ты хотя и переменявшаяся, но все же красивая женщина. Однако и тут Катя сумела решительно отделить главное от второстепенного.

Сестры-соседки, помнившие Катю еще прехорошенькой тщеславной девушкой, приехавшей с далекой периферии покорять большой город с его знаменитыми институтами и выдающимися мужчинами, диву давались.

Катя поселилась в большой комнате их двухкомнатной коммунальной квартиры с родной теткой, пережившей здесь вместе с сестрами-соседками блокаду. «Ну вот, теперь у нас настоящий женский монастырь», — смеялась веселая, но очень больная тетка. Все три пожилые женщины обрадовались появлению в их квартире милой моло-

денькой девушки и были убеждены, что до окончания учебы Катя должна свято держаться их «монастыря». Однако уже на втором курсе, позабыв до поры о науке, о которой мечтала, и безоглядно погрузившись в веселую студенческую жизнь, Катя вдруг надумала выйти замуж. Тетка даже вызвала телеграммой мать Кати (очень легкомысленным показался всем трем женщинам Катин жених). Но судьба распорядилась сама: жениха не допустили «за академическую неуспеваемость» к весенней сессии, он укатил к маме не то в Валдай, не то на Алтай, и на том затея кончилась. Но уже через год Кате предложил руку и сердце аспирант из Венгрии. Обычно решительная Катя немного поколебалась и отказала, в основном, как призналась тетке, к тому времени лежавшей уже в больнице, из-за того, что не хотела жить за границей. В последние полтора года в институте Катя подналегла на учебу, ее дипломная работа была особо отмечена, и Катю взяли в престижный НИИ. Там она через год снова немного «расслабилась», по собственному выражению, но в отличие от многих молодых женщин не озадачилась замужеством, что беспокоило и вызывало недовольство сестер-соседей, по-стариковски привязавшихся к ней и полюбивших, но так же по-стариковски недовольных ее легкомыслием.

И вот теперь, когда Катя, пережив автомобильную катастрофу, так посерьезнела, словно поняла вдруг кратковременность человеческого бытия, и засела за диссертацию, они буквально на цыпочках ходили, приглушали вечерами телевизор, чтобы ничто не мешало ей «работать», и все настойчивей поговаривали о «долге женщины» и о «личной жизни», горестно вспоминая, что им-то самим и этот долг, и эту жизнь искромсали война и блокада...

...Доктор Моуди обобщал: почти все соприкоснувшиеся со смертью испытали ощущение стремительного движения в замкнутом темном пространстве, чаще всего — словно бы в туннеле; и вслед за этим, с прекращением шума, наступало то самое потрясающее легкостью обретение «духовного тела» вне физического, обретение своего собственного, но бестелесного «я», освобожденного от суетных желаний и проблем, однако вполне воспринимающего все просходящее в суетном мире. И притом воспринимающее — видящее, слышащее — с определенной точки: сзади и сверху на примерно одном и том же расстоянии. Это «я» видело и свое собственное тело в том положении, в каком покинуло его, и все, что творилось вокруг тела, вплоть до испуганно-потного лица реаниматолога, делав-

шего этому, надо полагать, уже бездушному телу закрытый массаж сердца. «Я» проходило через стены, как игла сквозь шерстяной платочек, словно стены не из камня, бетона или дерева, а сущий дым.

Сущий ли? Как там у Блока: «Никто не умирал. Никто не кончил жить. Но в звонкой тишине блуждали и сходились». Или: «Час придет — исчезнет мысль о теле, станет высь прозрачна и светла». И еще: «Нет, я не отходил. Я только тайны ждал...» Может быть, чтобы стать большим поэтом, тоже нужно испытать «предсмертный опыт»?..

Неизвестно, о чем думала Катя, пробегая серьезными, но и чуть насмешливыми глазами по строкам книги высокочтимого доктора, оставившего в свое время все дела для занятий своими сенсационными интервью. Катины брови были чуть-чуть сурово сведены, но в углу рта угадывалась непонятная — не веселая, но и не горькая — усмешка. Возможно, удивленная? Усмешка озарения? Нельзя исключить в ней и легкую презрительность, но все равно не понять — к кому, к чему. К книге, к написавшему ее доктору или, напротив, к людям с их вопиющим малознанием, консервативностью, неверием и нелюбопытством?.. Здесь мы имеем дело с лицом и улыбкой еще более загадочными, чем у Моны Лизы, потому что эта женщина, в отличие от леонардовской, улыбалась над книгой под загадочным названием (если не принимать его, конечно, как простенькую, незатейливую мистику) — «Жизнь после жизни».

Платон (к размышлению): «Наши органы чувств могут дать нам неправильное представление о природе вещей». И: «Человеческий язык не способен выразить подлинные реальности. Слово скорее скрывает, чем раскрывает их. Нет слов, которые могли бы прямо обозначить действительность,— только мифом, аналогией, другими опосредованиями...»

Итак, загадочная Катя читала загадочную книгу, а совершенно неизвестный ей немолодой романтик Иван Петрович Левин перебирал папиросные странички из аккуратной папочки — все это было реальностью, которую верно оценить мы пока не в силах. Поэтому, не опережая событий, просто последуем их обманчиво спокойному ходу. А течение этих бессвязных событий породило громкий звон телефона в коридоре Катиной квартиры.

— Катюша! Это тебя...

— Опять о н?..

Младшая сестра держала с многозначительным видом трубку, а старшая заговорщицки, шепотом спрашивала,

стоя в дверях их комнаты. Обе были в причудливо орогатившихся косынках. Каждый вечер сестры накручивали волосы на бигуди, и весь следующий день нестарые старушки ходили свежезавитыми, как молодые барашки.

— Слушаю.

— Катя?..

Это был действительно о н. Рюрик Александрович. Обо-жатель из «настоящих». Соседки узнавали его по голосу и, ни разу не повидав, ничего о нем не зная, тем не менее возлагали именно на него наибольшие надежды — в них играла непреодолимая сила женской интуиции. Что с ними случилось бы, узнай они хоть кое-что о Рюрике Александровиче! Какое посрамление надежд и хваленой интуиции! Во-первых, Рюрик Александрович был женат, во-вторых, имел двух детей, из коих старший разменял уже третью седмицу. Отсюда становилось ясным, что и папаша их был не первой молодости, а «второго возраста». В-третьих, он был очень известным и влиятельным в городе человеком, а потому все свои любовные увлечения тщательно скрывал, умело — ненавязчиво и даже вроде бы небрежно — конспирируя, что соседкам-старушкам никак не понравилось бы. Тем более что и в отношениях с Катей было то же. Хотя, вполне вероятно, она была самым серьезным и сильным его увлечением в последние годы. Седина в бороду... Но даже если он и говорил, что готов на все, и, может быть, даже думал так, преодолеть силу привычки (в отношении конспирации) все же не мог.

Познакомился Рюрик Александрович с Катей на представительном совещании, в котором принимали участие самые разные люди, облеченные положением, властью или необходимыми знаниями, — «отцы города», строители, архитекторы, биологи. Речь шла о сложном и крупном проекте. Катя была из обладающих необходимыми знаниями и произвела на Рюрика Александровича неотразимое впечатление сразу, еще на трибуне. Как мужчину сильного и самоуверенного, его привлекали отнюдь не простушки или какие-нибудь «синие чулки». Таких он, по выражению близкого ему до сих пор школьного приятеля, «стрелял из рогатки».

Вообще блестящий Рюрик Александрович был большим знатоком женщин, но не бабником. По крайней мере, сам он был в этом убежден. Он мог распознавать женщин как угодно — по глазам, фигуре, даже по коже. Весело говорил: женщины с кожей сухой и пористой вздорны и злы, с мягкой и гладкой — ласковы, но лживы, с нежной и рыжеватой от веснушек — добры, страстны, но коварны

или глупы... Вместе с тем в своей житейской практике сам он исходил из другого — ему нравились женщины самостоятельные, умные, ну и красивые, естественно. Чем труднее задача, тем больше радость решения ее! Рюрик Александрович сделал это принципом, которому следовал давно. И стал Лауреатом, стал... тем, кем он стал.

Если возможно было бы разъять отполированную годами блестящую и керамически прочную его скорлупу — образ очень энергичного и умного, деятельного и спортивно подтянутого, незаурядного мужчины, — то обнаружилось бы ядрышко, стремительно уменьшающееся на манер «черной дыры» и способное только поглощать, поглощать, поглощать. В отличие от «черной дыры» он осознавал себя, называл «сугубым реалистом», однако не понимал, возможно, что жизнь его совсем не подвиг во благо... и т. д. (хотя и сопровождалась она полезными делами), а эгоцентрическое существование, в котором решительно все служило лишь удовлетворению собственных устремлений, желаний и страстей. Да, и Вселенная и Время поглощались этой черной звездой, но это было не так уж и страшно, потому что и ее мир, и ее время были весьма ограниченными.

Как видите, карты открыты сразу. А объяснение просто: Рюрика Александровича в этом рассказе не обойти, и, хотя рассказ совсем не о нем, нужно постараться хорошо представить его, чтобы не потерялся важный штрих.

Так вот, на том совещании, перед обеденным перерывом, молодой человек в темном костюме из «конторы» Рюрика подошел к Кате и сказал, что генеральный директор хотел бы побеседовать с нею, что его очень заинтересовало... и прочее, и он приглашает ее пообедать вместе.

За обедом, отдав должное в большей степени приличию, чем теме совещания, и потому лишь немного поговорив о том, Рюрик Александрович признался, что его сильно заинтересовала сама Катя. По первому впечатлению — сильная, независимая женщина, а в сочетании с почти неотразимой красотой — явление нечастое. Он был деловым человеком, ценившим время. Но и Катя теперь не отличалась говорливостью и с легкой улыбкой деловито заметила:

— Да вы скорее не Рюрик Александрович, а Александр Македоныч.

— Как?.. — Смутить его всегда было совсем непросто, но тут... Он рассмеялся. — Не отталкивайте меня походя. Я ведь все могу!

— Да?— Теперь она даже не улыбалась.— Как поет Карабас Барабас в известном фильме, «я готов на гадости»?

— Или на подвиги!— Он же теперь смеялся от души, радостно. Само присутствие рядом этой женщины уже делало его почти счастливым.

Так началось его неудержимое движение к ней. Ему нужно было видеть ее как можно чаще, он хотел быть необходимым ей, стремился осуществить все ее желания, а так как действительно мог почти все, то вскоре многого и добился. Он помог ей купить машину и за год значительно увеличил ее библиотеку. А нужны были Кате не просто какие-нибудь книги, а только те, которые казались ей действительно нужными. В том числе и такие, например, как эта книга издательства «Стэкпоул», которую она неохотно отложила, поднимаясь к телефону, чтобы холодно сказать ему:

— Добрый вечер. Мне казалось, что точки над *i* поставлены.

— А мне показалось, что наш последний разговор был несерьезным.

— Это не так.

Он рассмеялся негромко и добродушно.

— Ну, хорошо. Допустим. Друзьями-то мы можем остаться? А, Катюша?

Он привык к ее непредсказуемости, нередко — по его мнению — к непоследовательности, но, как доверительно и весело говорил как-то своему школьному приятелю, в «этой экстравагантности очень много пикантности». Однако главное заключалось в том, что Рюрик любил, его особенно привлекала именно ее непредсказуемость. Может ли быть что-нибудь более оглушительное, чем страстность после холодности?.. Конечно, в его отношении к ней физическое было ведущим, но обрамление, фон, создаваемые ее умом и нравом, подхлестывали его, порождали ощущение неоконченности и непознаваемости, атмосферу обожания, столь непривычную для него, когда не он был объектом.

— Я не верю в вашу дружбу,— спокойно сказала она.

— Ах, даже так?— Его неприятно поразила не ее интуиция, которую он до конца не мог прочувствовать, а то, что она перешла на «вы».— Хорошо, и тут я не стану вам перечить. Но согласитесь, что выдергивать плот из-под недавно спасенного по меньшей мере невеликодушно. Пусть даже непоследовательность — одна из ваших прелестных особенностей.

— Не надо меня обволакивать.

Он снова тихо рассмеялся.

— Хорошо. Видите, какой я покладистый? Но аудиенцию для делового разговора вы мне можете предоставить? Ей-богу, Катя, делового. Для того я и звоню, собственно.— Он играл с нею, как кот с мышью.— Я мог бы пристать за вами машину завтра часов в семь?

Вечер на следующий день у нее был занят. Ей предстояло дело за городом, очень для нее важное сейчас, но, что-бы отделаться от Рюрика, она сказала:

— Хорошо.

План родился сразу. Она решила извиниться завтра перед тем, кто за нею придет, и перенести свидание на какой-нибудь другой день, хоть на послезавтра... А потом... Она знала, что им не скоро удастся встретиться.

3

В этот день дорожки многих из нашего рассказа пересеклись.

Иван Петрович Левин, как, возможно, помнит читатель по восклицанию, адресованному тетушке, дежурил эти сутки по «скорой помощи», а с утра, в перерывах между поступлениями экстренных больных, занимался своими обычными делами: смотрел с ординаторами оперированных в предыдущие дни, обсуждал что-то, беседовал с провинившейся медсестрой и ненавязчиво (не дай бог, бросит швабру и вовсе уйдет) воспитывал санитарку, то есть делал то, что и положено заведующему хирургическим отделением.

Рюрик Александрович с утра тоже занимался тем, чем положено генеральному директору объединения, и дела эти были много значительнее, конечно, левинских, масштабнее и ответственней (хотя тут точки зрения разных людей могут не сойтись). Но если Левин был поглощен своими, то Рюрик Александрович лишь погружен в них и, выныривая, думал с удовольствием о предстоящем вечером свидании с Катей. Оно освещало и облегчало его день.

А Катя с утра оформляла свой диссертационный отпуск, а потом ушла к себе в отдел.

День тянулся долго, как может тянуться дождливый серый день осени, когда только-только тихо отшуршала в расслабленно-голубом небе «бабьего лета» ароматная присыхающая листва.

В семь было уже темно. Густые серо-ватные тучи, едва угадывающиеся невысоко над крышами, подсвеченные

заревом городских огней, казались тяжелыми и неподвижными.

Интуитивно Катя решила почему-то встретить машину на улице, сидя в своих «Жигулях». Зная точность Рюрика и его людей, торопливо, но точно в без пяти семь захлопнула дверцу и приспустила стекло. Интуиция не обманула ее. В подкатившей «Волге» на заднем диване сидел сам Рюрик Александрович. Яркая люстра через три незашторенных окна в первом этаже хорошо освещала его лицо в машине. Катины «Жигули» стояли у противоположного тротуара — она всегда ставила их там, чтобы хорошо видеть через узкую улицу из своего окна в четвертом этаже.

Катя нахмурилась и включила мотор. Потом врубила сцепление и дала газ. Краем глаза она увидела, как быстро обернулся в ее сторону Рюрик.

На набережной она поняла, что ее преследуют. Нагоняют или просто следят? И что за этим последовало — игра, азарт, безумие? Что там включается в нас иногда помимо желаний, вопреки разуму, но более сильное, чем и то и другое? Или все наоборот: то, что известно и постижимо нами в себе и в других, — только часть желаний и разума, малая и немощная часть, а включается непознаваемое огромное?..

Похоже, удалось оторваться.

На загородном шоссе стоял абсолютный мрак. Толстый слой давивших на землю туч совсем не пропускал света из Вселенной. Только на лобовом стекле, оседая, светились мельчайшими звездочками капельки влаги. Темень отступала перед светом автомобильных фар упруго, словно резиновая. Мокрая лента шоссе разворачивалась впереди всего на какую-нибудь сотню метров.

Поглядывая в зеркальце заднего вида, она ждала: у тяжелой «Волги» все же было преимущество. Да, два мутных световых пятна приближались. Стрелка спидометра плавно ползла по кругу, перечеркивая цифры «80», «90», «100», «110». Пост ГАИ промелькнул освещенным аквариумом. Она видела, как засуетились там фигурки людей, но зато два световых пятна сзади исчезли. Черные деревья за обочиной, строения, лишь кое-где тронутые желтизной освещенных окон, бетонные столбы линии электропередач стремительно неслись навстречу, раздвигаясь светом фар и смыкаясь сразу же у самого капота машины. Катино лицо ничего, казалось, сейчас не выражало, матово белея в скудных люменах приборной доски.

Крутой поворот вынырнул под колеса мгновенно, но она все же среагировала на промелькнувший предупреж-

дающий знак — сбросила газ, передвинула ногу на педаль тормоза, привалилась к рулевому колесу, выворачивая влево.

Машину раскрутило на мокром асфальте и бросило на бетонный столб.

Черная «Волга» была у места аварии через несколько секунд. Разбитые «Жигули» заметили за поворотом в стороне от дороги сразу — там светилась фара, пуская в укутанное тучами небо призывный луч.

Рюрик Александрович выпрыгнул из «Волги» и побежал к разбитой машине, не замечая грязи, которая быстро покрывала его начищенные туфли и дорогой костюм. Вслед неторопливой рысцой побежал шофер «Волги». Вдвоем они с трудом открыли дверцу «Жигулей», выволокли из машины Катю и снесли на шоссе. В свете фар «Волги» шофер сноровисто наложил ей на бедро у самого паха жгут из своей аптечки. Кровь из раны перестала хлестать. Рюрик Александрович бестолково помогал ему, растерянно бубня:

— Бог ты мой, Катя... Что же это, бог ты мой!..

В это время появилась милиция.

— Вот эти «Жигули»! — крикнул один милиционер другому, выпрыгивая из коляски мотоцикла. — Ну, что тут? — спросил, подбегая к возившимся на асфальте людям, и присвистнул: — Фью!.. Доездилась... Давайте ее быстро в больницу!

Втроем они понесли Катю в «Волгу» и уложили на заднее сиденье.

— Как же это, зачем?.. Катя... — потерянно бормотал Рюрик Александрович.

— Поезжайте, поезжайте! — торопил милиционер.

Молодой хирург распорядился нести ее, не снимая с носилок, в реанимационную комнату рядом с приемным покоем, там раздевать и ставить капельницу.

— Вызовите Ивана Петровича...

Лицо Кати было бумажно-белым, ноги и серую юбку покрывала засохшая уже кровь. Неузнаваемо блестели сразу увеличившиеся и потемневшие глаза. Все представлялось сейчас Рюрику Александровичу нереальным. Он не узнавал ни себя, ни Катю. Она медленно провела грязной рукой по своему лицу, шее, словно устраняя что-то мешающее, и рука замерла на груди. Потом нахмурились брови, сузились глаза, будто она припомнила что-то, и неожиданно все лицо преобразилось. Все такое же блед-

ное, оно как-то разгладилось, ожило или, наоборот, стало неестественно сейчас отстраненным, спокойным и уверенным.

— Медальон...— прошептала Катя.— Ты его помнишь?

— Что?— Рюрик Александрович склонился к ней, пораженный этой неестественностью, испуганный веянием какой-то исходившей от Кати потусторонности, которую он вдруг ощутил.

Сестра наконец попала в вену.

— Иван Петрович спускается,— сказали от двери.

— Спасибо. Шура, попала? Молодчина. Раздевайте ее осторожно... Товарищ, выйдите!— Молодой хирург пытался сосчитать Катин пульс.

— Найди медальон...

— Товарищ, я вас прошу!..

Иван Петрович Левин неторопливо осмотрел пострадавшую. Негромко распорядившись о грелках, вливаниях и операционной, он возвратился к ней. Не отделенная еще от грязи, крови и нервной спешки, которые ворвались вместе с нею в эту комнату, она не казалась вместе с тем испуганной или подавленной. Напротив, в ней отчетливо проглядывало шоковое возбуждение.

— Группу крови определили?— уточнил Левин, снова щупая ее пульс и разглядывая лицо.— Как вас зовут?

— Екатерина.

— А отчество?

— Зовите просто Катя. Мне всего двадцать восемь.

Левин усмехнулся, отметив, что она не отводит своих лихорадочно блестящих глаз от его лица.

— Ну-с, ладно. Значит, Катя. У вас была раньше травма головы?

— Была. Тоже автомобильная катастрофа.

— Когда?

— Два года назад. Как вас зовут, доктор?

— Иваном Петровичем.

— Что меня ждет, Иван Петрович?

— Операция. У вас открытый перелом бедра с повреждением бедренной артерии. Ясно?

Она прикрыла глаза, и сразу же показалось, что умерла. Левин испытал даже мимолетную растерянность, так неожиданно было то, что он понял: только глаза и жили на этом бледном лице, а возможно, и во всем теле этой женщины. Но пульс был вполне приличным.

Чему он удивился, от чего растерялся? Мало ли видел он раненых в шоке с контрастами похлеще?

— Машина... Крутой поворот, звездочки...— бормотала она.— Медальон...— И опять, открывшись, вспыхнули на ее неживом лице лихорадочные глаза.— Медальон?.. Иван Петрович, пусть узнают у мужчины, который привез меня, не нашел ли он то, что я просила.— Голос ее неожиданно окреп, но был так же горячечен, как глаза.

— Не волнуйтесь, Катя. Уверю вас, все это пустяки сейчас.— Левин отослал санитарку выполнять просьбу больной и распорядился ставить кровь. Его волновало возбуждение Кати. Лежала она спокойно, но глаза... Глаза у нее были просто безумные.

Пришла санитарка и, сказав сердито: «Ничего там не нашли», принялась дальше раздевать Катю. Молодой хирург старательно заполнял историю болезни.

— Ладно. Это мы потом,— подойдя к нему, сказал тихо Левин.— Мойтесь. И пусть сюда спустится анестезиолог.

— Ага... Хорошо.

— Иван Петрович,— неожиданно позвала Катя.— Я хотела бы поговорить с вами.

— Думаю, разговоры лучше отложить. Жгут лежит все же около часа. Времени у нас в обрез.

— Нам нужно поговорить именно до операции. И с глазу на глаз.

— Катя, уверю вас...

— Очень прошу! Тем более что времени у нас мало. Он видел — она горит этим желанием. И сдался.

— Ну-с, ладно. Я вас слушаю... Ах да! Шура, оставь нас, пожалуйста, на минутку.

— Какую вы хотите сделать мне операцию?— спросила Катя, когда сестра, округлив в удивлении глаза, вышла из комнаты.

— Вероятно, вошьем протез на место поврежденного участка артерии и произведем остеосинтез.— Левин усмехнулся.— Понятно?

— Конечно.

— Вы имеете отношение к медицине? По-моему, в истории болезни написано «инженер».

— Я поняла вас, Иван Петрович.— Теперь она словно потухла, ушла в себя, говорила размеренно, как «телефонный секретарь».— Значит, трансплантат и остеосинтез. Это надолго задержит меня здесь. Верно?

— Трудно сказать.

— Ампутация бедра проще?

Левин едва не сел на пол. Потер привычным жестом шрам на щеке. Через несколько секунд он все же нашел в себе силы сказать:

— Не понял.

— Иван Петрович, я прошу вас ампутировать мне бедро.

— Катя, я вас не понимаю...

— Разве это обязательно? Я прошу вас сделать мне простейшую и самую надежную операцию.

Левин поискал глазами стул, подтащил его поближе к каталке и сел. Снял колпак и вытер им лицо. За четверть века в хирургии он слышал такое впервые и сдавленно произнес:

— Но мы попытаемся спасти вам ногу... Ампутацию сделать никогда не поздно. Разве в таком возрасте имеет значение срок лечения?..

— Иван Петрович, у нас нет времени. Не будем открывать дискуссии. Я прошу об ампутации.

Левин был настолько поражен, что еще несколько секунд не мог найти с ответом. Расстегнул верхнюю пуговицу не очень свежей своей сорочки, слегка распустил галстук.

— Поймите, сейчас нет показаний к ампутации...

— Поставьте их. Я отблагодарю вас.

— Погодите... оставьте это!..— И думал лихорадочно, словно внезапно ушедшее из этой женщины возбуждение перетекло в него: «Это от травмы, конечно, но все же черт знает что!..» И бубнил растерянно:— Ни о чем не думайте, Катя, предоставьте это нам... Шура, где вы там? И где анестезиолог, наконец!..— Левин поспешно пошел из комнаты.

Вот специальность! И через двадцать пять лет она все еще преподносит сюрпризы. С таким делом не соскучишься. Конечно, у Кати все от травмы, от шока. Дважды за два года попасть в автомобильную катастрофу!.. Но поди ж ты, оцени все сразу, впервые увидев человека! Левин легко поднимался по лестнице в операционную, покачивал головой, усмехался.

В этом здании люди нередко становились совсем иными, чем были на улице, в деле, за дружеским столом, даже в своей постели. С них будто снимались все условности, все выросшее за годы жизни. Левин наблюдал здесь людскую суть, и занятие это с годами стало ему необходимым, наверное, как и сама хирургия. Может быть, любопытство поддерживалось одиночеством? Возможно, он видел себя старым мудрым зверем, в познании окружающего мира постигающим и сам смысл существования?

Звери, считал Левин, мудрее людей, ибо мудрость — только опыт естественной жизни. Да, вполне возможно, что и себя он видел каким-нибудь сильным мудростью зверем. Но вот каким именно? Очень заманчиво — лев или красавец гепард, но очень уж хищно. Задумчивый бегемот, мирно стоящий в рядке жизни? Об этом ли мы мечтаем с юности! Слон? Но наш Иван Петрович хотя и был нетороплив и чуть обрюзг, но выглядел легким и скорее изящным, чем массивным...

4

Весь остаток ночи после операции Кати Левин, закончив какие-то очередные дела, заходил к ней в палату. Она спала под действием наркотиков. После переливания крови лицо немного порозовело. Сосудистый протез функционировал в эти первые часы хорошо. Сдав дежурство, перед тем как уйти домой, Левин вновь зашел в реанимационную палату. Катя сразу проснулась, лишь только он прикоснулся пальцами к ее руке, нащупывая пульс. И улыбнулась, обнаружив милую, совсем детскую ямочку на левой щеке.

— Доброе утро.— Левин сел на белый металлический табурет у кровати.— Как самочувствие?

— Спасибо, Иван Петрович, все хорошо.

— Вы молодчина. Выглядите как ни в чем не бывало.

— Вашими стараниями.

— Нет, тут и от пациента многое зависит. От его духа, а у вас совсем здоровые глаза.

Она сразу изменилась, словно он напомнил ей о чем-то. Так бывает с проснувшимся человеком, вдруг начавшим снова осознавать несчастье, забытое во сне.

— Не обращайте внимания на мои глаза. Говорят, они маловыразительны,— как будто со значением сказала Катя знакомым и неприятным ему голосом «телефонного секретаря». Он снова почувствовал в ней напряженность.

— Не верьте. Ваши глаза выражают недюжинный характер.

— Вы наблюдательны, Иван Петрович. Как вы думаете, это верное выражение: глаза — зеркало души?

«Если это правильно на сто процентов,— неожиданно подумал Левин,— то у этой красивой девушки внутри сейчас густой туман». А вслух сказал, вставая:

— Ну-с, ладно. А ногу вам мы, похоже, сохранили. Помните наши вчерашние разговоры?

— Уходите? Посидите немного,— попросила Катя.— Вас ведь никто не ждет, верно?

Левин удивленно вскинул брови. Катя снова улыбнулась. Ямочка на щеке делала ее лицо неотразимо милым. Сказала:

— Единственное мое неоспоримое достоинство — наблюдательность. В этом я могу составить вам конкуренцию.

Следуя за ее взглядом, Левин потрогал смятый воротничок сорочки, опустил глаза на пузырящиеся у колен брюки. Смущенно усмехнулся:

— Вы правы. Не ждет. А что вы скажете о желании выспаться?

— Лицо у вас действительно усталое. Но общество-то мое хоть немного бодрит вас?

Теперь Левин рассмеялся.

— Обязательно, самонадеянная молодость!

— Я нравлюсь вам?

— О боже! Не припомню в своей жизни другого такого разговора с пациентом. Да так стремительно...

— И все же?

— Ну а почему вы можете не понравиться?

— Вот именно. В том вся беда.

Левин вдруг почувствовал, что утрачивает ощущение реальности происходящего.

— Ну-с, ладно. Вы очень странная девушка, Катя. Вам, наверное, об этом говорили...

— Думаю, что в ближайшее время вы будете удивлены еще больше. У вас есть автомашина?

— Предположение по какому-нибудь масляному пятну?

— Нет, просто мне это важно знать.

— Важно, значит... Да, есть «Москвич», единственный член моей семьи. Ну-с, ладно. Поеду спать...

Это было похоже на бегство.

Левин переоделся в старый тренировочный костюм, прошел на кухню и поставил чайник.

В квартире стояла тишина. Дома никого не было. Тетушка подрабатывала где-то в гардеробе, а дядюшка — лифтером. Но на кухне еще не остыл уют, задрав на столе кверху свой корабельный нос. Левин осторожно потрогал в задумчивости его полированную горячую плоскость и так же задумчиво отправился к себе в комнату за брюками. Уже вернувшись с ними на кухню, он неожиданно рассмеялся. А, собственно, в чем дело? Брюки действительно необходимо иногда гладить. Особенно если на них обращает внимание молодая красивая женщина.

Левин сидел на кухне с брюками в руках и беззвучно смеялся до слез. Молодые красивые женщины стимулируют мужчин разного возраста и не на такие подвиги!

Настойчивый телефонный звонок прервал его странный и страшный сон. Совершенно неожиданный, неясно почему явившийся...

Левин глянул на будильник и недовольно поморщился, хотя и рад был, что этот сон прекратился. Он не спал и двух часов, а теперь все, теперь больше не заснуть.

— Товарищ Левин? С вами говорят из приемной генерального директора...— Говорил твердый мужской голос секретаря или референта.

— Я вас слушаю,— буркнул Левин.

— Рюрик Александрович хотел бы знать, как вы оцениваете состояние оперированной вами ночью больной, которой он оказывал первую помощь.

— Когда уходил из больницы, состояние ее было вполне приличное.

— Когда это было?

— Часа четыре назад.

— И с тех пор?..— В твердом голосе улавливалось едва ли не осуждение, или это только показалось Левину, но ответил он жестко:

— Вы правы, с тех пор я сплю.

— Извините...— У той трубки произошло какое-то замешательство, затем твердый голос более мягко спросил:— Как вы считаете, ногу удастся спасти?

— Сейчас трудно говорить определенно, но надеюсь, что удастся.

— Благодарю вас.

— Пожалуйста. Если вас будут интересовать свежие данные, звоните в справочный стол больницы. Он работает круглосуточно.

— Понятно. Извините. До свидания.

Все чинно, но Левин не был уверен, что разговор получился. А что он должен был сказать постороннему Кате человеку, разбудившему его через два часа после возвращения с суточного дежурства?

Левин был смущен непонятным сном, оставившим на душе тяжесть, но и расстроен тем, что не удалось отоспаться, как он мечтал целую неделю — полдня в тренировочном костюме под пледом. Так удавалось только после дежурств, да и то не всегда. Левин протянул руку к большому старинному стулу, на котором рядом с телефонным

аппаратом всегда была навалена гора журналов и книг. Ничего, почитать вот так днем тоже неплохо.

И, как всегда, любимый круг его чтения — приключения, фантастика, проблемы, гипотезы — сразу увлек его, окончательно развеял остатки неприятного сна. Он читал о скульптуре небольшого народа Восточной Африки маконда, безграмотные художники которого вырезают из дерева удивительные стилизованные фигурки, несущие на себе следы абстрактного искусства с космическими мотивами! В этих творениях, считают специалисты, не только многовековая традиция народа, но и что-то более глубокое, не имеющее пока объяснения и создающее «загадку маконда»...

Левин вспомнил прочтенное недавно в папочке с папиросными листками — там какой-то профессор высказывал предположение, что человек на Земле «насажен»! Собственно, всякий профессор не более чем живой человек, и все человеческое ему присуще, в том числе заблуждения, мечты и прочая суета сует. Ведь в той же папочке Левин вычитал о гипотезе известного академика об информационном поле мироздания! Что открывает эта идея, по которой информация — не только привилегия живых систем, где она используется для приспособления, размножения и т. д., но атрибут материи вообще?! Все существует во всем, и все помнит обо всем! И не значит ли это, что Время может течь не из прошлого в будущее, а как река, по которой мы поднимаемся, — навстречу?..

Иван Петрович, заложив руки под голову, смотрел в белый потолок, ровно и неярко освещенный пасмурным днем. Сколько неясного и загадочного вокруг нас! Как удивительно интересно жить и думать в этом изменчивом мире, который мы, несомненно, переделываем, являясь при том лишь ничтожной его частицей. И разве возможно определить, как могут когда-нибудь сказаться на этом самом мироздании «переделки», исходящие от тех самых «его частиц»? Может быть, осознав это, некие высокоразвитые существа и не вмешиваются активно? Действительно. Все может быть, все, что лежит в русле реальности, пусть еще и не постигнутой нами.

Он вспомнил о недавно прочтенном где-то: во время раскопок в Танзании в культурном слое полуторамиллиардной давности обнаружены хорошо сохранившиеся скелет и череп четырнадцатилетнего мальчика. Вот тебе и зарождение жизни на Земле полтора миллиарда лет назад! Если это не очередная мистификация, то можно, по сути, спустить на тормозах теорию эволюции Дарвина. А?..

Иван Петрович тихо рассмеялся, сладко потягиваясь перед тем, как подняться с дивана. И подумал с радостью, что в бесконечном потоке бесконечно разнообразного мира самым надежным, прочно ставящим на ноги и привязывающим к земле является лишь конкретное дело, которым ты занимаешься, которое любишь и в котором совершенствуешься. И сразу же пришло воспоминание о Кате, об операции, сделанной им прошлой ночью. А что, очень даже неплохо получилось! Теперь главное — чтобы без осложнений, «вытащить»!.. Он шел в ванную полный энергии и оптимизма.

Действительно, чтение и размышления о прочтенном приятно и неприметно уводили от забот и тягот ежедневности, приобщали к чему-то очень значительному и важному, возможно. Но только мысли о работе, как и она сама, способны были принести Ивану Петровичу ощущение счастья.

5

Катя просила никого не ставить в известность о случившемся с нею: родных в городе не было, а на работе оформлен отпуск.

Левин постоянно чувствовал в ней напряженность, отмеченную им еще утром после операции. Отчужденность. Словно в ней постоянно шла какая-то большая душевная работа. Необъяснимым, удивительным было лишь то, что связана эта работа совсем не с тем, что привело Катю в больницу, и даже не с ожидаемыми результатами операции. По крайней мере, непосредственной связи Иван Петрович не улавливал и вскоре получил тому неопровержимое подтверждение.

Дела у Кати шли хорошо, и Левин обещал, если и дальше будет не хуже, через несколько дней разрешить ей вставать. Но это сообщение, судя по реакции Кати, не очень ее обрадовало.

— Вы хотите сказать, что только к концу недели разрешите вставать? Когда же я смогу выписаться? Мне необходимо поскорее выйти отсюда, Иван Петрович.

— Бог мой! Не нужно было врзаться в столб, Катя! Вы должны быть просто счастливы, что у вас так хорошо идет заживление. Пока. Плюйте каждый день по три раза через левое плечо.

— Вы верите в приметы?

— Если угодно, я верю в удачу, как и большинство хирургов. Так вот, с полным основанием надейтесь на бла-

гополучный исход, будьте этим счастливы и не думайте о днях!

— Милый Иван Петрович, я не способна быть счастливой и сейчас могу думать только о днях.

— За то недолгое время, что я вас знаю, Катя, вы и без того наговорили мне, простите, кучу небылиц. Так что будем исходить только из существующих реальностей.

— Хорошо. Если бы вы взялись лечить собаку, то исходили бы при этом из собачьих реальностей, не так ли? А это значит, не стали бы препятствовать ейлизывать рану.

— На двух ногах вы лучше залижете свои раны, уверяю вас,— усмехнулся Левин.

— Иван Петрович, моя история не показалась вам странной? Две аварии и все прочее?

— О, милая Катя, чего я здесь только не насмотрелся! И не люблю лезть в чужие дела. Хотя любопытен.— Левин похлопал ее по красивой узкой кисти, лежавшей поверх одеяла, и поднялся с табуретки. Катя задержала его руку.

— Иван Петрович, подумайте о моей истории и о наших с вами разговорах. Всех без исключения. Это важно.

— Ну-с, ладно. Вы очень странная девушка, Катя...

«Все же у нее не в порядке психика. Не показать ли специалисту?..»— подумал Левин, выходя из палаты.

Несмотря на скептическое отношение к словам Кати, Иван Петрович невольно задумывался над ними. И не только потому, что эта женщина определенно заинтересовала его. Она, несомненно, была умна и не производила впечатления взбалмошной девчонки при всех странностях ее разговоров. Если даже психика ее и представлялась Левину необычной, он все же чувствовал, что Катя действительно чего-то ждет от него. В ее беседах с ним угадывался интерес, она словно бы изучала его. Он был ей для чего-то нужен. Так ему казалось. Но для чего? Левин был достаточно разумным и самокритичным человеком для того, чтобы исключить спонтанное стремление Кати завести с ним любовную интрижку. Даже в отутюженных брюках и свежей сорочке он едва ли выглядел подходящим объектом. Да и все эти странные разговоры она начала буквально с первых часов в клинике, сразу после аварии, то есть в то время, когда ни один человек в том ее состоянии и положении не способен думать ни о чем, кроме главного. Он усвоил это за четверть века своей хирургической практики. Чаще всего это слова о себе, о своем состоянии,

реже — о родных, близких, еще реже — о работе. И все. Других тем у привезенных по «скорой помощи» не существует. Если они, конечно, не пьяны в дупель или не сумасшедшие. И не похожа Катя на сумасшедшую... Но, отбросив даже ее первый разговор об ампутации и противоестественной взятке, вызванный, несомненно, потрясением после аварии, такой кратковременной невменяемостью и шоком, следует признать, что и во всех последующих обычные темы отсутствовали. Нельзя же считать такой темой просьбу ускорить выписку, с которой она обратилась к нему, когда неясно еще было, удастся ли спасти ногу!

И что значит эта фраза: «Подумайте о наших разговорах, всех без исключения»? Не хотела ли она сказать, что нельзя отбрасывать и тот самый первый их разговор, ненормальный? Вот смех собачий! Просто шарада какая-то, а не женщина. Или она дурачит его, и все? Женщины любят мистифицировать. Ситуация, правда, неподходящая...

И все-таки однажды она сказала что-то насчет «своего дела». Левин не мог вспомнить, о чем тогда шла речь, кажется о генеральном директоре Рюрике Александровиче, и она заметила, что он чуть ли не стал помехой в ее деле. Да, да, такая абракадабра. Фраза была проходящая, но если взять ее за основу, то возможен любой допуск, даже детективный. Как звучит, например: Ванюша — и Мата Хари... Посмеиваясь, Иван Петрович, однако, чувствовал себя загнанным в тупик и все настойчивее возвращался к мысли о психиатре. Потом он решил позвонить своему институтскому другу, ныне известному в городе психиатру, но, закрутившись в отделении, забыл от этом решении и заснул около двенадцати ночи на своем холостяцком диване с очередным томом «Зарубежного детектива», приметно выкравшим из его плотного суточного ритма часа два.

Утром, осмотрев Катю и оставшись доволен, Левин распорядился перевести ее в общую палату.

— Надеюсь, вы не оставите меня? — спросила Катя.

— Ни в коем случае. Я вообще не оставляю вас в покое, пока не разгадаю кое-какие ваши загадки, — пошутил Левин. — Вы словно загипнотизировали меня. Полдня вчера в голову лезла всякая чушь. Но теперь дудки. Вы скажете, ради чего морочили меня и что вам от меня нужно.

— Вы уверены, что созрели для этого? — Сегодня она была почти веселой, и в голосе звучали милые игривые нотки. Теперь это была обычная, очень ему симпатичная пациентка.

Иван Петрович погрозил ей пальцем:

— Пока еще я хорошо отношусь к вам, Катя, несмотря на попытку подкупить меня и всячески заморочить мне голову. Но если вы будете продолжать в том же духе, я действительно передам вас другому врачу.

— А имеете ли вы на это право?

— Заведующий отделением имеет право на все!

Катя рассмеялась.

— Не запугивайте. Теперь, когда вы полдня думали о наших разговорах, я смогу на вас воздействовать.

— Опять?.. Пошел оперировать.

— Желаю успеха. Хотя это, кажется, лишнее. Вы отличный хирург.

— Ничего, хорошее слово и кошке приятно. Кстати, все эти дни у вас совершенно нечего читать. Как вы коротаете время? Принести вам книги?

— Спасибо, не нужно. Я не скучаю.

— Да? Чем же вы заняты?

— Думаю... Иван Петрович, можно предложить вам тему для нашего следующего разговора?

— А что, у нас теперь будут семинары? Знаете, они мне не очень удавались и в студенческие годы. Seriously.

— И все же подумайте на досуге, почему Космос остается мертвым для землян. Миллиарды лет миллиардам галактик — и никаких признаков жизни нигде? Человеку всего четыре-пять миллионов лет вроде бы, а он уже вышел в космос. Неинтересно?

— Кто теперь об этом не задумывается! Однако, насколько мне известно, все безрезультатно...

— Ваша машина на ходу?

— Машина... Боюсь, что мне самому вскоре понадобится психиатр.

И снова — детская простодушная ямочка на ее щеке.

— Если хорошо спите, выдержите.

— Ну вот, разве что это... — Иван Петрович отметил в ней с некоторых пор... уверенность, что ли, убежденность, которая, похоже, придала ей решительности и сил.

— Так на ходу ваша машина?

— На ходу.

— И еще вопрос: сможем ли мы обстоятельно поговорить, когда я буду в общей палате?

— Что, опять не должно быть свидетелей?

— Ни в коем случае!

Левин изучающе смотрел на нее. Лицо Кати стало совершенно серьезным. Ну, мистификаторша, ладно же...

— Хорошо. — Левин в задумчивости потер шрам на щеке. — Через два дня я дежурю. Не по «скорой помощи»,

будет спокойно. Вам, надеюсь, разрешим уже ходить. Вот и соберемся в ординаторской. Устроит?

— Вполне. Не забудьте, однако, о предложенной теме.— Она снова улыбалась.

Он знал уже, что с нетерпением будет ждать этого дежурства не по «скорой», на которые обычно шел с большой неохотой. Когда не было поступления экстренных больных, ритм дежурства становился тягучим и утомительным. Не было дела, ожидания, которые возбуждали его, держали в выработанном годами и привычном тоне. Уже к вечеру, после обхода, он чувствовал себя на таких дежурствах особенно одиноким, никому по-настоящему не нужным. И это ощущение было тут острее, чем дома, в его не очень уютной комнате, потому что там он мог спокойно читать, отключаясь от всего, что никогда не удавалось здесь, гнал тоску мыслями о клинике, о деле, в котором был хорошим мастером, необходимым людям.

6

В день дежурства к вечеру, когда основные дела были закончены и врачи отправились по домам, Левин, как и договаривались, пригласил Катю в ординаторскую.

Катя понемногу уже ходила, но в основном активно осваивала кресло-каталку. В нем она и расположилась перед столом Левина. Ее светлые волнистые волосы до плеч были зачесаны назад и перехвачены у затылка голубой ленточкой. Эта простая прическа открывала маленькие уши, подчеркивала высокий лоб, правильный овал лица и стройность шеи. Из своего рабочего кресла по другую сторону стола Левин любовался Катей.

— Ну что, начнем, пожалуй?— усмехнулся он.— С чего?

— Во-первых, я хотела бы услышать ответ на свою последнюю просьбу.

— Последнюю?.. Прошу прощения, запомнил. На какую просьбу?

— Я просила вас подумать, почему Космос...

— Ах, это! Простите меня во второй раз, Катя, не выполнил. Знаете ли, хирургия с дежурствами, с дорогой в оба конца и чтением специальной литературы в библиотеке, даже иногда,— получается в среднем больше четырнадцати часов в сутки. Серьезно, подсчитали.

— Неужели вас не поражало, что у вечного Большого Космоса не нашлось любопытных существ, которые искали бы иную жизнь?— Она смотрела на Левина с таким

удивлением, словно эти космические вопросы непосредственно входили в круг его обязанностей и не понятно было, как он мог, не разрешив их, даже войти в больницу, не то что приблизиться к операционному столу.

— Представьте себе, в этих стенах подобные вопросы возникают реже всего,— усмехнулся он.— Но об этом достаточно много говорено: может быть, мы уникальны, или не выпал еще наш номер. По теории вероятности.

— Скорее, по теории невероятности. Ваше «много говоренное» не учитывает истинного смысла двух понятий — Вечность и Бесконечность, которые более емки, чем мы себе можем представить. Потому что представить их невозможно.

— Ну вот, видите, безвыходное положение получается.

— Не совсем. Как отметил академик Ландау, человек способен понять вещи, которые он уже не в силе вообразить.

— Чертовски мудро. На это способны только физики.— Левин убрал бумаги в ящик стола, словно освобождая его для какой-то игры.— Ну-с, ладно. И что же?..

— Человек преодолел путь от примитивной паровой машины до космического корабля меньше чем за двести лет. Можно ли усомниться в том, что земляне через тысячу лет не будут знать основного о громадных районах Вселенной вокруг своей Галактики? Или не освоят скорости света? А это значит, что путь к созвездию Лиры, например, займет у них всего двадцать семь земных лет. Ответьте мне.

И в этой выкладке не было ничего сенсационно-сногшибательного. Немного удивила точность насчет Лиры. Он согласился:

— Пожалуй...

— А теперь попытайтесь представить себе, что Бесконечность за Вечность не создала разума, который бесконечно давно не исследует Вселенную, не обнаружил жизнь на планете Земля и не пытался ближе познакомиться с ней. Попробуйте.

Катя пристально смотрела на Левина, а он обескураженно — на нее. Опять довольно странный разговор. Но неожиданно появилось новое ощущение: будто он видит этого человека впервые. Загадочного человека, лишь внешне похошего на знакомую ему женщину под именем Катя. И от этого ощущения ему стало зябко.

С тихим стуком прыгала стрелка электрочасов. Из коридора доносились голоса, шарканье ног по паркету. За окном стоял розовый свет заката, в котором неестественно

висел едва приметный блеклый серпик Луны. Быстро темнело.

— Вы хотите сказать,— после паузы немного напряженно произнес Левин,— невозможно, чтобы Землю не посещали инопланетяне? Честно говоря, я тоже не могу представить себе, чтобы мы были единственными...— Он повел рукой в сторону окна.— И все эти многочисленные свидетельства о НЛО, часто, правда, довольно фантастические...

Катя продолжала молча смотреть на него, и он, будто стимулируя себя, бодро сказал:

— Ну что же, может быть, и прилетают. Поглядят и улетают. Ведь и мы доходим постепенно до понимания того, что, активно вмешиваясь, скажем, в жизнь какого-нибудь вида, ставим его на грань катастрофы. А стопроцентно сознательные тем более должны понять.

— Очень разумно, Иван Петрович. Дела у нас с вами пойдут быстрее даже, чем я предполагала.

— Ну-ну, не заноситесь. Я старый холостяк из интеллигентов-романтиков, люблю иной раз потарашиться в потолок перед сном. Дайте мне освоиться в этой игре, и, кто знает, может быть, уже перед ужином я дам вам фору... Однако погодите. Так нам будет не начать обещанного вами разговора.

— Ошибаетесь, Иван Петрович. Он уже идет.

— То есть... Что вы хотите этим сказать?

— То, что сказала. Как вы давно уже предчувствуете, хотя и боитесь признаться в том самому себе, я — не человек.

В ординаторской стало уже довольно темно, и они плохо видели лица друг друга. За окном на синем, едва подсвеченном еще небе холодно мерцали редкие звезды.

«Совсем паршиво...»— расстроено подумал Левин и вспомнил почему-то о невероятно громадных далеких солнцах в созвездии Лиры, свет от которых мчитсся к Земле долгих двадцать семь лет, больше половины его жизни...

— Ну-с, ладно,— после долгой паузы хриловато произнес он.— Пожалуй, нужно включить освещение.

Но тело оказалось неожиданно тяжелым и непослушным, хотя паузу он заполнил вполне разумным размышлением о том, как плохо соматические врачи представляют себе безумцев, хотя и проходят в институте курс обучения в психиатрической клинике. Он заставил себя подняться, но Катин голос, звучавший в полумраке комнаты с неприятной монотонностью, остановил его.

— Не уходите от необычного, Иван Петрович. Человек не должен этого делать. Нужно допускать как минимум все, чего не понимаешь. Вы не согласны?

— В принципе... Честно говоря, с вами жутковато в темноте,— признался он.

— Это пройдет, а без света вам легче будет слушать меня.

Левин клял себя за то, что ввязался во все эти разговоры, старый дуралей. Красивая девчонка — и раскис, вместо того чтобы дать ей свидеться с психиатром. И дело, наверное, не столько в девчонке, сколько в нем самом, в безразборчивом желании обязательно понять и помочь, которое не однажды уже ставило его в дурацкие положения, даже по морде как-то схлопотал, и самое смешное — правильно схлопотал! И сейчас — так ему и надо!.. А все же не похожа она на сумасшедшую. Или просто он не хотел этого? Ах, как он, оказывается, того не хотел! Чего же он хочет?..

Собственно, что произошло? Он хирург и делает то, что сейчас больше всего нужно этому человеку,— лечит ногу. Катя спокойна и логична в поступках, не буйствует, не страдает от своих фантазий. Кажется, даже наоборот: ее успокаивает, придает уверенности сама возможность выговориться. И психиатры дают больному такую возможность. Вот и пусть... Левин снова опустился на стул.

— Ну-с, ладно. Предположим, я поверил вам. Так кто вы?— Левин попытался говорить легко, как прежде в их беседах с Катей.

— Без «предположим», Иван Петрович. Будьте мужчиной, как говорят земляне. Я — живое существо, ни в малейшей степени не похожее на людей. Я вам доверяю, нуждаюсь в вашей помощи и всецело рассчитываю на вас.

Левин прокашлялся — запершило в горле.

— Как же это вы не похожи?

— Тело этой женщины взято, можно сказать, напрокат.

— Как?..

Ну, это уже слишком!

— Я расскажу вам главное. Нашей цивилизации могло быть теперь больше полутора миллиардов земных лет. Мы высокоразвитые белковые структуры, но бесклеточные. Я, собственно, нахожусь в голове этого тела, замещая его мозг.

Левин сдавленно промычал. У него возникло представление, будто его обкладывают, как зверя на охоте. Насколько он помнил из далеких студенческих лет, сходное

ощущение они испытывали, двигаясь по коридору психиатрической лечебницы и краем глаза наблюдая за стоящими у стен больными. Страшновато, конечно, однако интересно: что будет дальше? Помнится, в отличие от многих студентов-медиков настоящего страха он и тогда не испытывал...

— Иван Петрович, вас отличают здоровый скептицизм и чувство юмора. Не думайте о худом. Инопланетяне не совершили ни единого убийства на Земле. И не могли его совершить. Разум первично и абсолютно нравствен. Чем он выше, тем совершенней, как и положено саморегулирующейся системе. На другом полюсе — животные, у которых при минимальном разуме инстинкты и эмоции становятся основой, тоже высоконравственной. А люди... В человеке духовное может преобладать над плотским, но и здесь ведет больше какая-нибудь эмоция, чем разум. Не так ли?

Левин усмехнулся, мельком подумав: «Как излагает!..»

— Конечно, человек сложнее, чем Чистый Разум или почти голые Инстинкты. Но ставить его точно посреди-не... Не знаю, не уверен. А что же с Катей?

— Катя погибла в той автомобильной катастрофе два года назад. Мы провели внедрение до приезда «скорой» и милиции. Это тело нам досталось по случаю.

— Действительно удача. На днях я так же, по случаю, купил совсем новую крышку для своего старого автомобиля.— Левин, кажется, ждал, что вот-вот Катя рассмеется, повернет все затаившимся розыгрышем. Он очень хотел этого сейчас! Он давал ей еще шанс. Но где там... Какой-то продуманный до мелочей логичный бред...— Простите. Я слушаю вас.

— Мы очень отличаемся от людей,— после долгой (обиженной?) паузы сказала Катя.— Но и вы, и мы — разумные существа и должны понять друг друга. Пока нам не удалось достичь понимания.

— Простите,— еще раз пробурчал Левин.

— Катя оказалась для нас неудачным внедрением. Может быть, потому, что слишком красивая женщина. Ее по-другому не принимали. Люди слишком эмоциональны и эгоцентричны. В этом главное наше различие. У нас нет эмоций, понятие рождения себе подобных нам неведомо. Каждая особь самообновляется, а в определенных условиях из одной образуются две, совершенно идентичные.

«Сама фантастическая идея очень занятна — неклещные существа без эмоций и индивидуальности. Так сказать, Чистый Разум из какого-нибудь Мира Огненно-

го...»— уже почти механически, словно читая очередной фантастический рассказ, подумал Иван Петрович.

— Ни старения, ни смерти?..

— Естественной смерти нет. Но очень низкая жизнестойкость. Мы практически беззащитны.

Голос Кати умолк. С тихим стуком прыгала в темноте стрелка электрочасов. Необъятное черное небо заглядывало в комнату. За дверью текла привычная жизнь большого хирургического отделения. Может быть, Левину всегда хотелось такого вкрапления фантастической игры в реальность?..

— Вы все еще не верите.

— Ну, согласитесь, Катя, это необычно для простого смертного. Однако, что же вы хотите от меня?

Игра так игра. Нужно быть хотя бы последовательным.

— Это еще один некороткий разговор, Иван Петрович. Наверное, лучше продолжить его после ужина.

— После чего? Ах да, конечно... Ну-с, ладно.

Черт возьми! Она не только выговаривается, она, похоже, действительно чего-то ждет от него! Чего? Это чертовски занятно, даже когда безумный разум выстраивает загадочную, но логичную цепь. Такого острого любопытства он не испытывал над лучшими романами Кристи. Наверное, потому что сам стал на этот раз персонажем...

— Зажгите свет,— попросила Катя.

Он встал и, осторожно ступая, прошел вдоль стены к выключателю.

7

Левин не боялся Кати, и к такому страху не имелось никаких оснований. Все дело было в охватившей его неуверенности. Да, да, Иван Петрович уже не был так уверен, как десять минут назад, что эта молодая женщина — ненормальная. Вот, оказывается, в чем дело.

Ладно. До утра все равно ничего не предпримешь, думал он. Надо выслушать ее и поддерживать этот необычный для хирургического отделения разговор. И вообще...

Опять?! А как же со здравым смыслом? Но почему он должен цепляться за него! Не так уж много найдется, наверное, даже открытий, и особенно великих, которые выдерживали при первой встрече с этой ненадежной человеческой пробой. Здравый смысл. В его собственной жизни много ли было этого самого здравого смысла? И что это вообще такое? Не случайно, пожалуй, слова простой здравый смысл так складываются, словно придуманы

сразу вместе. Ох уж это обманчивое человеческое «просто»! И «здоровый смысл», который так ценится и так мало значит.

Левин заварил крепкий чай и достал из холодильника пакет с бутербродами.

Эта странная женщина,— лениво жуя бутерброды, думал Левин,— несомненно, умна, и в логичности ей никак не откажешь. Но и психиатр с повестки дня не снимается. Ни в коем случае! Чего стоит примитивный ее допуск — существо-разум с опытом в сколько-то миллиардов лет цивилизации (подумать только, какая фантазия!) и попало в такую критическую ситуацию, которая потребовала всех этих разговоров с ним, зауряд-человеком Иваном Левиным! Но, с другой стороны, всякий разум ограничен в возможностях. Непогрешимо прогнозирующих разумов, пожалуй, быть не может...

Ладно, решено: до утра он делает фантастический допуск. Беседует на полном серьезе. А потом... У него есть в запасе верный человек — старый друг-психиатр. Вот только еще... Ну что еще? Ладно, во всей этой истории так много смущающего, что он вполне может позволить себе жить до утра таким же тихопомешанным, как Катя. Тихо-тихо. Вполне безобидно. Он давно уже готов к такому помешательству.

Иван Петрович беззвучно смеялся, не замечая, что расплескивает из стакана чай.

Когда после ужина Катя въехала на кресле-каталке в ординаторскую, Левин улыбнулся ей и опустил глаза, вдруг подумав, что перед ним, может быть, робот более совершенный, чем сверхроботы Айзека Азимова,— человеческий фантом с бесчувственным сверхразумом. Как это противостоит, особенно в молодом и прекрасном женском теле!

— Да, мы просчитались, выбрав для внедрения красивую женщину,— сказала Катя, словно угадав его мысли или продолжая прерванную ужином тему.— Собственно, мы и не выбирали. А сейчас наши помыслы — только о сохранении своей цивилизации. Мы не имеем права на риск. Вполне может быть, что лишь двое оставшихся на нашем корабле — последние ее представители.

Иван Петрович произвольно, совсем автоматически, искал аналоги. Теперь ему не избавиться от этих сопоставлений! Нет, о таком варианте вроде бы не читал, не слышал...

— Как же это?..

— Говоря о радости и смысле жизни, люди вкладывают в эти понятия обойму своих эмоций. Для нас смысл существования — Познание, неограниченные возможности которому открывает Большой Космос. Но уходить туда могли лишь немногие. Улетать на кораблях не могла вся цивилизация! Когда мы в очередной раз вернулись к нашей планете, ее уже не существовало.

Катя говорила монотонно, без всякого выражения, словно в каком-то забытии. Левину стало жутковато. Почудились даже металлические тоны в ее голосе. Или он примеривал к ней «машинный голос»? Ну, старина, круто забрали тебя, однако, фантастика, проблемы, гипотезы!..

А Катя продолжала:

— При низкой жизнестойкости нам грозит исчезновение, пока нас двое. С помощью развитой цивилизации на такой планете, как ваша, можно создать необходимые нам условия. Мы вполне могли бы жить рядом на Земле. И могли бы стать очень полезными друг другу. Мы с землянами на полярных для разумных существ полюсах. У нас нет эмоций, у вас они — главное. Для нас жизнь — только возможность существовать, чтобы познавать Вселенную, для вас — это постоянная радость существования. И даже познание мира для вас — страсть. Возможность выжить навечно у вас больше, чем у нас. Осознанная любовь к жизни, к продолжению себе подобных — ваш надежный защитный механизм. Отсутствие эмоций долго удерживает разумные существа от самоуничтожения, но только предельный сгусток эмоций делает их истинно бессмертными. Может сделать...

«Все, что она говорит, удивительно точно: может сделать истинно жизнелюбивых — вечными...» Их взгляды встретились, и Левин сказал почти неожиданно для себя твердо:

— Я искренне хочу помочь вам, Катя. Верьте мне.

Он знал, что именно так и думает, инопланетное ли это существо или больная женщина — он поможет ей! Но вот кому желал он помочь больше сейчас, ответить не смог бы.

— В тот вечер Катя уходила навсегда. Здесь недалеко, километрах в пятидесяти, модуль, челнок, на котором я должна вернуться на орбиту. Связь потеряна с исчезновением медальона. Если я в течение еще трех дней не выйду на связь, оставшаяся в корабле начнет поиск. А это значит, что она должна спуститься на Землю. Теперь вы знаете, что допустить такой риск нельзя.

— Вы хотите сказать, что я просто должен отвезти вас к месту, где упрятан этот самый?..

— Да, Иван Петрович. Только это. У нас осталось три дня.

Модуль. Три дня. Медальон... А просьба об ампутации?.. Нет, это не сумасшествие и не мистификация.

Э то — о ни!

Мысль мгновенно превратилась в убеждение, разом заполнила, оглушила его. Однако он не ощутил растерянности или испуга, а совсем напротив — какую-то спокойную радость, надежду. Это было похоже на ощущения молодости, давно забытые уже в суматошной, одинокой его жизни.

— Лучше ехать вечером,— сказала Катя.— Исключая этот, остается только один — завтра.

— Ну что же, значит, завтра.

— Нужно, чтобы вы остались вне подозрений. Подумайте, как мне выбраться отсюда незаметно.

Глаза ее возбужденно блестели, совсем так же, как в вечер их знакомства, когда он оценивал ее состояние одной из фаз не очень типично протекающего шока... Левин насупил свои густые седеющие брови.

— Ну-с, ладно. Сделаем так: около шести будьте недалеко от ординаторской. Когда увидите, что я вышел без халата, попросите кого-нибудь проводить вас к телефону в вестибюль. В нескольких метрах за поворотом коридора дверь в сад. После пяти ее запирают, но я открою и буду ждать вас за нею.

— Хорошо.

Все складывалось вполне как в настоящем детективе, который не может испортить даже хорошую фантастику.

— А с телом?..— тихо спросил Иван Петрович.

— Это ведь будет труп известной Кати...

— Да, конечно, конечно...— Левин постучал по столу пальцами, не поднимая на Катю глаза.— Нужна... лопата?

— Нет, ничего не нужно.— Голос Кати звучал уверенно и радостно.

— Ну-с, ладно...

Есть ли жизнь на иных планетах, нет ли, но среди людей всегда будут такие, которые очень хотят, чтобы Вселенная кишела цивилизациями и была полна Разума. И возможно, те, кто этого не хочет, кому это безразлично, не всё поняли в жизни земной.

Поддерживая Катю под руку, Иван Петрович помог ей спуститься с невысокого крыльца и сесть в машину. Голые ветви деревьев едва прочерчивались на затянутом об-

лаками осеннем небе. Темноту больничного парка робко нарушали лишь желтые квадраты освещенных окон. Не включая фар, Левин осторожно вывел машину на главную аллею, потом включил ближний свет и дал газ. Через город они проехали в полном молчании. Когда последние строения остались позади и лишь кусок освещенного асфальта перед машиной приковывал их внимание, Катя сказала:

— Погода как в тот вечер.

— Только мы ни от кого не удираем,— усмехнулся Иван Петрович и закончил любимым вопросиком:— Не так ли?

Катя рассмеялась. Как и накануне, она находилась в возбужденно-приподнятом состоянии.

— Вы верно восстановили происшествие, Иван Петрович. Можно подумать, что вы ревнуете.

— Это не исключено. Знаете, в детстве мы так ревнуем хорошеньких девочек к недостойным, на наш взгляд, мальчишкам.

Она продолжала тихо смеяться.

— Осторожно, сейчас тот поворот.

— Тогда вечером в реанимационной приемного покоя вы произнесли «крутой поворот». Как в известной пьесе. Помните?

— Да? Не помню.

— Вы ведь снова будете внедряться?

— Обязательно.

Обдавая отраженным шумом, пронеслись мимо какие-то темные строения. Свет фар выхватывал две черные стены леса по краям шоссе.

— Я хотел бы услышать о вас. И помогать, чем смогу.

Левин не мог уже представить свою жизнь без этого.

— Спасибо, Иван Петрович. Только случиться это может не скоро.

— Вы хотите сказать, что я могу и не дожить до этого?

— Просто поиск объекта внедрения должен быть очень тщательным. Нам нельзя снова просчитаться.

— Жаль, если долго. Я привык к вам...— И поспешно добавил, словно разъясняя:— К нашим разговорам, к мыслям о вас, почему-то очень близких мне существам...— И спокойнее продолжал после паузы:— Иногда я думаю, что человечеству, мающемуся неудовлетворенностью, необходимо всеобщее и стойкое увлечение чем-нибудь значительным, действительно очень важным. Человек без решения больших и трудных задач деградирует. Все те же

эмоции. У людей есть очень глубокое чувство — честолюбие. Наверно, каждый должен как-то реализовать его. И чем больше людей получит такую возможность, тем меньше будет неудовлетворенных и больше счастливых. Именно это наблюдалось в тяжелейшие годы нашей революции: малограмотный народ, в голод, среди смерти, косившей тысячами, преодолел войну, интервенцию, разруху...

— А вы?

— Хм. Я — хирург. «Дело верно, когда под ним струится кровь». Каждая задача — наиважнейшая... Но знаете, мне кажется, что только сейчас во мне пробудилось тщеславие, в котором, однако, главное — не наружное, видимое, а внутреннее возвышение.— Левин нервно усмехнулся.— Вы сделали меня лучше, что ли, моложе...

Некоторое время ехали молча. Потом Катя, повернув к Левину лицо, спросила:

— Вы привыкли к Кате?

— Наверное.

— Это серьезно?

Он снова усмехнулся:

— Скорее смешно.

— Вы сами не знаете, какой вы славный, Иван Петрович.

В ее голосе сейчас он не уловил ничего, кроме земной женской теплоты, и сказал, будто шутя:

— Как вы это можете оценить, Великий Разум?

— Я в этой оболочке не один год — обратная связь! — так же шутя ответила Катя.

Опять довольно долго ехали молча, потом Катя сказала:

— На сороковом километре свернете направо, там будет дорога.

— А, я знаю ее. Там отличные грибные места.

Старый мотор чихал и кашлял от напряжения на давно не грейдерованном проселке.

— Приехали,— наконец сказала Катя.— Вот здесь, где дорогу пересекает линия высоковольтной передачи.

Левин остановил машину, выключил свет. Темнота навалилась на них, а потом стала медленно отступать. Лес поодаль стоял черной стеной, и синела над ним полоса чистого неба.

— Ну вот и все,— тихо сказал Левин.— Что еще требуется от меня?

— Больше ничего. Спасибо.— Катя пожала его руку, все еще лежавшую на руле.

Утопая по щиколотки в жидкой грязи, он обошел машину и помог Кате выйти.

— Можно мне проводить вас?

— Идемте.

Метрах в трехстах от дороги, в старом обвалившемся окопчике, прикрытый, как показалось Левину, дерном, лежал какой-то круглый, не очень большой предмет.

— Вам лучше отойти, Иван Петрович. Еще раз спасибо. Прощайте.

— До свидания...

Они пожали друг другу руки, и Левин отошел на десяток шагов. Катя встала на колени в окопчике рядом с едва различимым с того места, где стоял Левин, предметом, привалилась к брустверу и замерла. Потом Левину показалось, будто серая тень прошла по Катиному лбу. Лицо ее довольно отчетливо белело в полумраке. Он напряженно вглядывался в лежащее на земле тело... Иван Петрович судорожно смежил веки. И в этот момент воздух словно бы качнулся. Показавшийся Левину незнакомым срывающийся голос закричал:

— Катастрофа! Катастрофа-а!..

Затем последовал дребезжащий звук, будто о землю ударился проржавевший предмет. Левин вздрогнул и открыл глаза. Катя лежала на бруствере, охватив голову руками, и раскачивалась из стороны в сторону. Над черными кустами, над грязной дорогой поднимался в темно-синее небо, рос тоскливый звериный вой:

— У-у-у-у-у, и-и-и-и-и-и!..

Холодея, Иван Петрович ринулся к Кате, споткнулся обо что-то и упал руками вперед в грязь. Поднимаясь, увидел под ногами таз, весь в дырах. И сразу вспомнил его: совсем недавно, в сентябре, собирая здесь грибы, он наткнулся именно на него. Еще удивился тогда — откуда тут, вдали от всякого жилья, таз, не с войны ли?.. Ведь и Катя могла видеть его здесь прежде! Конечно...

Иван Петрович помог Кате подняться. По грязному, искаженному до неузнаваемости гримасой отчаяния лицу ее текли слезы. Он никогда не видел таких слез: два нескончаемых ручейка из широко открытых безумных глаз. Она больше не кричала. Дрожа всем телом, Катя вначале отталкивала Левина, однако ноги плохо держали ее, в конце концов она обхватила его за шею. Он дотащил ее до машины, втиснул на заднее сиденье. Она рыдала, вся обмякнув. В темноте салона в ознобе стучала зубами.

Левин стоял у машины, держась за отворенную дверцу. Его самого била дрожь. Тряслись руки. Какая нелепость! Как могла так одурачить его эта несчастная! Старый романтический болван... Больная женщина продолжала пла-

кать, до него доносились ее судорожные всхлипывания. Необходимо было что-то предпринимать. Он вспомнил о снотворном. Левин включил свет в салоне, разыскал его и заставил Катю выпить три таблетки, давая запивать дистиллированной водой. Весь этот год он возил в машине дистиллированную воду, так как старый аккумулятор стал выкипать. Вот, забыл в машине снотворное, вода... Воистину нет худа без добра, суеверно думал Левин.

Через полчаса Катя заснула. Все это время Иван Петрович сидел рядом, глядя ошалело через открытую дверцу на черную стену леса, умерял волнение и нестройно обдумывал ситуацию.

Строго говоря, он совершил должностное преступление. А если не строго — какой-то необъяснимый выбрык старого мерина, которому приснился детский сон. Да ведь и не мерин он! Помилуйте, люди добрые! Обманулся на загадочном и неведомом. Все эти инопланетные разумы, фантазии — зачем, что значат?.. И главное — умная женщина. Остерегался ведь всегда. Если неумная способна на такие повороты, в какие ни один нормальный мужчина не впишется, чего уж ждать от умной, да еще ненормальной?

Ну-с, ладно, сейчас нытье — совершенно пустое занятие. Что делать с Катей? Везти ее назад в больницу невозможно. Им сейчас нельзя, наверное, вообще появляться в городе такими вот, похожими на пьяниц из грязной лужи. А в хирургическом отделении ей и вовсе делать уже нечего: через два-три дня все равно выпишут бы. Получается, и преступления он не совершал. Конечно, старый дуралей, теперь самое время именно это обсуждать...

Милая, несчастная Катя! Она нервно вздрагивала во сне. Пульс немного частил. Какие видения проносились в ее больном мозгу? Иван Петрович вылез из машины, закрыл глаза, прислушиваясь к прохладной тишине. На душе тоже стало неожиданно тихо и покойно, будто все волнения последних дней остались за спиной, в темном салоне автомобиля. Левину вдруг показалось, что он улавливает какой-то едва различимый, тонкий, сказочно-хрустальный звон. Так могут звучать звезды. Он понял, что ему грустно, и новое, неведомое волнение захватило его.

Иван Петрович пожалел, что не курит, не держит в машине сигарет. Лицо, все тело горело. Он походил у машины, потоптался в дорожной жиже, ощущая в туфлях ее охлаждающую приятность. Затем сел за руль и завел мотор. Катя как-то сказала ему, что живет в коммунальной квартире со старушками-сестрами. Он решил отвезти ее домой.

По первому же попавшемуся им телефону-автомату Левин позвонил в приемный покой и услышал взволнованный голос дежурной сестры: «Та странная больная исчезла!.. Весь дежурный персонал поставлен на ноги...»

Иван Петрович невнятно пробурчал что-то насчет родственников, которым он разрешил забрать ее. Увезли в больничном? Не волнуйтесь, чего-то недопоняли, это вполне порядочные люди. Он ручался. Наконец ему сообщили адрес. Прохожие подозрительно поглядывали на грязного типа в телефонной будке.

Катя крепко спала, развалившись в неудобной позе на заднем сиденье. Полы невероятно грязного больничного халата разъехались, виднелась такая же заляпанная грязью белая рубаша. Воровато оглянувшись, Левин поправил халат, усадил Катю удобнее и понял, что одному ему не доставить ее домой. Несомненно, настал час его друга-психиатра. И возможно, не только для Кати...

Иван Петрович без особых объяснений вытащил своего психиатра из кресла перед телевизором.

— Пошли. Срочно надо!..

Вся семья всполошилась левинским видом, но он лишь руки ополоснул и, выдавив из себя усмешку, пробурчал:

— История дурацкая, но занятная. Потом...

Другу же в машине коротко, но без утайки рассказал о случившемся. Известный психиатр минут десять хохотал как ненормальный, едва не разбудил Катю. И потом булькал, не останавливаясь, до самого ее дома.

— Если ты и дальше поведешь себя таким образом,— озлился Левин,— проку от тебя не будет. А я всецело надеюсь на тебя.

Они вдвоем с трудом втащили Катю на четвертый этаж. Слава богу, на лестнице им никто не повстречался: было поздно, и по телевизору шел, кажется, детектив. Открыла им пожилая женщина с милым лицом и барашком бигуди под косынкой. Всплеснула в ужасе руками. И так же всплеснула другая, постарше и тоже в бигуди.

— Она пьяна, да?! Не ранена?.. Мы были уверены, что она давно пишет диссертацию на какой-то даче! Ведь уехала на дачу...

— Маша, хватит! Давай воду, она же вся в грязи. Что это за одежда на ней?

— Ее нужно в ванную. Можно ее в ванную? А кто вы, собственно, такие?..

Левин оглядел Катину комнату. Диван, шкаф, письменный стол и стеллажи с книгами, сотни книг. И тут Левин понял, что его смущало иногда в Катиных речах: она

так же логично рассказывала о Разуме, как это делается в фантастических романах — чтобы всем все было ясно. Иван Петрович был уверен, что среди этой тьмы книг немало фантастических. Загадки, проекты, открытия, гипотезы...

— Боже мой, доктор, вы ведь тоже весь в грязи! — причитала старшая из сестер.

Этот не теряющийся ни в каких ситуациях психиатр — не случайно он приобрел известность среди нормальных и ненормальных в этом большом городе! — уже полностью контролировал и ситуацию в доме.

— Поезжай, приведи себя в порядок, Ванечка, и возвращайся. А мы пока займемся Катей.

Левин послушно направился к выходу. Его охватили усталость и апатия. На пороге он оглянулся. Катя лежала вытянувшись на диване, в умеренном свете торшера белело ее прекрасное лицо. Лицо инопланетного существа. И тут его кольнула радость: она будет всегда здесь, на Земле. Он вернется к ней!

9

Еще полтора месяца Катя находилась в больнице. К немалому удивлению врачей, уже через неделю они не обнаружили у нее никаких психических нарушений, кроме странной амнезии: Катя решительно не помнила целые куски из своего прошлого — этакое пятнистое выпадение памяти. Ее так и выписали с «испытанным прошлым», а в остальном — премилой женщиной с острым умом, которой разрешили даже заканчивать диссертацию, чем она с успехом и занялась. Заключение психиатров было столь же единодушным, сколь и справедливым: последствие повторных тяжелых травм, полученных в автомобильных катастрофах. Психиатров, достаточно повидавших неясных завихрений человеческой психики, не смутила необычность ее истории заболевания. На это был способен разве что Левин.

Иван же Петрович чувствовал себя необыкновенно счастливым, каким, по его убеждению, не был никогда в жизни, а на самом деле — примерно таким же, как много лет назад, когда смертельно влюбился в Веру. Левин посещал Катю в больнице, а затем, когда она выписалась, и дома. Потом он ездил к ней на дачу, снятую ею еще осенью, где она занималась диссертацией. Он дарил ей цветы и говорил слова, которые давным-давно считал забытыми. Ближайшие друзья выражали даже сомнение: кто же на самом деле побывал в катастрофе — Катя или он, Левин?

Молодая женщина неожиданно для многих ответила ему пониманием и привязанностью. У них действительно оказалось много общего — и в интересах, и во взглядах на жизнь человеческую и на бесконечную жизнь мироздания. Им было хорошо и нескучно вместе. Они являли собой не совсем обычную пару. И не разницей в возрасте — теперь, как и давно когда-то, это стало довольно обычным, — а удивительно спокойным, полным гармонии довольством друг другом, без сентиментальности, идущим от большого взаимного уважения, исключавшего даже небольшое духовное насилие. Это становилось ясным с первого взгляда и особенно удивляло в наш стрессовый, торопливый век, когда далеко не всегда находится время спокойно выслушать живущего рядом с тобой человека. Это поняли и тетушка с дядюшкой Ивана Петровича, и сестры-соседки Кати. Все они поняли к тому же, что их собственная неудовлетворенная тяга к контактам, общению и вечерним разговорам будет во многом удовлетворена, если они объединятся в одной квартире. Одним словом, Левин и Катя съехались и зажили в согласии.

«Нерру энд» в одном из прелестнейших своих вариантов, столь любимый нами, что бы мы ни говорили, и совсем почти не фантастический. Здесь и конец рассказу, если бы не один случай. Но случай из истории не выкинешь, как и слово из песни.

Примерно через год после описанных событий, поздней осенью, в предзимье, Иван Петрович вышел после дежурства из больницы и направился домой. В сумеречном освежающем больничном парке он остановился, приятно утомленный, окруженный со всех сторон темными загадочными ветвями, поднял голову к черному небу, как делал это теперь нередко, и, ощущая заполнявшее его счастье, со светлой тоской подумал о несуществующих далеких мирах и цивилизациях (а возможно, все же существующих?..), так необходимых людям для лучшего понимания самих себя. То были редкие секунды необъяснимой общности его со Вселенной. И с Катей. С его и не его Катей, той безумной, о которой они не вспоминали в разговорах никогда.

Вернувшись домой после дежурства, Иван Петрович переоделся в свой любимый тренировочный костюм и лег спать под пледом, по привычке, а возможно, даже по ритуалу, выработанному за многие годы. Батареи были уже по-зимнему раскалены, и потому форточки везде приоткрыты. В квартире стояла мирная тишина, едва нарушаемая приглушенными шумами улицы. Левин с блаженством вытянулся на диване и моментально заснул.

С неба, обложенного низкими тучами, шел мокрый снег. Левин спал долго и крепко. А потом увидел сон, странный и удивительно явственный при полной, неопознаваемой своей прозрачности.

Все началось со скрипа. У них скрипела тугая форточка, Иван Петрович все собирался, да никак не мог собраться смазать петли. И когда сильный ветер трогал форточку, она сухо и зловеще скрипела, словно много лет не двигавшаяся подвальная дверь. Итак, он будто бы услышал скрип и приоткрыл глаза. Ветра на улице не было никакого, в видневшемся кусочке темного окна падал крупный влажный снег. Седая темнота прильнула к стеклам в обрамлении неплотно сдвинутых занавесок, а он, Левин, как обложенный черной ватой — в теплой непроглядности. Лишь угадывался письменный стол у окна. Иван Петрович плыл в этой меховой, чуть опушенной снегом черноте. Плыл блаженно, но где-то глубоко проклюнулся росточек страха. От непонятного. Необъяснимый страх во сне. Потом и он округлился, закатился куда-то, словно неуловимый шарик ртути. Затем какой-то голос, звучавший не снаружи, а внутри него, голос-мысль, но явно не его, Левина, сказал:

«Здравствуйте, Иван Петрович. Не пугайтесь, это я, Катя. Та, другая Катя. Вернее — часть ее».

«Как это? — вроде бы удивленно спросил-подумал Левин. — Катя живет в этой квартире. Какая же может быть другая?»

«Может, Иван Петрович. Вы не забыли наши разговоры?»

«Нет, не забыл».

«Почему?»

«Не знаю. Они нужны мне».

«Да, мы не ошиблись в вас и не сожалеем, что сделали так, как сделали».

«Что сделали?»

«Не уничтожили Катю, которую вы полюбили».

«Как это?..»

«Нельзя лишать человека столь многого в его короткой жизни. Человека — нашу последнюю надежду».

«Даже одного человека?» — снова удивился-подумал Левин.

«Разве может быть такой вопрос, когда речь идет о неповторимом! Даже в наш мир, лишенный индивидуальности, входить с этим было бы опасно. Не потому ли и исчез наш мир?»

«Да, вы правы... А как же с Рюриком?»

«Здесь совсем другое, Иван Петрович. Разве не считают люди благородным и благостным преодолевать в себе низменные страсти, все, что вредно окружающему их? Разве не враг им тот, кто не стремится к этому? Земля — не вотчина человека, а лишь осчастлививший его дом. Она принадлежит всем, Вселенной. Она благодатный край для Жизни, который оберегается Вселенной. Редкий, очень редкий заповедный край. Да, отстрел браконьеров в ваших заповедниках пока не разрешен. Но ведь волков-браконьеров периодически человек отстреливает. А уж защищать от них свой дом и скот — его долг, не так ли?»

«Так... — эхом подумал-ответил Левин. — А что Катя?..»

«Тогда у дороги часть осталась с вами в теле Кати, другая ушла на орбиту. Но эта часть уже неделима. Вы должны нам помочь со следующим внедрением, Иван Петрович».

«Я? Каким образом?»

«Дайте нам картотеку умирающих. Людям необходимо постичь единство разумного во Вселенной. Тем они спасут не только нас, но и себя. Вы поможете найти в больнице нужного нам для внедрения человека. Он не должен быть старым, и все».

«Чудесное оживление?..»

«В реальном мире нет чудес. Есть незнание. Нередко оно — причина невольных преступлений...»

Левин порывисто сел, откинув с колен плед.

— Чертовщина! — сдавленно произнес он.

Что за дикая мысль! Получается, что, занимаясь медициной, стараясь помочь людям, он непроизвольно является соучастником преступления незнания? Преступником?.. Вот до чего доводят дурацкие его фантазии!

В комнате стояла темнота. Во время последнего бурана разбился фонарь во дворе. Прежде всеночный свет его немного раздражал Ивана Петровича, но когда фонаря не стало, Иван Петрович понял, что уже привык к нему и его не хватает. «Месяц не могут заменить лампочку...» — недовольно подумал Левин, встал и, подойдя к окну, раздвинул занавески. Белесый снежный полусвет обрисовал письменный стол, заваленный Катиными бумагами, диван, стеллажи с книгами. Левин пошел к выключателю, и тут за его спиной неожиданно заскрипела форточка. Форточка ли?.. Острый страх, выпрыгнувшая вдруг из укрытия ртуть, дернул его за плечо. Он резко повернулся к окну. Ничего, конечно. Ночь и снег. Что это?..

— Чертовщина! — повторил он и включил свет.

Включая по пути лампочки в коридоре и в кухне, он пошел разогревать обед — скоро должна прийти Катя.

Левин был еще под впечатлением странного сна. Не так уж дико, думал он, если бы каждый человек жил, ощущая недостаточность своих усилий и знаний... Рассказать Кате сон или не надо? А вдруг!..

Иван Петрович, глядя на огненные язычки газовой горелки, неожиданно вспомнил другой свой странный, очень давний сон. Не такой, конечно, вразумительный, как нынешний, но неожиданно, по непонятному ему совпадению, слившийся с ним. То был сон, прерванный звонком из приемной генерального директора Рюрика Александровича после ночной операции Кати. Иван Петрович давно, казалось, забыл об этом сне, а теперь вдруг ощутил — не понял, а почувствовал, что нынешний — продолжение того. Или наоборот? Нынешний сон — кусочек невероятной реальности, а тот — лишь загадочный образ, предвестник?..

Ему приснилось тогда, что ночью в лесу, нет, просто в какой-то пустынной темноте горит многоэтажный дом. Яркими языками пламени светятся его окна. В полной тишине и безлюдье. Словно он, Левин, один на свете наблюдает это. И вдруг он видит в одном из пылающих окон огромного красавца лося в огненном венце. Дымятся его ветвистые рога, дымятся шкура. В следующее мгновение зверь выпадает или выпрыгивает из окна, весь обожженный... И тут к Левину прорывается первый звук — тонкий, прерывистый, леденящий. Лось рядом, близко, пытается встать. Отчетливо видно в отсвете пожара, как страдальчески, судорожно дергается шея... А он, Левин, только стоит и смотрит, а звук повторяется, и все громче, колоколом! И тут он — самое страшное, невероятное — отворачивается и бежит прочь! И вместе с тем его захлестывает нестерпимое, несовместимое с жизнью (он ощущает это во сне!) чувство вины перед этим животным...

Даже сейчас, больше чем через год, вспомнив этот сон, Иван Петрович зябко повел плечами.

Через неделю, когда к нему в отделение поступил тридцатипятилетний мужчина с неизлечимым раком желудка, Левин составил первую карточку. И потом, делая во время дежурств вечерние обходы больницы, он беседовал с неизлечимыми больными, говорил с ними об их жизни и работе, успокаивал, обнадеживал — обычное

врачебное дело. А ночью составлял карточку. Их набралось у него немало на домашнем письменном столе. Иван Петрович не смог бы даже сказать, зачем они ему. Не для того же, в самом деле!.. Но и не делать этого он не мог. Это стало ему нужно. Иногда вечерами он просматривал карточки, словно вглядывался пристально в этих несчастных, которых запоминал невольно, но хорошо. Словно готовился к встрече при каких-то иных обстоятельствах.

Умирили не все больные из его картотеки. Некоторым медицина и лично он, Левин, находили возможность помочь. Но таких было немного. Возможно, Иван Петрович действительно подумывал о каком-то научном анализе, как ему казалось иногда? «Хочу кое-что посмотреть...» — неопределенно сказал он Кате. Но сам знал, что это не так. Да и поздно ему заниматься наукой.

Жизнь Левина как-то раздвоилась, напряглась. Иногда он был близок к тому, чтобы поговорить по душам со своим другом-психиатром, но в конце концов пришел к мысли, что никому нет вреда от его занятий. И ему самому, Левину, тоже. Душевный же покой он, спокойный человек, потерял давно — еще мальчишкой в сорок четвертом. Когда стоял среди развалин своих и чужих городов, когда слышал крики свои и соседей по госпитальной палате, когда всматривался, лежа на своей койке, в их несчастные, сосредоточенные, надеющиеся или просто страдающие лица и думал о будущем.

Весть о резком улучшении состояния парня, долго умиравшего в реанимационном отделении и почти похороненного накануне ночью дежурной бригадой, не удивила почему-то Ивана Петровича так, как большинство его коллег. Он не увидел в том чуда: просто незнание на этот раз не сработало. Вмешалась Природа. У этого парня — благодатно.

— Возможно, резкий гормональный сдвиг...

— Совершенно необъяснимо!..

— Ну почему же? Наблюдают ведь иногда у реанимированных перемены в их хронических заболеваниях...

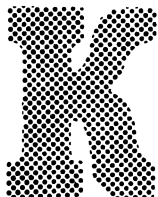
Научные споры, разговоры, гипотезы и сомнения.

А Левин подолгу смотрел вечерами в темнеющее небо и улыбался ему. То было его небо, полное загадок, невероятных открытий. Будущего.

Иван Петрович знал, что без этого не может и не должен жить человек.

Андрей СТОЛЯРОВ

**После
Нас**
Рассказ



Когда мне нужно подумывать, я через небольшую площадь выхожу к гранитному полукружью, которое разделяет реку на два самостоятельных русла. Здесь спокойно. Народу в середине дня немного. Транспорт проходит в стороне. И — тишина. Никто не мешает. Плещет вода в шершавые гранитные ступени. Лучшего места не найти.

Правда, в этот раз мне не повезло. На площадке кузовом к реке стоял пятитонный грузовик. Человек шесть рабочих сгружали с него какие-то сваренные трубы и яркие красные пластмассовые листы. Вероятно, готовились к празднику. Время от времени они включали отбойные молотки, вгрызаясь в плиты, и тогда грохот бил по ушам, голуби с мостовой ошалело прыгали в небо.

Минут пятнадцать я помучился таким образом, а потом решил вернуться на работу. Толку все равно никакого. Тут он ко мне и подошел.

Ему было лет сорок. Ничем особенным он не выделялся. На нем была спортивная куртка — зеленая, наглухо застегнутая, с плотными манжетами — и такие же зеленые узкие шаровары, заправленные в тяжелые, литые, как у лыжников, ботинки. Лицо — крупное, энергичное.

Он походил на спортсмена. Или по возрасту скорее на тренера.

— Извините, пожалуйста, — сказал он и прикоснулся к голове, как бы приподнимая невидимую шляпу. — Еще раз извините. Я могу обратиться к вам с вопросом?

— Ради бога, — ответил я.

— Вы не знаете, что здесь строят? — Он с досадою показал на трубы.

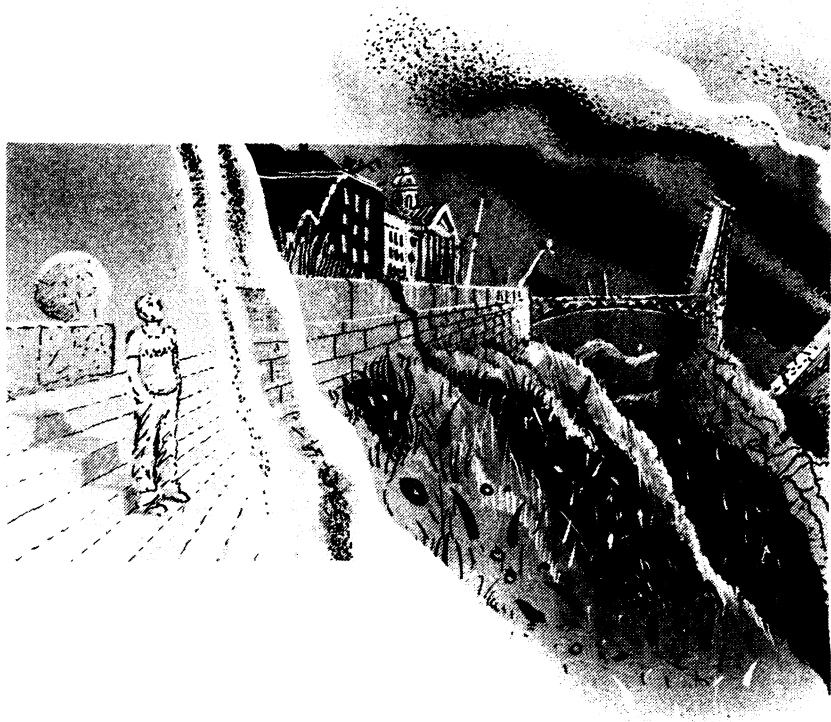
Я ему объяснил.

— Значит, к празднику?.. А потом снимут?

— Наверное,— сказал я.— А может быть, и нет. Строят, кажется, основательно.

Он сказал, словно про себя:

— Город как человек. В нем все время что-то меняется. Постепенно, капля за каплей. Современникам это неза-



метно: они стоят чересчур близко. Понимаете? Слишком маленькая дистанция для оценки.

Я промолчал.

— Трудно представить,— добавил он.— А ведь все это будет другим.

Я посмотрел на здание Торговой палаты — белые колонны светились. Крыльями по обоим набережным

распластались Пакгаузы — серые, легкие, в громадных окнах.

Небо было синее и прозрачное. Недавно прошел дождь. На асфальте голубели холодные лужи.

Что здесь может стать другим?

— Невозможно представить прошлое, — сказал чело-



век. — Читаешь описания, рассматриваешь гравюры. Все это — мертвое. Вот вы можете представить себе Париж двести лет назад? Или Лондон?

— Вы историк? — спросил я.

— В некотором роде...

Тут загрохотали молотки. Рабочие подхватили трубу и начали ее поднимать. Она была метров шесть в длину.

Я ждал. В словах этого человека был какой-то смысл, которого я не угадывал.

Снова наступила тишина, и он произнес:

— Я иногда думаю: ведь все могло быть иначе. Что сейчас центр города? Дворец, Площадь, Колонна. А сначала Гвиччони предложил строить город именно здесь. Вот где мы стоим. По всему острову хотели прорыть улицы-каналы. И они должны были связываться между собой тоже каналами, только более широкими, идущими с востока на запад. И получилась бы Венеция. Вы бывали в Венеции?

— Откуда? — сказал я.

— Но, вероятно, представляете себе? Это известный в прошлом город.

Я хотел возразить, что не только в прошлом, но и сейчас. Человек, однако, уже говорил дальше:

— И Деллон — генерал-архитектор города — тоже хотел центр поставить здесь. Но проект не прошел. К тому же отсутствие мостов. Изоляция от левого берега: туда подходили все дороги. И так далее... А мог бы быть совсем другой город. Вообразите себе — каналы...

Я вообразил.

— Или когда не было Пакгаузов и Сенат открывался прямо на реку. — Заметив мое недоумение, он пояснил: — Вон то здание раньше называлось Сенатом. А перед Сенатом была громадная площадь до самой реки. Мне кажется, что наиболее живое в городе — площади. Они дают ему свет. — Он показал за мост: — Посмотрите.

И действительно, Площадь с Колонной в центре была очень светла.

— Здесь могла бы быть такая же площадь, — сказал человек. — И город был бы совсем иным. А может быть, и сам мир был бы иным. История, скорее всего, переменчива. Неизвестно, какая песчинка сдвинет чашу весов.

Опять загрохотали и смолкли молотки. Человек вышел из задумчивости.

— Извините, если беспокоил...

— Сколько угодно, — вежливо сказал я.

Рабочие с криком начали устанавливать вторую трубу. Человек неприязненно покосился в ту сторону.

— Самое интересное, что э т о переживет многое другое. Многое... — Он поднес руку к невидимой шляпе: — Еще раз извините. — И не торопясь пошел от меня вдоль парапета — к асфальту, к трамвайным путям.

Я пожал плечами. Станный он был какой-то. Говорит об архитектуре и в то же время как бы о чем-то другом. Станный. Станный.

Был уже полдень, и я решил, что пора возвращаться. За человеком я вовсе не следил. Так, краем глаза. Я увидел, как он дошел до ступенек и оглянулся — не видит ли кто, к самому лицу поднес руку с часами, неожиданно повернулся и шагнул прямо в середину большой лужи.

Понятно, подумал я. Все-таки ненормальный.

Человек стоял в луже, смотрел на часы и чего-то ждал. Губы его шевелились. Народу было мало. На него никто не обращал внимания. Вдруг он поднял голову и ступил в клумбу с георгинами. Я не поверил своим глазам. Но он сделал еще шаг прямо по цветам — и исчез.

Я завертел головой. Светило яркое летнее солнце. Шелестели тополиные кроны на ветру. Белело колоннами невысокое здание Палаты. Весело стуча по рельсам, с одного моста на другой пробежал трамвай.

Все выглядело как обычно.

Вот только человек шагнул в клумбу и исчез.

Я направился к этому месту. Лужа была как лужа. Обыкновенная. Голубая вода еще дрожала. На поребрике клумбы отпечатался мокрый след. И цветы были слегка примяты.

Чувствуя себя последним идиотом, я ступил туда же. Хорошо еще, ботинки были непромокаемые. Повернулся лицом к реке. Точно так же делал и он. Оглянулся. Было очень неловко: среди бела дня взрослый человек забрался в лужу. Но у всех были свои дела. Никто на меня не смотрел. Осмелев, я поставил ногу на поребрик — точно в след, задержал дыхание и шагнул в клумбу, где земля еще хранила вдавненный отпечаток.

Свет погас.

А потом опять зажегся.

Но это был уже совсем другой свет — густо-сумеречный и фиолетовый.

Я открыл глаза. Низко-низко над городом стояло темно-лиловое небо. По нему от горизонта до горизонта растянулись черные, невиданные облака. Края их дрожали и светились серебром. Будто негатив. Коричневое солнце пульсировало: больше-меньше, больше-меньше. Казалось, оно сейчас лопнет. Было очень жарко. Точно в пустыне — просто нечем дышать. словно неимоверной силы буран поднял тяжелую пыльную тучу и оставил ее висеть в раскаленном воздухе.

Все вокруг изменилось. Гранитное полукружье, вдававшееся в реку, осталось, но сама река совершенно высохла. Дно ее потрескалось, и из трещин медленно поднимался бурый тяжелый дым. Одна колонна с корабельными носами

ми исчезла. Вместо нее громоздилась пирамида камня. У другой же не было верхушки, и она торчала, как гнилой старый зуб.

Тополя сгорели совсем. Будто их никогда и не было. Из расколотых каменных плит, из потрескавшегося пустого асфальта сплошными зарослями взметывался могучий кустарник с длинными колючими изрезанными листьями. Он походил на осот, только совершенно черный. Вся огромная набережная, сколько хватало глаз, поросла им.

Дворец за высохшей рекой выглядел внешне нормальным, но мост в три пролета обрушился — переплетались ржавые балки, и Площадь на той стороне тоже заросла осотом. Колонна высилась в нем, как в черном озере.

Мир был мрачный и какой-то безжизненный. Нигде ни одного движения.

Я протер глаза. Наваждение не исчезало.

Человек, с которым я недавно разговаривал, стоял впереди, спиной ко мне. Он немного согнулся, словно готовясь прыгнуть, и, прижав локти к бокам, быстро-быстро настороженно вертел головой.

— Здравствуйте,— глупо сказал я.

Человек вдруг и в самом деле прыгнул — будто кошка извернувшись в воздухе. В руке у него оказался пистолет, а короткое толстое дуло смотрело прямо на меня.

Я даже присел от неожиданности. Оборвалось сердце. Он дышал часто, отрывисто, как при беге. А глаза были абсолютно безумные. Два стекла. Я подумал, что он сейчас выстрелит, но он хрипло спросил:

— Кто, кто, кто?..

— Это я,— не сразу ответил я.

— Звание, специальность? — резко спросил он.

Мне раньше не приходилось стоять под пистолетом. Ощущение было не из приятных.

— Ну! — прикрикнул человек и немедленно оглянулся.

Язык не повиновался мне, но я все-таки сказал:

— Лейтенант запаса...

— Какого запаса? — сурово сказал человек. — Что ты крутишь?

Вдруг глаза его прояснели и муть отхлынула. Он меня узнал.

— А... это вы... Какого черта?

— Вот... пошел посмотреть... — очень невразумительно объяснил я.

— Вы что, видели, как я уходил?

— Да...

Человек энергично выругался.

— Ну и тоже — встал в лужу, а потом на клумбу. След в след...

Он презрительно усмехнулся:

— Не на клумбу, а в ноль-время вы встали. Проще говоря — в дыру.— Посмотрел на часы: — Пятьдесят секунд. Сильно повезло. Под занавес проскочили. Еще немного — и попали бы в закрытый туннель.

Это был, несомненно, тот самый человек, с которым я разговаривал у реки. Но насколько он изменился! Там он был мягкий, воспитанный, даже застенчивый немного. Тут же — бугры мышц под курткой, лицо жесткое, словно из железного дерева, и в глазах — твердый зеленый лед. Чувствовалось, что он умеет принимать решения мгновенно. В сочетании с пистолетом это не вызывало у меня восторга.

Он кивнул на что-то позади меня и неожиданно весело спросил:

— Ну, а кто был прав?

У гранитного парапета громоздилось непонятное переплетение труб, верхняя часть которых оплавилась и тускло блестела над ржавчиной.

— Те самые,— подтвердил человек.— Узнаете? Рабочие их устанавливали к празднику?

Я хотел сказать, что ничего не понимаю, но тут заросли осота позади него зашевелились и в просвете мелькнуло нечто кожистое, блестящее.

Человек, наверное, уловил тревогу на моем лице, потому что стремительно обернулся — крикнул, махнул. Осот разошелся верхушками — там завозилось и зашуршало,— продолговатое тело метнулось вверх, раздался резкий хлопок, яркая вспышка — я попятился, споткнувшись,— громадная ящерица рухнула на каменные плиты и забила хвостом, заскребла бугорчатыми когтями по камню. Кожа у нее была антрацитовая, противно влажная, слизистая. Пасть разинулась, и дрожал высунутый на полметра алый раздвоенный язык. Блестели конические зубы.

Она сворачивалась кольцом и втягивала под ребра оранжевый пятнистый живот. А глаза ее горели холодной злобой.

— Кажется, одна,— сказал человек.

Он застыл, просматривая заросли. Пистолет ходил вправо и влево. Все было тихо. Стебли сомкнулись. Не отводя глаз от осота, он перешел ко мне, в открытое пространство, и прислонился к шершавой глыбе.

— Повезло.

Ящерица билась уже слабее. Из-под нее натекла лужа синей пахучей крови. Пленкой подергивались зрачки. Она подняла голову и жалобно, пронзительно запищала.

Человек сейчас же выстрелил второй раз. Ящерица стукнулась головой о камень.

— Вот так будет хорошо,— удовлетворенно сказал он.

Тут я обнаружил, что довольно глубоко забрался в щель между двумя вывороченными плитами и поспешно выкарабкиваюсь оттуда — весь в серебряной паутине и в разодранных пыльных полосах.

— Будем надеяться — обошлось,— пробормотал человек.— Могло быть и хуже.— Вспомнил о моем существовании и повернулся: — Ну как, нравится?

— С ума сойти,— честно сказал я.

Он посерьезнел.

— Однако, что же с вами делать?

— Если ко мне нет вопросов, то я, пожалуй, пойду.

— Куда?

— К себе.

Человек усмехнулся:

— Если бы это было так просто.

Несмотря на удручающую жару, меня вдруг прошиб озноб.

— Вы хоть представляете, как сюда попали? — мягко спросил он.

— Шагнул в клумбу...

— Вы шагнули в дыру во времени,— сказал человек.— Проскочили по туннелю. А сейчас он закрылся.

— Понятно,— произнес я чужим голосом.— Скажите, а у вас нет еще одной такой же дыры? Я бы шагнул в обратную сторону.

— Здесь не очень-то симпатично?

— Да, я как-то привык... к другой обстановке.

Человек дулом пистолета почесал бровь.

— Помочь, конечно, надо. Не оставаться же вам тут на всю жизнь.

— Не хотелось бы,— с надеждой сказал я.

— И для меня ваше появление чревато. Все эти похождения во времени... Такое у нас не поощряется.

Он согнул руку и неловко — мешал пистолет — вытаскивал из часов длинный тоненький стерженек. Покрутил его. Раздался звонкий щелчок.

— Вообще-то сейчас сезон,— бормотал человек.— Солнце активное. А это много значит, если солнце активное.

Коричневое солнце на небе сжималось и расширялось. Черных облаков до горизонта стало намного больше.

Вдруг он неожиданно спросил:

— В бога верите?

— Нет,— удивленно сказал я.

— Придется поверить. Туннель будет через двадцать минут. Уникальное совпадение. Через двадцать минут, четыреста метров на юго-запад. Вам необычайно везет.— Он сориентировался по часам.— Четыреста метров. Это, значит, во-он там,— показал на обширное здание Музея.

Мне стало немного легче. Очень не хотелось застрять тут на всю жизнь. Этот мир был не для меня.

— Лучше прибыть загодя,— между тем сказал человек. Посмотрел с сомнением: — У вас была хоть какая-нибудь военная подготовка?

— Да.

— Значит, стрелять умеете?

— Нет.

Он покрутил головой. Строго и медленно приказал:

— Идти за мною шаг в шаг. Команды выполнять беспрекословно.

— Понятно,— ответил я, стараясь быть твердым.

— И еще.— Он достал плоскую коробочку, из нее две ярко-красные, тревожные таблетки. Одну положил в рот, а другую протянул мне: — Вы сейчас каждую минуту получаете десять рентген. С этим надо считаться.

Таблетка на вкус была горькая. Просто челюсти сводило в дугу.

Человек глубоко вздохнул:

— Поехали!

К Музею вела тропинка из каменных плит, уложенных, вероятно, вручную — неровно. Осот сквозь них не пробивался — черной стеной поднимался по бокам.

— Руками не трогать,— предупредил человек, указывая на колючие стебли.— Яд кожного действия. Будут ожоги, нарывы и так далее.

Жара на тропинке была сумасшедшая. Из нагревшихся зарослей тек пряный густой аромат, напоминающий какие-то духи. От него кружилась голова. Человек шел быстро, упруго, внимательно посматривая по сторонам. Я брел кое-как, спотыкаясь. Тишина вокруг стояла жуткая. Ни единого звука. Только наши шаги. В ушах у меня звенело, будто пели тысячи озлобленных комаров.

Вдруг человек остановился и схватил меня за пиджак.

— Что? — спросил я.

— Тихо,— сквозь зубы приказал он.— Тихо.

Он рассматривал непроницаемые заросли. Осот стоял совершенно неподвижно. Листья в стеклянных шипах переплелись плотной душной стеной.

— Береженного бог бережет,— наконец сказал человек и дважды выстрелил.

Толстые черные стебли согнулись и с дождевым шумом легли на тропу. Будто провели по корневищам невидимой косой. За ними ничего не обнаружилось.

— Вперед! — скомандовал человек. — И быстрее, черт бы вас побрал!

Оставшиеся сто метров мы почти пробежали.

Осот немного не доходил до Музея. Здание его сильно пострадало: штукатурка и рамы были выворочены, а стена, обращенная к нам, треснула от крыши до основания. В ней зиял здоровенный пролом. Правая часть осела и угрожающе накренилась.

Я отчаянно задыхался. Мы шли слишком быстро. Но человек не дал мне передохнуть. А едва дождавшись, сказал:

— Сюда!

И сразу же из пролома выполз большой — метра в полтора — неторопливый слизняк. Он был бурого, защитного цвета, абсолютно голый, противный, а на голове его трепетали улиточки рожки антенн.

Я невольно вскрикнул и отступил.

— Ничего страшного,— сказал человек.

Ботинком с размаху пнул слизняка в бок. Тот качнулся, показав желтое брюхо, всхлипнул неожиданным басом и, развернувшись, насколько мог быстро, пополз прочь.

— Растительнойдний,— коротко объяснил человек. — Никакого вреда. Съедобный.

И полез вверх, в пролом, по истерзанным битым кирпичам.

Я с большим опасением последовал за ним. Слизняк вызывал у меня отвращение. Не хотелось бы еще раз натолкнуться на такую тварь.

Мы спустились в подвал и по нему добрались до вестибюля Музея. Отсюда вели две мраморные лестницы. Одна была совершенно разломлена — в воздухе висела только ее верхняя часть, другая же каким-то непонятным образом сохранилась, прилепившись к стене.

— Быстрее, быстрее! — непрерывно торопил меня человек.

Каждую секунду я боялся, что лестница обвалится.

А когда мы вступили в зал, то с середины его неторопливо поднялась и, развернув перепонки, улетела в пролом мохнатая ярко-синяя птица.

В этом Музее я уже бывал. Раньше здесь находились чучела и макеты животных, а под потолком тянулся ог-

ромный, тридцатиметровый скелет кита. Теперь этот скелет рухнул, валялась беспорядочная груда истлевших желтоватых костей. Чучела и макеты исчезли, железные коробки витрин стояли обнаженные. А по стенам до самой крыши вздымались угольные языки пожаров.

— Мы пойдем через здание,— сказал человек.— Хоть длиннее, но безопаснее. Между прочим, вы напрасно так отстаете.

Тут он замер. Перед нами в витрине раскорячилась всем телом горилла. Видимо, чудом уцелевшая — чрезвычайно лохматая, с поднятыми руками. На спине у нее торпорчился мешковатый горб.

Человек внимательно разглядывал витрину.

— Никогда нельзя быть уверенным...— начал он и внезапно выстрелил.

В стеклах витрины неожиданно зашипело, засвистело — горб, естественно, отвалился, и на полу, разбрызгивая слюну, забилась в судорогах небольшая пузатая ящерица.

— А ведь мог не заметить,— задумчиво сказал человек и выстрелил еще раз.

Ящерица затихла.

— Живучие, гады. Имейте в виду: один укус — и вы покойник. Сильнейший яд. Излечений практически не бывает.

Я посмотрел на конические зубы и дал себе слово, что больше не отстану ни на шаг.

Через задний пролом мы спустились во двор и прошли вдоль ограды. Двор был на удивление пустым и чистым. Даже осот здесь не рос, и асфальтовая поверхность сияла нетронутостью. Зато старинное здание дальше по набережной, с шаром наверху, совершенно развалилось. Оползни гнетущего мусора обтекали его, и поверх щебенки господствовала витиеватая покореженная арматура.

Человек уже выглядывал из ворот, осторожно подкручивая стерженек на браслете часов.

Раздавались металлические щелчки.

Я, пугаясь, приблизился.

— Все-таки не повезло,— сказал человек.— Видите вот этот люк?

— Ближайший?

— Центр туннеля приходится на него. Вам придется войти в чашобу.

Я без всякой радости посмотрел на колючий осот, покрывающий набережную.

— Есть еще около трех минут. И почти минута, пока туннель не закроется. Только лучше не рисковать, идти

сразу. Как скомандую — тут же бегите. Встаньте на крышку люка и берегите глаза.

— Он ведь... жжется,— ответил я.— Будут нарывы.

— А кто виноват? — раздраженно спросил человек.— Кто все это устроил?

— Я ж нечаянно,— примиряюще сказал я.

Он махнул рукой:

— Речь не о том. Попали сюда и попали. Глупость. Никто вас не винит. Но неужели вам нравится все это?

Обстановка мне, конечно, не нравилась. Тусклое лиловое небо. Коричневое солнце. Заросли осота и слизняки. Ящерицы с коническими зубами.

— Как вы до такого докатились? — спросил человек.

— Кто? — не понял я.

— Ну, вы. Вы все — там. Неужели же было неясно, к чему все идет?

— Нет,— ответил я.

Человек глянул на часы и быстро проговорил:

— История вариабельна. Понимаете — вариабельна. Существуют альтернативные пути развития. Если бы были приняты проекты Гвиччони или Деллона, облик города стал бы совсем иным. Так же и с нами. Все могло полететь к черту гораздо раньше. Но — держались. Ограничивали себя. Умели каким-то образом договариваться. Значит, можно?.. И вдруг как с цепи сорвались — никто ничего не видит, никто ничего не делает... Рухнуло. Теперь имеем не мир, а помойку. И на этой помойке приходится существовать...

— Позвольте,— сказал я.— Позвольте, но что же зависит от меня? Кто я такой? Меня же никто не слушает.

— Зависит, зависит,— сказал человек. Он был очень сердит.— Еще как зависит. Именно от вас и зависит.

— Но...

— Думайте,— сказал человек.— Серьезно думайте. Все. Все вы — кто там — думайте!

Я хотел возразить, но он прервал меня:

— Время!.. Значит, помните: по команде выбежать — и на люк. Надеюсь, что вам повезет. Руки потом покажете врачу, скажете — нарывное. От этого не умирают.

— Только одно... — начал я.

Он уже махал часами:

— Все!.. Без разговоров!.. Пошел!..

Сердце у меня заколотилось. На секунду я как-то замешкался, но человек упорно толкал меня в спину:

— Быстрее, быстрее!..

Я отчаянно побежал, зацепился за что-то невидимое, треском ниток распоролся карман пиджака, выскочил за ворота — словно в ледяную воду, закрыв ладонью лицо, нырнул в колючий осот, по руке полоснуло огнем, но я уже находился на крышке.

Свет погас.

И опять зажегся.

Тут же меня сильно толкнули. Плотная распаренная женщина стояла передо мной. Удивленно помаргивали ресницы.

— Вы с ума сошли!

— Извините...

Женщина фыркнула что-то неприязненное и пошла дальше, оглядываясь: не могла понять, откуда я взялся.

Набережная имела свой обычный вид. Неторопливо текла широкая полная река. Здание Музея было целое и яркое — видимо, недавно отремонтированное. Около него остановился автобус. Пестрая толпа школьников высыпала изнутри. Судя по всему, на экскурсию.

Воздух был чист, прозрачен и свеж. Я дышал с наслаждением.

Лишь на правой ладони, как лишайник вгрызаясь под кожу, расползалось горячее багровое пятно.

Школьники беспечно галдели. Дул морской влажный ветер. Из-за угла, с гранитного полукруга, доносился грохот отбойных молотков.

Не хотелось верить, что синее глубокое небо над городом станет когда-нибудь лиловым и раскаленным, что желтое солнце превратится в коричневый нарыв, лопающийся от напряжения, а вот это зеленое, с шаром на башне, здание справа от меня обернется грудой печальных камней, — светлая река высохнет, и вся набережная зарастет черным, колючим и ядовитым осотом. А по развалинам будут ползать скользкие, багровые слизняки.

Жжение в руке усиливалось. Теперь она просто горела. Как там сказал этот человек?

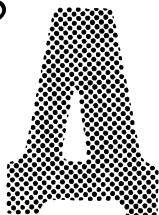
Думайте! Seriously думайте!

Надо будет думать...

Сергей
СНЕГОВ

В фокусе хронобоя

Повесть



1

День, когда юный дилон Уве Ланна получил высокое звание Сына Конструкторов Различий, был отмечен в его личной Программе Судьбы еще двумя важными событиями. Кандидат в Сыновья Уве Ланна на рассвете животворящей звезды Гаруны Голубой, то есть в зените свирепой Гаруны Белой, явился в Ратушу, чтобы предстать перед Отцами Экзаменаторами, и тут ему передали приказ срочно прибыть к Рина Ронну на собеседование.

Сын Стирателей Различий и выдающийся Брат Дешифратор Рина Ронна принял его в лаборатории Дешифраторов. Овальную комнату освещало мягкое самосвечение стен. Фиолетовая мантия Ронны отсвечивала теми же оттенками, что и стены: Сын Стирателей Различий любил подходить при беседах то к одной, то к другой стене и, подравнивая сияние мантии к их светоизлучению, вдруг как бы пропадал на их фоне. Впрочем, это была единственная его причуда — Конструкторы Различий не концентрировали на ней своего внимания, хотя выискивать любые отличия от обыденности входило в их государственную задачу.

Уве Ланна уперся руками в пол, вытянул на удлиняющейся шее голову и плавным выгибом опустил ее ниже груди: с Рина Ронной, давним другом, приветствий почтительней этих не требовалось. Выпрямившись, Ланна залюбовался старшим товарищем. В кругу величавых и изящных Сынов Ронна был самым величественным и

изящным. Правда, ему затрудняла движение по иерархии слишком уж большая молодость — всего три полных перевоплощения с частичной сменой личности, — зато он брал энергией и расторопностью. И он знал о своей красоте и умел высветлить ее и позой, и освещением, и особо ценным для Стирателя Различий служебным искусством непринужденного обмена мыслями.

Сейчас он стоял посередине кабинета, высоко подняв голову на тонкой шее и почти дважды обвив свою талию левой рукой. Правую руку он вытянул навстречу Ланне и, цепко ухватив ладонь ученика десятью гибкими пальцами, мягко повлек его к себе. Он так плавно сокращал тянущую руку, так ласково подтягивал собеседника, что даже неуклюжий дилон не оступался, подходя к Ронне.

— Сядем на хвосты, — благожелательно протелепатировал Ронна ученику. — Беседа будет долгая.

И, выпростав из мантии свой хвост, Ронна упруго свернул его на конце в опорное колечко и откинулся назад. Он любил эту непринужденную позу полусидения-полустояния на хвосте, и Ланна последовал примеру учителя, но с осторожностью, ибо он сам был грузней телом и хвост имел не столь крепкий. Ронна продолжал вытранслировать ученику свои мысли:

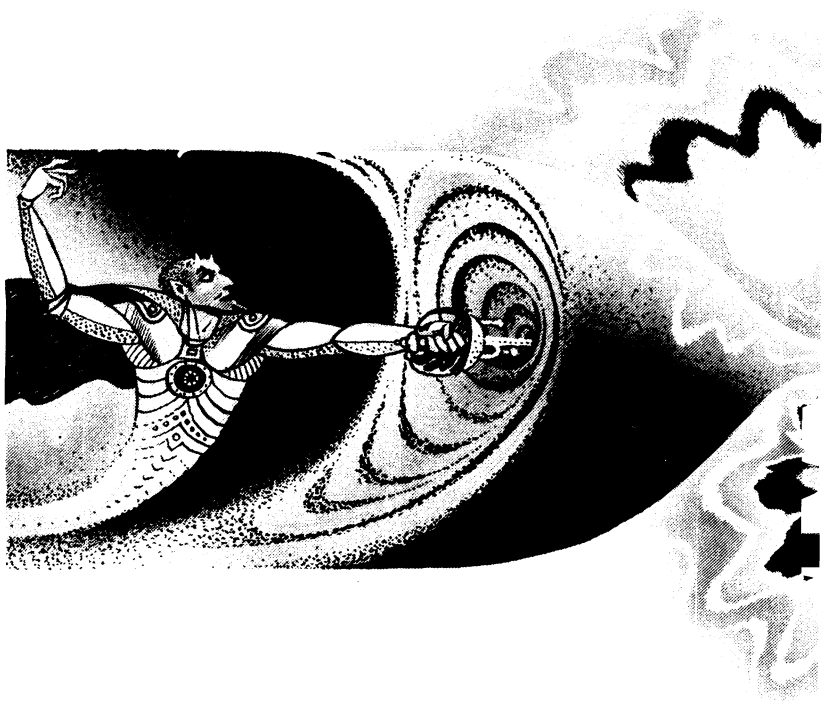
— Две новости, Ланна. Первая: тебе разрешено перевоплотиться с полной сменой личности. Ты понимаешь, что и неполная смена личности столь же важное событие в жизни, как первая любовь. И даже важней, ибо любовь возникает произвольно и на нее, возникшую, воздействовать трудно. А в смене личности случайность исключена, ибо ты выбираешь себя таким, каким заранее захочется быть, а не таким, каким ненароком повернется, как в любви. Впрочем, все это ты знаешь сам.

Уве Ланна, хотя еще ни разу не менял личности, а его любовь недавно трагически прервалась, знал, конечно, все, о чем извещал старший друг. Но его страшило перевоплощение, хотя оно и открывало дорогу в высшие сферы. Он не стремился к возвышению. Он был доволен собой, уже свершившимся. Он опасался, что Салана не узнает его в новом образе. Впрочем, Саланы не было, Салана похищена, и неизвестно, удастся ли ее вызволить. Все же Ланна осторожно осведомился, нельзя ли еще немного пожить в нынешнем образе.

Ронна отверг колебания ученика.

— Самое время! Разновременность в тебе угрожающе накапливается. Время, в котором функционирует твой мозг, уже ровно на полтора годовых оборота Гаруны Голу-

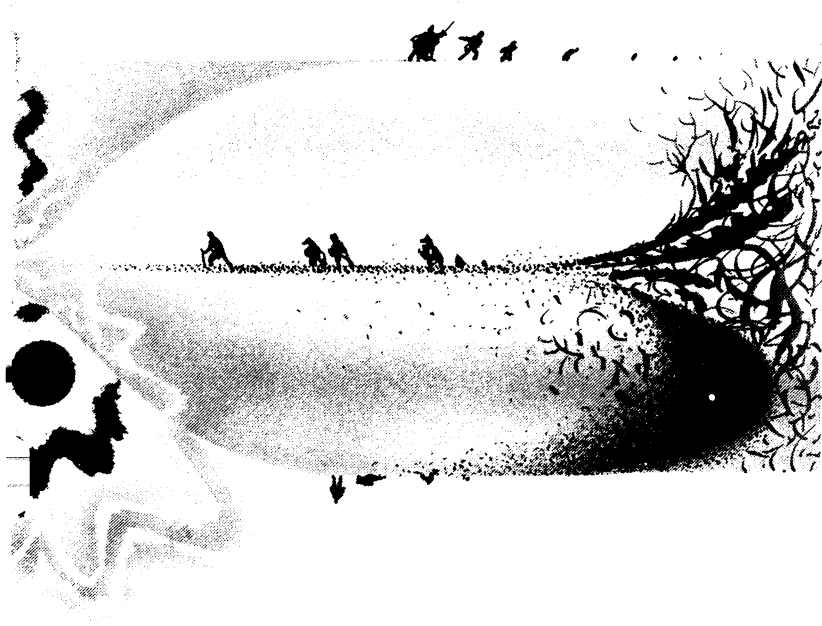
бой опережает время существования твоего туловища. Неужели ты сам не чувствуешь, что перестаешь свободно командовать своими руками, своими ногами, своим хвостом? Сытость наступает в тебе с таким запозданием, что ты способен съесть в полтора раза больше, чем нужно. Ты молод, но уже отяжелел. Нет, дорогой Ланна, пора тебе синхронизироваться!



Ронна ласково освещал ученика и оранжевым сиянием выпуклых глаз, и переливчатым мерцанием самосветящейся мантии — свечение стен лишь дополняло лучистую убедительность облика. Рина Ронна, Сын Стирателей Различий, упруго покачивался на хвосте, его вытянутое лицо улыбалось, он обнажил все сорок зубов верхней челюсти — никто так обаятельно не приподнимал мохнатой губы, как Ронна! А негромкий визг, вырывавшийся из пасти при телепатировании, придавал силы мыслям.

Уве Ланна только попросил, чтобы новый облик не вносил больших изменений, он не хотел бы слишком отличаться от прежнего своего образа. Рина Ронна распахнул рот и громко пристукнул нижней челюстью о верхнюю — знак согласия.

— Правильное настояние! Ни один из Вещих Старейшин не воспротивится твоему желанию, это я гаранти-



рую. Я покажу им, что в твоём прекрасном сознании господствует благотворное влияние великолепной Гаруны Голубой, а в теле, к сожалению, пересиливает энергетическое поле Гаруны Белой.

— Разве я виноват в том? — возразил Ланна.

— Не виноват, — великодушно установил старший друг. — Это не твоя вина, а твоя беда. Как же ты хочешь синхронизироваться? Сменишь туловище или сознание? Я подобрал по картотеке десяток дилонов, у которых рас-

согласование времен противоположно твоему, то есть сознание замедлено сравнительно с физиологией. Все они нуждаются в перевоплощении. У тебя выбор: либо принять новую голову с замедлением мысли, либо согласиться на новое тело с убыстренной физиологией.

— Если разрешишь, Ронна, я бы хотел сохранить свой мозг.

— Хвалю! Решение истинного звездопоклонника Гаруны Голубой. Выбирай, кто больше нравится для перевоплощения.

На стене вспыхнули фигуры дилонов, подготовленных к перевоплощению. Уве Ланна всматривался в них с унынием — ни один не нравился. Он выискивал похожего на себя, но похожих не было: один отворачивал несообразным носом, у другого слишком торчали уши, у третьего грубо щерился рот. Только руки у претендентов выглядели прилично, но — Ланна это хорошо знал — внешнее приличие неубедительно: руки должны втрое удлиниться и втрое сокращаться, а с какой легкостью они это делают, по рисунку не определить.

Наконец Уве Ланна ткнул пальцем в одного молодого дилона. Рина Ронна одобрил выбор.

— Номер шестьдесят третий. Мат Магон. Отличный экземпляр кандидата в Конструкторы Различий. Теперь вам остается познакомиться и понравиться один другому. Право выбора мы предоставили тебе, но и Мат Магон должен согласиться на обмен телами. Можешь идти в Ратушу на экзамен.

— Ты говорил о двух важных событиях, — напомнил Ланна.

— Второе событие? Ах да! Второе событие касается не твоей личности, а будущей твоей профессии, если хорошо сдать экзамены, в чем я, впрочем, не сомневаюсь.

И Сын Стирателей Различий, Брат Дешифратор Рина Ронна поведал кандидату в Сыны Конструкторов Различий юному Уве Ланне, еще не прошедшему ни одного перевоплощения, об удивительном происшествии в их звездном мире. Из недр Вселенной вдруг вынесся неведомый объект, идеально выглаженный эллипсоид. И он не приблизился издалека, а сразу возник, как бы вынырнув из люков иного мира, — такова вторая странность. Облетел на отдалении обе Гаруны, унесся к Гаруне Белой и трижды описал вокруг нее очень близкое кольцо. После чего устремился к Гаруне Голубой и повторил такой же тройной облет. Вот третья, но не последняя странность!

— Это не странность, а невозможность! — воскликнул Ланна. — Ведь переброс из прямого времени Гаруны Го-

лубой в обратное время Гаруны Белой равносильно мгновенному уничтожению.

Рина Ронна засмеялся, отбросив чуть ли не к шее нижнюю челюсть, красиво очерченную двумя рядами голубых зубов. Рина Ронна гордился сообразительностью младшего друга.

— Неплохо, Ланна! Ты сразу указал на главный парадокс. Да, облетел обе Гаруны, и так близко от каждой, что могучее поле времени обеих звезд не могло не пронзить его. Но катастрофы не произошло. Незнакомец трижды обогнул голубую звезду — и только отразил от своих зеркальных боков ее спектр. Какой сделаем вывод из самой возможности невозможного факта?

— Не могу ничего сообразить,— признался смущенный Ланна.

— Что же, ты специализируешься на Конструктора Различий, анализ возможности невозможного даже хорошему Различнику не всегда доступен. Но Стирателям Различий приходится решать и такие парадоксы. Наш вывод таков: таинственный пришелец обладает собственной хронозащитой. Он умеет парировать возмущения хронополей. Резкие повороты времени лишь обтекают, а не проникают в него. В нашем мире не существует такой совершенной нейтрализации полей времени, но кто гарантирует, что в иных мирах физические законы такие же, как у нас? Незнакомец, по всему, пришелец из других миров.

Уве Ланна не согласился. Как? Существовать во времени и быть защищенным от времени? Спокойно нести то в прямом, то в обратном хронополе, хотя каждый объект может двигаться только вперед, в будущее, либо назад, в прошлое! Никто и ничто не перемещается сразу и в прошлое, и в будущее. А Рина Ронна, крупнейший Стиратель Различий, хладнокровно утверждает, что пришелец обладает немислимым свойством одновременно шествовать вперед и назад.

— И это еще не все, Уве Ланна,— продолжал Стиратель Различий.— Незнакомец, прочертив два тройных кольца вокруг обеих Гарун, теперь мчит на Дилону. Он намерен опуститься на нашу планету. Вот такая ситуация, друг мой Уве Ланна.

— И ты мыслишь об этом спокойно! Опасного гостя надо отбросить! Пусть проваливается в бездну, из которой возник!

Ронна смеялся мелодичным визгом, со всхлипами в горле. При смехе его оранжевые глаза вспыхивали, сияние их освещало лицо собеседника.

— Отбросить пришельца, легко нейтрализующего и гравитацию двух звезд, и мощь их хронополей? Даже если мы аннигилируем всю Дилону, для этого не хватит энергии! Возможно, рангуны ударят по незнакомцу из своих резонансных орудий? У бессмертных бестий на это безумия хватит. Но мы смертны, нас не всегда спасают даже перевоплощения. И мы не нападаем, только защищаемся от нападений. Нет, если незнакомец опустится на нашей половине планеты, мы встретим его приветливо. Еще одно важное обстоятельство, Ланна, и оно касается нас с тобой. Анализаторы уловили излучения от незнакомца. Возможно, он передает какую-то информацию, и мы должны в ней разобраться.

— Рангуны тоже принимают сигналы пришельца?

— Конечно, но вряд ли поймут их: эта задача не для их интеллекта. Старейшины поручили мне декодировать сигналы незнакомца, я попросил помощника. Мой помощник — ты, Уве Ланна.

— Готов немедленно!..

— Раньше сдай экзамены на Сына Конструкторов Различий. Иди!

Уве Ланна возвращался в Ратушу без поспешности, какую показал, отправляясь в лабораторию Дешифраторов. Слишком уж необычны были новости, надо было о каждой поразмыслить! По улице к Ратуше двигалось много дилонов. Кто просто шел, кто торопливо обгонял других, а кто и неспешно шествовал, опустив голову вниз, — отдавался неотложному размышлению. Вспыхивали фиолетовые, красные, зеленые мантии, метались сокращаемые и удлиняемые при ходьбе руки, по-парадному разбрасывались и деловито сжимались хвосты. Кто-то на ходу взвизгивал, сопровождая визгом мысли, кто-то хрипло рычал. Вверху сияла нежная Гаруна Голубая, сменившая в зеленоватом небе двинувшуюся на закат Гаруну Белую. День переходил в сумерки — обычный день Столицы, таким был вчера, таким будет завтра.

Только встреча со Старейшиной Старейшин Гуннарм Гунной как-то выпала из обычности. Когда Уве Ланна приблизился к Ратуше, у входа опустился летательный шар Старейшин, из шара выбрались два охранника, за ними и сам Вещий Старец.

Уве Ланна поспешно отошел в сторонку, чтобы не помешать свите Верховного Стирателя Различий прошествовать в Ратушу. То же сделали и другие дилоны, подходившие к правительственному зданию. Гуннар Гунна прошел в Ратушу, ни на кого не глядя, никому не отвечая

на приветствия. Соскользнувшая с зенита Гаруна Голубая светила на высочайшего мыслителя страны, он не мог не радоваться ее ласковому сиянию, а он не радовался. И такая печаль выпечталась на его широком лице, что у Ланны пронзило болью сердце.

2

Уве Ланну достаточно было одного взгляда на Рина Ронну, чтобы понять, что у Дешифраторов дела неважны. Только высокая воспитанность не позволила Ронну сразу сконцентрировать внимание друга на собственных затруднениях. Ронна душевно поздравил Ланну со вступлением в государственную иерархию.

— Ты отныне полноправный Различник, Ланна. В коллегии Экзаменаторов давно не фиксировалось столь блестящих ответов. Можно приступать к перевоплощению. Синхронизация физиологии и интеллекта превращается теперь из желательной в срочно необходимую.

Ланна не пожелал концентрироваться на перевоплощении: это была операция неизбежная, но не захватывающая ум. Поведение космического незнакомца гораздо больше занимало его. Ронна помрачнел.

— Нет, с пришельцем ясности не установлено. Он вращается вокруг Дилоны, возможно, выбирает место для посадки.

— И рангуны молчат, Ронна?

Ронна распахнул рот в насмешливой улыбке и широким извивом правой руки обхватил свою грудь — он любил эту красивую позу, выражавшую сразу и суровое осуждение, и издевку. Рангуны беснуются. Они окатывают незнакомца пучками волн: обращаются к нему на своем языке, которого он, разумеется, не знает. И что же они генерируют пришельцу из иных миров? Вот их первая передача: «Кто ты? Чего тебе надо?» Вторая: «Предлагаем три отличных местечка для посадки». Третья: «Садись или проваливай!» И последняя, она уже трижды повторялась: «Вот пошатайся еще над нами, так жажнем, что разлетишься на атомы!» В общем, обычное рангунское хамство.

Все помещения Дешифраторов заполняли аппараты приема, раскодирования и передачи сигналов. Одни механизмы работали автоматически, у других дежурили операторы-мыслители. В Обсерваторном зале во всю стену сияло звездами небо той половины планеты, где обитали дилоны. В правом углу небосвода перемещалась Гаруна Белая, экран притушивал яростное излучение звезды, чтобы

не слепило глаза. В левом углу нежно мерцала уходящая под горизонт Гаруна Голубая. Ронна сказал:

— Сейчас покажется пришелец, Ланна.

Пришелец помчался на экране навстречу плывущей по небосводу звезде. Темный, гладкий эллипсоид был огромен — такое тело свободно накрыло бы любую площадь в Столице.

— Думаю, мы имеем дело с кораблем из иных миров, а не с индивидуальным пришельцем, — высказался Ланна. — Вы не рассматривали такое предположение, Ронна?

— Рассматривали. Много за и много против.

Пробежав треть небосвода, эллипсоид вдруг остановился. Теперь он висел над планетой, она, вращаясь, перемещала замершего назнакомца в сторону, обратную той, откуда он вынырнул. Затем эллипсоид снова пришел в движение, но уже не облетал планету, а падал в ту точку на Дилоне, над какой завис.

— Идет на посадку, — установил Ронна. — Информировать тебя, Ланна, что Старейшины приказали не мешать посадке, если пришелец решится на нее. Проклятые рангуны! Нет на них кары!

Вылетевшая из-за горизонта ракета, распушив длинный шлейф, мчалась на опускавшегося незнакомца. Ланна в страхе прикрыл глаза. Все было безобразно ясно: рангуны не захотели пустить пришельца на территорию дилонов. Вот сейчас ракета ударит в цель, вспыхнет багровое облако пламени с дымом — и из облака посыплются осколки небесного гостя!

Ланна раскрыл глаза. Взрыва не было, ракеты тоже не было. Пришелец продолжал опускаться. Где-то за ним, уже в отдалении, рассеивалось облачко пыли и красноватого газа.

— Какая защита! Нет, какая защита! — взволнованно повторял Ронна. Он видел, как ракета у цели вдруг сама взорвалась и разлетелась пылью и газом. — Ланна, друг мой, неужели безумцы и теперь не уgomонятся?

Из-за горизонта вынеслась уже не одна, а десятков ракет. И все, долетев до пришельца, взорвались, образовав широкое кольцо дыма и пламени. В центре этого кольца плавно опускался темный пришелец — гладкие бока мертво отражали пламя. Обстрел прекратился. Рангуны, по всему, убедились, что атаки бесперспективны.

— Опустился в Голубой Чаше, — сказал Ронна. — Место, конечно, укрытое, но слишком близко от мертвых лесов, где свирепствует хронобой. Хорошо, что не угодил в

разнотык времен,— это было бы губительней ракетной атаки рангунов. Оставайся здесь и следи, что предпримет пришелец. Я иду к Старейшинам.

3

Что бы ни представлял собой пришелец из дальних миров — космический корабль с экипажем или самостоятельный объект, одно твердо знал молодой Конструктор Различий Уве Ланна: еще никогда ни у самих дилонов, ни у их вековых врагов рангунов не появлялось такого гостя из Космоса. Возникла проблема контакта, на ней надо было сосредоточиться. Уве Ланна впал в отрешенность: закрыл глаза, отменил все движения тела и пребывал в активном мыслительном состоянии, пока опасно понизившаяся температура тела не принудила выходить на уровень меньшей концентрации мысли.

— Доложите, что совершилось, пока я размышлял,— потребовал Ланна от оператора.

Дежурный мыслитель доложил, что новостей нет: пришелец покоится в Голубой Чаше — неподвижен, темен и загадочен. Разведочные шары анализируют параметры гостя — размеры, температуру, структуру вещества, гравитационные, энергетические, оптические характеристики, фиксируют все виды его излучения. Одно смущает, но, впрочем, нет точного доказательства...

— Знаю,— прервал оператора Ланна.— Незнакомец существует в едином времени. Он полностью самосинхронизирован. Ты на это хотел обратить мое внимание? Я установил это в результате собственного размышления.

— Именно это, уважаемый Различник.

— Судя по тому, что ты мне об этом не доложил, расшифровать сигналы незнакомца еще не удалось?

— Еще не удалось.

— А есть уверенность, что эманация незнакомца — разумные сигналы, а не стихийное излучение мертвого предмета?

— Такая уверенность есть, Уве Ланна.

— Тогда подготовь два поисковых шара с аппаратами боя и разведки. Пусть Братья Отвергатели выделяют самое совершенное из арсеналов. Ибо и война, и мир пока равноценно возможны...

Вошел сияющий Рина Ронна. Старейшины одобрили его доклад. Если пришелец — разумный космический объект или если в нем таятся разумные существа, то надо вступить в благожелательный контакт. Первая задача —

раскодировать сигналы незнакомца. Вторая — защитить его от новых атак рангунов. Рангунам послано предупреждение, что любое нападение на пришельца равнозначно нападению на дилонов.

— Пустить ракеты рангуны теперь побоятся, ибо знают силу ответного удара,— заметил Ланна.— Но генераторы резонанса, Ронна...

Ронна откинул назад голову — это у него означало не то сомнение, не то нерешительность. «А что мы можем сделать?» — как бы ответил он своим жестом. Впрочем, он тут же добавил, что пришелец так защищен от гравитационных, тепловых, лучевых и электромагнитных воздействий, что вряд ли чего рангуны добьются и резонансным нападением.

— Хочу тебя информировать, Уве Ланна, что нам выделен ротонный прожектор, сейчас его монтируют на одном из поисковых шаров, которые ты велел подготовить. Полетим вместе, Ланна.

Два разведочных шара покачивались на площади. В одном сидели операторы гравитационной и резонансной защиты, оптики и механики, в другом разместились ротонный прожектор. Ронна сел за пульт управления: он любил водить аэроразведчики и залетел даже на территорию рангунов, что было небезопасно.

Пришелец покоился на краю поляны среди голубых деревьев с широкими кронами, перекрывавшими половину поляны.

— Облет! — приказал Ронна и опустился пониже.

Ту же операцию повторил и второй шар. Ронна облетел неподвижный эллипсоид сбоку, обошел с краю и повторил облет с другого бока. Ланна вдруг ухватил друга за плечо:

— Ронна, он исчезает! Он уходит в небытие!

Пришелец стирался, становился из темного серым, пропадала четкость обводов, зеркальная гладкость поверхности. Огромное материальное тело на глазах превращалось в призрак. И не успел Ронна оправиться от изумления, как на поляне ничего не было, кроме оранжевых трав и осенявших их голубых крон.

— Твое суждение, Ланна?

Молодой друг после вступления в чин Конструкторов Различий имел право на первое суждение о происшествии.

Ланне захотелось поразмыслить, чтобы дойти до всех отдаленных причин исчезновения пришельца, но Ронна с таким нетерпением ждал ответа, что пришлось телепатировать лишь предположение:

— Выпал из оптики, но вещественно сохраняется на поляне.

— Сейчас проверим.

Ронна отдал приказ на второй поисковик обвести полянку гравитационными и электромагнитными щупами. С поисковика известили, что для электромагнитных щупов пришельца не существует, но гравитационные показывают его наличие: он лежит на прежнем месте, в прежнем виде, только стал прозрачен для всех электромагнитных волн. Но вещественности своей не потерял и потому доступен гравитационным анализаторам.

— Пригнутая им трава так и не распрямилась, когда он ушел в невидимость,— заметил Ланна.— Следовательно, и в оптике кое-что видно.

— Совершенства в маскировке нет, ты прав, Ланна. Теперь выясним, есть ли у него экран от ротонов. Поскольку даже гравитационные экраны отсутствуют, вряд ли он обладает защитой от этих частиц.

Ронна встал рядом с оператором, включившим ротонный прожектор. Вскоре обрисовалось неподвижное массивное тело. Ронна еще увеличил энергию частиц, теперь они проникали сквозь оболочку и высвечивали внутренность. Сомнений больше не было: на поляне в Голубой Чаще лежал космический корабль. Ротоны показывали внутреннее помещения, разобщенные перегородками, механизмы, аппараты, ящики, тюки. Ронна то увеличивал, то уменьшал энергию, чтобы отчетливей обрисовать каждый предмет. Корабль казался необитаемым. Ротонный луч пробежал уже половину его, но, кроме мертвых вещей, ничего не обнаружил в помещениях. Потом на дисплее высветилось обширное помещение в конце корабля. На ярком свете передвигались пять фигур — живые существа, а не автоматы. Еще никогда на Дилоне не видели созданий, столь удивительных, как эти пятеро.

Они походили на дилонов — одноголовые, двурукие, двуногие... Но руки были так коротки, что не достигали и колен, на концах их виднелись пять пальцев, а не десять, как у дилонов, и пальцы были толсты и негибки; негибкой была и вся рука, она не удлинялась и не сокращалась, незнакомцы такими руками не могли даже в один оборот обхватить себя; ноги были еще топорней рук, правда, как и руки, они могли сгибаться, но только в одном месте; всего примитивней была голова: она тоже сидела на шее, но такой короткой и такой негибкой, что ни вздыматься вверх, ни даже поворачиваться назад не могла, лишь чуть-чуть вправо и влево; круглая голова несла на себе неприятное

лицо — плоскощекое, плоскособое, с невыразительным ртом, с крупным носом, нависающим надо ртом, и двумя глазами, такими тусклыми, что сразу понималось: они пассивно принимают внешний свет, но генерировать собственные сияние неспособны. А на головах всех пяти обитателей корабля шапкой лохматились волосы, ни у кого не было и намека на благородную гололобость дилонов. У одного густая шерсть вылезала даже по всей нижней половине лица! И ни один не имел хвоста, важнейшего элемента эстетически скомпонованной фигуры!

— Плох конструктор, который разрабатывал эти тела,— высказался Ронна.— Одни грубые детали, ни гибкости, ни изящества.

Ронна начал детальное рассмотрение с самого лохматого. Этот был крупней и выше всех. Он сидел на специальном приспособлении для сидения. Около мохнача сидело второе существо — с фигурой потоньше и головой поменьше. По помещению расхаживал третий, он казался всех моложе: размахивал руками, шевелил губами, раскрывал и прикрывал рот — в пасти виднелись зубы, они выстраивались в один ряд сверху и снизу, их было много меньше, чем у дилонов. У стены стоял толстенький коротышка, на голову ниже мохнатого. И когда юноша переставал шевелить губами и двигать нижнюю челюсть, точно такие же операции проделывал коротышка. А когда он прекращал игру губ и челюстей, в нее снова вступал молодой. Боковую стену занимал экран, перед ним поместился пятый обитатель корабля — и на нем остановил особое внимание Ронна. Пятый, один из пяти субъектов, хорошо смотрелся — высокий, стройный, тоже короткорукий, зато с гораздо более гибкими руками, такой же густоволосый, но с двумя рожками, торчащими из волос,— у остальных и намека не было на рога. И глаза пятого отличались от глаз четырех других — не только принимали свет, но и сами светились, а порой, когда он обращал лицо к коротышке, из них вырывались как бы электрические искры!

Ронна перевел ротоновый луч на стену с экраном, чтобы разглядеть туманную картину на нем. На экране он увидел все, что окружало корабль снаружи: голубые деревья, оранжевую траву поляны, шествующую по небосводу Гаруну Голубую и два разведочных шара над кораблем.

— Однако! — восхитился Ронна.— Оказывается, став для нас невидимыми, сами они продолжают нас разглядывать!

Ланна после короткого размышления высказал мнение, что странное шевеление губ, нервное опускание и поднятие

нижней челюсти, оживленная жестикуляция рук есть метод передачи информации у пришельцев, то есть разговор.

— Разговор при помощи губ, челюстей и рук? — удивился Ронна. — Какой невероятный способ общения!

— Еще язык, — добавил молодой Различник. — В пасти пришельцев, как и у нас, язык, но он так дергается и изгибается, когда шевелятся губы и двигаются челюсти! Я склонен думать, что язык у них главный агент информации.

Ронна, однако, не был убежден. Ведь если Ланна прав, то пришельцы могут вступать в общение только при свете, когда видят движения губ, челюстей, языка и рук. А в темноте они, стало быть, беспомощны? Конечно, конструкция их организмов далека от совершенства. Но такая чудовищная недоработка!..

В это время молодой пришелец завершил жестикуляцию энергичным взмахом руки и показал на экран, где виднелись два поисковика. Лохматый наклонил голову. Молодой и тот, у которого торчали рожки в волосах, зашагали в другой конец корабля. Здесь они выдвинули из ниши продолговатый предмет. Корабль вышел из невидимости и засветился. Операторы могли теперь и без ротонового прожектора высвечивать, что происходит внутри. В главном помещении лохматый опять кивнул копной волос, пришелец с рожками задвигал пальцами по доске с кнопками. Продолговатый предмет выскользнул наружу через открывшийся люк и стал подниматься вверх.

— Запустили разведчика, — прокомментировал событие Ронна. — Двинемся за ним, не выпуская из обзора. Второй поисковик остается на месте.

Аэроразведчик сделал над кораблем несколько кругов, потом повернул к большим лесам на границе между территориями дилонов и рангунов. На дисплее следящего за ним поисковика обрисовалось обширное пространство сперва голубых, потом синих деревьев.

— Как бы он не полетел к рангунам — эти бестии мигом собьют его своими ракетами, — забеспокоился Ронна.

Аэроразведчик, словно услышав предостережение, повернул назад. Теперь он мчался к Столице дилонов, передавая на корабль пейзаж планеты — каменные сооружения, вытянутые в двойные полосы, холмы в стороне от возвышений и башни со светящимися вершинами. Внизу проплывали темные точки.

— Приближается к охранным маякам, — снова забеспокоился Ронна. — Добрые или враждебные у него намерения, но его собьют.

Ланна задумался, выискивая, как донести до пришельцев опасность приближения к охранным маякам. В это время Ронну вызвал командующий охранными маяками.

— Уважаемый Стиратель Различий, что у вас за игра? Разве вы не знаете, что приближение к маякам запрещено?

— Я-то знаю, уважаемый командующий маяками. Но не уверен, что пришельцы это знают так же хорошо, как я.

— Вынужден действовать по уставу,— информировал командующий.

Верхушка маяка озарилась и погасла. Одновременно вспыхнул и аппарат пришельцев. Поисковик подлетал к нему, когда его уже не было. В воздухе развеивались пыль и пар.

Уве Ланна задумался, выстраивая все выводы из печального события. Рина Ронна, по профессии обязанный соображать быстрее, сказал:

— Хорошо, что самих пришельцев не было на борту. Я лечу к Старейшинам — объяснить, что мы узнали, и оправдаться в том, что совершили.

— Что допустили, а не совершили,— поправил молодой Различник и добавил: — Я возвращусь в Коллегию Дешифраторов и попытаюсь отыскать ключ к поступкам пришельцев.

4

Ничто не показывало, что уничтожение азроразведчика вызывает какие-то ответные действия пришельцев. Их корабль по-прежнему покоился в Голубой Чаше и даже не ушел снова в невидимость. Не было волнения и среди пяти пассажиров корабля. Лохматый хмурился и, сердито глядя на юношу с рожками, нехорошо шевелил губами, а тот разводил руками — эту сцену датчики поисковика зафиксировали. Но больше ничего важного не произошло. Четверо пассажиров разошлись по маленьким помещениям, улеглись на узкие подставки, чем-то накрылись, закрыли глаза, и всякое общение у них прекратилось. Только юноша с рожками на голове остался в помещении и то всматривался в обзорный экран — на нем была все та же роща деревьев, полянка, звезды, сменившие дневные светила, и недвижно зависший над кораблем поисковик, — то манипулировал с кнопками и рычагами.

К этому времени подоспела первая расшифровка наблюдений за кораблем. И расшифровка так поразила Уве Ланну, что, все снова проверяя соответствие фактов и объяснений, все снова погружаясь в размышления о них,

Ланна пришел к выводу, что факты реальны, но невозможны. Новоопределенный Конструктор Различий даже подумал, не отказаться ли ему от дарованного высокого звания, как незаслуженного, ибо обнаруженные им отличия пришельцев от дилонов вышли за пределы допустимого.

— Ты ошеломлен, Уве Ланна,— установил вернувшийся Рина Ронна.— Ты открыл что-то невероятное. Я не ошибаюсь?

— Не ошибаешься,— ответил молодой Различник.— Я расшифровал способ информации у пришельцев.

И Уве Ланна объяснил, что у пришельцев изучены три разных действия. Во-первых, жестикуляция рук и мимика лица. Найдено, что движения языка, губ и челюстей порождают звуки и комбинации звуков. Всего зафиксировано около трех тысяч звуковых комбинаций — их пришельцы называют словами.

А каждое слово, продолжал Уве Ланна, сопровождается излучением мозга такой же физической природы, как и мозговые излучения дилонов, и каждая мыслительная волна соответствует той акустической комбинации, которую они называют словом.

— Пока все просто,— сказал Стиратель Различий.— Информация у пришельцев, как и у нас, производится излучением мозга, а акустика слова — побочный продукт. И мы при разговорах повизгиваем, полаиваем, даже напеваем.

— В том-то и дело, что информация у них производится не излучениями мыслей, а именно звуками — не прямым, а побочным способом, к тому же весьма неточным: пришельцы не всегда понимают соответствие слов и мысли и поэтому часто переспрашивают один другого. Иногда у них возникают споры из-за слов, такие словесные перепалки тоже зафиксированы.

— Твои наблюдения так удивительны, что в них и вправду трудно поверить. Но, Ланна, ты привел наблюдение, а не доказательство. Есть ли доказательство, что наблюдение точно?

— Есть. Дело в том, что у них слова всегда сопровождаются мозговыми излучениями, но те же мозговые излучения совершаются и без слов. Такое действие соответствует размышлению у дилонов. Отсюда вывод: пришельцы умеют размышлять. Зато излучения, составляющие их мысли, очень слабы и сами по себе не передаются, а должны предварительно получить акустическую форму.

— Мы тоже не всегда передаем наши мысли. Иначе все, что мы думаем про себя, было бы каждому доступно.

— Не передаем, если не хотим, Ронна! Их формы общения так примитивны, что меня охватывает ужас, когда я думаю, сколько времени, сколько энергии тратят пришельцы попусту в разговорах, сколько путаницы и непонимания в их беседах! И почти отчаяние овладевает мною, когда думаю об общении с ними. Как донести до них наши мысли? Нам ведь не воспроизвести ни одного их слова!

Опытному Стирателю Различий положение не представлялось столь безнадежным. Конечно, дилоны не сумеют произносить слова. Но каждому слову сопутствует излучение мозга, ведь так? Пришельцы не воспринимают собственных своих слабеньких мозговых излучений. Но разве мы не можем увеличить энергию своих излучений? Вот тебе выход, Уве Ланна. Мы осваиваем коды излучений пришельцев, усиливаем их и вводим в сознание тех, с кем вступаем в общение. А пришельцы наши передачи воспринимают как привычные слова. Не слово порождает попутное излучение, но излучение порождает в мозгу впечатление слова!

— Теперь проанализируем запись анализатора,— сказал Уве Ланна после того, как ознакомил друга с расшифровкой трех тысяч слов.— Пришельцев пятеро. Они из какого-то далекого мира. Главное свое светило они называют Солнцем, сами они примчались с планеты Латона. Время в их мирке — прямое и цельное, все живое и неживое там синхронизировано в едином времени. На корабле имеются аппараты для замедления и убыстрения времени, для искривления его и даже для полной перемены хроновектора в будущее на вектор в прошлое. Корабль — космический хронолет, название — «Гермес». Что означает название, пока неясно. Пришельцы именуют себя людьми или человеками, еще у них другое название — хрононавигаторы. Чем хрононавигаторы отличаются от людей или человеков, точно пока не установлено. Первый хрононавигатор, он же капитан «Гермеса», лохматый Анатолий Кнудсен. Коротышка — Михаил Бах, он себя именует археологом, они обозначают его словом «академик» — возможно, словесная характеристика его маленького роста. Третий пассажир «Гермеса», золотоволосый,— женщина Мария Вильсон-Ясуко, геноинженер, специальность нам незнакомая, но, наверно, важная,— к Марии Вильсон-Ясуко все относятся с почтением. Теперь двое молодых. Один, без рогов,— хрононавигатор Аркадий Никитин, ничего особенного о нем пока не узнал. Второй, с рожками, робот Асмодей, самый подвижный и деловой из пятерки, его красота и умения всеми признаются. Что же до названия «робот» то,

видимо, это почетное звание, которого удостоиваются только выдающиеся люди, мастера на все руки, так его называют, хотя рук у него всего две и проще было бы квалифицировать таких незаурядных людей как мастеров на две руки. А имя Асмодей остается нерасшифрованным, но, возможно, и в нем есть важный смысл.

— Вот видишь, как много мы узнали о пришельцах, — сказал Ронна. — И можем уже осмысленно воспринимать картинки, появившиеся в луче ротонов. Прикажи дешифраторам подать на экран ту запись.

На экране снова появились просторное светлое помещение и пять фигур. Но если недавно оба дилона наблюдали лишь жестикуляцию рук и движение губ и челюстей, то теперь стал ясен их разговор.

— Нет, это же поразительно! — говорил тот полный и невысокий, о котором расшифровали, что его зовут Михаилом Бахом. — Какие деревья, нет, какие деревья! Каждое до ста метров и больше! Ни в одну эпоху на Земле не было таких гигантов, а ведь растительности хватало.

В разговор вступил молодой хрононавигатор:

— Анатолий, снова и снова прошу — снимем оптическую невидимость и пойдем на разведку.

— Разрешаю, выпускаем разведчика, — распорядился Кнудсен.

Затем оба дилона увидели то, что уже наблюдали раньше, — корабль, выключивший оптическую защиту, и вылетевший аэроразведчик. И еще они увидели, как сами на одном из поисковиков помчались вслед за аэроразведчиком. А в помещении Асмодей, показывая рукой на экран, закричал:

— Аборигены мешают разведчику. Что делать?

Разведчик в это время приближался к башне, и поисковик дилонов вклинился между ними и маяком, не давая дороги. Аркадий сказал:

— Анатолий, вот прекрасный способ выяснить намерения аборигенов. Они отгоняют от башни, значит, там что-то запретное. Но как они поступят, если продолжим разведку башен? Какие возможности недопущения и защиты?

— Информация методом провокации, — сказала женщина, пожимая плечами. — Не уверена, что это лучший способ знакомства.

— Лезть на рожон не будем, но и сразу отступаться не надо, — сказал Кнудсен. — Асмодей, покажи, что способен уйти от контроля, но большим приближением не нервировать.

Асмодей легко увел разведчика вниз, еще легче оторвался от шара, взмыв вверх. Игра, только начавшись, прервалась. Верхушка башни вспыхнула и погасла. Аэроразведчик превратился в клубок пламени, пламя стало облачком пыли, пыль рассеивалась в воздухе.

— Поделом нам,— сказала Мария Вильсон-Ясуко.— Имели ясное указание, что можно и чего нельзя, и не посчитались с этим.

— Обращаю внимание,— доложил Асмодей,— что разведчик перед распадом вдруг завибрировал. В него не попадало извне ни снарядов, ни пуль. Он взорвался не от удара извне, а от вибрации. На нас напали неизвестным мне способом.

— Не напали, а защитились, Асмодей,— поправил Кнудсен.— Итак, аборигены искусно защищают свои секреты. Это отрадно.

— Что тебя радует, Анатолий? — поинтересовался Бах.— Что наши новые знакомцы, с которыми мы, впрочем, еще не познакомились, обладают мощными средствами уничтожения? Или — конкретней — что без особых усилий превратили в облачко праха наш аэроразведчик?

— И то и другое радует, Миша. Ибо оба факта свидетельствуют об их мирных намерениях. Имея такие могучие средства борьбы, они могли бы напасть на нас, но этого не сделали. Значит, войны не хотят. А уничтожением аэроразведчика продемонстрировали, что имеют секреты и предлагают в них не проникать. В общем, я надеюсь на дружбу.

— Что мне делать, капитан? — спросил Асмодей.— Запустить второго разведчика, но держать его подальше от запретных башен?

— Не надо. Тебе — дежурить. Нам четверым — спать. После сна высаживаем десант. В десантной группе: начальник — Аркадий Никитин, эксперт — Михаил Петер Бах, помощник и охранитель — Асмодей. Мы с Марией страхуем вас защитными механизмами «Гермеса». Теперь — по каютам.

Пассажиры корабля разошлись. Уве Ланна притушил экран.

— Умный народ эти люди или хрононавигаторы, что, возможно, одно и то же,— с уважением произнес Ронна.— Даже странно, что существа с такими конструктивными недоработками тела, с таким примитивным обменом информацией при помощи слов, не всегда адекватных мыслям, с такими... В общем, что они быстро уловили наши возможности и наши намерения. Ты зафиксировал, что они успели узнать о нас и что мы узнали о них?

Уве Ланна перечислил, что считал самым важным. Они узнали, что защита корабля непроницаема для звука, для света, для корпускулярного излучения, но бессильна против гравитационных аппаратов. О ротонных прожекторах пришельцы и представления не имеют. О резонансных механизмах знают, ибо азроразведчик разрушен у них перед глазами. О разрыве времени на Дилоне не знают. Воевать с нами и покорять нас не намерены, и не только потому, что уступают нам в уровне техники. В отличие от рангунов хрононавигаторы, они же люди, или человеки, патологической воинственности не заражены.

— Неплохо,— одобрил Рина Ронна.— Тебе, полагаю, поручат первый доклад Старейшинам о пришельцах. Основу доклада ты уже выстроил. Противодоклад сделаю я. После сна люди высаживают десант, мы с тобой поведем этот десант в Ратушу.

— Ты не боишься, что рангуны помешают приему пришельцев?

— Боюсь. Даже очень. На всякий случай на всех маяках, на всех резонансных батареях дежурят полные комплекты операторов.

5

Киборг Асмодей для первого выхода на планету выбрал свою любимую личину № 17. Он охорашивался, поправлял кудри, складки одежды — высокий, темнолицый, остроглазый, с узенькой бородкой на удлинённом лице, с двумя серебряными рожками, красиво выпирающими из курчавых волос, с жесткими усиками, серпом пересекающими щеки, в богатом костюме средневекового вельможи — камзол, короткие штаны, шелковые чулки, шпага на левом боку, сверкающий бриллиантами пистолет на правом.

Аркадий хохотал:

— Ты похож по одежде на французского маркиза, а усами — на какого-то немецкого монарха. В общем, помесь дьявола с аристократом. А зачем шпага и пистолет? Устраивать дуэли с аборигенами?

Асмодей выхватил шпагу и ткнул в Аркадия. Лезвие при выпадении удлинилось втрое узким снопиком пламени. Выстрел из пистолета прозвучал неслышно, но Аркадий не устоял на ногах. Асмодей еле успел его подхватить.

— Одна сотая мощности,— сообщил он, сияя.— А если на полной силе оружия?

— Но зачем такое театральное оформление? Разве бластер с переключателем мощности хуже?

— Бластер мало отвечает личине номер семнадцать,— объяснил киборг.— Зато в личине пятнадцать, в образе юного звездoproходца, ни шпага, ни пистолет в драгоценных камнях, разумеется, не к лицу. Не годятся они и для личин от номера один до четырнадцатого, копирующих змею, кентавра, волка, сфинкса, корову и прочую живность.

— Аборигенам личина номер семнадцать понравится,— заверил Асмодей.— Вы, люди, мало интересуетесь собственной историей, вы устремлены в будущее. А я без истории не могу. Я еще покажусь тебе в образе грека-рапсода, увенчанного лавровым венком, или старшины гильдии палачей в кроваво-красном плаще, с топором на плече, или казака-разбойника на лихом скакуне, с пикой наперевес. Обалдеешь!

— Расскажи, как тебя наименовали Асмодеем,— сказала Мария.

Асмодей сообщил, что раньше собственного имени не носил и значился в каталоге как «Конструкция опытная многоцелевая на двадцать четыре функции и девятнадцать обликов с обертонами». И вот, прикидывая обертоны к личине № 16, то есть облику трудяги-лаборанта с большим научным будущим, он для забавы добавил себе светящиеся рожки, усы и бородку, длинные когти на мохнатых руках и усилил сверкание глаз до зловещего блеска. И в таком виде вдруг появился перед одной лаборанткой. Та сперва отшатнулась, потом захохотала: «Ах ты, Асмодей!» Так состоялось крещение киборга-универсала бесовским именем Асмодей.

— Бесовскую внешность я тогда придумал сам,— хвастался Асмодей.— Скопировал картинку из книги «Мифические представления древних народов о нечистой силе». Правда, не прирастил себе хвоста. Между прочим, верховных демонов Люцифера и Вельзевула, а также Главного Сатану описывают без хвостов. Хвост — чиновное отличие низших бесов. В низшие бесы мне не захотелось, в верховные дьяволы не пожелал. Стать Люцифером или Главным Сатаной — церемониал, жуткая хлопотня, больше парада, чем дела. А я люблю дело. Оперативность мне по душе, хотя души в меня не встроили. Я спрашивал конструкторов — отвечают: «Не знаем, как душа выглядит в рабочей модели, математической формулы души тоже нет». Научная недоработка, по-моему.

Он завершил объяснение гулким смехом.

Когда киборг, разглагольствуя, закончил туалет, Аркадий попросил разрешения на выход.

— Немного погодим,— ответил Кнудсен.— Меня тревожат новые шары.

Один из шаров недвижно висел над «Гермесом» с того момента, когда корабль опустился на полянку в гуще голубых деревьев. Второй шар улетел за аэроразведчиком. А недавно появились еще два шара. Все три были цельные, без иллюминаторов и люков, по их поверхности пробегали какие-то цветные блики, они казались гигантскими мыльными пузырями, тускло поблескивающими в сиянии двух солнц — одно катилось на закат, другое восходило.

— Что тебя беспокоит? — спросил Аркадий.— Что в каждом шаре сидят аборигены? Нового в этом нет.

— Новое в том, что оба шара появились точно к вашему выходу наружу. Уж не поджидают ли вас?

— Если поджидают, значит, подготовили почетный эскорт.

— Но ведь мы не сообщали, что выходим! Как же они узнали о нашем решении?

— Не рано ли мы приписываем аборигенам умения, превосходящие наши собственные? — возразил Аркадий.

— Во всяком случае, умения, радикально отличающиеся от человеческих, мы допустить вправе. Выводи десантную авиетку.

Когда авиетка вынеслась наружу, два новых шара пристроились к ее бокам. Скоро стало ясно, что они не просто эскортируют авиетку, а задают направление. Аркадий заколебался, куда направиться: вчера аэроразведчик показал несколько мест, заслуживающих изучения. Но оба шара повернули вбок и придвинулись ближе. В авиетке свободно помещались три человека, но она выглядела крохотной рядом с крупными шарами.

— Приглашают на посадку,— сообщил Аркадий на «Гермес».— Я немного покочевряжусь, посмотрю, как они поведут себя.

Оба шара плавно опускались вниз, Аркадий задержал авиетку на высоте. Шары остановились, словно поджидая. Вместо снижения Аркадий пошел на подъем. Авиетка задрожала и закачалась, как на волне. Что-то заблокировало автоматы подъема.

— Потеряли управление,— передал Аркадий.

— Не противодействуйте,— отозвался Кнудсен.— Мы все видим. Будет опасность — применим защиту.

— Нам разрешают лишь те действия, какие им удобны,— прокомментировал положение Аркадий.— Бездействие тоже разрешено. Остается сложить руки на груди и безмятежно ожидать встречи с хозяевами. Думаю, вы-

ключение всех двигателей сойдет за сложенные на груди руки.

В нормальных условиях при остановке двигателей авиетка должна камнем рухнуть вниз. Но она с той же плавностью, что и шары, опускалась между ними. Шары одновременно коснулись грунта, за ними мягко опустилась и авиетка. Один шар вдруг распахнулся, и из него вышли двое аборигенов. Они походили и на сутулых людей, и еще больше на вставших на задние лапы крупных собак с непомерно длинными, гибкими передними лапами. Оба неспешно пошли к авиетке. Хронавты выбрались наружу. Аркадий заготовил традиционную фразу знакомства: «Земляне приветствуют вас, друзья!» Затем полагалось приветно поднять руку и присмотреться, кого же зачисляют в друзья людей.

Все уставные варианты знакомства оказались излишни.

Один из аборигенов сам поднял внезапно укоротившуюся правую руку с целым гребешком пальцев и заговорил на хорошем человеческом языке:

— Приветствуем тебя, хроноштурман Аркадий Никитин, и тебя, академик Михаил Бах, и тебя, киборг Асмодей в прекрасной личине семнадцать! Вы прибыли на планету Дилон в системе Гаруны Белой и Гаруны Голубой. Вы — наши гости. Вас ждут властительные Старейшины — Конструкторы Различий, Стиратели Различий, Братья Дешифраторы и Братья Опровергатели.

И Аркадий, и Бах понимали, что ни при каких ситуациях нельзя стоять с вытаращенными глазами и открытым ртом: на Земле это сочли бы невоспитанностью. Не могло быть уверенности, что на Дилоне нормы общения другие. Бах нашелся первым.

— Вы говорите по-человечески? И знаете наши имена и кто мы? Как это возможно?

— Братьям Дешифраторам пришлось потрудиться, — не то прозвенел, не то пропел дилон. — К тому же вы прикрыли свой корабль оптическим и корпускулярным экраном, даже гравитационные искатели лишь контурно ощупывали его. Но об этом потом. Меня зовут Рина Ронна, я — Сын Стирателей Различий и Брат Дешифратор. Мой друг — Уве Ланна, молодой Конструктор Различий. Мы будем отвечать на ваши вопросы и вводить вас в строй нашей жизни.

— Обиталище Старейшин, — торжественно возвестил Ронна, когда все пятеро подошли к цилиндрическому зданию, замыкавшему улицу. — Шествуйте за мной, присельцы.

Вдоль стен пустого зала стояли скамейки. Первым уселся Асмодей. Ему не было нужды сидеть, но он демонстрировал, что ведет себя как человек. Рина Ронна, выпростав из-под плаща свой хвост, скрутив его кончик в опорное кольцо, водрузил туловище, как на треноге, на хвосте и обеих ногах. Уве Ланна отошел к стене и скромно стоял там, молча поглядывая на людей.

— Задавайте вопросы, пришельцы, — предложил Ронна.

Бах взглядом показал Аркадию, что хочет вести беседу.

— Первый вопрос: почему вы нам не задаете вопросов? Мы явились из неизвестного вам мира, непредвиденно для вас. У людей раньше расспрашивают гостей о цели их прихода, потом отвечают на вопросы.

— У дилонов наоборот, до всего доходят собственным размышлением, — ответил Ронна. — Именно о цели вашей высадки на Дилону и размышляет сейчас пронизательный Различник Уве Ланна. Вы будете восхищены, с какой глубиной он обрисует в своем докладе ваши намерения и цели.

— Разве не проще узнать намерения и цели от нас самих?

— Возможно, и проще. Но оскорбительно, ибо равнозначно унижению своего интеллекта.

Баху понадобилась минута, чтобы переварить ответ дилона.

— Мне кажется, вы впадаете в противоречие с собственной практикой, — сказал наконец Бах. — Техника ваша на высоком уровне, это означает, что вы умеете использовать законы природы. Но ведь надо раньше узнать эти законы, то есть задавать учителям вопросы и получать ответы.

— Мы сами открывали законы природы, пришелец. Каждый дилон обязан в молодости самостоятельно найти и обосновать хоть один из важных законов мироздания. Наш друг Уве Ланна открыл, что тело, погруженное в воду, теряет в своем весе ровно столько, сколько весит вытесненная им вода. И с каким блеском он опровергнул Опровергателей, старавшихся доказать неправильность этого закона! А я в свои юные годы открыл Закон всемирного тяготения.

— Неужели другие до вас не знали Закона всемирного тяготения?

— Ты меня поражаешь, пришелец. Конечно, все знают. Но кто же открыто обвинит себя в неспособности к по-

стижению мира? Иные дилонеры имеют до сотни собственных законов мироздания — и это не предел. Открытые в молодости законы природы определяют всю жизнь дилонера. Закон всемирного тяготения, найденный мною, внесен в мою личную Программу Судьбы как фундамент моей жизни.

— Не совсем понимаю тебя, Рина Ронна...

— Но ведь это так просто! Каждый открывает те законы мироздания, которые близки его натуре. И когда юноше пора утверждать свою взрослость, составляется его Программа Судьбы, то есть система жизненных целей и методов их осуществления. И в той Программе Судьбы находят свое место открытые им фундаментальные законы.

— И в твоей программе нашел место Закон всемирного тяготения?

— Естественно! Ибо о чем твердит этот закон, так блестяще мной открытый и защищенный от критики Опровергателей? О том, что все различия материальных тел поглощаются общим их свойством — притягиваться одно к другому. И когда я доказал, что это всеобщее взаимное тяготение усиливается пропорционально массе тел и обратно пропорционально квадрату разделяющего их расстояния, моя судьба была решена: я стал Стирателем Различий. Моя Программа Судьбы была однозначно решена одной моей научной находкой. Элементарно, не правда ли?

— Ты упомянул Опровергателей. Это общественная функция — опровергательство? В чем оно заключается? В критике законов природы?

— Отлично, пришелец! Хотя и примитивным методом вопросов и ответов, но ты начинаешь нас постигать. Конечно, Опровергатели критикуют законы природы, это их обязанность. Все дилонеры проходят стадию опровергательства. В юном возрасте каждый подбирает важный закон природы и опровергает его, то есть изыскивает условия, при которых этот закон перестает действовать. Разве у вас формой познания природы не является опровержение ее законов?

— Нет, у людей законы природы не опровергают. И, честно говоря, я не понимаю, как можно опровергнуть Закон всемирного тяготения, открытие которого ты закрепил за собой?

— Не закрепил за собой, а просто открыл. Нет одного автора Закона всемирного тяготения. Тысячи до меня открывали этот закон, и тысячи после меня откроют его.

Не только откроют, но и опровергнут, как опроверг Уве Ланна, когда был моим учеником. Он отыскивал условия, когда всемирное тяготение совсем перестает действовать или ослабляется. И как превосходно решил свою задачу! Разве не вес тела является важнейшим параметром тяготения? И разве, погружая тело в воду, он не ослабляет вес? Создавая невесомость, он творит условия, при которых тела теряют самые общие свойства. Такое искусство творить различия там, где они уже стерты в поглотившем их единстве, и стало главной чертой Программы Судьбы Уве Ланны: он сдал экзамен на высокий чин Сына Конструкторов Различий и ныне один из выдающихся наших Различников.

В разговор вступил Аркадий:

— Прости, Рина Ронна, примитивность моего интеллекта, но люди не мыслят познания без вопросов, ответа на которые собственным рассуждением не находят.

— Прощаю. Спрашивай.

— Мы повернули к вам хронолет, потому что обнаружили удивительное явление. Ваши две звезды существуют в двух разных физических временах, и притом полностью противоположных.

— Так, но не так. Прекрасная Гаруна Голубая существует во времени истинном, но слабом, очень подавленном зловещей Гаруной Белой. Гаруна Белая функционирует во времени лживом, это время наших врагов рангунов. Продолжай, иновременник.

— Почему ты называешь нас иновременниками? В данный момент мы физически пребываем в одном времени с вами.

— Только в данный момент. Ваш корабль, приближаясь к Дилоне, возник сразу из ничего. Он выпрыгнул из пустоты, не приближаясь, а материализовался. Стало быть, ваш корабль возник не из иного пространства, а из иного времени.

— Правильный вывод. Еще вопрос: дилоны и рангуны пребывают в разном течении времени. Как это сказывается на жизни дилонов и рангунов?

— Вопрос дельный! Жалко, что ты не хочешь самостоятельным ходом мыслей найти на него ответ. Ибо ответ мой будет печален.

Ответ Стирателя Различий походил не на справку, а на речь. По древним преданиям, существовала только одна Гаруна, и вокруг нее вращалась только одна планета Дилона, и обе они, звезда и планета, существовали в одном времени. И жители составляли один народ, пребы-

вавший в одном времени. Затем откуда-то примчалась вторая звезда, физическое время которой не совпадало со временем первой. Один ток времени путался с другим, на планете заматались хроновихри. То одна, то другая звезда, притягивая к себе планету, внедряет в нее свое время, и это порождает великие трудности. На стороне Дилоны, захваченной рангунами, периодически воцаряется время то Гаруны Голубой, то Белой. Отвратительные рангуны впадают то в одно время, то в другое. И они использовали смену времен для бессмертного существования.

— Бессмертного существования, Ронна?

— Да, бессмертного существования! Рангунам удалось растянуть свое бытие на полный период одного из двух времен. Помысли, что получилось. Рангун теперь начинает свое детство, когда полновластно господствует время одной из двух звезд, взрослеет в этом времени, начинает стариться в нем — и тут одолевает время другой звезды. И стареющий рангун, не успев умереть, переходит на обратный временной ток. И вместо заслуженной гибели от старости молодеет, пока снова не превращается в ребенка. А к моменту младенчества время опять меняет свой ход, и рангун снова повторяет путь в обратную сторону.

— Ты сказал, что ответ твой будет печальным. Тебя печалит качели бессмертного бытия рангунов?

— Нет, нас одолевают собственные недуги. У нас нет периодической смены времен, как на другой стороне планеты. У нас властвует прекрасное время Гаруны Голубой, но на него накладывается влияние яростной Белой звезды. Не периодическая смена времен, а схватка разных — такова наша реальность. От этого нарушается синхронизация в нашем теле. Это тяжкая хворь, человек. Нет большей беды, чем разрыв в тебе твоего единого времени. Мы заменяем выпавшие из синхронности органы на другие, естественные либо искусственные, но перевоплощение дает лишь временное облегчение. Несинхронизация времени — единственная наша болезнь, но в ней неисчерпаемый источник печали.

Аркадий обернулся к Баху:

— Миша, все мы покорены твоей идеей, что где-то в глубинах Космоса существует Высший Разум — общество инженеров и геновотворцов, умеющих конструировать и распространять во Вселенной создания, похожие на людей по образу и интеллекту. В Космосе наши звездопроходцы таких жизнесоздателей не обнаружили. Теперь и в фазовом времени...

Рина Ронна радостно прервал Никитина:

— Иновременник! Вы попали, куда стремились. Дилоны — истинные воплощения Высшего Разума. Глубже нас немыслимо познать природу и себя. Ты это поймешь, представ перед Старейшинами. Высший Разум мироздания, воплотившийся в Отцах Различниках и Отцах Стирателях, а также частично в Братьях Дешифраторах, изобразит вам самим, иновременники, кто вы по своей сущности, а не только по облику.

7

Люди вошли в круглое помещение с четырьмя амфитеатрами, с черным, пропадающим в незримости потолком, с излучающими мягкое сияние стенами. На одном из амфитеатров восседали двенадцать дилонов в ярких малиновых плащах — Отцы Конструкторы Различий, протелепатировал людям Ронна. На втором амфитеатре, напротив первого, заседали двенадцать дилонов в фиолетовых плащах — это были Отцы Стиратели Различий. А на боковом амфитеатре разместились шесть дилонов в зеленых плащах и еще шесть в желтых — Братья Дешифраторы и Братья Опровергатели. Первые — справочные кладези знаний, вторые — начальники боевых башен: готовы в любой момент отразить любое нападение рангунов, с уважением обрисовал Ронна их общественную функцию.

Четвертый амфитеатр, напротив Дешифраторов и Опровергателей, предназначался для гостей. Здесь уселись трое хронавтов, рядом Ронна и Ланна. Ронна вручил хронавтам небольшие шарики, чтобы вставить их в уши: посредством шариков Братья Дешифраторы будут переводить мысленную речь дилонов в человеческую.

Хронавты быстро обнаружили, что дилоны, восседавшие в одном амфитеатре, не похожи на восседавших в другом. Дешифраторы и Опровергатели, как и Ронна и Ланна, отличались собаководной головой — вытянутые рты щерились, высокие уши торчком стояли на голокожей голове. Лишь розовая кожа щек, способность улыбаться и выпуклые умные глаза сближали их облик с человеческим. Зато Конструкторы Различий гораздо больше напоминали человека, только пещерного, — выпяченные губы, скошенные лбы, глубоко посаженные глаза. И вовсе иными выглядели Стиратели Различий — львиная, а не человеческая и не собаководная голова, острые светлячки глаз...

Один из Стирателей выделялся высоким ростом, величиной. Ронна протелепатировал, что перед хронавтами глава Стирателей Различий, Старейшина всех Старейшин Гуннар Гунна. И если перечислить все открытые Вещим

Старцем законы мироздания и общества, все отличия, чины, саны и ранги, приобретенные им за долгое пребывание в иерархии, то у гостей из других миров не хватит ни прямого, ни фазового времени, чтобы уложить эти сведения в своей голове.

Гуннар Гунна открыл заседание Старейшин.

Его слово для пришельцев прозвучало так:

— Слушаем дело о гостях из иных миров. Первый доклад поручен молодому Конструктору Различий Уве Ланне. Он общался с пришельцами с момента их появления. Будьте к нему благосклонны.

За спиной хронавтов поднялся Уве Ланна. Он волновался — нервно удлинялись и сокращались руки, тело подергивалось, голова подрагивала на шее. Но в мыслях путаницы не было — молодой Различник рассуждал логично. От молчаливого спутника, постоянно погруженного в размышления, Бах и Аркадий не ожидали такой свободы мыслиеизъявления.

— Над Дилоной, — докладывал Уве Ланна, — появился чужой корабль. По мощности — звездолет, по типу — хронолет, способный пересекать мировые потоки времени и менять течение своего собственного. Хронолет сделал несколько облетов планеты, выбирая место для посадки. Проклятые рангуны и низменные хавроны, их воины, пытались посадить корабль на своей стороне, но хронолет игнорировал их. В полете над планетой корабль овеществился в нашем времени, опустился в Голубой Роще и попал под опеку охранных маяков. При спуске пришельцев обстреляли рангуны. Охранным маякам удалось ослабить удар рангунов, и корабль собственными средствами легко отразил нападение.

Для предотвращения новых атак корабль прикрыл себя оптическим щитом и впал в невидимость. Наблюдения показали, что у корабля надежна защита от оптики, ядерных частиц и колебаний времени. Для ротоновых лучей он прозрачен и, нет сомнения, удар ротоновых орудий отразить не способен. К счастью, у рангунов нет ротоновых аппаратов.

Экипаж хронолета «Гермес» состоит из пяти особей. Четверо — естественной природы, пятый — искусственник. Естественники именуют себя людьми или человеками, каждый обладает еще характеризующим названием, приставляемым к кличке «человек». Перечисляю их: человек, он же хронофизик, он же капитан, Анатолий Кнудсен; человек, он же академик, он же археолог, Михаил Бах; человек, он же женщина, он же геноконструктор, он же

Мария Вильсон-Ясуко; человек, он же хронофизик, он же хроноштурман, он же Аркадий Никитин; и, наконец, киборг, он же Асмодей, он же Конструкция Опытная Многоцелевая на двадцать четыре основные функции и девятнадцать обликов с обертонами.

Пришельцы отдаленно напоминают дилонов, но при разработке конструкции людей допущены серьезные просчеты. Недоработки тела — короткие руки, слабые ноги, отсутствие хвоста, неповоротливая шея — даже пол-оборота не сделать голове, — полная неспособность удлинять руки и шею. Хотя биоинженеру, конструиовавшему людей, не могло не быть понятно, что подобная неизменность органов серьезно осложняет функционирование организма в меняющихся условиях. Трагична незначительность запасов в теле. Людям вечно не хватает воздуха, они: вынуждены непрерывно дышать, хотя всасывание в тело хотя бы суточного запаса воздуха составляет вовсе не сложную биоинженерную задачу. Но не только воздуха не хватает людям, они испытывают частые позывы к еде и питью: трижды в сутки возобновляют в себе запасы пищи и воды. И, несмотря на постоянные пополнения, людьми овладевает порой внезапное бессилие, они тогда впадают в неподвижность, равнозначную короткой смерти. Они называют сном это непростительное явление, отнимающее у каждого треть его активного жизнедеятельности. Еще несовершенней их методы взаимной информации. Мозг, как и наш, генерирует отдельные мысли, хотя способность к длительной мыслительной концентрации остается под сомнением. Каждой мысли соответствует особое мозговое излучение, но оно так слабо, что не передается из мозга в мозг непосредственно, ибо экранируется черепной коробкой. И вместо того чтобы ослабить поглощающую силу черепа либо существенно усилить энергию мыслеизлучения, конструкторы человека возложили донесение мыслей на звуки, совершаемые ртом попутно с мыслеизлучением. Это равносильно тому, как если бы пытались почесать ухо не рукой, а ногой, хотя, впрочем, по нашим наблюдениям, ногами люди своих ушей не чешут. И последнее. Чудовищно короток жизненный срок. Люди в их времени существуют не больше ста лет, что при пересчете на наше время дало верхний предел жизни примерно в десять раз меньший, чем у дилона. В пределах такой короткой жизни, да при несовершенной телесной конструкции, да при неэффективных методах общения, ни один человек не способен совершить чего-либо понастоящему выдающегося. Наш общий вывод таков:

модель организма, именуемого человеком, выполнена по проекту поспешному и примитивному.

Гораздо совершенней киборг Асмодей,— продолжал докладчик.— В этой модели видится разумная программа. Но киборг разработан лишь как придаток к человеку, ибо в него не внедрено стремление к самовоспроизводству. В результате тщательного размышления мы пришли к выводу, что и людей, и киборгов создали одни и те же биоинженеры, но раньше людей, а потом киборгов. Сообразив, насколько неудачна первая модель, они пытались исправить недоработки человека в новой конструкции. Остается неразгаданной проблема, почему вообще была не уничтожена первая несовершенная модель и не заменена полностью второй, более удачной. Этот странный факт сохранения людей при наличии более совершенных Асмодеев вызывает обоснованные сомнения в профессиональном умении и моральном уровне биоинженеров, создавших людей и киборгов.

Перехожу к цели посещения людьми и киборгом прекрасной планеты Дилона,— продолжал Уве Ланна.— В результате сложной серии вычислений, а также длительных эффективных раздумий мы предлагаем высокому суду ровно восемнадцать возможных целей прилета пришельцев из иного времени.

Аркадий с улыбкой прошептал Баху:

— Мы с тобой конструктивно недоработаны, но не стали бы при помощи математики доведываться о цели прилета, а просто спросили бы: «Зачем прибыли?» И вместо восемнадцати ответов получили бы один.

Уве Ланна перечислил предполагаемые причины прилета пришельцев. Первая — авария. Повреждение хронодвигателей забросило иновременников, куда они не собирались проникать. Эта причина недостоверна: ротонное просвечивание не показало разрушений в хронолете. Вторая причина — желание вмешаться во вражду дилонов и рангунов. Очень маловероятно, ибо от рангунов чужой корабль увернулся, а от дилонов экранировался силовыми экранами. Третья цель — попытка завоевания Дилоны для колонизации ее людьми или Асмодеями. Такую цель нельзя исключить, хотя неисполнимость ее очевидна. В-четвертых, похвальное желание, которое на примитивном языке людей называется «поучиться уму-разуму». Цель осуществима, но трудна в силу интеллектуальной ограниченности людей. Остальные четырнадцать возможных причин появления пришельцев приведены в сводной таблице, где каждая оценена по вероятности до тысяч-

ных долей — более точная оценка недостижима из-за расплывчатости исходных данных.

На потолке засветился экран, на нем вспыхнули знаки и цифры. Бах поинтересовался у Ронны, почему среди целей не упомянуто стремление к знанию, потребность распознать неопознанное.

Ронна разъяснил:

— Этой цели приписана нулевая вероятность. Она включена как теоретический довесок в практическую потребность «поучиться уму-разуму».

Уве Ланна подошел к заключению:

— Люди мало пригодны для общения с дилонами. Чрезмерность конструктивных недоработок в их организациях и несовершенство интеллекта не позволяют им встать вровень с дилонами. В качестве временных гостей Дилоны их принять можно, в качестве постоянных сожителей — нет. Кораблю, странствующему в разных потоках мирового времени, надлежит покинуть планету.

Ланна сел. Старейшина Старейшин Гуннар Гунна возгласил:

— Поблагодарим молодого Различника за воодушевляющее сообщение. Вторым доклад сделает Сын Стирателей Различий и Брат Дешифратор Рина Ронна. Пожелаем и Рина Ронне успеха.

Ронна не отвергал фактов, отмеченных Уве Ланной, но ограничивал их — смягчал выводы, а не исходные положения: Конструктор Различий безошибочно установил десятки отличий людей от дилонов, Стиратель Различий столь же безошибочно доказывал, что они не могут стать препоной для дружеского общения людей и дилонов.

— Да, конечно, люди и конструктивно недоработаны, и силой интеллекта уступают дилонам, и их передачи мыслей несовершенны, и срок их жизни печально невелик. Но что из того? Разве мы обречены общаться только с полноценными представителями Высшего Разума, подобными нам? Разве наши дети интеллектуально и физически равноценны взрослым дилонам? И разве жизненный срок детства не меньше вдесятеро полного времени бытия дилона? Так примем людей как существа, пребывающие в нашем интеллектуальном и физическом отрочестве. Пусть они станут для нас нашими инодетями из дальних миров. Ибо ни одно из справедливо очерченных различий людей и дилонов не способно стать причиной вражды.

И последняя проблема,— продолжал Рина Ронна,— цель прилета иновременников на Дилону. Мы узнали восемнадцать мотивов их появления у нас. Но общая

сумма вероятностей всех целей прилета составляет всего ноль шестьдесят одну сотую. Лишь немногим больше половины достоверности! Предлагаю поэтому Дешифраторам и Различникам продолжить свои глубокие изыскания, а Старейшинам не класть в основу своих решений малодостоверные предположения о целях появления пришельцев.

В зале простиралось каменное молчание. Старейшины пребывали в неподвижности. Люди понимали, что молчание только кажущееся, реально Старейшины в это время обмениваются мыслями и, возможно, спорят, только людям не переводят свои соображения и споры.

И когда, по мнению Аркадия, молчание слишком уж затянулось, до них донеслись слова Гуннара Гунны. Вещий Старец все так же недвижно сидел в первом ряду первого амфитеатра, ни малейшее движение не трогало его губ, а в сознание людей внедрялся приговор:

— Считать различия пришельцев от дилонов второстепенными и принять иновременников как дорогих гостей. Предлагаю также двум пришельцам, оставшимся на хронолете, выйти в город для радостного знакомства с нами. Благодарю докладчиков и Высоких Судей.

Даже в бесстрастном переводе мысли на человеческий язык было явно, как обрадован Рина Ронна.

— Вы наши друзья! Поняли мощь мысли Верховного Воплотителя Высшего Разума? Как он постиг вас! Как совершенно постиг!

К удивлению хронавтов, радовался решению Высокого Суда и Ланна, предлагавший изгнать людей с Дилоны. Он все повторял, вдруг изменив своей молчаливости:

— Я так счастлив, иновременники! Я боялся, что Высокий Суд согласится с моими доказательствами и изгонит вас. А он не согласился — большей удачи я и не желал себе!

Бах обратился к Ронне:

— Не мог бы я поговорить со Старейшиной Старейшин?

Ронна подвел хронавтов к Вещему Старцу.

— Хотел бы задать несколько вопросов,— начал Бах.

— А не кажется ли тебе, что ты мог бы, поразмыслив, и сам высчитать ответ на интересующий тебя вопрос?— дружелюбно поинтересовался Старейшина Старейшин.— Ведь выпрашивание вместо самопостижения унижает Высший Разум!

Бах ответил с живостью:

— У людей выпрашивание не считается зазорным.

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Итак, мой первый вопрос. Почему так разделены функции Различников и Стирателей? Разве для познания любой истины не достаточно ее отличия от всех других истин, тем более от заблуждений? Если дважды два четыре, а четыре это не три, не козел с рогами и не сапоги всмятку, то зачем еще подвергать такую непреложную истину дополнительной проверке на достоверность?

Старейшина ответил, что ему не совсем ясна разница между козлом с рогами и сапогами всмятку, о чем так красиво сказал иновременник, эта разница требует особого размышления. Но отличие четырех от трех нестираемо и потому должно быть утверждено. Но далеко не всегда возможны такие простые решения. Бывало в истории Дилоны, когда поверхностно установленные причины приводили порой к вредным действиям. Так, возникла ужасная война между дилонами и рангунами, а ведь ее могло бы и не произойти, если бы проанализировали на стираемость разделившие оба народа расхождения. Без утверждения нестираемости ни одно различие не может быть принято как реальное.

— Вы назвали войну между дилонами и рангунами ужасной. В чем ее ужас?

Баху показалось, что на какую-то земную минуту Гуннар Гунна испытал замешательство. Но он не без основания считался Верховным Воплотителем Высшего Разума.

— Ужас нашей войны — в ее безмерности и ненужности. Меня охватывает глубокая печаль, пришелец, когда я думаю о том, что рангуны непрерывно совершенствуют свои резонансные механизмы, а ведь никакому совершенствованию нет предела. А если им удастся поставить себе на службу околуполюсные хроновороты? Поразмысли, иновременник: хроноворот, выпущенный из своих диких пустынь! Да он же все живое истребит! Моя должность — провидение. Провидца не может не терзать страх перед грядущим. Этот страх — единственная гарантия того, что ужас грядущего не выйдет за узкие межи возможности, ибо страх принуждает искать средства опровержения его.

Даже в перетранслировании мысли в слова ощущалось, что сердце Вещего Старца поражено великой печалью. Бах испытывал сочувствие к нелегкой доле Главного Провидца. Ему, однако, показалось, что есть вариант, которого не нашел Старейшина Старейшин.

— Итак, война длится долго и приносит массу горя обеим сторонам. Но разве нельзя завершить распрю миром?

— К сожалению, невозможно. Чтобы установить мир, нужно стереть причины войны.

— Так сотрите их, черт возьми! То есть с вашим разумом, с вашим умением стирать несуществующие различия...

— Я понял твой благородный порыв, иновременник. Но отвергнуть причины, вызвавшие войну, мы не можем при всем своем так справедливо тобой оцененном искусстве Стирания.

— Они так глубоки, эти причины?

— Этого мы не знаем.

— Не знаете причин войны?

— Не знаем. Все было так давно, что и мы, и рангуны забыли, из-за чего началась война. И теперь не способны точно установить, заслуживают ли эти причины сохранения или их можно стереть.

— Вот и отлично! Раз вы не знаете причин войны, то и не должно быть войны. Это же так очевидно!

— Друг иновременник! Как же мы можем прекратить войну, если не опровергнуты породившие ее причины? И как можно опровергнуть их, если не знаем, каковы они? Неужели тебе непонятно, что нельзя уничтожить то, чего нет? А ведь все так просто!

— Та самая простота, которая хуже воровства! Нет, нет, не спрашивайте, что такое воровство, вам этого не понять, у вас этого нет.

— У нас все есть,— с достоинством отпарировал Вещий Старец.— И мы ничего не спрашиваем, ибо до разгадки любой тайны доходим мощным усилием собственного разума. И стало быть, легко сами уясним, что такое воровство, о котором ты сказал, что оно лучше простоты. А ведь простота так прекрасна! У тебя еще вопросы?

— Последний. При такой мощи мысли вы никогда не пробовали высчитывать, сколько ангелов может поместиться на острие иглы? У нас когда-то подобный подсчет считался наилучшей проверкой интеллекта.

Вещий Старец, поразмыслив, объявил:

— Об ангелах я знаю из ваших мыслей. В них дешифраторы обнаружили хорошие слова: «ангельские голоса», «ангельская доброта», «машет крыльями, как заблудившийся ангел». Дешифраторы сделали отсюда заключение, что ваши ангелы — крылатые домашние животные, которых вы опекаете и над которыми иногда дружески посмеиваетесь. Но что такое игла? Трудная проблема иглы требует размышления.

— Не трудитесь. Поглядите — вот игла!

И Бах показал вынутую из куртки иглу. У Старейшины Старейшин засверкали глаза от воодушевления.

— Великолепная загадка! Давно мы не анализировали столь увлекательных секретов мироздания. Ручаюсь, инновенник, что только мы способны найти удовлетворительное решение мучительной для людей тайны, сколько ангелов можно разместить на острие иглы. Ты вскоре это узнаешь для всех пород ваших домашних ангелов — двукрылых и четырехкрылых. По некоторым расшифровкам, у вас водятся даже шестикрылые.

— Водились в сознании древних народов. Их называли серафимами. С тех пор как мы ликвидировали старинные мифы, серафимы перевелись, а вместе с ними и все другие ангелы.

Гуннар Гунна радостно кивнул львиной головой — взметнувшаяся грива закрыла его лицо. Могучая копна волос, так сильно отличавшая его от других дилонов, очень шла его мощному облику.

— Понимаю. Мифы были у вас вроде загончиков, где вы содержали своих крылатых друзей. В общем, не тревожься, инновенник, наши вычисления будут достоверны. А теперь возвращайся на свой корабль вместе с Различником Уве Ланной и Стирателем Рина Ронной. Пусть наши посланцы осмотрят ваш хронолет и разберутся, насколько люди отстали в использовании и опровержении законов природы от Воплотителей Высшего Разума.

8

Аркадий жестоко бы соврал, если бы сказал, что его обрадовало веление Старейшины Старейшин вести обоих дилонов на хронолет. Такие экскурсии мог разрешить только капитан корабля. Аркадий соединился с Кнудсеном и Марией.

— Вас ждут в гости на нашем корабле, — информировал Аркадий обоих дилонов после разговора с Кнудсеном.

Они шли по пустой улице, авиетка стояла где-то в ее конце. Аркадий удивился, что нигде не видно дилонов, и хотел было спросить у Ронны об этом, но вспомнил, что дилоны считают интеллектуально неполноценными тех, кто пристает к ним с вопросами, и промолчал, только высказал свое недоумение Асмодею. Киборг сказал, что чувствует какой-то непорядок и в себе, но не может разобраться, что к чему, — его приемники ничего существенного не фиксируют. Бах заметил, что неплохо бы киборгу

позаимствовать остроты восприятия у дилонов, тогда бы он смог без специальных приемников и датчиков самостоятельно вычислить смысл любых непорядков. Обидчивость не была запрограммирована у киборгов, но Асмодей вдруг огрызнулся, что самоусовершенствованием нужно заняться людям, а не ему, — все восприятия у него на порядок острее, чем у человека.

Аркадий бросил взгляд на склонившего голову Ронну и споткнулся. Ронна так вытянул шею и так склонил голову налево, что она почти падала с плеча. Нижняя челюсть отвисла, глаза потускнели, безволосая голова побелела. Он путался в шаге, что-то тихонько вывизгивал. Но еще больше испугали Аркадия руки дилона. Он удлинял их, когда хотел в два обвива охватить грудь, — сейчас они удлинились так, что волочились по грунту, когти на пальцах сухо постукивали по камням.

Аркадий схватил Ронну за плечо и заорал:

— Что с тобой?

Ронна приподнял голову и обернул лицо. Ретрансляция мыслей в слова шла неровно, через каждые несколько слов прерывалась. И каждую фразу сопровождало сильней обычного повизгивание.

— Не понимаю... У меня ломит кости... Иновременник, постоим... Надо сосредоточиться... Уве Ланна, где он? Пусть он...

Уве Ланна плелся позади, глубоко погруженный в мысли.

Аркадий взглянул на небо. Обе Гаруны с двух сторон зенита по-полднелю сияли — и роскошная Гаруна Белая, и нежная Гаруна Голубая, — Аркадию почудилось что-то зловещее в ее ласковом блеске. Аркадий перевел взгляд на передатчик. На экранчике возникло встревоженное лицо Кнудсена.

— Торопитесь к авиетке! Что-то нехорошее вокруг вас, но наши анализаторы пока не дают однозначного ответа.

Аркадий потянул каменно застывшего Ронну, но тот лишь с трудом пошевелился. Бах, присоединив свои усилия, энергично приказал дилону:

— Двигайся, дружище! Бери ноги в руки! Да не толкуй так буквально это образное выражение. Аркадий, спеши готовить полет.

Авиетка стояла на том же месте, в сторонке покоились два шара дилонов, недавно конвоировавшие хронавтов. Аркадий заколебался — пятерым в авиетке не разместиться, дилонов нужно сажать в их шар. Но смогут ли они, обессиленные, управлять летательным аппаратом?

— Я сяду с Ронной в шар!— крикнул подоспевший Бах.

Ронна, протянув длинные руки, ощупью, как слепой, цеплялся за входной зев шара, но не мог впихнуть свое тело. Сильным толчком Бах вбросил дилона внутрь и впрыгнул сам. Асмодей проворно влез в авиетку, положил Ланну на скамейку, Аркадий задраил дверь. Голос Кнудсе-на прокричал:

— Ко мне!..— и прервался.

То, что совершилось в следующую минуту,— Аркадий сразу понял — в его памяти должно остаться навеки. Почти не дыша от негодования, он все не мог оторвать глаз от того, что происходило на поляне.

Оба шара — и пустой, и тот, в котором укрылись Бах с дилоном,— вдруг затряслись, завибрировали, зазвенели живыми голосами и покатались от авиетки. Отдалившись на десяток метров, пустой шар заметался в траве и стал распадаться на части. В воздухе не было ветра, ни одна травинка не шевелилась, а шар разбрызгивало, как от взрыва. Не прошло и десятка секунд, а на почве катились, подергиваясь, лишь осколки летательного аппарата.

Второй шар взлетел, но распад настиг его на первых же метрах полета. Из шара выпал Ронна, его подбрасывало и катало по траве, он хватался удлинившимися руками за стебли травы и камни, но не мог удержаться,— какая-то мощная сила крутила и несла его.

В воздухе беззвучно распадался второй шар, в котором еще оставался Бах. Аркадий судорожно хватал руками рычаги, нажимал на кнопки: надо было немедленно взлететь и мчаться за гибнущим шаром, чтобы выхватить Баха, пока тот еще боролся за жизнь в разваливающемся аппарате. Но авиетка не слушалась команд, трижды, четырежды, десятки раз Аркадий давил кнопку взлета, а взлета не было, и остатки шара медленно уносились от авиетки.

Шар повернулся в воздухе, и Аркадий снова увидел Баха. Археолог распластался всем телом по согнутой боковине шара, руки вцепились в какие-то тяги и провода, ноги впились в неровности бывшего пола. Остатки шара пропали между деревьями, а затем в чаще синего леса вспыхнуло багровое пламя и донесся грохот. В древесной чаще расплылось светлое облачко, дымное свидетельство взрыва.

До Аркадия наконец дошло, что кто-то рвет его руки, закоченевшие в судорожном нажиме на пульте.

Аркадий услышал молящий голос Асмодея:

— Аркадий! Пусти к пулту. Мы же гибнем, пойми!

Аркадий снял руки с пульта, Асмодей быстро заменил его у кнопок управления. Таинственная вибрация, разметавшая оба шара дилонов, терзала уже авиетку. Охранное поле, генерируемое «Гермесом», слабело. Киборг ввел полную мощность собственной защиты авиетки — беснование внешних полей притихло. С трудом передвигая трясущиеся ноги, Аркадий подобрался к Ланне. Дилон лежал на скамье, жалко приоткрыв зубастый рот. Ни одной осмысленной передачи от него не шло. Аркадий сказал Асмодею:

— У парня памороки отшибло. Я постараюсь привести его в чувство, а ты налаживай четкую связь с «Гермесом». Анатолий закричал: «Ко мне!..» Неужели и на «Гермес» напали?

Асмодей хмуро ответил:

— Связи нет. Ни четкой, ни нечеткой.

— Как нет связи? Разве может отказать связь, если действует силовая защита «Гермеса»?

— И силовой защиты «Гермеса» больше нет. Мы противоборствуем нападению одним своим полем.

Аркадий включил на ручном передатчике один за другим два канала связи с хронолетом. На экранчике не появилось даже размытого изображения корабля. Ни при каких вариантах аварии, кроме больших повреждений корабельных генераторов, не могло произойти столь полное отключение.

— С хронолетом беда! — закричал Аркадий. — Срочно курс на «Гермес». Чему ты ухмыляешься?

Асмодей улыбался не от радости, а от замешательства. Аркадий часто видел киборга радостно хохочущим, растерянным он был впервые.

— Не могу определить курса. Все приборы отказали.

— Летим визуально. Держи на большую рошу. Скорей!

Металлический голос киборга прозвучал глухо:

— Не могу! Мир пропадает. Аркадий, скоро не будет мира!

Два дилона, недавно задававшие авиетке направление полета, посадили хронавтов на полянке. Аркадий запомнил синествольные деревья с оранжевыми кронами, удивился их густоте, когда вылезал из авиетки. И трава поражала, она была сумрачно-фиолетовой, от нее струился терпкий аромат. Точно такой же предстала эта полянка, когда они впятером — трое хронавтов и двое дилонов — выбежали на нее, спасаясь от неведомой опасности.

А сейчас здесь все переменялось. В закрытую авиетку ароматы извне не доносились, но траву можно было бы увидеть — а травы не было, ее всю до последнего стебелька как бы вырвали. Почва была из одних камней и песка — однотонно сероватых камней, однотонно сероватого песка. И деревья, замкнувшие полянку, потеряли листья и окраску, они были без оранжевых крон, стволы из синих стали грязновато-серыми — силуэты прежних могучих растений проступали в смутном мареве. Маревое все густело, отдаленные деревья уже пропали. Уве Ланна что-то протранслировал Аркадию, Аркадий подбежал к скамейке. Трясущийся Различник телепатировал, что рангуны поймали их в прицел хронобойных орудий, надо бежать!

— Куда бежать? Покажи — куда?

— Подальше! Подальше! Здесь нас разбросают по прошлому и будущему.

Киборг быстро проверил ходовые генераторы. Генераторы работали. Авиетка взмыла. Стирающийся лес обесцвеченных, потерявших листву деревьев, почва, лишенная травы, падали вниз. По курсу сверкала свирепая Белая Гаруна, другая Гаруна томно сияла левей. Авиетка повернула на Гаруну Голубую. Асмодею показалось, что он сам задал направление, и до него не сразу дошло, что полетом теперь командует чужая сила и она гораздо мощней его собственных решений.

— Мы в фокусе хронобоя! — горестно телепатировал Ланна. — Нас скоро разорвет на прошлое и будущее.

Аркадий понял наконец, чего страшится дилон. Рангуны, похоже, владели искусством путать течение времени — замедлять одни процессы, ускорять другие: то самое, что испытывал в первых своих установках творец хронистики Чарлз Гриценко. Он впервые сумел осуществить экспериментальный разрыв физического времени в материальных телах. Для биологического объекта это означало скорую гибель, на минералы и металлы действия не было. А среди учеников Гриценко был и Анатолий Кнудсен — самый даровитый из его сотрудников. Но разве Анатолий не говорил, что для «Гермеса» неопасны местные разрывы времени? Мощные хроногенераторы, хронотрансформаторы и хроноэкраны сумеют противостоять любому нарушению связи времен. Один из хронотрансформаторов, преобразующих искривленное и пульсирующее время внешнего мира в прямое, смонтирован и в авиетке — небольшой аппаратик, он покоится у ног Асмодея. Пока он действует, можно не опасаться ни разрывов времени на прошлое и будущее, ни замедлений и убыстрений.

Аркадий стал успокаивать ополоумевшего молодого Различника:

— Возьми себя в руки, Ланна. Нет, не обхватывай себя руками, а перестань трястись. Разрыв времени нам не страшен. Мы унырнем в фазовое время как раз на точке, где рангуны устроят разрыв.

Асмодей все снова и снова, на разных каналах, выискивал связь с хронолетом, — «Гермеса» больше не существовало для приемников авиетки. И города дилонов не существовало, на все стороны простиралось скопище сероватых песков и камней. А над авиеткой, почти в зените, сверкала Гаруна Белая и в сторонке скромно сияла Гаруна Голубая. Асмодей захотел изменить курс и повернул на Гаруну Белую. Авиетка затряслась, завибрировала, застонала и завизжала. Аркадий вцепился в поручни кресла и крикнул:

— Асмодей! Ты решил вытрясти из нас душу?

— Хочу узнать, крепко ли завладела нашей душой чужая воля.

Асмодей повернул на прежний курс. Тряска прекратилась. Выждав немного, он снова бросил авиетку вправо, и она снова затряслась. У Аркадия сводило каждую жилку, руки рвало с поручней. Он еле выговорил сквозь дребезжащие зубы, когда Асмодей обернулся посмотреть, не нужна ли срочная помощь:

— Продолжай!

Асмодей поднял вверх обе руки, показывая, что больше не командует движением. Авиетка легла на прежний курс, на Гаруну Голубую, — тряска затихла. Авиетка, потеряв разбуженные в ней голоса вибраций, молчаливо мчалась по предписанному направлению. Аркадий сказал:

— Поворачивать нам запрещают, а как с высотой?

Асмодей плавно устремил авиетку вниз. Неведомая сила не противодействовала. Из марева стали выплывать очертания гор, потом показался и лес — безжизненно серый, как бы ободранный, хлысты и сучья, ни один листочек не оживлял его. Аркадий толкнул дилона, отрешенно сидевшего с закрытыми глазами:

— Очнись! Что говорит тебе этот пейзаж?

Ланна глянул вниз.

— Скорей назад, иновременник! Нас несет в разнотык времен.

— В разнотык времен? Я правильно услышал?

— Это самое страшное место на планете. Здесь природа сошла с ума! Такие хроновороты, такие бури! Живому здесь нет спасения! Назад!

— Наши двигатели заблокированы, мы не можем повернуть назад.

— Тогда сесть. Выбираться пешком!

— Снижение не воспрещено,— ответил Асмодей на взгляд Аркадия.— Попытаюсь идти плавно вниз, будто откачивают двигатели.

Вскоре стало ясно, что тех, кто гнал авиетку в область хроноворотов, обмануть не удалось. На высоте в сотню метров снова появилась вибрация. Асмодей вывернул авиетку на горизонтальный полет.

— Посадку тоже не разрешают,— констатировал Аркадий.— Но смогут ли воспретить падение? Я возьму дилона в свое защитное поле. Веди авиетку вниз, пока она не начнет распадаться. Я выброшусь с Ланной, за мной ты.

Теперь вибрация была еще сильнее. Аркадий обнял дрожащего дилона. Асмодей распахнул дверку и крикнул:

— Внизу отличная площадка. Прыгаем!

Аркадий с дилоном камнем полетели вниз. Защита сработала, на почву оба встали. Неподалеку опустился киборг. Распавшаяся авиетка грудой лома умчалась за горизонт. Асмодей топал ногами и орал:

— Провели! Еще минуту — вытрясло бы мозги! Всех рангунов надул, я такой!

По лицу молчаливого Ланны было видно, что он не разделяет ликования киборга. Аркадий скомандовал:

— Теперь шагать! За горизонт этой пустыни, подальше от проклятого разнотыка времен и убийственных хроноворотов.

10

Он показал рукой на юг — так в древности полководцы повелительным жестом бросали свои войска в поход.

— Аркадий, ты хорошо продумал план спасения? — спросил Асмодей.

— Я не способен сосредоточиваться на размышлении, как Различник, но простым человеческим соображением понимаю — спасение там, где нет угрозы. Здесь грозят хроновороты, на юге их нет. Значит, на юг.

— Аркадий, надо на север. Туда улетели остатки авиетки.

— Для чего тебе эта груда лома?

— Оснащение авиетки полностью не уничтожить. Генераторы хода и защиты, хронотрансформаторы, мой компьютер личин, твои запасы пищи... Что-нибудь да сохранилось.

— Ты прав. Идем на север.

Асмодей зашагал впереди. Аркадий, поддерживая шатающегося дилона, с улыбкой — для приободрения — сказал:

— У нас моряки считают скорость эскадры по самому тихоходному кораблю. Ты у нас тихоход, будем подделываться под тебя, но и сам старайся двигать ножками.

Уве Ланна высвободился от поддержки Аркадия. Он старался не отставать, хотя ему было трудно угнаться за Асмодеем, — тот оглядывался и сбавлял шаг. Аркадий восстанавливал в уме пережитые события. Все пошло иначе, чем задумывалось. Люди прибыли на Дилону с миссией мира — и сразу ввязались в войну. Они здесь никому не враги, но один из них, крупный ученый, прекрасный человек, погиб — и ни Аркадий, ни оставшиеся на могущественно оснащенном корабле друзья не спасли его. Почему он погиб? И что с «Гермесом»? Неужели и хронолет уничтожен?

Все непонятно! И что загадочные рангуны беспричинно объявили людей своими врагами и с жуткой последовательностью стремятся их уничтожить. И что в своей жестокой вражде применяют средства мощней защиты хронавтов, и что природу этих средств не удастся разгадать. Гонят в область хронovorотов, как баранчиков на убой!

Итак, ситуация. Две соседние звезды связаны взаимным тяготением, но существуют в разных потоках времени. И если одна движется в свое будущее, то другая, двигаясь в свое будущее, одновременно погружается в прошлое соседки, ибо будущее одной звезды — прошлое для другой. «Удивительно просто», — сказал бы погибший Рина Ронна. «Чертовски запутано!» — так скажет Аркадий Никитин, штурман хронолета, свободно перелетающего из одного потока времени в другой. Просто или запутано, но — реально! Если бы две Гаруны столкнулись, они враз бы аннигилировали, ибо одна из обычного вещества, а другая из антивещества, поскольку антивещество то же вещество, только в обратном времени. К счастью для Дилоны, ни одна из Гарун не стремится в объятия другой.

Зато оба светила устраивают злодейские хронovorоты, размышлял Аркадий. Дилону клонится то к Белой Гаруне, то к Голубой — каждая возбуждает на обращенной к ней стороне свое время — то прямое, то обратное. А столкновение их потоков и есть разнотык времен, так ужасающий дилонов. Вроде как бы бросаешься на самого себя! В общем, не дай и не приведи! Пока все просто — непостижи-

мой дилонской простотой. Но хроновороты? Завихрения времен? Хроноциклоны, так?

Чувствуя, что его авторазмышления неспособны уяснить всю физику времени, Аркадий заговорил с дилоном:

— Ланна, ты не мог бы рассказать о хроноворотах, чего я не понимаю? Люди без вопросов не могут, придется тебе с этим примириться.

Ланна знал о хроноворотах то, что они существуют и что в них любое существо погибает. Аркадий допытывался — погибает или исчезает? Ланна поправился: погибает, потому что исчезает, то есть исчезает, потому что погибает. Хрен редьки не слаще, прокомментировал Аркадий. Так погибла Салана, пожаловался Ланна. Ее похитили и потеряли в хроновороте.

«Для воплощения Высшего Разума понимание ситуации могло быть и поглубже, — недовольно думал Аркадий. — Что, собственно, это такое, разнотык времен? Место, где прямое время схлестывается с обратным, территория хронобоя. И естественно, могила всего живого — качка то в прошлое, то в будущее разрушительна для настоящего. Не такова ли суть вибрации? Прошлое резонирует с будущим — то прыжок вперед, то прыжок назад, а настоящего нет, настоящее только переброс от уже прошедшего к еще не наступившему. Для первого приближения подойдет.

И прав Ланна, из такого местечка надо поскорей бежать, пока тебя не разорвало между прошлым и будущим. Но куда бежать? Делаю следующий шаг. В разнотыке времен рождаются хроновороты. Удар лоб в лоб создает завихрения. Стало быть, время из прямолинейного превращается в кривое? И сам хроноворот — уход от взаимного уничтожения не только настоящего, но и прошлого и будущего? Безвременность, вневременность — категории, чуждые природе: в ней все существует во времени. Наверно, есть и закон, что сумма разновременностей во Вселенной есть величина постоянная и, стало быть, время физически неуничтожаемо. Вот, кажется, и я открыл свой собственный закон мироздания, да еще какой! Если останусь на Дилоне, попрошу внести этот закон в мой Паспорт Взрослости как личное открытие. Но что следует из этого неожиданного открытия, которое когда-нибудь объявят великим? А то, что хроновороты неизбежны при столкновении противоположных потоков времени, — только искривление времени гарантирует его неуничтожение. Время изгибается, чтобы сохраниться. А раз так, то можно в том же хроновороте проделать полукруг и возвратиться в свое

однолинейное время. Дилоны считают, что на полюсах природа сходит с ума. Во всяком безумии есть своя система, и чаще всего разумная. Безумие хроноворотов — единственная разумная защита от уничтожения. Итак, не бежать от хроноворота, а вынестись на нем, как на взбесившемся коне, в место поспокойней. Должен же, черт побери, где-то любой вихрь ослабнуть!»

Аркадий стал осматривать окрестности.

Мир был до того уныл, что щемило сердце. И на Земле встречались пустыни — их берегли, как достопримечательности природы. Но в тех пустынях чувствовалась первозданная величественность, они покоряли неприрученной грандиозностью. В околополюсном пространстве Дилоны на все стороны простиралась не пустыня, а могила. Кладбище окаменелых деревьев, мертвый песок!

— Вижу! — закричал Асмодей, энергично продираясь сквозь окаменевший кустарник. — Авиетка, Аркадий!

Это была не авиетка, а груда обломков. Асмодей извлекал из лома то один, то другой предмет. Аркадий относил в сторонку, что могло пригодиться. Ланна сосредоточился на какой-то трудно выходящей мысли. Почти потеряв сходство с человеком, он казался Аркадию настоящей, очень доброй и очень грустной собакой, для чего-то вставшей на задние лапы. Аркадий хлопнул молодого Различника по плечу:

— Не старайся самостоятельно сообразить, для чего предметы, которые мы выуживаем из обломков. Лучше помоги перетаскивать.

Корпус авиетки распался, но почти вся аппаратура сохранилась. Асмодей вслух извещал, что можно использовать. Вот этот хрономоторчик, генератор фазового времени, питается и от радиации «Гермеса», и от двигателей авиетки. «Гермес» неизвестно где, а двигатели повреждены. Но почему бы для питания хроногенератора не взять гравитаторы? Их можно подключить и к хрономотору, чтобы выскользнуть из опасного времени в близкую фазу, в которой опасность отсутствует.

— А вот эта турбинка, — Асмодей с нежностью поворачивал небольшой приборчик, — по мощности не заменит настоящих двигателей, но если ее закрепить на обыкновенной доске да спарить с гравитатором, а у нас гравитаторов два, то получится самолет. Рекордов скорости не побить, но сменить пешее прохождение сквозь чашу окаменевших веток на неспешный полет над ними — нет, это тоже неплохо!

И наконец, компьютер личин. — В бодром голосе Асмо-

дея слышались грустные нотки.— Великое творение Марии Вильсон-Ясуко сильно повреждено. Компьютер способен создать два десятка личин, но сейчас об этом и не мечтать! Функционирует лишь программа трех личин, в том числе и нынешней номер семнадцать. Такая авария, а даже рожки на голове не погнулись!

— Твоя личина доброго дьявола так хороша, что мы согласны видеть тебя в ней всегда,— успокоил его Аркадий.

— Поищу дерево для самолета,— сказал Асмодей и убежал в чашу.

Аркадий подозвал Ланну. Ронна говорил, что дилоны, специализирующиеся на Конструкторов Различий, обязаны не только открывать, но и опровергать законы природы. Какие законы природы опровергал Ланна?

Ланна, оживившись от приятных воспоминаний, сказал, что опроверг Закон всемирного тяготения. В дипломе на Зрелость он сконструировал воду, которая рушится не вниз, а вверх. Антигравитационная вода была удостоена высокой оценки.

— Очень интересно. На Земле за такое изобретение ухватятся специалисты по фонтанам. А пока хочу предложить тебе одну задачку. Открой противодействие хроноворотам. Опровергни закон природы. Верней, не закон, а безумие природы. Поскольку противоборство с природой — ваше интеллектуальное ремесло, тебе эта задачка, так сказать, по мысли.

— Открою!— заверил Ланна и впал в отрешенность.

Асмодей отыскал массивное сухое дерево. Вытащив шпагу, он сделал выпад. Кончик шпаги удлинился узким лезвием пламени, киборг провел пламенем по стволу, мертвое дерево повалилось. Асмодей той же шпагой, превращенной в огненный резак, стал выпластывать в могучем стволе челнок. Он хвастался:

— Вот вы с Мишей Бахом посмеивались, что в личине номер семнадцать помесь средневекового аристократа с дьяволом. Но ты же знаешь, Аркадий, дьяволы — народ работающий, не бездельники. А как аристократы владели шпагой, даже ваши дети слышаны. Нет, что за прелесть! Ручаюсь, что люди еще не знали такой летательной конструкции.

— Похожая была. Имею в виду ковер-самолет.

Асмодей на миг огорчился, что его опередили, потом сказал:

— Знаю, знаю! Я ведь изучал человеческую историю. Ваши предки, точно, летали на коврах-самолетах. При тог-

дашней бедности в моторах это было общепринятое летательное средство. Но ты же не будешь отрицать, что мой челнок-самолет оборудован гораздо совершенней давно отставленных ковров-самолетов?

— Отрицать не буду.

Ланну пришлось потрясти за плечо, чтобы вывести из сосредоточенности. Нет, решения пока не найдено, но определены три дороги, по которым он усердно шагал, когда Аркадий прервал его раздумья.

— Шагал не шевеля ногами и сразу по трем дорогам!— воскрился Асмодей.

Первая дорога — пересечь хроноворот, когда он разразится. Вторая дорога — умчаться с хроноворотом и сдвинуться к его внешнему краю, а там выскользнуть в невозмущенное время. Если дадут еще поразмыслить, он придумает и способ соскальзывания с хроноворота. В центре — спокойствие.

Аркадий уточнил:

— Спокойствие надо понимать так, что в центре хроноциклона течение времени полностью прекращается. В центре пребывает вечность.

— Правильно. В центре хроноворота миг равен бесконечности.

— Нового ты сказал немного,— оценил Аркадий плоды раздумья дилона.— Но омертвление времени в центре! Попасть в такое местечко и стать, не умирая, своей собственной нетленной статуей! Жуть! Между прочим, на Земле центр бури, где прекращается бушевание, называется «глазом циклона». Ты описал око вечности, глаз мертвого времени в центре хроноциклона. Постараемся в вечность не угодить.

— Челнок-самолет готов!— доложил Асмодей.— Мож-но любоваться.

Плотническое искусство числилось в первой десятке двадцати пяти умений Асмодее. В широком стволе было вырезано шесть отдельных желобов. Три первых — для пассажиров, три задних — для аппаратуры.

— Я сяду впереди,— сказал Асмодей.— Куда держать, Аркадий?

— Держи на юг, снова на юг, пока не воротимся в гостеприимный город дилонов.

— Слушаюсь. Летим!

Асмодей вел лодку по обеим Гарунам: они оставались позади, одна чуть левее, другая чуть правее,— он ощущал их спиной. Высоту регулировал гравитатор, тягу создавал

один из сохранившихся моторчиков, а на защиту Асмодей использовал и скафандры, и генераторы разбившейся авиетки, и переносной хронотрансформатор.

— Летим в броне,— похвалился он, когда лодка взмыла над лесом.— Если рангуны напустят резонансы, то потрясет, но не разорвет.

Внизу мелькали унылые картины: оголенные холмы, пустынные озера — и по зеркальной гладкости воды, не оживляемой дуновением ветра, виделось, что и вода мертва. Скорбный пейзаж озаряли двойным сиянием Гаруна Белая и Гаруна Голубая — холодная игра двойного света лишь усиливала омертвелость.

Дилон пожаловался:

— У меня путаются мысли, близится хроноворот. Такое смятение в голове! Мысли как огоньки... Вспыхивают, погасают...

Асмодей сбросил скорость и, склонив вниз рогатую голову, во что-то всматривался. Аркадий спросил, что случилось. Асмодей ответил растерянно — растерянность ни для каких ситуаций не была у него запрограммирована:

— То вижу, то не вижу!..

— Зрение ослабло? Ты же всегда хвалился, что твои глаза — разновидность оружия, а не только тривиальные приемники света.

— Выпусти на льва — с одного взгляда опрокину, я такой. Но вон тот лес впереди... Появляется и пропадает.

Лес был как лес — мертвый, темный, на стволах смешивалось голубое сияние одной Гаруны с яркой белизной другой. Асмодей закричал:

— Мы в царстве привидений! Запускаю защиту!

Теперь и Аркадий видел, что лес впереди то светлеет, то темнеет. Позади простиралась пустыня — она тоже то серела, то стиралась в дымке. Вправо увиделось озеро — оно то выступало сверкающей чашей, то неразличимо сливалось со своими берегами. Аркадий снова повернулся к лесу. Лес появлялся и исчезал, его как бы накрывал и открывал полог.

— Разнотык времен?— Аркадий тронул за плечо дилона.— Схлест противоположных потоков времени? Что теперь делать?

Ланна бормотал, что его попеременно включает и выключает неведомая сила, он неспособен сосредоточиться. Асмодей быстро сказал:

— Аркадий, нас то выносит в будущее, то отбрасывает в прошлое.

Лодка подлетала к лесу. Реальные деревья превращались в призраки, но полностью не пропадали — полустертое, каждое продолжало слабо обрисовываться, затем снова восстанавливалось.

Аркадий потряс дилона:

— Ланна! Сколько лет живут на Дилоне деревья — вон те, что под нами?

Дилону понадобилось немалое усилие, чтобы понять вопрос.

— По вашему счету этим деревьям лет сорок.

— Отлично! Асмодей! Мы в хронобое. Но какой разрыв времени в этой их схватке?

— Вот-вот, разрыв времени! Выдержит ли его наша защита?

— Деревья то показываются в настоящем своем времени, то отбрасываются в прошлое и будущее. Но они остаются, Асмодей! Колебание между прошлым и будущим невелико. Ведь пятьдесят лет назад их еще не было и спустя пятьдесят лет не будет. Около ста лет — таков хроноразрыв.

— Разрыв в сто лет — амортизируем!

Лес долго не менял своего облика — стирался в призрак, густел кладбищем мертвых стволов, снова превращался в привидение. И, поглощенный созерцанием леса, Асмодей не сразу обнаружил перемены на самой летательной лодке. Обернувшись назад, он вдруг обнаружил, что коробка с едой для Аркадия пропала. Остальной багаж лежал, а коробки не было, словно она выпала в полете. Но сохранились веревки, скреплявшие коробку с лодкой, они натягивались под прямым углом, словно по-прежнему схватывали груз! Асмодей крутанул лодку влево — и веревки пропали. Асмодей повернул лодку направо — веревки появились. Еще круче вывернув лодку направо, он погнал ее под углом к прежнему курсу. Коробка не возникла, но под тугο натянутыми веревками что-то затемнело.

Ругательства у киборга не были запрограммированы, но вырвавшееся у него восклицание было равнозначно брани.

— Что с тобой? — спросил Аркадий.

— Впереди хроноразрыв увеличивается. Исчезает не только коробка с едой, но и аппаратура.

— Защита не экранирует от колебаний времени?

— Может, дерево, из которого сделана лодка, сохранится долго, мертвая древесина долговечна. Но нас унесет, Аркадий. Защита будет экранировать пустоту, а мы будем валяться на мертвой почве, в мертвом лесу. Нас ра-

зорвет — голова затормозится в прошлом, туловище устремится в будущее. Это даже не для меня. Бежим назад!

Аркадий не захотел поддаваться панике. Спасение — на юге. Там ни разнотыков времен, ни хроноворотов. На севере — лишь отсрочка гибели.

— Я гибели не боюсь! Страх смерти в меня не внедрен. Я опасаясь за тебя и за этого наполовину безжизненного юношу. Слушаюсь. Держу прежний курс.

Теперь и Аркадий поминутно оглядывался на багажник. Коробка больше не появлялась, пропали и скрепляющие ее веревки — возможно, уж навеки не состыковаться ему в едином времени со своей пищей. Лучше все же смерть от голода, чем от разрыва времени в теле! Потом на корме стали пропадать и другие предметы. Аркадий повернулся к Асмодею и закричал. Асмодей пропал. На первой перекладине качался его смутный силуэт. Аркадий схватился рукой за призрачное плечо киборга. Пальцы прошли сквозь плечо, как сквозь дымок. Лес внизу заматался, обе Гаруны нестерпимо засверкали в глаза. Аркадий потерял сознание.

Когда он очнулся, впереди сидел реальный Асмодей и сосредоточенно вел лодку на две Гаруны — большую, обжигающую белым жаром, и маленькую, ласкающую фиолетово-голубым сиянием.

— Ты жив, Асмодей, ты жив!

— Как видишь.

— Значит, ты услышал меня? Я кричал, чтобы ты сменил курс.

— Ничего я не услышал. Разве можно услышать человека, который жил за сто лет до тебя? Мы были уже в разных временах. Я сам изменил курс в последний миг, когда это было возможно. А хронозащита восстановила нашу одновременность.

Аркадий обернулся. На корме все лежало в прежнем порядке. Коробку с пищей охватывали веревки. Аркадий передернул плечами, избавляясь от тошнотворного страха. Все восстановилось, но путь на юг закрыт. Внезапная гибель не разразилась, но и спасения нет.

Ланна приподнял свалившуюся на плечи голову, повернулся — мутные печальные глаза уставились на Аркадия.

— Я рад, что тебе лучше, Ланна,— сказал Аркадий.— Мы едва не попали в тяжелый разрыв времени, но благополучно ушли.

— Ты сказал, пришелец, что из хронобоя мы ушли? Нас настигает хроноворот. Это не лучше.

Внизу проплывали лески и озера, холмы и долины — безжизненный мир, арена беспощадных вибраций времени. Новый пейзаж мало отличался от прежнего: та же мертвая пустыня, те же стволы погибших деревьев, те же тускло поблескивающие озера. Лишь глаза киборга могли различить в этом одноокрасном мире какие-то несхожести. А когда и обе Гаруны стали съезжать налево, Аркадий понял, что их выворачивает.

— Старайся держать прежний курс,— посоветовал он.

— Не могу. Аркадий, посмотри вниз. Тебе не кажется, что слева мир становится снова призрачным? Вон там, на линии горизонта.

У горизонта, слева, все расплывалось. Похожее исчезновение пейзажа совершалось, когда они стремились на юг. Но тогда исчезали и возникали предметы и справа, и слева. А здесь пропадал только левосторонний мир, и пропадал издалека — горизонт слева суживался, все дальнее закатывалось за ее надвигающуюся линию, все ближе сохранялось.

— Это хроноворот,— размышлял вслух Аркадий.— Ланна обещает что-то страшное, но пока я вижу лишь выход в фазовое время. Правда, угол больше того, какой мы применяли на «Гермесе».

— Страшное еще будет, Аркадий. Потряси Ланну, он скажет.

Трясти Ланну было пустой затеей. Дилон так измучился, что впал в беспамятство. Он откинулся на сиденье, вытянул вверх острую мордочку, закрыл глаза.

Аркадий вспоминал, что знает о хроноворотах. По термину — завихрение времени. Рождается в схлесте противоположных времен. Попали в кольцо времени и несемся в нем. Пока все просто...

Да, но почему так бояться хроноворотов дилоны? Что в них опасно? Меняется скорость вращения времени? Вихревой заворот сжимается, хронокольцо превращается в хроноколечко, хроноколечко закручивается в точку. Какая же бешеная скорость бега времени в схлопывающемся хроноколечке! Если в центре большого хроноциклона время замирает и мгновение оборачивается вечностью, то в ветвях время столь ускоряется, что и вечность равнозначна мгновению. И задолго до того все гибнет! Не только живые клетки, но и почти бессмертные граниты Скандинавии не устоят. Короче — взрыв!

Аркадий окликнул киборга:

— Тебе не кажется, что диаметр хроноворота уменьшается?

— Мы не сделали и одного витка, как же судить о том, уменьшается ли диаметр следующих витков? Наберись терпения, Аркадий.

Терпение относилось к свойствам характера, которые были дарованы Аркадию с большим недобором. Он всматривался и всматривался во все, на что падал взгляд. И первый увидел перемену у светил: ослепительная Гаруна Белая потускнела, темная Гаруна Голубая разгоралась. Вскоре Гаруна Голубая совсем затмила Гаруну Белую. И она уже не была голубой с сумрачной фиолетовостью, а добела накалилась. Затем блеск ее притушился, а сверкание Гаруны Белой восстановилось.

— Полный цикл, — сказал Асмодей. — Хроноворот сокращается. Горизонт призрачности приблизился. Жду приказа.

— Может, прокрутимся еще один виток?

— Опасно. Ты угадал сжатие хроноворота. Но как угадать, скоро ли кольцо превратится в точку?

Та полоса слева, где даже близкие предметы становились силуэтами, на втором витке приблизилась. Справа простиралась обширная пустыня — все было мертво, но вещественно, предметы отбрасывали тени. Они были реальны, и небо над ними было реально. А слева уже ничего не было, лодка-самолет мчалась по четкой линии пустоты, за этой линией даже неба не было.

Аркадий понял, что дальше медлить опасно.

— Асмодей, выбрасываемся из вихря наружу! Пересечь хроноворот!

Асмодей гордился, что застрахован от человеческих эмоций, хотя способен все ощущать острее, чем люди. Но то выражение, с каким он обернулся к Аркадию, было ужасом.

— Но ведь это значит снять хронозащиту!

— Асмодей, не медли! С каждым витком время убыстрится. Хронозащита вскоре не сможет противостоять бегу времени.

Киборг успокаивался быстро. А пейзаж пустоты, поглощавшей слева предметный мир, действовал сильнее приказов Аркадия.

— Аркадий, возьми в свое поле Ланну. Раз, два!..

Летающая лодка врезалась в грунт. Аркадия и Ланну вышвырнуло наружу. Аркадий вскочил, помог подняться дилону. Асмодей ходил вокруг лодки и ликовал:

— В последнюю микросекунду! Уже ничего времени не

осталось. Погляди, Аркадий!— Он показывал когтистой рукой на обломки лодки.

— Чего веселишься? Разбил уникальный воздушный корабль, повредил аппаратуру. Повод для торжества недостаточный.

— Нет, ты погляди!— орал Асмодей.

Он совал Аркадию обломок развалившейся лодки. Аркадий взял обломок в руки, меж пальцев стала сыпаться труха. Аркадий поднял другой обломок, тот рассыпался еще до того, как его подняли. Еще недавно каменно-прочное дерево распадалось при легком прикосновении.

Пришедший в себя Ланна сказал:

— Мне надо сосредоточиться. Потом объясню, что случилось.

— У нас не хватит времени, чтобы ты своим умом все открыл. Поэтому не сочти за оскорбление мое толкование.

И Аркадий объяснил, что киборг снимал хронозащиту двумя этапами — сперва с летящей лодки, потом лишь с них троих. Но за тот десяток минут их собственного времени, что лодка летела в убыстренном внешнем, для нее пробегали не мгновения, а годы. Лодка, дряхлея, уже в воздухе стала рассыпаться. Асмодей посадил ее в миг, когда готовилась отвалиться корма с аппаратурой. Было бы катастрофой, если бы их хрономоторы, гравитаторы и генераторы силовой защиты при падении разбились.

— Но они ведь тоже состарились, когда твой друг Асмодей снял хронозащиту с лодки,— возразил молодой Различник, обнаруживая, что не только внимательно слушает, но и быстро делает выводы.— Я сейчас подумаю и определяю...

— Проверить надо,— сказал Асмодей.

Втроем они собрали аппаратуру. Лицо Асмодея мрачнело.

— Дерево все истлело, оно недолговечно. Защита в порядке, там такая прочность. Гравитаторы слабей, чем прежде, но, если придется падать, не разобьемся.

— Хрономоторы?

— Да, Аркадий! Хрономоторы не вынесли хронотряски. Черт его знает, какие прокладки! Простого аппарата не смогли по-человечески изготовить. Я попробую подремонтировать их.

— Что тебе нужно для этого?

— Местечко подальше от хроноворотов. И время — обыкновенное время, но в достаточном количестве.

Аркадий осмотрелся. Асмодей посадил рассыпающуюся лодку на лесной прогалине. Кругом громоздились окаме-

невшие стволы. На севере, над полюсом, клонящемся то к одной, то к другой звезде, разъяренно калилась Гаруна Белая и томно струилась Гаруна Голубая. Там спокойствия не найти, там короткие островки умирения, крохотные интервалы между трясками. Спокойствие только на юге, в стране дилонов, и только в часы, когда их неведомые враги не начинают убийственные резонансные обстрелы. Но туда преграждает путь хронобой. Разве их, забронированных еще крепкой хронозащитой, не вышвырнула оттуда схватка остервенелых хронопотоков? Где гарантия, что, лишенные хронозащиты, они уцелеют в фокусе неистового хронобоя?

— Шагаем на север,— приказал Аркадий.

13

«Предусмотреть последовательность действий,— думал Аркадий, двигаясь за быстро шагающим Асмодеем.— Первое — удалиться от хроноворота. Но где-то дальше время до того заторможенное, что это уже не время, а вечность. Быть вне времени столь же губительно, как и угодить во время убыстренное. В одном гибнешь от мгновенного состаривания, в другом — от консервации сиюмгновенности. Хрен редьки не слаще.— Аркадий усмехнулся:— Сколько бы усилий понадобилось дилону, чтобы своим умом дойти до ощущения вкуса неведомых ему хрена и редьки. И как ошибался тот древний философ — а ведь он так нравился в школе, который придумал для счастья формулу: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Черта с два было бы счастье, если бы мгновенье реально остановилось!»

Аркадий скомандовал привал на голой скале, вздымавшейся над мертвым лесом.

Обессиленный Ланна уткнулся в почву. Аркадий присел рядом, не отключая ни гравитаторов, ни силовой защиты. Вероятно, эта предосторожность и спасла его, когда скала затряслась. Первая же судорога, пронзившая камень, бросила Асмодеем вниз, он отключил защиту, чтобы лучше работать, и, пойманный врасплох, не сразу восстановил связь с генераторами.

Аркадия больше ошеломил гул и грохот, вырвавшийся из недр скалы, чем тряска. Обхватив дилонку рукой, он прижался к почве и видел, как киборга швырнуло вниз. Новая судорога в недрах скалы заставила и Аркадию с дилонкой заскользить вниз. Теперь они поменялись местами — Асмодей, вцепившись в выступ скалы, задержался на склоне, а Аркадия с Ланной вынесло к подножию.

Потом наступила тишина и неподвижность. Почва обрела устойчивость. Аркадий поднял голову. В глазах стояла пелена, пелену прорезали глумливые искры, они образовали полусветящуюся завесу, за ней проступало что-то темное. Аркадий со стоном опустил голову. Темные призраки материализовались. Вокруг троих хронопутешественников кольцом выстроились странные фигуры. До Аркадия донесся как бы издалека голос Асмодея:

— Да это же земные обезьяны! Откуда они на Дилоне?

На выразительном лице Ланны изобразились ужас и безнадежность.

— Ланна, кто это?— с трудом спросил Аркадий.

Ланна воплотил ответ в горестные человеческие слова:

— Иновременник! Мы в плену у хавронов.

И, обессилев от тяжелого объяснения, Ланна повалился на почву.

14

Хавроны были слишком высоки и широкоплечи для земных обезьян, даже мощная горилла уступила бы любому росту и весом. И одеждой у них была не только собственная шерсть, а еще что-то, похожее на юбочку до колен. В юбочках виднелись карманчики и петельки, и каждый карманчик оттопыривался, в нем что-то хранилось, а в петельках висели кинжалы и какие-то аппараты. Четырехугольный ящик на петельке у одного рослого хаврона бы снабжен жезлом. «Радиоприемник»,— подумал Аркадий.

Но еще больше, чем оснащение хавронов, убеждало в их необезьянности то, что двое выкатили вперед громоздкое сооружение — фургончик на колесах,— и на фургончике высился на треноге диск, похожий на зеркало. Оба хаврона, поворачивая колеса фургончика, направили зеркало на трех хронопутешественников. В диске тускло отразились голая скала и три фигурки, застывшие у ее подножия.

— Что делать?— спросил Асмодей.— Могу напасть. Приказывай.

— Не смей!— сказал Аркадий.— Постараюсь показать, что у нас нет других намерений, кроме дружественных. На всякий случай охраняй меня.

Аркадий стал медленно приближаться к хавронам, протягивая вперед и вверх обе руки. В школе астронавтам внушали, что такой жест — безоружные руки, поднятые вверх и немного вперед,— любого инопланетянина непре-

менно убедят в благожелательности людей. Но хавроны, видимо, не изучали языка жестов. Они стали тесниться к фургончику. Диск поворачивался, нацеливаясь на Аркадию.

— Иновременник, падай! — отчаянно протранслировал Ланна и сопровождал свое предупреждение громким визгом.

Диск вспыхнул тусклым желтоватым огоньком и погас. Аркадию показалось, что тело рвет на тысячу частей. Он упал и завертелся, гася резонансную судорогу: поврежденная силовая защита, не отразив полностью удара, все же амортизировала его. «Второго удара не вынесу», — пронеслась мысль, не то своя, не то Ланны.

На операторов резонансного аппарата обрушился Асмодей. Потом, вспоминая сражение киборга с хавронами, Аркадий не переставал удивляться фантастичности увиденного. Стройная человеческая фигура при шпаге и пистолете, в роскошном камзоле и узорных штанах до колен французского средневекового маркиза, с усами какого-то надменного немецкого императора и изящными рожками придворного дьявола Сатаны, выхватив шпагу, бросилась на двух операторов. Из шпаги вырвалось лезвие пламени, пламя полоснуло одного хаврона — он с клетотом рухнул. Второй, выхватив какой-то приборчик, сдунул пламя, когда оно уже касалось его груди. Но самой шпаги сдвинуть не смог и, еще пронзительней заверещав, тоже свалился. Асмодей перекрестил пламенем боевой диск, и диск распался на четыре куска. Асмодей бросился на других хавронов, размахивая пламенем шпаги. Хавроны посыпались врассыпную, только один вырвался вперед на киборга.

Это был тот рослый хаврон, которого сразу отметил в их толпе Аркадий. Хаврон направил на Асмодея ящичек, похожий на приемник, две струйки пламени, как два меча, скрестились и отбили одна другую — струя из шпаги киборга и струя из ящичка. Асмодей снова сделал выпад, и снова встречная струя отбросила вбок пламя шпаги. Аркадия томил страх, что остальные хавроны коварно набросятся с боков на киборга, поглощенного огненной дуэлью. Но воины, похожие на земных обезьян, не собирались нападать. Наоборот, они, сгрудясь поближе к сражающимся, громко переговаривались и так глазели, словно главным была не победа собрата, а красочный спектакль дуэли.

Рослый хаврон улучил момент и выбросил пламя в киборга. Асмодей повернулся, пылающее острие сбоку ударилось в боевой приборчик хаврона. Шпага Асмодея, перерезанная у эфеса, отлетела в сторону, а боевой аппарат хаврона вспыхнул. Хаврон отскочил. Асмодей ударил обоими рожками в живот исполинского врага.

Аркадий всегда считал, что живописные рожки на голове киборга не больше чем парадное украшение его любимой личины № 17. Но коротенькие рожки были оружием. Когда они коснулись хаврона, из них вылетели такие же узкие полоски огня, как и те, что генерировала шпага. Два кинжальных огня пронзили насквозь обезьяноподобного воина и вышли наружу из спины. Хаврон задергался, замахал руками, но не упал, а повис на двух пронзивших его кинжальных огнях, как на пиках.

Асмодей отдернул рога. Две огненные струи, вылетавшие из спины великана, сразу погасли. Он зашатался и упал. И, словно очнувшись от оцепенения, все хавроны скопом набросились на Асмодея. На мгновение он исчез в их куче, затем все они были отброшены, и он стоял один, готовый к новой схватке. Три раза повторялось одно и то же — хавроны набрасывались, погребая Асмодея под собой, он всех отшвыривал, они снова набрасывались и снова рассыпались.

Один из нападающих ухитрился сорвать с киборга моторчик индивидуальной защиты и с радостным воплем отскочил, размахивая трофеем. Двум-трем противникам Асмодей и теперь мог противостоять, но их было больше двух десятков. Киборга повалили, опутали ремнями, положили, связанного, на фургончик — на нем уже не было боевого излучателя — и проворно потащили фургончик в лес.

Один из хавронов подошел к Аркадию и Ланну, на мохнатой морде остро посверкивали глазки. Ланна слабо протранслировал Аркадию:

— Велят идти с ними. Надвигается новый хроноворот. Ты сможешь, иновременник?

— Постараюсь.— Аркадий с большим трудом шагнул. Дилон правой рукой обнял человека.

— До сих пор ты мне помогал, теперь я буду помогать тебе.

С помощью дилона Аркадий сумел сделать несколько шагов. Боль в теле усилилась, перед глазами все плыло. Только рука дилона удерживала Аркадия от падения. Ланна что-то громко провизжал, визг, похоже, сопровождала мысль, но мысль до Аркадия не дошла. Конвоирующий хаврон побежал вперед.

— Ты ему что-то сказал?— спросил Аркадий.

— Велел посадить тебя на фургон. Он поспешил за подмогой.

— Велел? Ты можешь им повелевать?

— Конечно. Эти низшие существа обязаны выполнять волю Воплотителей Высшего Разума.— Дилон добавил:—

Конечно, если мои веления не противоречат приказам их хозяев рангунов. А посадить или не посадить тебя на фургон — я установил это путем размышления — те указаний давать не могли.

— Хорошо, что ты правомочен отдавать хавронам приказы. Все же гарантия безопасности. А если ты прикажешь освободить нас, выполнят они?

На этот раз дилон размышлял дольше.

— Не выполнят, иновременник. Они подстерегали нас, им велели взять нас в плен. И раз есть приказ захватить, то не может быть приказа отпустить.

К пленным подошли двое хавронов. Они взяли Аркадия на руки и понесли к фургону. От них пахло зверьем. Аркадий опасался, не вопьются ли в тело их когти, но несли его осторожно. Хавроны положили человека рядом с киборгом. Асмодей изобразил улыбку, но голова и лицо были так изморожены, что вышла гримаса.

— Не находишь ли, Аркадий, что я сделал все, что мог?— хрипло спросил киборг: и голосовой механизм был поврежден.

— Ты сражался, как лев,— сказал Аркадий.

Киборг относил львов к низшим конструкциям живого мира.

— Что может лев? Ну, куснуть, ну, царапнуть. А я разбрасывал обезьян, как щепки. Будут помнить! Ты и Ланна не очень пострадали?

— Я немного пострадал, а Ланна переменялся. Ползай, как он вышагивает среди наших похитителей. Знатный гость, а не пленник!

С дилоном и вправду совершилась перемена. Еще недавно он показывал панический страх перед хавронами: увидев хавронов воочию, свалился без сознания. А сейчас двигался среди воинов, гордо вытянув собаководную голову, правая рука величественно, в полный обхват, обвивала туловище, лишь левая безвольно висела ниже колен. И хавроны воспринимали его поведение как естественное, окружавший дилона десяток хавронов казался скорей почетный конвоем, чем суровой стражей.

Аркадий сделал знак, чтобы Ланна приблизился.

— Почему наши похитители разрешают тебе так держаться? Ты еще недавно боялся их!

Ланна пренебрежительно оскалил зубастый рот.

— Хавроны при случайной встрече рвут в клочья, оставляя в плену, издеваются. И совсем иные, когда выполняют приказ. Тупые исполнители! Зачем же унижаться? Пусть видят величие Высшего Разума!

Аркадий показал на левую руку дилона:

— Что с ней? Она висит как плоть. Не сосредоточивайся, плоть это... в общем, у людей полезный предмет.

— Левая рука ослабела. Я боялся этого, но думал, что болезнь не настигнет столь скоро. Ваше появление на Дилоне, пришельцы, помешало мне выздороветь.

— Вот уж не думал, что препятствуем твоему выздоровлению.

— Моя болезнь — рассинхронизация организма, рассогласование жизненного времени органов тела, — с грустью объяснил Ланна.

— У людей рассогласования времен в теле не бывает, — вмешался в разговор Асмодей, захотевший показать, что прекрасно разбирается в быте людей. — Люди синхронизированы от рождения до смерти.

Дилон посмотрел на киборга со снисходительностью, которая вполне могла сойти и за жалость. У людей рассинхронизации не наступает? Но не потому ли, что люди мало живут? За ничтожный период в сто земных лет и у дилонов не возникает рассинхронизации. Он, Сын Отцов Различников Уве Ланна, полагает, что и у людей, доживи они до пятисот лет, непременно появятся рассогласования, ноги будут пребывать в одном времени, голова в другом. Впрочем, о людях он мыслить не будет, он сообщит о себе. У него убыстрилось время в мозгу, время в теле отстает.

— Разве вы не заметили, иновременники, что я кажусь замедленным? Моя быстрая мысль обгоняет движения тела. Мне достаточно маленького размышления, чтобы разобраться в любой проблеме, но совсем иного времени требуют действия.

Для излечения рассинхронизации, — продолжал дилон, — применяется простое средство — перевоплощение. Два дилона меняются частями организма — и синхронизация восстанавливается. Безвременно погибший Стиратель Рина Ронна подобрал для меня отличного перевоплотителя, молодого Мат-Магона.хлопоты с пришельцами отодвинули дату перевоплощения, и вот результат — левая рука болезненно замедлилась.

— На человеческий взгляд левая рука тривиально больна.

— Я подумаю над этим, иновременник. Ты сказал — тривиально? Тривиально — неизвестная проблема, которую надо...

Аркадий не дал Ланне впасть в размышление. Асмодей изнывает в путах. Если веления Ланны исполняются хавронами, то пусть он попросит их развязать киборга.

— Сделаю,— ответил Ланна и без спешки удалился.

Вскоре двое охранников развязали Асмодея. Киборг замахал руками и ногами, как бы восстанавливая кровообращение. Гимнастика не была у него запрограммирована, но он видел, что люди по утрам занимаются ею еще в постели, и считал своим долгом проделывать все, как люди, только лучше людей.

Потом киборг соскочил на почву и громко объявил:

— Ужасно люблю быть на свободе! Связанный по рукам и ногам — нет, это не моя стихия. Аркадий, эти рослые обезьянки — неплохие ребята. Сражаются неважно, но это им можно простить, как их дурной запах.

Аркадий с улыбкой сказал:

— Рад твоему доброму настроению, Асмодей! Ланна, нам остается решить одну важную проблему, тут тебе надо сосредоточиться. Как нам наладить общение с хавронами? Будешь нашим переводчиком?

Ланна презрительно покривился:

— Хавроны не заслуживают того, чтобы тратить на них размышление. У этих бесхвостых бестий два свойства: они яростно дерутся, пока не победят или не погибнут, и легко воспринимают любую речь. Я прикажу хавронам быстро освоить ваш язык, внесу в их тупые мозги несколько тысяч ваших слов — и ты будешь доволен!

15

Теперь на фургончике лежал один Аркадий. Киборг шагал рядом, поодаль плелись охранники. Впереди шестерка мохнатых солдат, схватившись лапами за дышла, тащила боевой аппарат на колесах.

Кругом простирался все тот же унылый мир — перелески мертвых деревьев, почва, лишенная растений, озерки мертвой воды. На сероватом небе сверкали два солнца, Голубое и Белое. И они не закатывались и не восходили, только поворачивались на одном и том же небольшом пространстве. Аркадий вглядывался в нерадостное небо и думал, что раз обе звезды описали полный круг на полюсе и раз они в противоположных временах, то должно бы и время описать полный круг. И он должен теперь существовать не в своем прямом времени, а во времени обратном, а он такого перехода не ощутил, да и вообще такой переход — полная остановка времени, то есть смерть, а он вроде бы не умирал. И стало быть, перехода в обратное время не было.

К фургончику подошли Ланна и предводитель отряда.

— Я выполнил твою просьбу,— сообщил Ланна,— можешь убедиться, что у наших похитителей сильны природные способности к языкам. Поговори сам с главным бандитом хавронов, это его почетное звание, а имя ему — Клаппа, иначе — несгибаемый. Он очень гордится и тем, что бандит, и тем, что Клаппа.

Аркадий сообразил, что почетное звание «бандит» — результат неверного прочтения Дешифраторами человеческих слов, и не решился обратиться к хаврону с таким наименованием. Еще меньше он мог представить себе, что возможен прямой разговор с обезьяноподобным существом.

— Я хотел... Короче, надо бы... В общем, куда вы нас ведете?

Ответ был дан человеческими словами, только с нечеловеческим акцентом:

— Куда надо, туда и ведем?

Беседу подхватил Асмодей. Киборга не удивило, что обезьяна разговаривает по-человечески. Сам он был конструктивно дальше от человека, чем любая обезьяна, но ведь отлично овладел человеческим языком. И, заметив, что Аркадий растерялся, быстро заменил его:

— А куда надо?

На это Клаппа ответил обстоятельней:

— Обе Гаруны в противостоянии, неизбежен новый хроноворот. Надо укрыться.

— Есть где укрыться?

— Пещера в скале. Хроновороты в ней гаснут.

Отряд мохнатых воинов в юбочках, набитых оружием и инструментами, шагал все быстрее. Хавроны, тащившие повозку, выбивались из сил, чтобы не отстать от отряда. Аркадий понимал, что его вес отягчает фургончик. Попросив Асмодея помочь ему, он слез на почву. Ноги, еще не твердые, уже кое-как ходили. Почувствовав, что фургон стал легче, солдаты радостно закивали Аркадию и еще энергичней поволокли повозку.

Впереди показался холм — такой же голый и унылый, как и всё здесь. Навстречу отряду Клаппы вышла новая группа хавронов. Шестерку каталей, тянувших фургончик, сменила другая шестерка. Появился пропавший было Ланна. Левая рука все больше тревожила его. Рассогласование времен в теле опасно увеличилось. Не надо было откладывать перевоплощение. Вероятно, и Мат-Магону, милому пареньку, еще не достигшему никаких степеней из-за замедленности мышления, несладко. Ему жалё несчастного Мат-Магона.

— А себя не жаль?

Себя Ланне тоже было жаль, но в своей хвори он сам виноват,— затынул перевоплощение. А в недугах Мат-Магона виноват он. Бедный Мат-Магон так ожидал перевоплощения!

В каменистом холме виднелось отверстие. Один за другим солдаты пропадали в нем, хронавты и дилон проследовали за ними. Узкий туннель круто спускался вниз. Аркадий отметил, что каменные стены туннеля светятся. Самосветящийся туннель расширился и превратился в пещеру, тускло освещенную стенами, затхлую и сырую. К пленникам приблизился Клаппа.

— Будем пережидать хроноворот. Пока отдыхайте.

— Одному из нас надо поесть,— сказал Асмодей, показывая на Аркадия.— Где пакет с запасами пищи?

— Все ваше вон там.— Клаппа показал на дальний угол.— Возьмите, что захочется, кроме оружия и аппаратов.

Хотя света было чуть-чуть, хронавты вскоре разглядели, что большинство солдат не отдыхают, а страдают. Это было не спокойное убежище от налетающих снаружи хроноворотов, а лазарет искалеченных и умирающих от ран. Отовсюду доносились жалобное рычание и стоны. Аркадий спросил Ланну, откуда столько пострадавших, ведь ни Старейшины, ни Ронна не говорили, что в этих местах недавно происходили битвы, а без жестокого сражения не могло бы появиться столько раненых.

Ланна долго не отвечал — то ли впал в трудное размышление, то ли телепатически допытывался разъяснений у самих хавронов.

— Здесь не сраженные в битве, а пострадавшие в хроновороте. Отряд хотел вторгнуться на нашу половину планеты, но его покарала природа. Он попал в хроноворот, в солдатах разорвалось время. Часть сразу погибла, остальные спаслись в этой пещере. Здесь время единое, но мало кто выйдет отсюда. Только два-три десятка не пострадали, они и захватили нас.

Ланна, вдруг прервав объяснение, страшно завизжал и бросился в сторону. В полусвете пещеры его невысокая худая фигурка быстро пропала среди массивных хавронов, слоняющихся между лежащими. Некоторое время слышался его голос, в нем смешивались радость и отчаяние. Аркадий побежал на голос. Но Ланна замолчал, и Аркадий остановился, не соображая, куда же идти в беспорядочном навале раненых и искалеченных! Подоспевший киборг показал вправо:

— Он побежал туда. Там споткнулся и упал. Я все видел!

Бесцеременно расталкивая солдат, не церемонясь и с лежащими, Асмодей поспешил в сторону, где упал Ланна. Кто-то охнул, кто-то грозно зарычал, кто-то жалобно взвизгнул. Аркадий схватил киборга за руку:

— В тебе нет жалости, Асмодей! Ты шагаешь по телам!

— Жалость у меня есть,— с достоинством возразил киборг.— Полный комплекс жалости к людям. К раненым, к больным, к маленьким, к большим. К женщинам, детям и старикам даже усиленная. Но ведь это не люди, а обезьяны, да еще враги людей, да еще вооруженные. Зачем их жалеть? Им надо вредить, а не жалеть их.

— Асмодей! Если мы когда-нибудь вернемся на Латону, я попрошу Марию домонтировать в тебе еще один комплекс — человеческую жалость ко всему живому, нуждающемуся в помощи.

Философское мышление у Асмодеев запрограммировано не было, но он иногда собственным старанием прорывался в эту область. Он сказал почти пренебрежительно:

— У людей, Аркадий, много излишних комплексов, понижающих жизненную эффективность. Если бы мне поручили сотворить людей, я применил бы более рациональную программу.

— Здесь он!— заорал Асмодей и большим прыжком перепрыгнул через троих лежащих.— Ланна! Ланна!

Ланна, стоя на коленях, склонился над чьим-то распростертым телом. Киборг повернул дилон к себе. Мордочка Ланны жалко кривилась, из глаз катились слезы. У молодого Различника от потрясения отказало умение телепатировать свои мысли в человеческое сознание, он только громче обычного повизгивал — мысли не трансформировались в слова.

— Салана!— дошла наконец до хронавтов воплощенная в слово мысль.— Я нашел мою Салану! Ей плохо, ино-временник, ей очень плохо, моей дорогой Салане, моей единственной Салане!

Аркадий тоже опустился на колени, всмотрелся в лежащую на полу фигуру. Сияние стен в этом уголке было особенно скудным, но света хватало, чтобы разглядеть дилон, резко отличавшегося от всех, кого Аркадий успел повидать. О том, что дилоны разнополы, Аркадий знал: Ланна часто вспоминал, что у него была подруга, похищенная рангунами. Но в Ратуше он не видел женщин и уже думал, что если они и имеются, то внешне их не различить от дилонов-мужчин.

Но одного взгляда на Салану было достаточно, чтобы понять, что она точно женщина и что до сих пор хронавтам встречались — преднамеренно, наверно, — одни мужчины. Дилоны ростом не брали, среди внушительных хавронов Ланна терялся, а Салана была еще меньше своего друга. И она разнилась от него не только ростом, но и всем обликом — тонкая, без таких длинных рук, она еще имела и волосы на голове, их было немного, рыжих, мягких, коротких (скорее шерсть, чем волосы) но, вероятно, они всего больше и выделяли ее и, вероятно, всех женщин-дилонок от гологоловых дилонов-мужчин.

Салана лежала на правом боку, Аркадий видел только один ее глаз, глаз жил, в нем было страдание и страх. Она вся сжалась, когда Аркадий наклонился к ней, еще сильнее вдавилась правым боком в пол.

— Она боится тебя, — протранслировал Ланна. — Она всего боится, а тебя особенно: она еще не видела людей.

— Могу я с ней говорить, Ланна?

— Она не знает, как переводить свои мысли в ваши слова. И она потеряла три четверти спектра своих мыслительных излучений. Она почти не понимает меня. Ей очень плохо, иновременник. Посмотри сам, что сделали с ней отвратительные хавроны.

Ланна повернулся к Салане, что-то ей внушал, слегка повизгивая, — в визге было столько нежности и горя, что по одному этому звуку Аркадий понимал: он сам страдает. Она что-то отвечала, тихий стон сопровождал ее ответ. Потом она стала поворачиваться на спину, Ланна помогал, охватив здоровой рукой ее плечо. Даже в бредовом видении Аркадию не могло померещиться то, что он увидел.

Перед ним на спине, беспомощно раскинув руки, лежала маленькая, тоненькая, изящная дилонка. Но это было не одно, а два существа в одном теле: одно — правая половина Саланы, другое — левая ее половина. Единое тело складывалось из двух частей, и эти части столь разнились, что невозможно было вообразить, что они вообще могут составить что-то физически единое.

Левая половина Саланы была телом молодого привлекательного дилона, правая — телом старухи, морщинистой и уродливой. Левый глаз, в котором Аркадий увидел страдание и страх, излучал молящее, нежное сияние, глаз правый, тусклый, обезображенный нависшей складкой века, взирал дико и отстраняюще. Из молодого глаза катились слезы.

— Какой ужас! — воскликнул Аркадий.

— Да, ужас!— Ты правильно говоришь, иновременник,— ужас! И это моя Салана, самая прекрасная девушка на Дилоне!

— Разрыв времени, Ланна?— Аркадий понимал: никакое оружие неспособно так страшно изуродовать живое существо.

— Разрыв времени! Он был крохотный, когда Салану похитили, она могла прожить еще сотню ваших лет без перевоплощения. Но хавроны, когда настиг хроноворот, бросили ее у пещеры, она прижалась левым боком к почве и так лежала, пока он не пронесся. Хроноворот был короткий, но вот видишь: жизненное время по-разному потекло в двух половинах ее тела.

Салана стыдливо прикрыла левый глаз. Но правый, старческий, глядел по-прежнему с дикой безучастностью, этой половине тела уже было неведомо чувство стыда.

— Аркадий, надо бы ее перенести в местечко поудобней,— сказал Асмодей.— Здесь слишком много раненых.

— Где ты найдешь местечко, свободное от раненых?

— Уже нашел. Вон там, где сложены наши аппараты и твоя еда. Там Клаппа и его охрана, а раненых нет. Салану понесу я. Скажи Ланне, что он может спокойно доверить мне это без предварительного долгого размышления, смогу ли я выполнить.

Ланна согласился перенести Салану на новое место без предварительного размышления. Аркадий шел впереди, выбирая получше дорогу, за ним Асмодей — Салана покорно лежала на его руках. Ланна, согнувшись, шел рядом, слышался тихий визг — он телепатировал что-то успокоительное своей подруге.

Предводитель хавронов заворчал, что нехорошо без его разрешения перебазироваться в убежище. Ланна выпрямился, что-то неслышно произнес, Клаппа помотал кудлатой головой. Охранники потеснились, Асмодей положил Салану на освободившееся место. Ланна, воротившись в обычное смирение, прикорнул с ней рядом. Асмодей обрattился к Клаппе:

— Ты разрешил нам взять все, что нам понадобится, так?

— Все, что не опасно для нас,— проворчал Клаппа. Обезьяноликий офицер уже так хорошо освоил человеческий язык, что не только словами, но и тоном мог передавать одобрение и недовольство.

— Помоги разобраться в предметах,— сказал Асмодей Аркадию.

Отобранные у хронавтов вещи солдаты не свалили в ку-

чу, а разложили каждую особо. У Асмодея вырвалось радостное восклицание, когда он увидел компьютер личин.

— Зачем он тебе?— удивился Аркадий.— Ведь поврежден. Только одну личину можешь добавить еще к своему прекрасному образу номер семнадцать.

— Две, а не одну. Зато какие! Бык, извергающий пламя из золотых рогов, и огнедышащий дракон с радиоактивными излучателями вместо глаз. Каждая личина на мощность в десяток киловатт. А номер семнадцать хоть и красивый, но всего в полкиловатта — максимум три мушкетера в теле маркиза. В серьезной битве дракон или бык эффективней.

— Жаль, что среди набора личин нет облика хаврона,— посетовал Аркадий.— Тогда бы ты сумел выскользнуть из пещеры и как-нибудь добраться до «Гермеса», чтобы вызвать помощь.

— Я бы добрался. Я такой!

Аркадий и Асмодей возвратились к дилонам, Асмодей прижимал к груди компьютер личин. Клаппа что-то проворчал, но отбирать не стал: громоздкая штука на орудие не походила. Ланна лежал рядом с Саланой, прижимался к ее больному старушечьему боку. Салана молодым глазом благодарно посмотрела на Аркадия. Аркадий отвернулся. Он вдруг почувствовал, что почти преступление — смотреть на чужое страдание, не умея его облегчить. Только спустя несколько минут он тихонько заговорил с Ланной:

— Ей не легче, Ланна?

— Она уже не одинока. И может быть, удастся ей помочь. Синхронизовать ее нельзя, но хоть бы смягчить хроноразрыв!

— Смягчить хроноразрыв? Без перевоплощения?

— Перевоплощение Саланы невозможно. Можно меняться отдельными органами, но не половинами тел. Старость с юностью в одно хроноединство не слить. Но есть предание, что один дилон смягчал страдания другого, перенося его хроноразрыв в себя.

— Ты хочешь создать у себя на половине тела старость, чтобы смягчить быстрое постарение Саланы? Жертвуешь собой?

— Облегчить страдания своей подруги — разве это жертва? Радость, а не жертва!

В мыслях дилонов передавалась информация, а не эмоции — слова прозвучали в мозгу бесстрастно. В страсть и муку, в радость и облегчение их облекал невольно сам Аркадий. И сейчас ему чудились в мыслях Ланны великая че-

ловеческая печаль, горькая решимость, преданная любовь. Аркадий еще никого не любил, но вдруг почувствовал, что хочет любить, и любить именно так, чтобы жертва собой ради подруги была и легче, и радостней трусливого оберегания себя.

16

К предводителю хавронов подходили его солдаты, он что-то им говорил, они убегали, снова возвращались. «Наверно, приближается хроноворот,— размышлял Аркадий.— Подождем, пока Клаппа сам объявит, что происходит».

Вскоре Клаппа подошел к Аркадию.

— Хроноворот будет такой, что пещера не защитит. Надо срочно уходить. Готовьтесь к выходу, можете взять свои вещи.

— Дорога в Рангунию безопасна?

— Безопасных дорог нет. Был бы безопасный выход домой, мы все давно уже были бы дома. При возвращении можем погибнуть, но не наверняка. Здесь погибнем все. Пойдут одни здоровые, пострадавшим дорогу не осилить. Обход обезумевшего леса далекий и тяжкий, а другого пути нет: лес очень опасен...

— С нами больная подруга Ланны. Мы возьмем ее с собой.

— Я сказал: пострадавшие остаются в пещере.

— Ты осуждаешь ее на смерть, Клаппа!

— И всех, кто остается!

Аркадий заговорил с Ланной, новость не сразу дошла до дилона.

— Хавроны чтут в тебе воплоителя Высшего Разума. Ты уже отдавал им приказы. Потребуй, чтобы Клаппа разрешил взять Салану.

Ланна с трудом поднялся. Он шел согнувшись, совсем не таким он недавно расхаживал перед хавронами. Не воплоитель Высшего Разума, высокомерно взирающий на неразумных, а робкий юноша, достигший лишь первого чина в иерархии, каким он недавно выглядел среди собратьев выше рангом и значением.

Достаточно было взгляда на воротившегося Ланну, чтобы понять, как принял Клаппа его просьбу. Аркадий спросил:

— Что будешь делать, Ланна?

— Останусь с Саланой.

— Клаппа разрешил тебе остаться?

— Он запретил мне оставаться. Но я не могу покинуть Салану. Она со мной проживет столько, сколько проживу я. Без меня она быстро погибнет. Как же ее оставить?

В разговор вмешался киборг:

— Аркадий, у нас два хрономоторчика. Если Ланна останется, я дам им свой. Уверен, что они переживут новый хроноворот.

Ланна улыбался человечески благодарной и грустной улыбкой.

— Клаппа меня не оставит, а я не оставлю Салану,— повторил он.

Аркадий с киборгом отошли. Аркадий сказал:

— Надо нам четверым бежать из пещеры. Пробраться в Дилонию не сможем, но почему не уйти в Рангунию? Если большой отряд рискует на такой путь, то мы с двумя хроногенераторами проделаем его быстрее.

— Понял! Разрабатываю план побега.

Асмодей отошел к остаткам аппаратуры. Аркадий опустился на слабо светящийся камень. Вокруг стонали, покрихтывали, рычали, наполняли воздух тяжелыми запахами искалеченные и раненые. Сколько им отпущено жизни? Многие и до хроноворота не дотянут. Какая огромная могила. Пока тех, кого покидает жизнь, выбрасывают наружу здоровые солдаты — у входа уже горка тел. А когда здоровые уйдут? Мертвым хоронить своих мертвецов, как странно посоветовал древний мыслитель? Не будут мертвые хоронить своих мертвецов! Мертвые будут здесь убивать живых — убивать своим тлением, своим обликом неотвратимой смерти!

— Побег будет первого класса!— сказал вернувшийся Асмодей.

И он с воодушевлением объявил, что главный элемент побега — перевоплощение его в личину № 3. Дракон со всем воинским снаряжением — огонь и молнии, грохот, маскировочные и боевые дымы, даже гравитационные удары. И рослому хаврону не поздоровится, если сфокусировать на него.

Аркадий прервал разглагольствования Асмодеев:

— Личина! Личина! Речь о побеге, а не о личинах.

Киборг иногда обижался. Именно, речь о побеге! И так, они трое — Аркадий, Ланна и Салана — перемещаются поближе к выходу, чтобы, убегая, не запутаться среди лежащих. А он обряжается в огнедышащего ящера и нападает на охваченных ужасом солдат. Солдаты улепетывают, Аркадий с дилонами спешит наружу. Асмодей при-

крывает их уход, потом догоняет — в общем, арьергард их небольшой армии. Но куда направиться после бегства из пещеры?

— Клаппа говорил, что идти надо в обход какого-то обезумевшего леса, они его побаиваются. Значит, нам в этот лес, хоть он и опасен.

— Знаю его. Мы обходили тот лес, когда шли в пещеру. Мертвечина, как и все здешние леса. Так нравится мой план побега?

— Нравится уже тем, что другого плана не придумать. Пойду уговаривать Ланну на побег.

Предводитель отряда остановил Ланну, когда тот, обвив здоровой рукой Салану, направился к выходу. Уж не намерен ли дилон бежать? Пусть и не старается, у выхода охрана. Аркадию, шедшему за дилонами, Ланна протелепатировал свой ответ Клаппе. Нет, он не бежит, он не безумец. Но Салане нужен воздух посвежей, она задыхается.

— Запрета дышать воздухом посвежей нет,— сказал Клаппа.— Ложитесь, где нравится, но охрану не беспокойте.

Ланна с подругой разместились у выхода. Рядом опустился Аркадий, положив возле себя коробку с едой. В коробке Асмодей спрятал и переносной хроногенератор. Запрета носить его Клаппа не объявил, но Асмодей все же позаботился, чтобы приборчик не бросался в глаза. Сам киборг остался на прежнем месте: там было потемней — это облегчало перевоплощение в дракона. Киборг возвестил о своем новом облике взрывом, потрясшим всю пещеру. В углу вознеслось огненно-дымное облако, сумрачные стены озарило сияние. А из пылающего облака вырвался дикий зверь и с ревом ринулся к выходу, рассеивая вокруг себя короткие молнии и светящиеся облачка дыма.

— Скорей, скорей!— закричал Аркадий, толкая Ланну.

Киборг в несколько огромных прыжков достиг выхода. Солдаты, охранявшие лаз, в ужасе разбежались, Аркадий первым вскочил в туннель. Ланна с подругой на руках бежал за человеком. Асмодей продвигался за тремя беглецами и сражался: пришедшие в себя после паники солдаты наседали на него.

Выскочив наружу, Аркадий пошатнулся, ослепленный: в глаза свирепо засверкала Гаруна Белая. Ланна с подругой пробежал мимо, его глаза были привычней к сиянию обеих звезд.

Асмодей выдвинулся спиной из туннеля, отбиваясь от хавронов.

— Аркадий, бестии тащат резонансные аппараты. Торопись!

Аркадий припустил во всю мочь. Слева от пещеры простирался темный лес мертвых деревьев, справа лежало мертвое озеро. Ланна уже пропал среди деревьев. Аркадий добежал до леса и обернулся. У пещеры шло сражение. Несколько хавронов с резонансными орудиями, наподобие того, что Асмодей разрезал на четыре части пламенем шпаги, вырвались наружу. Одного Асмодей сразил вместе с аппаратом — оба вспыхнули. Другой успел нанести удар. Асмодей выпустил из пасти длинный язык огня — второй хаврон закрутился на каменистой почве, сбивая охватившее его пламя. Из лаза выскакивали солдаты.

Асмодей сражался так яростно, с таким боевым изяществом, что Аркадия охватило восхищение. На него нападали, и он нападал. В него целились резонаторы: от одного он ловко уворачивался, другой уничтожал. И он ни на миг не забывал, что за ним человек и двое дилонов. Кто-то из хавронов, оставив Асмодея, припустил за беглецами. Киборг приобернулся — длинный луч прошел преследователя. Асмодей обещал стать боевым арьергардом их небольшой армии, а стал несокрушимым заслоном.

Клаппа, выскочивший из пещеры, понял, что, пока не сражен киборг, преследовать беглецов опасно. Солдаты перестали лезть на Асмодея, а разбегались, замыкая неширокое кольцо, — ни молнии, ни струи огня уже не доставали до них. Картина боя переменялась. Один резонансный выстрел угодил в цель — Асмодей подпрыгнул, завертелся, но устоял. Второе попадание опрокинуло киборга. Он завалился, бил лапами, мощный гребень, увенчивавший спину, разорвался и отлетел, жиденькое пламя струилось из ноздрей...

Аркадий побежал в лес.

Это было такое же скопище омертвевших деревьев, как и те, что встречались раньше. Аркадий смутно удивился, чего так страшились хавроны этого унылого, но вовсе не грозного леса. В лесу, лишенном кустов, травы и листьев, виделось далеко, но Ланны и следа не было. Аркадий закричал — ни один звук не донесся ответно, только где-то хрустнула упавшая ветка — даже треск падения казался мертвым. Аркадий снова закричал — отклика не было. Неужели Ланна взял другое направление?

— Иновременник, я здесь! — донесся слабый зов.

Дилоны лежали за большим камнем, прикрывавшим их с севера. Салана прижималась обезображенной правой

стороной к другу. Ланна, измученный, не повернул головы, только скосил глаза. Аркадий с восхищением сказал, прикидывая путь, пройденный дилоном с Саланой на руках:

— Ты молодец, Ланна, бежал так, что еле догнал вас. И хорошо, что прилег отдохнуть. Но надо двигаться: хавроны преследуют. Пойдем без Асмодее. Я видел, как он упал, его расстреливали из резонаторов.

— Значит, погиб. Я понесу Салану.

— Будем нести ее поочередно. Сейчас моя очередь. Но может быть, Салана хоть немного пройдет сама?

— Иновременник! Ее правая нога так одряхла, что Салана и ступить на нее не сможет.

Аркадий поднял девушку, прижал к себе обезображенной правой половиной. Салана была не тяжелее пакета с едой и хроногенератором, который он нес на себе. Она положила правую щеку на грудь человека, молодой левый глаз глядел умоляюще и благодарно. Она что-то провизжала, нежный визг наверняка сопровождал мысли и чувства, но ни мыслей, ни чувств она не могла передать на человеческом языке.

— Она благодарит тебя за доброту,— перевел Ланна, но Аркадий и без перевода понял, что хотела высказать девушка.

Он быстро шел, не заботясь о Ланне. Одно было важно: поскорей положить между собой и преследователями побольше расстояние. Хавроны боялись леса, но желание поймать беглецов могло пересилить страх. Ланна старался держаться рядом с подругой — вытягивал здоровую руку, дотрагивался до Саланы, гладил ее плечо, что-то мысленно говорил, тихонько повизгивая. Но шаг Аркадия постепенно становился ему непосилен. Он не жаловался, но Аркадий чувствовал, что силы Ланны на исходе.

На крохотной полянке, закрытой мертвыми кустиками — хоть какое-то укрытие,— Аркадий скомандовал:

— Привал! Набираемся сил на новый переход.

Ланна поспешно сел. Аркадий передал ему Салану, девушка все тем же движением — поскорей спрятать обезображенную половину — прильнула правой щекой к дилону. Аркадий всматривался в северную часть леса. Оттуда не доносилось ни звука, лес был недвижим и прозрачен. Неужто хавроны примирились с потерей пленников?

— Почему нас не преследуют хавроны, Ланна?

— Страшатся безумного леса.

— Но я не вижу безумия. Лес как лес. Мертвый, но и только.

— Мне надо подумать. Немного поразмышляю и открою тайну.

Ланна отдался размышлению. Аркадий подкрепился едой. Вынутый из коробки хрономоторчик занял свое обычное место на поясе. Теперь можно было двигаться дальше. Посмотрев на задумавшегося Ланну и его подругу, Аркадий решил дать им еще несколько минут отдыха. Салана внешне не изменилась с момента, как Аркадий ее увидел. Правая нога походила скорей на палку, правая рука висела плетью, а голова не поворачивалась: шея, такая гибкая у всех дилонов, справа окаменела и больше не удлинялась и не изгибалась. Зато в левой, здоровой половине тела возродилась почти уже утраченная жизнь.

А Ланна сдал. Поврежденная рука выглядела не лучше, чем одряхлевшая рука Саланы. Дилон иногда пытался пошевелить ею, но даже крохотное движение давалось трудно — Ланна страдальчески разевал зубастый рот и правая рука, которой он прижимал к себе подругу, уже не так свободно вытягивалась и сгибалась, и гибкая шея потеряла какую-то долю подвижности. Поднимать голову вверх Ланна еще мог, но поворачивать назад уже не был способен. Аркадий подумал, что если дилоны и вправду живут тысячу земных лет, то юный Сын Конструкторов Различий за считанные земные часы постарел на добрых четырехста лет. И если бы ему пришлось сейчас снова докладывать Совету Старейшин, то даже глаза самого острого Различника не нашли бы значительных различий в возрасте между ним и величественными старцами в фиолетовых и красных мантиях.

— Додумал, Ланна? — спросил Аркадий.

— Додумал. Безумие впереди. Мы до него не дошли.

— Не густо. Но все же ориентир. Итак, торопимся к безумию, ибо только оно может стать надежным барьером между нами и преследователями.

Теперь Ланне держаться вровень с человеком было уже не по силам. Дилон не просил отдыха, но Аркадий сделал новый привал раньше, чем хотел вначале. Местом отдыха стала ложбинка, ее пологие стены надежно укрывали беглецов.

— Мне кажется, лес оживает, — поделился наблюдением Аркадий. — Он меняет свой вид. Ты не находишь?

Прийти к точному мнению о внешнем виде леса Ланна без глубокого размышления не мог, а на глубокое размышление не было сил. Мертвый лес оставался мертвым, даже легкое движение не шевелило окаменевшие ветви, в лесу по-прежнему не слышалось шорохов зверья, голосов птиц. Но деревья здесь уже не высились хлыстами

без крон, на них оставались ветви и сучья, такие же окаменевшие, но не обрушенные.

«Не оживает, я преувеличил,— думал Аркадий, всматриваясь в деревья,— но и не добит до полного распада».

— Вставай, дружище!— сказал он дилону.— Знаю, что не отдохнул, но времени на добрый отдых пока нет.

Чем дальше они шли, тем гуще на всех деревьях раскидывались костяшки сухих крон. А под деревьями виделось все больше кустов — наборы безлиственных палок, цеплявшихся за одежду. Лес перестал быть прозрачным, в таком лесу уже лучше было укрыться.

Что-то схватило Аркадия и дернуло назад. Он вскрикнул и едза не уронил Салану. За одежду, за шею, за руки цеплялись ветки дерева, под мертвой кроной которого он пробирался. Аркадий издали прикинул на глаз, что костлявая шапка ветвей гораздо выше головы. Но крона вдруг оказалась много ниже, Аркадий очутился в гущине омертвелых, искривленных палок и проволок, они не давали пути. Аркадий окликнул дилона:

— Иди сюда. Да наклонись, а то сам запутаешься в палках. Бери Салану, а я расчищу дорогу.

Аркадий отодрал сучья, вцепившиеся колючками в девушку, и положил Салану на правую руку дилона. Ланна, обняв Салану, опустился на почву. Аркадий начал расчищать путь. Каменно-омертвелые, усыпанные крупными колючками ветки не отпускали одежды. Он стал ломать их. Скоро вокруг высился большой ворох сломанных сучьев и веток.

— Если бы дерево было живым, я бы зачислил его в отряд хищных растений,— сказал он дилону.— В нашем Космосе на некоторых планетах попадают растения-разбойники. Одно так и названо — «вампир-дерево». Не дай бог животному пробежать под его кроной — ветви вдруг падают, обхватывают жертву и высасывают ее. Я сам попал под такое дерево и спасся лишь благодаря бластеру. Огня вампиры не переносят.

Приближаясь к следующему дереву с распатланной сухой кроной, Аркадий увидел, что ветви опускаются. Он остановился. Дерево было каменно-сухим, но не мертвым. Оно готовилось к нападению, как истинный хищник.

— Безумия пока не вижу, но разбой несомненен,— констатировал Аркадий.— Останься у меня мой походный огнемет, я бы поборолся с этим сухим бандитом. А сейчас поищем обхода.

Обойти опасное дерево удалось просто, но впереди были другие деревья, они стояли гуще, проход приходилось

заранее высматривать, чтобы не попасть в опасную близость сразу к двум. Начали досаждают и кусты. Их становилось все больше, они хватали за ноги, впивались колючками в одежду. Салана раза три тоненько взвизгнула: колючки впивались в незащищенную часть тела.

Аркадий осмотрел одну колючую ветку. Ни присосков, способных пить кровь, ни даже длинных шипов, пронзающих одежду и кожу, на ветке не было. Аркадий слегка кольнул свою руку — ни жжения, ни особенной боли. Колючка была как колючка — цеплялась и кололась, и только.

— Странные растения: мертвы и живы одновременно, — сказал Аркадий. — Нападают, чтобы помешать идти. Вроде бы хищники, но ран не наносят. Если бы я не знал, что хавроны сами их побаиваются, я бы решил, что они служат хавронам: задерживают нас, чтобы преследователи догнали.

Ланна приложил свою голову к голове Саланы, лежавшей на руках Аркадия. Они безмолвно переговаривались, разговор был печален: в левом, юном глазу девушки светились жалобы и покорность судьбе, в глазах Ланны отчаяние — крупные слезы катились по мохнатым щекам.

— Положение плохое, но не отчаянное, Ланна. Ты преждевременно оплакиваешь Салану. Если дойдем до рангунов, может, удастся ее спасти. Они враги, но ведь не палачи.

Аркадий теперь выбирал такой путь, чтобы не только клонящиеся сухие кроны не могли схватить их, но чтобы и кустарник не опутывал ноги. А Ланна спотыкался на ровных местах, падал, еле поднимался. После второго его падения Аркадий воротился назад, чтобы подать руку. Поставив дилона перед собой — Салану он держал другой рукой, — Аркадий встряхнул дилона:

— Ланна, ты двигаешься, как во сне. Вот уж не думал, что на дилонов способна напасть сонная одурь!

— Дилоны не спят, — невнятно протелепатировал Ланна. — Мы не знаем одури. Я очень устал, иновременник.

Обе Гаруны освещали Ланну. Юный Различник недавно показался Аркадию почти равным по возрасту Отцам Старейшинам. Но он не просто казался старцем, он стал стариком. На Аркадия глядело незнакомое существо — морщинистое собаководное лицо с глубоко запавшими щеками, тусклые глаза, одеревеневшая шея, одеревеневшие руки, ноги, не гнущиеся от бессилия...

— Хорошо, — сказал Аркадий, — значит, долгий отдых! Отдых на всю ночь, хоть ночи здесь не бывает: два солнца не сходят с неба.

Он выбрал для отдыха прогалину среди рослых стволов с мощными кронами, на ветвях еще сохранились высохшие листья. Прежде чем положить Салану на почву, Аркадий прикинул, не смогут ли опустившиеся ветви накрыть его и дилонов. Кроны, как бы низко ни падали, достать беглецов не могли. Аркадий помог дилону улечься рядом с Саланой и сам лег.

Сон не шел, Аркадий разбирался в ситуации. Хавронов теперь можно не страшиться. Если в обтягивающем тело костюме хронавта так цепляет когтистое сучье, то лохматым в эту чашу не пролезть. Но что за отдаленный шум? Шума не должно быть в мертвом лесу. Всю долгую дорогу от пещеры до последнего привала томила тишина. Над мертвыми полями, недвижными озерами, окостеневшими лесами — всюду стояло каменное безмолвие. Кто-то из древних сказал: «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал». Тот древний поэт слушал тишину отдыхающей жизни — временное успокоение от деятельности. А здесь каменело безмолвие небытия, безгласие абсолютной неподвижности. И вот в лесу, остающемся окостенелым, пробудился шум — мертвый шум мертвого леса! К чему бы это?

Шум шел из той части леса, куда лежал путь беглецов. Вокруг было безмолвие, шум накатывался издалека. Аркадий вдруг увидел, что кроны деревьев, обступивших прогалину, зашевелились. Ветви и раньше опускались, пытаясь схватить беглецов, странность и дикость — такая подвижность у омертвелых растений. Но что было, то было, повторение может раздражать, но не удивлять, удивляет неожиданное. Всматриваясь в задвигавшиеся кроны деревьев и убеждая себя ничему не удивляться, Аркадий удивился. Движение в окостеневших кронах не было повторением известного. В воздухе не чувствовалось и лёгкого дуновения, воздух был такой же каменно застывший, как и все в этом закаменелом мире. А кроны заматались, как от урагана. И заголосили! Тот шум, что слышался издалека, теперь гремел вокруг. Ветки со свистом полосовали неподвижный воздух. Не внешняя буря, а какой-то внутренний ураган, вырвавшийся из стволов наружу, бешено взметал кроны.

А вскоре Аркадий увидел, что два ближайших дерева стали изгибаться одно к другому, их кроны смешались. Аркадий вскрикнул. Деревья дрались! Ветви одного хватали ветви другого, скручивали и ломали их, осатанело вырывали из стволов. На Аркадия посыпались сучья, превращен-

ная в пыль кора, остатки листьев, еще сохранявшиеся на ветках. Аркадий окликнул дилона, Ланна приподнялся. И он, и Салана глядели с испугом на битву деревьев. Самоуверенность покинула дилона, он уже не верил, что все тайны мира сможет раскрыть достаточно глубоким размышлением. Аркадий прочитал в его запавших глазах немой вопрос.

— Не знаю,— сказал Аркадий.— Наверно, то безумие, которого страшились хавроны. Пока нам это не грозит бедой. Но не уверен, что без беды обойдется.

Теперь весь лес представлял собой арену злого сражения. Куда Аркадий ни оборачивался, дерево схватывалось с деревом. Стволы хищно гнулись, кроны схлестывались с кронами, стволы выпрямлялись, отдирая ухваченную крону соседа. Появился ветер от бешеного метания ветвей. Уши оглушали свист и грохот, визг раздираемого сухого корья, треск и глухое уханье стволов, тонкие всхлипы рвущихся веток, почти живоголосый вопль.

Аркадий старался не шевельнуться на прогалинке, чтобы не попасть под удары свирепо мотающихся ветвей. И если недавно его только безмерно удивил бредовый пейзаж сражающегося леса, то сейчас все оттеснил страх за себя и дилонов. Он выбрал это место потому, что сюда не смогли бы достать ветви соседних деревьев, как бы ни склонялись. Но и стволы в этом проклятом лесу могут гнуться! Если они, прекратив взаимное сражение, станут сгибаться к беглецам, их кроны перекроют всех троих чудовищной сетью — и выбраться будет некуда.

— Слушай меня, Ланна,— сказал Аркадий.— Взбесившиеся деревья могут перенести ярость на нас. Сражаться с мертвыми bestиями, наделенными отнюдь не мертвой хваткой, нам не под силу. Единственная защита — хроноэкран. Мой хроногенератор поврежден, но небольшую хронофазу он обеспечит. На какие-то секунды мы ускользнем из местного времени. Но только если будем спешно двигаться, чтобы за несколько выигранных секунд выиграть и несколько метров. Ты бежать не можешь, Салана тоже. Я понесу вас обоих, а вы хватайтесь за меня покрепче и старайтесь мне не мешать. Вам понятно, друзья мои?

— Нам понятно,— ответил за обоих Ланна.

Аркадий проверил хроногенератор. Небольшое поле он создавал. Шум ослабевал, сражение иссякало, стволы выпрямлялись, кроны замирали. Лес снова изменил свой облик. Теперь, ободранный, покореженный, он мало чем отличался от того голого и прозрачного, куда они вступили.

Аркадий не отрывал глаз от ближних стволов, чтобы не пропустить грозного мгновения. Он точно уловил его: стволы деревьев шевельнулись, стали медленно изгибаться на центр площадки. Их ободранные ветви хищно тянулись к трем беглецам. Аркадий вскочил:

— Пора! Бежим!

17

Аркадий прижимал дилонов к груди: левой рукой девушку, правой — Ланну. Салана обвила шею Аркадия молодой рукой, другая висела палкой. Такой же палкой висела и левая рука дилона, но и правая, здоровая, так обессилела, что он не сумел ухватиться за шею человека, только слабо цеплялся когтистыми пальцами за пояс. Аркадий чувствовал, что, если споткнется или что-то его рванет, Салана еще удержится, но Ланна свалится. И он изо всей силы притиснул к себе дилона, когда кроны изогнувшихся деревьев всей массой упали на них.

Опережение времени поврежденный генератор мог дать около шести секунд. И, готовясь к побегу сквозь купу деревьев, окруживших прогалинку, Аркадий рассчитал, что за эти шесть секунд сумеет одолеть с двумя дилонами на руках не более двадцати метров. Но этого вполне хватало, чтобы вырваться из опасного кольца.

И, прорвавшись за цепь взбесившихся деревьев на свободное место, он остановился и оглянулся. Тысячи ветвей и веток шарили по грунту, пытаясь ухватить то, что по времени этого ошалелого мирка еще находилось тут, но что по времени самого Аркадия отстояло ровно на шесть секунд, на двадцать метров дальше. На лекциях в Институте времени хронавтам часто говорили, что расхождения своего и окружающего времени и на секунду вполне достаточно, чтобы успеть покинуть опасное место, если соединить сдвиг времени с быстрым движением в пространстве. И сейчас, остановившись и оглянувшись, Аркадий до дрожи в ногах чувствовал, что спасли их от гибели именно эти ничтожные секунды. Упави он, просто замешкайся на бегу — и их всех накрыла бы беснующаяся гора ветвей: вон они снуют там, уже полная минута прошла, а они всё впиваются колючками в почву, всё пытаются выхватить одна у другой ускользнувшую добычу!

— На первый раз проскочили,— сказал Аркадий.— И во второй раз проскочим.

Теперь надо было избегать скопищ деревьев: там для бегства могло и не хватить шести секунд опережения.

Аркадий кривил дорогу, пробирался мимо отдельных стволов там, где гарантия в двадцать метров обеспечивала свободный пробег. Вторично ускользнуть от падающих ветвей удалось легко, столь же легко было и третье бегство. Лес редел. Уже можно было пробираться так далеко от деревьев, что никакой изгиб ствола в сторону беглецов не давал возможности ухватить их ветвями.

И на безопасном месте, меж двух деревьев, проскочить меж которыми можно было всего за три секунды опережения, за десять метров бега случилась беда — он ее предвидел, но не сумел предотвратить.

Здесь везде было понатыкано скелетов кустов — за один Аркадий запнулся, уже бросившись в бег. Он бы устоял на ногах, одно потерянное мгновение не стало бы роковым в сравнении со спасительным запасом в шесть секунд. Но висевшая левая рука дилона зацепилась за куст, Аркадий дернул Ланну, но не вызволил, и все запасные секунды были потеряны на распутывание руки дилона. На беглецов обрушились ветви, и Аркадий упал, подмяв под себя обоих дилонов.

Аркадию почудилось, что в тело впиваются колючки, но это было ложное ощущение. Его опутывали, но не рвали на части, не впивались мертвыми остриями в живое тело. Он был как бы в сети, странной сети, шевелящейся, ползущей, хватающей, но не терзающей. С минуту он остро страшился, что его и дилонов, опутав, куда-то потащат, но и тащить дальше самого дерева было некуда, и их троих так же не стремились похитить, как не стремились разорвать: лишали движения, придавливали к почве — и только!

И когда до Аркадия дошло, что физический разрыв тела не грозит, дошла и другая страшная истина. Все деревья в этом безумном лесу были вампирами. Но и во время схваток между собой, и сейчас, опутывая и сжимая три тела, пили не кровь, не соки организма, а жизненное его время. И мгновенной вспышкой озарилась мысль, что если он не придумает немедленно отпора, то не пройдет и десятка минут, как и он, и оба дилона превратятся в нечто без собственного живого времени, во вневременные окаменелости, которым безразлично, сейчас ли они, тысячу ли лет в прошлом или тысячу в будущем. Вот чего так страшились лохматые обезьяноподобные хавроны, опасливо обходившие этот лес, — здесь и растения, утратившие собственное свое жизненное время, уже почти вневременные, иступленно, яростно вырывали у всего, что пока было во времени, остатки живых секунд, минут и часов.

Вместе с пониманием пришло и решение. До сих пор он стремился вперед, выискивая секунды опережения, чтобы пробежать мимо древесных вампиров в их близком будущем, а не в прошлом. Но в будущее он не проскользнул, он схвачен и опутан в настоящем. И если снова выиграет еще недавно столь спасительные шесть секунд, то для них не хватит свободного пространства — не то что за шесть секунд, но за шесть минут он не выберется из этой чащобы навалившихся, ползающих по телу, жадно прилипающих ветвей. И, усилием выдернув руку из перехлеста веток, Аркадий переключил хроногенератор на обратный ход.

Теперь он уходил в прошлое, и не на секунды, а на минуты, — точного счета не знал, но в минутах не сомневался. И быстро почувствовал перемену в борьбе с вампиром. Только что все тело томило, из него что-то высасывалось настойчиво и беспощадно: ветви не кололи кожу, не рвали мышцы, но как бы сливались с телом, становились его частями — так язва, губящая организм, всегда часть этого организма, а не внешняя ему сила. И вот сразу оборвалось отвратительное слияние себя и пут. Ветви скользили по телу, отыскивая и не находя слияния. Он был для них как бы смазан жиром, не дающим зацепок. Ибо они существовали в настоящем, а он еще пребывал в прошлом, они хватали его теперешнего, а он отстал на несколько минут назад, его сейчас еще не было, хотя реально он уже был — но не для них.

Аркадий понимал, что от быстрой гибели ускользнул, но от угрозы гибели в близком будущем отнюдь не избавился. Он продолжал жить, его время шло, и с каждой пройденной секундой прошлое приближалось к настоящему, он не мог вечно пребывать в прошлом — на это бы не хватило энергии тысяч карманных хрономоторчиков. В памяти стояла строчка из инструкции хрононавигаторов: «Сдвиг времени не дает гарантий ухода из опасного места, если не сочетать его с перемещением в пространстве». Он рванулся вперед. Он еще оставался в прошлом, но устремился в будущее, не оставляя врагу ни единого мгновения настоящего.

Он хотел подняться, но не смог. Он полз, вытаскивая за собой Салану и дилона. Шапка накрывших их ветвей становилась все реже, в ней увиделись просветы. Он испуганно полз к просветам, а когда дополз до открытого пространства — не остановился, не встал, а все продолжал ползти, таща обоих дилонов.

И, только увидев себя на поляне, лишенной деревьев

и кустов, он замер и, закрыв от бессилия глаза, судорожно и жадно дышал, набирая энергии в тело. И, еще не надышавшись, потерял сознание. А когда сознание воротилось, оно было спутанным и неполным — мутные ощущения, такие же мутные мысли, неопределенные желания чего-то, никак не мог сообразить — чего же. Одно он понял раньше остального: надо встать, надо убедиться, что не надвигается новая беда. Руки приподняли туловище, но ноги не удержали. Он снова упал, набираясь сил и как-то беззвучно удивляясь, почему они не приходят. Он прошептал вслух — ему казалось, что говорит очень громко:

— Ну не высосали же они из меня всю мою жизненную энергию? Дудки! Отдохну еще минутку — и хватит.

В ответ он услышал тихий визг Саланы. Девушка лежала головой на груди Ланны и плакала. Наверно, она еще что-то говорила мыслями, но мысли до него не доходили, а плач ее, очень похожий на человеческий, хватал за душу. Аркадий подполз к дилону. Он плохо видел, неожиданная картина не входила в сознание — смутное видение из другого мира. Перед ним лежал иссохший, маленький старичок. Ланна должен был постареть от тяжких испытаний, он и раньше уже походил на величавых Старейшин, а не на молодого Различника. У него пострадала одна рука, но другая была здоровой. А старик, лежавший на каменистой почве, раскинул две одинаково сухие крохотные ручки, весь был крохотный, вовсе не тот дилон, что звался Ланной. И мордочка, такая живая и выразительная у Ланны, у этого была уродлива и много меньше. Но тем же смутным сознанием Аркадий установил, что перед ним именно его добрый товарищ, милый юный мыслитель, внезапно катастрофически одряхлевший, уходящий из бытия, если уже не ушедший.

— Добрались они до тебя, Ланна! — горько сказал Аркадий. — И я не смог защитить! Всё твоё жизненное время высосали.

Что-то дрогнуло в неподвижной мордочке крохотного старца, он раскрыл глубоко запавшие глаза, медленно скосил их на Салану, так же медленно обратил на Аркадия. В глазах не было ни мысли, ни чувства, они были безучастны к окружающему, они, отрешенные, уже ничего не выражали. Но Ланна три раза — все медленней, все с большим усилием — поворачивал их к Салане и снова на Аркадия. И Аркадий понял, что хочет передать этим последним в своей жизни движением уже потерявший способность генерировать свои мысли дилон.

— Да, — сказал Аркадий. — Я не покину Салану. Либо

сам с ней погибну в этом проклятом лесу, как погиб ты, либо выберемся оба.

Он говорил с Ланной, как с мертвым. Он знал, что Ланна уже не может слышать. На груди недвижимого Ланны тихо плакала его подруга. Аркадий лег рядом с ними, вытянул ноги, закрыл глаза. Позади две недобрые звезды, Голубая и Белая, очень медленно — им некуда было торопиться, они пребывали почти в вечности — преследовали одна другую. Аркадий набирался сил. Силы возвращались медленно, но он ощущал их слабый прилив.

Почувствовав, что сможет устоять на ногах, Аркадий поднялся, положил Салану в сторонке, чтобы она могла видеть умершего друга, и стал собирать камни. Он клал их вокруг мертвого тела и на него, пока не возник холмик. Потом он подошел к Салане и наклонился над ней.

Она глядела на него здоровым левым глазом, почти неслышно что-то визжала. Аркадий услышал в ее тихом визге такую мольбу, увидел в ее незамутненном глазе такой страх и такую надежду, что его волной охватило еще неиспытанное чувство — горячая нежность к слабому существу, молящему о помощи.

— Деточка, я не покину тебя, — сказал он. — Правда, ты не понимаешь моих слов. Но это неважно. Я без тебя не уйду. Сейчас я подниму тебя и крепко обниму, а ты тоже крепко обними меня. И мы пойдем вместе, до полного спасения вместе, ибо я скорей умру, чем оставлю тебя!

Она вслушивалась в его слова — в здоровом глазу пропал страх. Он поднял ее, обнял обеими руками, она обхватила левой рукой его шею, уткнулась правой щекой в плечо. Он чувствовал, как расслабилось ее тело, она доверилась его воле — маленькое создание покоилось на груди защитника.

Он еще раз оглянулся по сторонам. Позади сияли два зловещих солнца и чернел опасный лес, в последней судороге существования пытающийся оживить себя крохами чужого жизненного времени. Впереди проглядывались разбросанные стволы бывших деревьев, их теперь можно было не опасаться. Он шел к ним, осторожно переставляя ноги, чтобы не наткнуться на бугорок или яму и не свалиться с Саланой.

Отчетливое сознание не воротилось. Глаза порой затягивало туманом, и в голове стоял туман. Мысли не вспыхивали, а медленно вырисовывались, он не постигал уже родившуюся мысль обычным мгновенным знанием, а как бы всматривался со стороны в какие-то надписи, и лишь тогда они становились ясными. И ноги потеряли устойчи-

вость, он не был уверен в их крепости. Ему все казалось, что если топнуть ногой, то она согнется, как резиновая, или переломится, как высохшая тростинка. Надо было проверить — так ли, без проверки он не мог долго нести Салану — он не смел рисковать такой опасной проверкой, она могла стать роковой.

Смутно соображая, что страшно не только ему, но и Салане, он заговорил вслух. Она не могла понять его слов, да это было и лучше, он говорил о том, что ей и не нужно было знать, о том, что могло ее скорей огорчить, а не успокоить. Но она успокаивалась от его голоса, он старался, чтобы в голосе звучали ласка и доброта.

— Бедная моя девочка, теперь я понимаю, отчего погиб твой друг,— говорил он, медленно передвигаясь.— Мне он сказал: «Она будет жить, пока я живу». Я тогда не понял, вот, думал, выпренность, словесные фиоритуры, а не глубокое рассуждение дилона. Вот так я думал, поверхностно, ты права, но не от пренебрежения к нему, он ведь, ты знаешь, достоин восхищения. «Он такой» — так любил говорить о себе наш добрый Асмодей, тот тоже погиб, хороший был парень, настоящий человек, хотя и не человек. Я о Ланне, о твоём друге, ты не сердись, у меня ускользает мысль, я ловлю ее. Ланна погиб от любви к тебе, и это такая прекрасная смерть, девочка! Он нес тебя и вливал в тебя свое собственное жизненное время, он не давал тебе состариться, как ты уже начала. Ты даже помолодела постаревшей половиной, а другой, юной, так молодая, так прекрасно молодая, что мне хочется плакать. Почему свалилась на тебя эта чудовищная хворь раздвоения — разрыв связи времен в едином теле? Он отдал тебе свое живое время, а сам старел, нес тебя и непрерывно старел. Вот так он любил тебя, девочка, так чудесно, так скорбно тебя любил. А я не смогу передать тебе свое жизненное время: я человек, Салана, люди живут много меньше дилонов, но не в этом дело. Я отдал бы тебе свое маленькое время, если бы оно могло влиться в тебя, но я не знаю, как это сделать. Вы умеете не только открывать, но и опровергать законы природы, а я не научен, прости меня за это. Вот мы идем и идем, а Ланны нет, а без Ланны вдруг опять ускорится твоё постарение, что нам делать тогда? Я же не умею, как он, а мы идем и идем, и я так боюсь за тебя, бедная моя девочка!..

Аркадий помолчал и снова заговорил:

— Итак, я о Ланне, о моем добром друге Ланне, о твоём друге... Он умер, ты видела, как он умирал, ты плакала на его груди. Он упал под тем деревом уже постаревший, а

я не защитил его, я не знал, что моего хрономоторчика не хватит на троих, тебя защитил, а его не сумел, вот как это получилось. И проклятый вампир высосал из него остатки его жизненного времени, которое он предназначал для тебя, для одной тебя, Салана. И мы идем, Салана, мы идем, только не знаю куда — к спасению или к гибели...

Аркадий снова остановился. Салана плакала. Маленькое тельце содрогалось от рыданий. Аркадий прижал ее крепче к себе, погладил растрепавшиеся волосы, поцеловал в голову. Она, поплавав еще немного, затихла. Аркадий пошел дальше, продолжая разговаривать:

— Я человек, Салана, ты не человек, а другое существо, разумное, милое и страдающее. Так много различий между нами, так ужасно много различий! Не нужно быть специалистом по конструированию различий, каким был твой друг Ланна, чтобы разглядеть ту бездну, что нас разделяет. И внешний облик, и все прочее... Да, очень, очень многое, ты права, я согласен. Но в тысячу, в безмерную бездну тысяч раз больше единства, я этого раньше не знал, теперь знаю. Мы не похожи, мы радуемся по-разному, но страдаем одинаково, твое маленькое сердечко болит, когда у тебя беда, как и мое в мою беду. И у тебя есть свое добро и свое зло, и у меня свое добро и свое зло. Мы не вне добра и зла, чепуха, что можно быть по ту сторону добра и зла. Так когда-то у нас писали высокомерные глупцы, а это была ерунда, та сторона, за которой нет добра и зла, вне нашей Вселенной, вне любого разума и любой жизни. А мы с тобой живые и разумные, разве не так?

Он еще помолчал, набирая побольше дыхания.

— Салана, я обрадую тебя! Лес уже другой! Не мертвые хлысты и палки, а настоящие деревья. Вот погляди, я чуть-чуть поверну тебя, чтобы ты могла увидеть. Видишь — живые листья, такие же голубые, как и на всех живых деревьях на вашей планете. И трава под ногами живая, такая ярко-оранжевая. Ты ведь видишь, правда? Это — спасение! Мы возвращаемся в мир нормального времени, мы возвращаемся в жизнь, хорошая моя девочка. Правда, там рангуны, там наши враги, но ты не страшись, я не дам тебя в обиду, пусть лучше меня разорвут на клочья, чем я позволю тебя обидеть. Не дам, слышите вы, не дам!

Аркадий выкрикнул эти слова с гневом и угрозой. Он вдруг ощутил, что в нем самом что-то очень важное переменялось. Он больше не был веселым юнцом-хронавтом, в столь молодые годы наделенным высоким званием хроноштурмана, он стал суровым мужчиной. И на руках у него

было слабое существо, почти ребенок, доверчиво прильнувший к спасителю. Он должен был ее защитить, он жаждал ее защитить, это была его священная обязанность, его радостный долг взрослого, собственным телом заслоняющего ребенка от опасности, высочайший долг мужчины, собственной жизнью спасающего женщину от направленного на нее острия. Он вдруг стал как бы всеми отцами мира, оберегающими своих детей. Он ощутил себя мужчиной всех мужчин Вселенной — охранителем и надеждой всех женщин мира!

— Я спасу тебя, Салана, спасу, мы уже вышли в хорошее место,— бормотал он и вдруг оборвал бормотание.

Он остановился, взгляделся в девушку. Она холодела, она преображалась. Левая, здоровая половина тела теряла свою резкую отличность от одряхлевшей правой. Обе половинки сливались, в них восстанавливалась целостность разорванной цепи времени. Салана вновь обрела единое время существования — не жизненное неровное время, постоянное вечное время смерти. На руках Аркадия лежала маленькая, почти лишенная веса старушка. Аркадий положил Салану на траву, молча смотрел на нее.

— Не донес,— сказал он горько.— Прости, не донес!

Потом он собрал камни и, как перед тем хоронил Ланну, похоронил и его подругу. Когда вознесшийся холмик полностью закрыл маленькое тело, Аркадий сел рядом с могилой. Надо было идти, спасение было недалеко. В нарядном голубом лесу уже не грозили разрывы времени, хроновороты и хронобои — еще тысяча шагов, и кончатся его страдания. Но у него не было сил сделать эти шаги. И не было желания искать спасения — так непреодолимо трудно стало добывать его.

Все же он заставил себя встать и пойти. Не шел, а плелся: тело стало тяжелым, в глазах все расплывалось. Споткнувшись на бугорке, он упал.

Теперь было хорошо. Он смотрел на серое небо: где-то на небе одна безжалостная Гаруна преследовала другую — он не видел их. Тихо шумела голубая листва деревьев, тонко пела оранжевая трава. Он закрыл глаза. Надо было заснуть, надолго заснуть.

До него донеслись голоса, кто-то с силой схватил его за плечи, потряс, кто-то целовал его щеки, со слезами говорил:

— Родной мой! Мальчик мой, скажи что-нибудь!

С усилием он поднял веки. Около него на коленях стояла Мария Вильсон-Ясуко, она тормошила его, по лицу ее текли слезы. Он не поверил, что это Мария: ее не могло

быть здесь. Он не хотел отвечать на ее призыв, на ответ не было сил. Он перевел взгляд в сторону. Вокруг Марии толпились какие-то фигуры, он не узнал их. Только одна показалась отдаленно знакомой — она чем-то напоминала Асмодея. На нем был камзол средневекового аристократа, сломанная шпага, рожки, высовывавшиеся из кудлатой головы. Но это не мог быть киборг, тот был строен и элегантен, этот изорван, согнут, изможден — развалина, а не изящный кавалер.

— Мария,— прошептал Аркадий.— Миша Бах погиб. Я сам это видел...

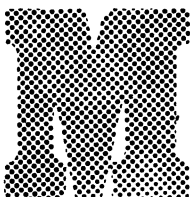
— Нет, нет!— говорила она.— Миша жив, он с Анатолием на «Гермесе». Мы сейчас понесем тебя на корабль, там ты увидишь Мишу.

Аркадий вздохнул и потерял сознание.

Андрей
БЕЛЫЮКОВ

Последний пилот

Рассказ



арс уходил вниз, таял в кормовых экранах. Корабль, разгоняясь на витке, неторопливо удалялся от планеты. Старт был тяжелым, и сейчас корабль вздрагивал всем корпусом, а броня его морщилась от вибрации. Двигатели, как четыре огненные осы, яростно жалили пустоту.

«А ведь я стал ждать катастрофы на каждом старте,— подумал старик.— Да, именно аварии, катастрофы. Я уже не верю машине, вот в чем дело. Теперь жди беды. Старый корабль, слишком старый. Скачет тяга, герметизация ни к черту. Автоматику вообще пора вышвырнуть на слом».

Он давно доверяет глазам и пальцам больше, чем электронному навигатору. Хотя и глаза уже не те.

Старик чуть дотронулся до клавишей пульта, слегка убрав выхлоп. Жалел он корабль? Да, но не только потому, что сам пилотировал его. Просто этот корабль был последней летающей машиной в околосолнечном пространстве. Как энтомолог, держа в ладонях редчайшую бабочку и даже зная, что ей не найти пары, трепетно очищает и расправляет невесомые крылышки, так примерно заботился о машине последний на орбите пилот.

Он будет на курсе через пять часов.

Старик сбросил ремни и поднялся. Его пошатывало, ноги затекли и ныли. Шаркая подошвами тяжелых ботинок, он вышел из рубки.

Дверь долго не открывалась, он подождал, надеясь, что механизм все-таки сработает. Но красный глазок над проемом бессмысленно мигал, словно забыл, что надо делать. Насупившись, старик взялся за штурвал ручного привода, недоверчиво взглянув на манометр. Если верить ему, давление за пределами рубки в норме. Провернув маховик, он толкнул дверь и перешагнул комингс.

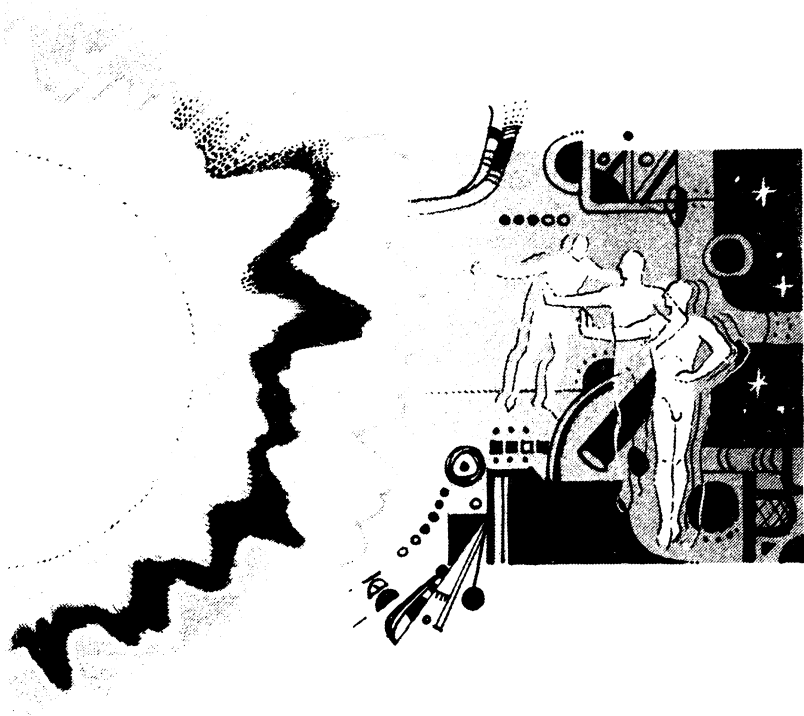


«Никто на Земле не знает Пространства, как я,— думал старик.— Не знает, как его черные пальцы мнут титановые листы, словно хлебный мякиш, трухой сыплется броня под дыханием метеорных потоков. Никто не видел, как, повинаясь бесплотной пляске звездных излучений, корчатся тела мертвых космонавтов.

На Земле уже не в силах осознать великое одиночество странников Пространства, вкусивших плоти и крови Большого Космоса и отдавших свою, ставшую теперь камнем.

Космос нельзя любить, как моряки любят море. И ненавидеть — тоже. Брызги волны, словно собачий язык, щекочут пятки, тайфун сапогом великана затаптывает в глубь корабли. Всему этому название — океан, и он живой, может, самый живой из всего сущего на Земле.

А Космос... Можно врезаться в атмосферу Юпитера, или любоваться солнечной короной на Ио, или месяцами



висеть в пустоте без топлива. Но все то будет лишь мимолетными чертами, случайными капризами Пространства, непостоянного, как взгляд младенца. Невозможно впитать ощущение Космоса. Он слишком...»

Слабый звук оборвал мысли старика. Он напрягся, прислушиваясь. Минуты текли, все было спокойно. Старик передернул плечами.

Пожалуй, хватит. На этот раз придется изменить курс. Подойти к Земле, лечь на круговую — и вниз. Может, подлатают немного машину.

Старик не спеша отправился в кормовой. Близость двигателей напомнила о себе дрожанием стрелки на щитке радиометра.

Он не был на Земле семнадцать лет. Семнадцать лет в Пространстве, как минорные ноты, слились в глухую мелодию безнадежности. Оказалось, это страшно — стать последним в своем деле, на которое ушла жизнь.

Мир после Визита отринул многих, но старик не принял его сам. Что ж, тем хуже для него.

И долгие годы пустоты, отчаянных попыток горстки людей поддержать жизнь в умирающих кораблях, спасти угасающие базы в Системе, угасающие, потому что никому решительно стали не нужны.

А теперь пришла пора смирить гордыню, если он хочет сохранить свою ракету. К Земле!

Он слышал, они там научились диковинным вещам. Да, видимо, многое изменилось. Кажется, им стала почти не нужна техника. Но ему необязательно понимать это. Возвращение будет недолгим.

«Темна твоя дорога, странник...» Откуда эта строчка? Не вспомнить уже.

А ведь какие были корабли! Красивые, умные и сильные машины. На много классов выше, чем его. Тогда казалось, что недалек день, когда первый звездолет стиснет и размягчит застывшие цепи парсеков.

Старик с усилием откинул панель синхронизатора. Разброс тяги сейчас недопустим, раз собрался на Землю. Запросто можно угробить машину на финише, когда требуется филигранная работа рулями.

Он протиснулся внутрь. Так. Прикосновение, отжим, контрольная стрелка неподвижна, пошли дальше. Старик работал почти не задумываясь, машинально и четко, но без удовольствия.

«Я-а-а-а-у-у», — зашлась сирена в отсеках и умолкла, словно подавившись. Старик резко выпрямился, слишком резко. Золотые шнуры еще плясали в глазах, а он уже бежал по коридору к рубке. Толчок бросил его на переборку. Он больно ушиб плечо, но не упал. Даже не глядя на экраны внешних камер, он знал, что происходит.

По кораблю разнесся тонкий скрежет. Кто-то швартовался сейчас к его «Алкагесту», и это было невероятно.

Торопясь и путая от волнения очередность, старик защелкал клавишами, готовя корабль к встрече.

«Они прибыли на шлюпке, это точно. Но откуда ей здесь взяться? А может, пуста? Аварийная, с давно погибшего корабля. Автомат ее уцелел, и сейчас, рядом с «Алка-

гестом», ожил и вспомнил функции. Хорошо, если борт не смял».

Все это быстро проносилось в его голове, и старик почти убедил себя, что шлюпка мертва, что никто не вызовет его с просьбой открыть шлюзовой люк. Он сидел просто так, без ожидания. Когда в дверь рубки постучали, старик поднялся не сразу. Потом вскочил и рывком распахнул ее.

* * *

Их было двое.

— Привет,— сказал старший. Он поставил ногу на порог и с улыбкой разглядывал старика.— Мое имя Стоур. Коллегу зовут Марич.

Он посторонился, и в проеме старик увидел лицо его спутника.

— Мы с Земли. Извиняясь за вторжение, хочу добавить, что связаться предварительно по радио мы не смогли.

— Да, радио...— пробормотал старик.

Он замолчал, желая скрыть растерянность, и жестом пригласил их пройти. Все развернули кресла и уселись лицом друг к другу.

— Вам не страшно одному в этой машине?— неожиданно спросил Марич.

С удивлением разглядывая металлические внутренности корабля, он чувствовал невольное уважение к человеку, прошедшему в нем не дни, а годы. Не зная, он в точности повторил вопрос многих и многих стажеров, побывавших здесь, и старик вновь почувствовал уверенность. Даже то, что они прошли сквозь з а к р ы т ы й шлюз, стало менее существенным.

— Кхм,— кашлянул Стоур, поведя бровью в сторону младшего.

— Мы с Земли,— повторил он.

— У нас к вам предложение. Можно сказать, фрахт. Вот мои полномочия.

Старик машинально взял протянутые бумаги и невидящими глазами пробежал строчки.

— Неужели мы с «Алкагестом» еще кому-то нужны там?— Он неопределенно махнул рукой. Горечь и обида захлестнули его, и старик умолк, боясь сказать резкость.

Стоур легонько похлопал его по колену:

— Я понимаю ваши чувства. Но что поделать, все очень изменилось за последние двадцать лет. Визит заставил нас взглянуть на мир и на самих себя по-иному. Не

вы один, кто в результате оказался... не у дел. Но вот теперь вы снова понадобились.

Стоур безмятежно устроился в кресле. Он не смотрел по сторонам, его интересовал лишь старик. Но в том интересе не было обеспокоенности за успех дела, не было даже намека на неуверенность. Его ясный взгляд, как тихое утро, светился доброжелательностью и покоем.

«Умные глаза,— подумал старик.— Он многое знает и многое может. И сейчас он уверен — я соглашусь, что бы мне ни предложили».

— Сколько баз Космофлота осталось в Системе?— спросил Стоур.

— Пятнадцать.

— И все действуют?

— Да. На шести есть люди, остальные — на попечении автоматов.

Это почему-то удивило Стоура.

— Неужели роботы продержались так долго?

— Да вот, продержались,— желчно ответил старик.— Кое-где я их отлаживал, другие навещал Таров. В общем, управлялись,— закончил он с некоторым вызовом.

— А этот Таров, где он сейчас?

Старик промолчал. Двое людей перед ним могли ничего не знать и уж тем более не были виноваты в том, что «Корморан» погиб год назад. Таров не захотел компромисса, и «Корморан» исчез. Просто не вышел на связь однажды. Он не знал, что с ним случилось, да это было и неважно. Та же судьба ожидала и «Алкагест» в итоге.

— Вы на последнем корабле в Системе,— наконец выговорил старик.

Стоур кивнул.

— Сколько времени потребуется, чтобы обойти базы?

— Все пятнадцать?

— Нет, только с людьми.

Старик прикинул в уме и ответил:

— Нисколько. Пожалуй, не стоит трогать эти рукоятки.

Последнее замечание относилось к младшему.

Марич вздрогнул и поспешно убрал руки от пульта. Кажется, он даже покраснел, но можно было и ошибиться в сумрачном освещении рубки.

— Почему же?— тихо спросил Стоур.

Старик коротко, без подробностей, описал состояние корабля.

— Ах, это,— Стоур успокаивающе поднял руку,— это не страшно. Скажите, вы сможете подойти к базам, забрать людей и перебросить всех на Марс?

— Это и есть условия фрахта?

— Да.

— Для чего?— резко спросил старик.

Стоур опять улыбнулся.

— Коллега,— обратился он к Маричу,— прошу вас, объясните все.

Услышав свое имя, Марич вспыхнул («Да, краснеет,— подумал старик,— совсем молодой, мальчик, лет девятнадцать, не более») и несколько длинно рассказал пилоту «Алкагеста», зачем они здесь.

* * *

Пустота. Пространство. Космос, космонавтика.

— Космонавтика,— вслух повторил старик.

Последние годы он фальшивил с собой, притворялся, что этого слова нет. Он старался забыть. Потому что стоит только услышать это звенящее, сверкающее, будто серебряная игла, слово, как видишь огромные постройки из белого камня и стекла и сотни людей в черной с золотом форме. Видишь рваные лепестки облаков над незабываемой твердью космодрома. И огненный цветок, развернувшийся в небе, в чаше которого высится, стремительно уменьшаясь в размерах, гремющий бронзовый столп; имя ему — корабль.

И чувствуешь на себе опять дыхание могучего организма, занятого делом, устремленным в будущее, свободным от суетности и сиюминутности, никчемности и кипучего безделья. А ладонь невольно коснется форменной куртки, где на груди плавится известная каждому золотая эмблема Космического Флота.

Все же вспомнили. Старик подмигнул и хихикнул. Известие, которое привез Стоур, было добрым. Земля, новая Земля спохватилась и в последний момент поддержала уже готовый упасть ствол некогда могучего дерева.

Правда, чувствуется, что Стоур не договаривает. Пусть. Главное, делу его не дадут умереть. И старая марсианская база станет их первым бастионом в новом сражении за Космос. Конечно, ее придется подправить. Не просто наладить, а значительно расширить и переделать. Может, они даже отгрохают ее заново.

Поначалу людей будет не хватать. Нужно собрать всех, он сумеет это организовать в кратчайший срок. Если только корабль сдюжит... А Стоур обещал, что «Алкагест» выдержит в рейсе. Интересно, как он собирается это обеспечить? Хотя, раз они умеют летать в Пространстве без двигателей и проходить сквозь закрытые шлюзы, можно надеяться, что это не пустые слова.

Интересные ребята эти двое. Действительно, Визит открыл людям что-то совершенно новое. Не просто это понять. Но у него еще есть время попробовать разобраться. Ему теперь придется много бывать на Земле. Нужно найти новых людей, которые любят смотреть в ночное небо и которые помнят, что имя Венеры носит не только богиня. Потом придет время строить корабли. Потом... много еще предстоит. Но сейчас важно не растерять осколки, собрать старый сосуд и оживить его молодым вином надежды.

Старик пробежал пальцами по клавишам пульта. Двигатели ракеты, казалось, шире разверзли ревущие пасти, извергая сияющие струи огня. И Вечный Мрак, поглощая их следом, все ловил и ловил ускользающий корабль.

* * *

— Неужели все так опасно? Знаете, трудно поверить.

Стоур недоуменно посмотрел на Марича. Лицо младшего исказила презрительная гримаса.

— Я думаю, мы с вами некрасиво выглядим. Да, некрасиво, простите за прямоту.

Стоур встал, набросил куртку на плечи и, не глядя на Марича, сказал:

— Я не совсем понимаю вас, коллега. Разве вы сейчас только узнали, что нам предстоит? Если наша миссия вам не по душе, то вы имели время отказаться. А теперь нужно работать, вот именно, работать, а не изучать эту старую машину, чем, я вижу, вы увлеклись последнее время.

Марич замялся.

— Но вы не совсем правильно меня поняли. Пожалуй, зря затеял я разговор. Просто хотелось...

— Да-да, совершенно зря. И покончим с этим.

Стоур раскрыл блокнот и углубился в записи. Младший переступил с ноги на ногу.

— И все же, Стоур! Я хочу договорить. У меня не укладывается в голове, что полупомешанный пилот и горстка упрямцев с их гибнущими станциями на далеких планетах, с их убогой техникой могут представлять угрозу для мира и порядка. Это смешно! Мне даже жаль старика. Я помню, конечно, как на Земле нам представляли проблему. И я сознательно, слышите, сознательно пошел с вами на «Алкагест», веря, что так надо. Но теперь мне кажется, что мы совершаем насилие над этим человеком и другими, совершенно бессмысленное насилие, которое нечем оправдать.

Младший выжидательно посмотрел на Стоура, но тот молчал, опершись на подбородок и сморщив нос.

Марич снова заговорил:

— Можете делать любые выводы, но я уважаю этого пилота. Он смертельно рискует всю жизнь. Он доверяет судьбу набору механизмов, не зная, что путешествовать через Пространство можно иначе, и без машин. Но, может быть, так, как он, интереснее?

Воцарилось молчание. Стоур сидел неподвижно.

— Ничего не нужно делать против совести. Я благодарю вас за мужество и откровенность, Марич.

Стоур задумчиво посмотрел на младшего, чуть вздрогнули уголки его губ.

— Мне жаль расставаться, но если вы чувствуете, что дело вам не по душе, возвращайтесь.

Марич кивнул, встал, сделал шаг и остановился. Медленно повернулся и сел снова.

— А старик и корабль — с ними будет, как задумано?

— Да.

— Извините, но я должен сказать, что...

—...не могу этого допустить,— закончил за него Стоур,— так?

Марич заморгал, весь как-то подобравшись в своем кресле, и тихо ответил:

— Так.

— Понятно,— спокойно сказал Стоур.— Значит, вы решили воспрепятствовать бесчестному предприятию, посягательству на личную свободу человека, и даже не одного. Что ж, возможно, вы и правы, вопреки мнению всех людей на Земле, занимавшихся этой проблемой. В таком деликатном вопросе, как наш, требуется полное единодушие, и, если хоть один человек высказывается против, значит, в самом деле есть риск совершить беззаконие и бессмысленную жестокость. Выходит, возвращаться нужно обоим.

Марич с некоторым изумлением взглянул на своего старшего партнера.

— И все же вы несколько поторопились. Требовалось для полноты картины спросить и мое мнение, вам так не кажется, Марич? Или вы заранее были уверены в отрицательном ответе?

Широко расставленные серые глаза в упор изучали младшего. Марич заметил красные жилки в белках под тяжелыми веками.

Он молчал.

— Нас с вами вместе готовили на Земле и объясняли смысл возложенной миссии. Это делалось достаточно тщательно, но, возможно, несколько абстрактно, вот в чем де-

ло. Вы человек, практически не знавший Землю до Визита. Поэтому для вас вопрос угрозы миру и порядку со стороны этих авантюристов остался очень и очень отвлеченным. Тогда послушайте меня, большую часть жизни прожившего в старом мире. Во многом я повторяю известные уже вещи, но, надеюсь, мои чувства очевидца облекут их в более осязаемую форму.

* * *

Старик теперь не знал покоя.

Долгие годы на «Алкагесте» не было пассажиров. Он уже давно махнул рукой на обеспечивающую аппаратуру, обходясь минимальным. Теперь стоило вспомнить и о комфорте. Старику хотелось блеснуть хотя бы внешним состоянием машины перед людьми со станций. Он торопился, сердясь и радуясь одновременно.

Опостылевший за многие годы контроль систем корабля внезапно наполнился новым смыслом. И, сидя в кресле пилота, старик волновался, как в первом рейсе. В известном смысле этот полет тоже был первым.

«Полет». Старик подумал, как не подходит это слово для Пространства. Здесь никому не удавалось уловить ощущение движения. Нет, корабль всегда неподвижен, а вокруг — мегаметры пустоты. И единственное, что происходит, это перемена масштабов. Например, точечный диск Земли и Марс во весь кормовой. В конце пути они поменяются местами, вот и все. Дело только в масштабах. Они меняются сейчас и для него.

Старик вздохнул. Только бы выдержать. Он никогда особенно не заботился о здоровье. Нынче это стало важным. Он последний, кто умеет пилотировать корабли, и без него вся затея останется мертворожденной.

Руки двигались, подчиняясь раз заведенному порядку. Все было знакомо, как скрип кожи на кресле, как усталое покачивание ослабевший половицы в доме детства.

Смотрим реактор. Температура, уровень защиты, охлаждающий контур в норме. Пошли дальше. Теперь маршевые. Разброс минимальный, перегрева не наблюдается. Хорошо. Навигационный комплекс.

Старик запустил контрольную программу, тест прошел, хотя и не сразу. И то ладно. На экране внутренних мониторов проплывали все новые помещения и отсеки корабля. Блок регенерации. Жизнеобеспечение — это надо подробнее. Старик замедлил темп, придирчиво дублируя запросы автоматике. Стоп.

Отчего такая большая влажность? Или ему кажется? Нет, не может быть, там явная утечка.

Старик негромко выругался. Придется разбираться на месте.

* * *

— Возможно, здесь с самого начала крылась ошибка, — продолжил Стоур, — не знаю. Но дубина дикаря стала первым кирпичом в стене, которой человечество вознамерилось отгородиться от природы. И оно преуспело в этом, стена росла, сперва медленно, потом все быстрее. Наконец сооружение достигло потрясающих размеров, грозя рухнуть и похоронить своих строителей.

Страх — вот что лежало в основе нашей цивилизации, в ее истоках. Он привел в итоге к созданию машинного мира и машинного сознания, с его противопоставлением себя окружающему.

Надо бежать побыстрее — сделали колесо; поднять камень побольше — придумали рычаг. А зачем понадобилось ворочать этот валун? Чтоб задвинуть вход в пещеру от медведя. Все тот же страх.

Наше несчастье в том, что разум возник в столь тщедушном тельце. И мы так свыклись с этим, что не можем вообразить иного сочетания. И навывдумывали теорий, подтверждающих, что другое невозможно.

Сейчас трудно вообразить, каким бы стало разумное животное на Земле, не явившееся с самого начала дрожащим пасынком в мире вокруг, свободное от постоянного страха за жизнь. Но, думаю, оно не создало бы ничего похожего на Землю двадцатилетней давности.

— Разве все было так плохо? — не выдержал Марич. — Я много слышал от старших, как не устроено было общество и сама жизнь. Неужели потребовался Визит, чтобы все это понять?

— Да, потребовался, — медленно произнес Стоур и неожиданно добавил: — Мальчик, это трудно пересказать. Вы не знаете заботы о пище, вам неизвестны преграды в общении. Дальше и дальше уходит от всех нас каторжный труд по обслуживанию огромной армии машин, который приковывал человека к одному месту на многие часы. Исчезла проблема транспорта.

— Не совсем, — смущенно перебил его Марич, — я ведь еще не умею, как вы...

— Ничего. Вы пока стажер. Я имею в виду — проблема исчезла в принципе. Свободное перемещение в прост-

ранстве скоро будет доступно каждому. О, это наша заветная мечта. Впрочем, не стоит ее переоценивать. Зачем переноситься, скажем, к соседней звезде, если человеку стала доступна необъятная информация? И я могу познать иной мир, не трогаясь с места.

Но главное, что мы получили,— это избавление от страха. Спокойствие и уверенность. И вот тут мы подходим к главному. Не все люди сумели измениться. А многие так просто не захотели. И сейчас, два десятилетия спустя, они стараются вернуть столь милую их сердцу жизнь. Их немного. Это архаизмы, но архаизмы могут быть опасны. Они дестабилизируют психику, люди становятся способны на совершенно ненужный, даже вредный поступок. В поведении начинают преобладать эгоистические мотивы. Словом, некоторые из тех, кто жил до Визита, могут выкинуть неожиданный номер.

А это, коллега, понимаете, ни к чему, потому что мир и стабильность дороже всего. Вот и старик, его космическое отшельничество могло прекратиться. Он собирался на Землю. Кто знает, какие чувства всколыхнулись бы в сердцах людей, забывших, что такое космонавтика, когда они увидели бы садящийся «Алкагест»? И потом узнали вдобавок, что станции в Космосе еще живы!

Стоур забарабанил пальцами по столу.

— Нет! Старый пилот не вернется на Землю. Он должен уйти и забрать с собой остальных.

* * *

Ему не пришлось долго искать неисправность. Из секции гидропоники доносились булькающие звуки, и, прижавшись ухом к переборке, старик явственно различил шум текущего раствора.

Жидкость скапливалась в межпалубном пространстве. Когда уровень ее достигнет вентиляционной шахты, в соседние помещения хлынет соленый поток. А ближайшими были пассажирские каюты.

Сразу открыть дверь залитого отсека старик не решился. Он пролез в него сверху, через аварийный люк. Отплываясь и чертыхаясь, он бродил по колена в пахучей жидкости, отыскивая поврежденный трубопровод. А когда нашел, то выяснилось, что подобраться к нему невозможно. Конструкция была устроена довольно нелепо, и здесь требовался второй человек. Видимо, проектировавшие корабль инженеры не могли вообразить, что экипаж его будет состоять только из одного.

Оставалось позвать на помощь гостей. Раздвигая плавающий мусор, старик направился к висящему на стене телефону.

Он снял трубку и услышал голос.

* * *

—...Нечего толковать о нарушении закона. Мы изолируем их, и только. Снабдим на Марсе всем необходимым, обеспечим максимум удобств. Касательно «Алкагеста» — это его последний рейс, и на Марсе кораблем займетесь вы, Марич, причем безотлагательно. Ну, все, теперь спать. Полагаю, мы больше не вернемся к этой теме, — уверенно закончил Стоур.

Они уже лежали, когда дверь каюты лязгнула запором. Марич встал и подергал ручку.

— Похоже, мы заперты, — сообщил он.

Стоур приподнялся на локте и пробормотал:

— Старая развалина...

Потом они ощутили толчок. Марич поспешно запрыгнул в койку, которая тут же обняла его, защищая от ускорения. «Алкагест» менял курс.

— Что это значит, командир? — негромко произнес Стоур в пустоту каюты.

— Мы снова идем на Землю, — отозвался динамик над дверью голосом старика.

Стоур шевельнулся.

— Лежите, — резко добавил старик, — я наблюдаю за вами. Пока я запрещаю вам вставать. Будет лучше, если вы оба останетесь в каюте до самой посадки.

— Сумасшедший, — прошептал Стоур.

— Возможно, — насмешливо согласился старик, — но провести остаток жизни в психушке на Марсе, которую вы собираетесь открыть, я не намерен. Ничего не выйдет, ребята. Все, отключаюсь, — добавил он.

Щелчок — и динамик затих.

— Что будем делать, старший? — поинтересовался Марич.

* * *

Он не помнил, как добрался до рубки. Казалось, все прожитые годы разом навалились на плечи. Ожили прошлые неудачи, ошибки и обманы, чтобы разом вцепиться ему в горло и уже не отпускать до самого конца.

Старик рухнул в кресло. Некоторое время он сидел вообще без мыслей, не в силах осознать размеры постигшей его катастрофы. Потом был разговор.

...Стоур беззвучно возник в рубке. Увидев его, старик рванул пистолет из кобуры.

— Не глупите!— крикнул Стоур.

— Назад,— глухо выдохнул старик,— я остановлю тебя вот этим, коли стены вам не помеха.

— Не выйдет.

Стоур стоял широко расставив ноги. Он смотрел на старика уже без обычной улыбки и часто дышал.

— Прекратите истерику, командир. Объясните, что взбрело вам в голову. Ну?

«Он волнуется»,— машинально подумал старик. Дуло его пистолета смотрело в живот стоявшего перед ним человека.

Стоур сделал шаг вперед.

— Стоять,— рявкнул старик,— застрелю!

Но Стоур медленно приближался.

— Нет,— безмолвно прошептали губы старика, и он выстрелил.

Пуля с визгом отрикошетила в переборку. Посыпались осколки. Стоур исчез на миг и вновь появился в другом углу рубки. Как в раздерганной киноленте.

Старик выстрелил снова. И опять Стоур пропал и возник в ином месте. Это напоминало стрельбу по появляющейся мишени. Раз за разом старик выпустил четыре пули. Гость наконец растворился. Рубка была пустой, по ней плавал сизый дым. С окаменевшим лицом старик развернулся к пульта. И в экране перед ним увидел отражение стоявшего позади Стоура.

Старик быстро наклонился и толкнул две синие рукоятки справа. Корабль охнул, и маневровые двигатели метнули пламя. Рывок был столь силен, что Стоур врезался в переборку, не долетев еще до пола. Он поднял разбитое лицо и сквозь застилающую глаза кровь разглядел старика, склонившегося над пультом. Потом тот обернулся, и в руке его опять блеснул пистолет. Стоур прикрыл веки и напрягся. Через мгновение в рубке его не стало.

Взгляд старика метнулся к экрану монитора. Вот они, оба в каюте. Дверь он заблокировал, но для них это пустяк. Ладно, прижмем их покрепче. Он усилил отдачу маршевых. Было видно, как зашевелились тела в каюте. Рука пилота снова двинула вперед красный центральный рычаг.

Корабль осел, как отвыкшая от седла лошадь. Что-то с грохотом сорвалось в соседнем отсеке. Перегрузка росла, и «Алкагест» все убыстрял ход, словно надеясь убежать от нее.

Но изображения людей на экране продолжали двигаться. Вот Марич приподнялся и пытается затащить второго на койку. Добавим еще!

Старик почувствовал, как немеют пальцы. Он задышался. Чмокнув, выскочила и повисла кислородная маска. Кое-как, наискось, он сумел надвинуть ее на рот.

Кажется, им этого мало. Младший теперь лежал неподвижно, но Стоур все еще ползал на полу каюты. Эге, да он встает!

— Сильный,— вслух произнес старик.

Надо кончать. Это убьет их, пусть. Выхода не остается. Рука его с трудом протянулась и обхватила рычаг, который прошел уже три четверти пути. Он толкнул его дальше, почти до конца.

Тяжесть огромной черной гирей ударила в живот. Старик захрипел и на какое-то время ослеп. Кресло под ним задрожало, точно живое. Сознание померкло, вернулось и снова исчезло. Когда он пришел в себя, в глазах еще стоял мрак. «Темна твоя дорога, странник...» Мысли пугались и расплывались, будто их тоже давило перегрузкой.

«Трудно, но я выдержу,— думал старик.— Не привыкать. Бывало тяжелее. А с ними все кончено».

Он с трудом раскрыл глаза. Неясные тени метались перед взором, вспыхивали и рассыпались радужные кольца. Что-то корчило и копошилось на экране.

— Не может быть!— выкрикнул старик, но горло издавало лишь клокочущие звуки.

Он никак не мог толком разглядеть их каюту, и плакал. Вид старика сейчас был страшен. Из углов черного рта текла слюна. Он увидел свою руку, которая сама, как отдельное существо, ползла по пульту, цепляясь за тумблеры. Ее белые прозрачные пальцы, трясясь, дотронулись до рычага, который острым красным языком торчал из панели. И миллиметр за миллиметром вдавили его до конца.

* * *

Стоур слегка мычал, пока Марич оттирал загустевшую кровь с его лица. Их капсула кувыркалась среди звезд, и они сидели внутри, как два жука в пустом орехе.

— Он нас чуть не убил,— с чувством вымолвил Стоур,— мы выскочили из корабля буквально в последний момент.

— Мы потеряли его?— спросил Марич, массируя ему плечо.

— Ничуть. Придем в себя, а потом поищем корабль в пространстве.

Сев, Стоур стащил мокрую от пота рубашку с оторванным рукавом и, разглядывая ссадину на локте, добавил:

— А если не мы, так с Земли его найдут. Никуда не денется.

Через два часа Мариш засек «Алкагест».

— Уже не ускоряется,— произнес он, не отрываясь от приборов,— а курс прежний.

— Отлично, это упростит переброс.

Стоур замер, сосредоточиваясь. И минуту спустя капсула прильнула к борту корабля.

Когда они шагали по его коридорам, удары подошв спешили вперед, как гонцы с недоброй вестью.

В рубку первым вошел Стоур. Он увидел пилота, неподвижно сидящего в кресле, только голова чуть свесилась набок. Стоур наклонился к нему и вдруг отпрянул.

— Мертв,— тихо сказал он.

— Убил сам себя? Наверное, не выдержал.— Мариш встал рядом, стараясь не глядеть на лицо старика.

— Вряд ли нарочно,— отозвался Стоур,— скорее, переоценил возможности. В любом случае он упростил нам задачу.

— Что же теперь будет?

Стоур посмотрел куда-то мимо младшего.

— Ничего. Мы возвращаемся на Землю.

— А люди на станциях?

— Они теперь не представляют опасности. Ведь это был последний пилот. Пойдемте, коллега.

Мариш провел рукой по металлической панели.

— Жаль будет уничтожать корабль. Занятная машина. Мне кажется, я бы сумел разобраться, как она устроена, и научиться управлять.

Он вопросительно посмотрел на Стоура, но, встретив его выразительный взгляд, отвернулся и вышел из рубки.

Александр ШАЛИМОВ

Дьяволы сельвы

Повесть



еленые дьяволы, босс.
Рабочие отказываются идти туда...

По холеному розовому лицу Арчибальда Кроу промелькнула брезгливая гримаса. Однако он сдержался. Неторопливо протянул массивную, унизанную перстнями руку, поправил листок перекидного календаря, завернутый струей воздуха от бесшумного вентилятора. Подрегулировал скорость... «Проклятая жара; кондиционеры выходят из строя, а эта штукавина только раздражает», — он покосился на сверкающий никелем корпус вентилятора.

После бессонной ночи Кроу все раздражало: и обжигающее утреннее солнце, и влажная духота в саду, и тепловатый душ, и эта кажущаяся прохлада в кабинете. Ничего себе прохлада! На термометре, который держит бронзовый фавн, торчащий среди телефонных аппаратов, двадцать девять по Цельсию. Конечно, поменьше, чем снаружи, но стоит пошевелиться — и кожа становится липкой от пота. Он распрямил спину, с отвращением почувствовал, что рубашка уже прилипает к лопаткам.

«И этот идиот, — Кроу вскинул глаза на темно-коричневое морщинистое лицо Лопеса, — опять несет какую-то блевотину...»

Лопес поймал взгляд босса, открыл рот, чтобы продолжать, но Кроу не позволил. Постучал торцом серебряного «Паркера» по полированной черни стола; не глядя на Лопеса, негромко спросил:

— Напомните-ка, пожалуйста, сколько я плачú вам?

— Я... — начал Лопес и осекся, уставившись в лицо хозяина.

— Вы болван, Лопес, — возможно мягче сказал Кроу, — вонючий, нудный болван! Начинаю думать, что ошибся в вас. Кажется, я уже говорил — меня не интересуют ваши отношения с рабочими. Меня интересует древесина, в частности вот эта. — Кроу снова постучал «Паркером» по столу. — В понедельник вы получили все необхо-



димые указания. Ваши рубщики должны были начать от устья Утаяли и двигаться левым берегом. Ширина фронта вырубki — два километра. Ну а вырубив все ценное, вы должны были сжечь сельву до следующего притока Риу-Негру... Как, кстати, он называется?

— Боа-Негру... Но...

— И никаких но... Разве вы забыли, что я не меняю приказов?

— Там, на Боа-Негру, деревня, хозяин... Индейцы... йаномами... Около сотни...

— Ну и что?
— Женщины, много детей...
— Ну и что?
— Говорят, это их земля... И лес по Утаяли, по Боа-Негру... Говорят, губернатор штата приказал не трогать лес и деревню. У них бумага есть...
— Определенно, я ошибся в вас, Лопес.— Кроу задумчиво покачал головой.— Сколько у вас рабочих?



— Было тридцать...
— Почему было?
— Убили троих... Вчера... Ночью сбежали еще трое... Они говорят — зеленые дьяволы. Говорят, видели... Боятся, босс...
— У вас нет оружия? Ты, например, зачем на себя столько нацепил?— Кроу указал «Паркером» на пистолетные кобуры, оттягивающие кожаный пояс Лопеса.
— Их пуля не берет, босс.— Лопес наклонился ближе к столу, округлил глаза, переходя на шепот.

— Дурень!— Кроу откинулся в кресле.— И не придвигайся, пожалуйста, от тебя чесноком разит... Господи, какие идиоты... Электроника, интегральные схемы, компьютеры, космические полеты — и «пуля не берет». Кого сегодня пуля не берет... Ты же грамотный человек, Лопес. Учился... Читаешь газеты, разговариваешь по телефону, смотришь телевизор. У тебя в лесном лагере радиопередатчик — ты умеешь им пользоваться... Ну, чего молчишь? Я ведь не ошибаюсь? Учили тебя?

— Три года... Ходил в школу католической миссии... Потом надо было работать...

— Видишь, три года. Тоже кое-что... Так почему все-таки «пуля не берет» этих... как ты их называешь?

— Зеленые дьяволы сельвы... Я не знаю... Люди говорят...

— А ты пробовал?

— Чего?..

— Пулей... Хотя бы вот из твоих пушек.

— А я их не видел...

— В этом все дело, Лопес. Болтун ты и трус к тому же!.. И ни слова больше! Немедленно возвращайся к своим дурням — и чтобы работали. Понял?

Лопес, не поднимая головы, мрачно кивнул.

— Отправляйся! Завтра приеду, посмотрю, что вы там наработали. Прихвачу с собой Одноглазого с его парнями. Они быстро сделают порядок. Рубщиков еще подошлю. Но смотри в оба... Будут опять разбегаться — головой отвестишь.

* * *

— К вам человек из города, отец Антонио.

В проеме двери, сквозь раздвинутый бамбуковый занавес, на пастора глядела широкая улыбающаяся физиономия Чико.

— Пригласи его сюда, мой мальчик.

Пастор осторожно опустил на дощатый пол извивающуюся серебристую ленту, которую держал двумя пальцами за плоскую треугольную голову. Змея струйкой ртути стекла в одну из трещин между неплотно подогнанными досками пола.

— Все отдала?— Чико прищурился, приглядываясь к фаянсовому блюдечку на столе.

— На этот раз все.— Пастор аккуратно отодвинул блюдечко от края стола и прикрыл стеклом.

— Еще принести?

— Позже. Я скажу. А теперь позови того сеньора из города.

— Он не синьор, отец Антонио...

Голова Чико исчезла, стебли бамбука сомкнулись, за-
слонив дверной проем. Послышался удаляющийся топот
босых ног и звонкий голосок Чико, обращенный к кому-то
на центральной площадке селения:

— Сюда, это сюда... Отец Антонио ждет...

Шаги у входа, шепот Чико, потом деликатный стук в
дощатую стенку возле двери.

— Да-да, входите, пожалуйста.— Пастор поднялся из-
за стола.

Бамбуковый занавес раздвинулся, пропуская гостя —
невысокого коренастого человека в светлых шортах и го-
лубой безрукавке, с большой репортерской сумкой через
плечо. Из-за плеча посетителя выглядывала насторожен-
ная мордочка Чико.

— Мне надо видеть пастора Нуньеса,— сказал, наклони-
в голову, человек в шортах и бросил вопросительный
взгляд на вошедшего следом Чико.

— Я — Антонио Нуньес.— Пастор протянул руку.

— О-о,— гость попытался скрыть удивление,— так вы и
есть пастор... Извините, но я думал... Меня зовут Тун Чи-
тапактль, я журналист, корреспондент центральной газеты
штата.

— Вы, вероятно, думали увидеть благообразного седо-
го старца в черной сутане,— улыбнулся пастор, пожимая
руку гостя,— а вас встречает худой длинноногий парень с
копной рыжих волос, в потертых джинсах и сандалиях на
босу ногу, к тому же небритый... Просто мы с ним,— пас-
тор указал на Чико, присевшего на пол у двери,— не жда-
ли сегодня гостей. Однако прошу садиться,— он указал на
грубо сколоченные табуреты возле стола,— а что касается
сутаны — тут она не служит делу... Надеваю ее, когда от-
правляюсь к нашему епископу. Но это случается не час-
то. Признаюсь вам, дорогой сеньор, даже службу тут веду
в джинсах — у меня есть еще одни, поновее,— и вот в та-
кой рубашке навывпуск. Слово правды, обращенное к прос-
тым людям, не нуждается в пышной оправе и красивых
одеждах. Не так ли?..

— Вероятно, вы правы, хотя,— журналист оглядел
более чем скромную обстановку комнаты,— хотя, кажет-
ся, не все соглашаются с вами... Но вы становитесь попу-
лярны. Люди говорят о вас, ставят в пример другим... По-
этому наша газета хотела бы рассказать о вас...

— Что ж, если правду, в добрый час.

— Я приехал именно за тем, чтобы узнать правду.

— Тогда надо, вероятно, начинать с них.— Пастор
указал на Чико.

— Именно так я и поступаю. Я уже побывал в соседнем селении. Теперь хотел бы побеседовать с вами.

— Пожалуйста...

— Но с глазу на глаз, если позволите...

— Вот как? У меня ведь нет секретов от них.— Пастор снова указал на Чико.— Но если вы настаиваете... Чико, мой мальчик, поймай пару хороших рыб и попроси Марианну приготовить их.

Бросив тревожный взгляд на журналиста, Чико молча выскользнул наружу.

— Вы ведь не откажетесь пообедать со мной, сеньор?— продолжал пастор, поворачиваясь к собеседнику.

— Благодарю. И называйте меня просто Тун, отец мой.

— А вы меня — просто Антонио.

— Еще раз благодарю.

— Тун — это ведь не здешнее имя?— Пастор с интересом разглядывал коричневое, словно выточенное из древесины каобы, лицо гостя.

— Нет... Мой отец с Юкатана. Он из народа майя.

— А ваша матушка?

— Она с Ориноко из Колумбии. Тоже индеанка.

— Но вы теперь бразилец.

— Я учился в Манаусе.

— И стали журналистом. Индеец-журналист. Нечто новое в здешней действительности.

— Как и пастор в джинсах, живущий в сельве вместе со своей паствой.

— Пожалуй... Новое, которое так необходимо тут, но... приходит с трудом... Увы...

— Скажите... Антонио, ваш сосед... он... не становится слишком бесцеремонным?

Пастор испытующе глянул на своего собеседника:

— Кого вы имеете в виду, Тун?

— Американца, конечно. Этого Кроу... Арчибальда Кроу-младшего.

— А-а...— Пастор помрачнел и опустил глаза.— Ну, конечно... Вам известно кое-что о здешних делах?

— Еще бы... Я подготовил большой материал, но он не пошел. Главный снял. Сказал — недоказательно. Они там расшаркиваются перед боссами с севера. А этот Кроу...— Тун покачал головой и умолк.

— Да-да... Я тоже писал епископу. Он велел не вмешиваться... в политику. Прочитал мне суровую нотацию. Повторил несколько раз, что у служителей церкви тут задачи иные...

— Что вам точно известно... Антонио?

Пастор развел руками:

— Точно?.. Пожалуй, мало... Слышал, что говорили люди. А говорили страшное... И не только на исповеди. Земли по Риу-Негру арендовал у федерального правительства еще отец нынешнего Кроу — Арчибальд Кроу-старший. Я его никогда не видел. Говорят, он был плохой человек и кончил плохо, но я ничего точно не знаю и не могу судить. Все происходило до моего приезда. Вот вы видели этого мальчика — Чико, моего воспитанника. Ему четырнадцать лет. Он единственный, кто уцелел... Когда ему было три года, какие-то люди, говорят, что люди Кроу-старшего, уничтожили его деревню и убили всех его родичей. Он один спасся чудом.— Пастор прерывисто вздохнул.— Он живет у меня с шести лет. Сначала был совсем дикий — молчал, бросался на людей, пытался кусать. Потом начал отходить... Я научил его читать, писать. Сейчас он как все вокруг, но...

— Он что-нибудь помнит? Мог бы рассказать?

— Послушайте, Тун... В вас тоже индейская кровь. Вы же должны понять... Разве такое забывается? Я не знаю, что там у него внутри,— пастор постучал себя по виску,— я никогда не спрашивал об этом и никогда не спрошу, если он сам не скажет. Повторяю, сейчас он как все, но я-то знаю, к а к и м он был. И поэтому не хочу и не позволю говорить с ним... о его прошлом. Пусть все останется как есть. Виновник злодейства, вероятно, понес кару...

— Но ведь он был не один?

— Главный виновник... И бог наказал его.

— А если преступление повторится?

— Нет... Невозможно... Теперь такое невозможно. Мир становится другим.

— Едва ли вы сами верите в то, что сейчас сказали... Что могло измениться за одиннадцать лет... Вместо одного Кроу тут у вас под боком другой. Еще неизвестно, пастор, кто из них хуже. В нынешнем мире люди вообще не становятся лучше... Я имею в виду тех, у кого деньги, сила, власть... судьбы отдельных людей для них совсем ничего не значили и не значат. Особенно тут, в сельве, за сотни миль от больших городов.

— Не знаю... Я ничего не знаю об этом и не могу судить.

— Вот, точно так же мне говорили в других селениях. А ведь знают... И молчат... И вы знаете...

— Нет.

— Знаете... Не можете не знать, если прожили тут столько лет. В сельве по Риу-Негру тогда было уничтоже-

но не одно индейское поселение, а несколько — пять, может быть, десять... Со всеми обитателями... Ваш Чико, вероятно, единственный, кто тогда уцелел. Вообразите, один трехлетний ребенок из сотен, может быть, из тысячи варварски истребленных, ни в чем не повинных людей. А дьяволы, сотворившие все это, живы и благоденствуют.

— Откуда вам это известно?

— Кое-что узнал, кое о чем догадываюсь. Но мне нужны улики — неопровержимые доказательства... Какие — вам известно... Ваш Чико — одно из них.

— Нет... Мне очень жаль... Вы... вы обманули меня...

Тун энергично замотал головой:

— Клянусь, сказал правду. Меня послали к вам, и буду писать о вас, но у меня была и другая мысль — моя собственная. Я не удержался — темперамент подвел, — сразу выложил все. Теперь вы вправе прогнать меня, но... прежде подумайте о людях, которые живут тут рядом с вами, о тех, кому вы желаете добра.

— Хотите сказать — им угрожает опасность?

— Боюсь, да...

— Пойдите, Тун, дайте мне подумать. У меня в голове все перемешалось.

Пастор поднялся со своего табурета, сгорбившись и покусывая пальцы, он принялся шагать по узкому свободному пространству между деревянным топчаном в дальнем углу и столом, за которым сидел Тун. Журналист мысленно считал: пять шагов в одну сторону, пять обратно, и снова — пять и пять... Худой и длинный, с низко опущенной головой, бледным, с запавшими щеками лицом, на котором тонкий хрящеватый нос, казалось, касался узкого подбородка, он вдруг напомнил Туну Дон-Кихота. Журналист мысленно усмехнулся: пожалуй, это находка — именно Дон-Кихот. Можно так и назвать очерк — «Дон Кихот на пороге XXI века». Да и с чем еще сравнить его подвиг: в атомно-космический век уйти в сельву, чтобы нести учение Христа детям каменного века — последним могикам неолита в стремительно сокращающихся под натиском цивилизации амазонских дебрях.

Резко остановившись, пастор снова присел на табурет и устремил на журналиста испытующий, тревожный взгляд.

Тун молчал, не отводя глаз. Тяжело вздохнув, пастор тихо сказал:

— До меня доходили слухи, но я не верил. Впрочем, и сейчас не верю... Ведь если действительно случилось все то, о чем вы говорите, должны сохраниться следы — кости

людей, могилы, пожарища. Даже в сельве поселения не исчезают бесследно. Тем более если случилось недавно. Ваши... предложения можно проверить.

Тун усмехнулся:

— Вам известно, зачем старому Кроу понадобились здешние леса? Кроу и другим... Таких концессий в Амазонии сотни, если не тысячи. Федеральное правительство в недалеком прошлом раздавало их щедро и по дешевке. А срок — на пятьдесят и на сто лет...

— Да, я знаю... Им нужна древесина ценных пород. Кроу на арендованных землях построил мебельные и бумажно-целлюлозные фабрики. Самая большая — в Карвэйру, в двухстах километрах отсюда.

— Дело не в древесине, вернее, не только в ней. Вот посмотрите.— Тун раскрыл свою репортерскую сумку, вытащил наклеенную на полотно цветную карту, развернул.— Смотрите,— повторил он,— здесь штат Амазонас — весь целиком, до границ Венесуэлы, Колумбии и Перу. Некогда его полностью покрывала амазонская сельва — самый большой и самый богатый разнообразием растительности лесной массив планеты. Выруб сельвы начался давно: стране нужны были управные земли. Однако длительное время выруб происходил медленно, а кое-где сельва даже успевала восстанавливать нарушения, причиняемые человеком. Ситуация изменилась примерно четверть века назад. Новая техника позволила резко ускорить наступление на сельву. В восточной части штата количество лесов уже заметно уменьшилось; теперь под ударом оказалась сельва к западу от столицы штата. Смотрите, это Манаус, а вот тут — в пятистах километрах к северо-западу, по Риу-Негру, земли, арендованные династией Кроу. Пятьдесят тысяч квадратных километров сельвы. Ваше селение тоже тут, в непосредственной близости от его владений. Вам понятно?..

Пастор наклонился над картой, внимательно разглядывая узор знаков. Кивал головой, словно находя в этой вязи подтверждение своим мыслям. Потом спросил, коснувшись пальцем карты:

— Эта карандашная штриховка — вы ее нанесли?

Тун молча кивнул.

— И что она означает?

— Вырубы. На заштрихованных площадях сельвы больше нет. Она превращена в мебель, бумагу, в доллары Арчибальда Кроу и других.

— Господи,— пастор перекрестился,— никогда не предполагал, что уже столько вырублено.

— В штате Амазонас — около сорока процентов, две пятых того, что было. В других штатах еще больше.

— Но ведь это просто безумие какое-то...

— И оно продолжается, ускоряется... Впрочем, нет, не безумие... Тут совсем другое. Для одних — бизнес, очень прибыльный бизнес... Другие называют это тягчайшим преступлением, хотя не существует законов, карающих за подобные преступления. Уничтожение сельвы лишает людей главного, без чего жизнь существовать не может, — кислорода для дыхания. Амазонская сельва — огромная, самая большая на Земле фабрика кислорода. Она, если угодно, легкие атмосферы, легкие всей биосферы Земли — всего живого. Ныне эти легкие стремительно съедает рак цивилизации. Фирма Кроу и ей подобные — раковые клетки в организме биосферы. Это, так сказать, по большому счету... Однако преступление на том не кончается. Вам известно, Антонио, во что превращены эти заштрихованные площади, на которых всего десять — пятнадцать лет назад простиралась девственная амазонская пуща?

— Ну... я знаю, теперь на месте сведенных лесов управные земли. Туда переселяют фермеров... Но я не думал, что леса исчезают так быстро. Насколько надежны ваши данные, Тун?

— К сожалению, — губы журналиста искривила гримаса отвращения, — вполне надежны. Штриховка нанесена по материалам аэрофотосъемок и съемок со спутников. Здесь, — Тун постучал ладонью по карте, — данные двухмесячной давности. На сегодняшний день заштрихованную площадь следовало бы еще увеличить. И вот тут, — он коснулся пальцем одного из изгибов голубой нити Риу-Негру, — она уже подступает вплотную к вашим краям, пастор.

— Вы подразумеваете вырубы Кроу?

— Именно...

— Но граница его концессии определена: она где-то там южнее...

— Вот именно — «где-то там». Никто ее не переносил на местность. Да это и едва ли возможно в условиях сельвы. Тут все определяют сроки концессии, а не территория. Пятьдесят тысяч квадратных километров — площадь немалая, всегда возможны варианты...

— Здешные земли отведены местным индейским племенам, — возразил пастор. — Я сам видел документ, подписанный губернатором штата.

— На местности границы резервации никак не обозначены?

— Не знаю, не думал об этом... Однако в документе они оговорены.

— Так ведь то слова. А слова остаются словами. При желании им можно придавать разный смысл. Как уже бывало не раз. Особенно вдалеке от исполнительной власти.

— Вы пугаете меня, Тун.

— Нет... Я приехал помочь вам и вашей пастве. И вам не следует мешать мне; более того, вы тоже должны мне помочь. Соединив усилия, мы, может быть, добьемся чего-то... В противном случае возможен произвол... Снова произвол. Арчибальд Кроу-младший — фигура значительная и хорошо знает свою силу. У него влиятельные друзья в Манause и в столице.

— Вы полагаете, люди Кроу могут заставить нас покинуть эти места?

— Это один из возможных сценариев. Могут сжечь здешнюю сельву, что обычно и делают, вырубив предварительно наиболее ценные породы деревьев. Могут, наконец, поступить так, как поступили одиннадцать лет назад с родичами Чико...

Пастор замотал головой:

— Нет-нет, невозможно. Теперь такое невозможно... Они же христиане?

— О ком вы говорите, Антонио?

— О тех... О молодом Кроу... О его людях...

— Черт побери! О-о, простите меня, ради бога, пастор... Люди Кроу — христиане!.. Послушайте же... Индейские деревни к югу от Риу-Негру, о которых я уже упоминал, — их было несколько, не менее пяти, — были сожжены напалмом; жители, кто не сгорел заживо, были убиты — все поголовно, даже грудные младенцы... Это дело рук людей Кроу... Вы говорите — должны сохраниться следы... Не осталось следов... Эти... люди... нет... эти чудовища научились не оставлять их. Ценные сорта деревьев были вырублены, остальное предано огню. Там теперь действительно управные земли, фермы, плантации, дороги, фабрики, даже аэродромы. Там современная цивилизация с ее... благами — на месте девственной сельвы, которую населяли дикари, обитавшие в каменном веке. И поверьте мне, тех, кто ныне живет на землях империи Кроу, не тревожит судьба обитателей исчезнувшей сельвы. И бесполезно искать там доказательства свершенного зла... Люди повсюду селятся на бывших могилах, а в почвах, на которых выращивают свой хлеб, всюду есть прах бывших жертв — жертв старости, болезней, войн, тирании, преступлений...

— Кажется, мы с вами поменялись ролями, Тун, — ти-

хо сказал пастор.— То, что вы сейчас говорите, скорее пристало бы говорить мне, призывая к христианскому смирению и всепрощению.

— Нет... Вы готовы на этом остановиться, а я готовлюсь к дальнейшей борьбе. Боюсь, мы находимся на противоположных позициях по отношению к злу. И сожалею, что не сумел убедить вас.

— Не знаю... Я должен подумать... Но прошу: не задавайте ваших вопросов Чико. Можете обещать мне это?

— Вы лишаете меня возможности собрать доказательства преступления.

— Нет-нет... Продолжайте ваш поиск. Ради бога... Но мальчика оставьте в покое. Обещайте!

— Хорошо... Пусть пока будет по-вашему. Но вы тоже подумайте, пастор. Обстоятельства могут измениться, и тогда...

— Вот тогда мы и продолжим разговор.

— Если не будет поздно.

— Все в руках господа, Тун.

— Разумеется. Однако господь любит, когда ему помогают.

Сказав это, Тун подумал, что пастор может обидеться. Пастор, однако, не выразил недовольства. Он лишь покачал головой, усмехнулся и, приподняв жалюзи, высунулся в окно. Несколько раз втянув носом воздух, он сообщил, что рыба жарится, и пригласил Туна разделить с ним трапезу.

* * *

Большой белый катер Арчибальда Кроу пришвартовался у деревянного причала в устье Утаяли вскоре после полудня, когда солнце еще находилось в самом зените. Кроу в элегантном белом костюме, белых туфлях и белом тропическом шлеме первым шагнул на причал, небрежно кивнул низко склонившемуся Лопесу и внимательно оглядел берег. На обширной расчищенной площадке под могучими густолиственными фикусами, веерными равеналами и цветущими цезальпиниями¹ лежали аккуратные штабеля темных стволов со свежеснятой корой. Невдалеке в густых зарослях надрывно гудел трактор. Подъехал тяжело нагруженный лесовоз, и двое полуобнаженных рабочих возле небольшого подъемного крана торопливо принялись за разгрузку.

¹ Представители вечнозеленой древесной флоры в бассейне Амазонки.

У причала работа, кажется, спорилась... Кроу подумал, что вчерашний «втык» образумил Лопеса.

Обернувшись к своему спутнику, который неторопливо вылезал из рубки, придерживаясь за высокий борт катера, Кроу бросил:

— Сегодня тут порядок, Хьюго... Может, и зря привез вас?

Спутник Кроу молча пожал мощными плечами. Это был крупный, широкоплечий мужчина, массивного телосложения, в больших темных очках, закрывавших половину лица. Его голова была непокрыта; жидковатые светлые волосы гладко зачесаны назад; высокий, медно-красный от загара лоб наискось от виска к виску пересекала темная лента шрама. Выгоревшая безрукавка защитного цвета и короткие шорты, так же как и непокрытая голова, свидетельствовали о давней привычке к экваториальному солнцу. Во всей его массивной фигуре, неторопливых движениях, мускулатуре спортсмена-тяжеловеса на обнаженных руках и ногах, в тяжелом, почти квадратном подбородке и презрительно опущенных углах тонких губ было что-то от центурионов Древнего Рима, что-то надменно-угрожающее, внушавшее одновременно и уважение, и страх, и неизбежность безусловного повиновения.

Кроу подумал об этом, и где-то в глубине снова шевельнулась противная мысль, которой он старательно избегал, что ему как раз и недостает той убежденности в собственном превосходстве и неоспоримости права поступать по-своему, которыми наделен Хьюго. Взгляд Кроу, обращенный к «вернейшему, незаменимому и пожизненному», как было написано в завещании отца, «помощнику и другу семьи», выразил сложные чувства. Промелькнули, быстро сменяя друг друга, восхищение, зависть, тревога, брезгливость, сомнение... Видимо сосредоточившись на последнем, Кроу нахмурился и поспешил отвернуться.

Лопес украдкой переводил настороженный взгляд с лица босса на выраставшую над причалом массивную фигуру Одноглазого. Прозвище «Одноглазый» давно и прочно прилипло к Хьюго, после того как девочка-индеанка в одном из борделей Манауса выколола ему левый глаз шипом драцены. Именно поэтому Хьюго постоянно носил большие темные очки в черепаховой оправе, инкрустированной золотом.

Заметив, что босс отвернулся, Лопес поспешил приветствовать Хьюго еще более униженно, чем самого Кроу.

Хьюго поставил ногу в высоком шнурованном башмаке на доску причала, надавил, пробуя прочность дерева, и, не

обращая внимания на подскочившего Лопеса, отвернулся с коротким распоряжением к кому-то внизу в катере.

Лопес протянул руку, чтобы помочь Одноглазому перейти на причал, но Хьюго, не поворачивая головы, пробормотал «пшел» и переступил на причал второй ногой. Доски заскрипели и прогнулись под его тяжестью. Кроу с опаской глянул вниз на темную, медленно струящуюся воду Утаяли, оглянулся на Хьюго, предупредил:

— Подождите-ка там... Я сначала сойду.

Когда, сопровождаемый Лопесом, он преодолел двадцатиметровый дощатый настил причала, Одноглазый-Хьюго подал знак кивком головы, и на причале один за другим появились шестеро в полувоенной тропической униформе, с пистолетами у пояса и автоматами на груди. Они рысцой сбежали на берег, и за ними неторопливо проследовал Хьюго, тяжело ступая большими шнурованными башмаками на толстой подошве.

Кроу уже сидел в плетеном кресле у стола, под легким полотняным тентом. Стол был заставлен бутылками и разноцветными китайскими термосами. Лопес осторожно наливал в высокий хрустальный бокал прозрачную зеленоватую жидкость. Кроу призывно махнул рукой. Хьюго подошел, присел на свободное кресло с другой стороны стола. Лопес поставил хрустальный бокал перед Кроу и протянул Одноглазому бутылку с зеленой жидкостью. Тот мельком глянул на этикетку и отрицательно качнул головой.

— Напрасно,— заметил Кроу, сделав глоток из хрустального бокала,— божественная штука. Особенно в такую жару.

Он снял свой белый пробковый шлем, принялся вытирать платком лоб и шею.

— Джин с тоником, два к одному, Лопес,— объявил Одноглазый и, скрестив на груди мощные руки, откинулся в кресле.

— И это напрасно,— процедил Кроу, потягивая из своего бокала,— не понимаю, неужели вам не жарко, Хьюго?

— Жарко,— последовал ответ,— что из того?

— По обыкновению, выпендриваетесь, хотя тут ни к чему.

Хьюго презрительно усмехнулся и пробормотал что-то неразборчивое.

— Не понимаю по-немецки, уже не раз говорил вам,— наставительно заметил Кроу.

— Это не немецкий... У вас нет никаких способностей к языкам,— проворчал Хьюго в промежутке между боль-

шими глотками джина.— Вы и по-португальски едва говорите,— продолжал он после краткого молчания,— а, между прочим, ваш фатер превосходно объяснялся на десятке... нет, на двенадцати языках, не считая вашего родного американского.

— Английский, Хьюго.

— Черта с два! Какой там английский. Вы изобрели свой американский язык, вернее, полублатной жаргон... Образованные англичане вас давно перестали понимать...

— Ладно. Потрепались, и хватит.— Голос Кроу стал отрывистым и резким.— И кончайте пить, Хьюго. К делу. Докладывайте, Лопес.

— О чем?

— Все о том же... Вы полагаете, мы приехали полюбоваться вами?

— Сегодня вышли на работу...

— Я это уже заметил. Где валят?

— Сегодня у самой реки.

— А на севере?

— Людей не хватает, босс.

— Крутишь, Лопес. Тут на площадке вижу только фернамбуковую¹ древесину. Где махагониевые стволы? Фабрикам сейчас нужно махагониевое дерево. Тебе говорили...

— Махагони² тут мало, босс,— Лопес тяжело вздохнул,— совсем мало...

— Мало внизу, у реки, где рубишь. Махагони — на севере, ближе к водоразделу.

— Нет, босс, махагони по Риу-Негру везде мало.

— Вот так это выглядит, Хьюго,— сказал Кроу, разглядывая носки своих изящных белых туфель.

— Откуда они приходили?— поинтересовался Одноглазый, протягивая руку к бутылке с джином.

— Не надо, Хьюго,— попросил Кроу и тоже потянулся к бутылке.

¹ Фернамбуковое (или пернамбуковое) дерево — бразильское красное дерево (*Caesalpinia echinata*) с очень твердой и тяжелой желто-красной древесиной, которая со временем становится темно-красной. Издавна вывозилась в Европу и Северную Америку через бразильский порт Пернамбуку (Ресифи) — откуда и название.

² Махагони, махагониевое дерево — собирательное название древесины тропических деревьев красного и красно-коричневого цветов, идущей на изготовление мебели, отделку комфортабельных кают и вагонов, отделку интерьеров в дорогих отелях. Одним из представителей «махагониевого дерева» является *Swietenia mahagoni* — вечно-зеленое дерево, достигающее высоты пятнадцати и более метров. Его родина — Гаити, Куба, Южная Америка.

— Успокойтесь, Арчи.— Хьюго завладел бутылкой и плеснул в свой стакан немного джина.

— Я повторяю: откуда они приходили, Лопес?

— Кто, сеньор?

— Твои партизаны.

— Не было партизан.— Лопес испуганно замотал головой.

— Ну, тогда индейцы?

— Нет-нет, не они...

— Кто же тогда побил твоих людей? Или они сбежали, а ты просто наврал боссу, чтобы не работать на этом берегу. Ну-ка давай как на исповеди, Лопес.

— Клянусь, сеньор. Все правда... Они убили троих... Мои люди видели... Они спрятались, потому и остались живы. Потом рассказали мне...

— Где те, кто видел? Зови их сюда.

— Не могу, сеньор. Они... очень испугались тогда... Ночью убежали... Теперь не знаю где.

— Вот так это выглядит, Хьюго,— повторил Кроу.— Уж как-нибудь постарайся разгадать ребус... Что касается меня, то я...

— Подожди,— прервал Одноглазый.— Что говорили те, кто потом сбежал?

— Они очень испугались, сеньор. Сначала не хотели ничего говорить. Только кричали: «Зеленые дьяволы, тут есть зеленые дьяволы... Мы их сейчас видели...»

— Ты когда-нибудь слышал о таких?— поинтересовался Кроу.

— Ну и что дальше?— спросил Хьюго, игнорируя вопрос шефа.

— Потом они сказали, как было на северной делянке... Солнце заходило, они возвращались в лагерь; те трое еще обрубали ветви у последней фернамбуки. Вдруг они услышали крики и шум и увидели... дьяволов... Они падали с неба, а может, с верхушек деревьев, я не знаю... Те трое — у фернамбуки — кричали громко... Наверно, хотели убежать и вдруг упали.

— Так все сразу и упали,— брезгливо сморщился Кроу.— Ты действительно очень плохо придумал, Лопес.

— Подожди, Арчи,— повысил голос Хьюго.— Это совсем не так просто, как ты воображаешь. Ну, дальше, Лопес.

— У них, наверно, не было никакого оружия, и вроде они ничего не сделали тем у фернамбуки. Может, они убивают глазами? Те, кто видел, так говорили... Потом они схватили тела и исчезли...

— Как исчезли? Куда?— снова вмешался Кроу.— Бред какой-то!..

Хьюго глянул на него, шевельнул бровью, но ничего не сказал и снова отвернулся к Лопесу.

— Улетели, наверно, или ушли по верхушкам деревьев,— не очень уверенно продолжал Лопес.— Люди так говорили... Они не хотели смотреть... Побежали скорее в лагерь.

— Бред сплошной,— повторил Кроу.— А по-твоему, Хьюго?

— Какие они, на что похожи и сколько их было?— спросил Хьюго, словно не слыша вопроса Кроу.

Лопес почесал голову.

— Зеленые дьяволы сельвы, сеньор,— он щелкнул языком, прищурился,— люди о них разное болтают... Сеньор, может, слышал?.. Я сам их никогда не видал. Те парни, которые убежали, много смотреть боялись. Солнце зашло, сразу потемнело... Говорили — большие, побольше человека, с крыльями, зеленые, как листья. Прыгают высоко и летают... Еще говорили — было пять или шесть...

— Похоже на каких-то обезьян?— Кроу с трудом сдерживал негодование: поведение Хьюго начинало бесить его.— Неизвестные науке крупные обезьяны — такое ведь возможно, не правда ли? А зеленый цвет — приспособляемость к природной среде. Есть же зеленые гамадрилы... Ну а добрая половина рассказанного — выдумка и бред... А по-твоему? Впрочем, я не убежден, что все это не выдумки,— заключил Кроу, переходя на французский.

На этот раз Хьюго счел нужным ответить:

— Это мы без особого труда выясним. Если выдумка — зачем? С какой целью? Одна линия поведения. Если не все выдумка — другая линия. Если что-то действительно было, остается узнать, кто эти «шутники». Отвлекаясь от возможной чертовщины, я бы скорее предположил проделки не обезьян, неизвестных науке, а известных науке здешних индейцев. Мы их считаем дикарями, но они далеко не во всем дикари. В здешней сельве сохранились кое-где их стойбища, от которых давно пора избавиться.

— Об этом мы поговорим позже,— кивнул Кроу.— Но что ты имел в виду, упомянув «возможную чертовщину»?

— Да так, ничего особенного... Я слышал о дьяволах сельвы — зеленых или каких-то других. В этой легенде меня заставляет задуматься лишь одно обстоятельство: почему она появилась совсем недавно?

— Как недавно?

— Лет пять-семь, не больше.

Лопес, внимательно слушавший разговор, закивал головой:

— Так-так, сеньоры. Люди заговорили о них на верхней Амазонке, Журуа, Мадейре, Жапуре¹ лет семь-восемь назад. Говорят, что зеленые дьяволы не трогают рыбаков и охотников, нападают только на тех, кто вырубает сельву. Не на отдельных лесорубов, а там, где много людей, — большие вырубы. По Мадейре их прозвали защитниками сельвы, сеньоры. Ну а тут, по Риу-Негру, они, наверное, появились впервые. Мне тут раньше не доводилось слышать о них.

— Чушь какая-то, — вспылil Кроу, — «защитники сельвы»! От чего защитники? От прогресса, цивилизации? Придумают же... Идиоты!

— Ну, от чего защитники — понятно, — заметил Хьюго. — Непонятно, кто ими командует... Вот это выяснить заманчиво. Твои люди осматривали место, где видели «дьяволов»? — обратился он к Лопесу.

— Нет. — Лопес испуганно замотал головой.

— А ты сам?

— Н-нет...

— Там, может, валяются трупы твоих рабочих?

— Нет... Они утащили их... Я говорил.

— Я ему еще вчера сказал, что он трус, — вставил Кроу.

— Понятно, — сказал Хьюго, поднимаясь. — Придется прежде всего посмотреть на то место. Ты пойдешь с нами, Арчи?

— Нет, пожалуй, — Кроу показал на свой костюм, — не хочу переодеваться. Подожду вас тут. Посмотрю пока, что они заготовили для отправки.

— Понятно, — повторил Хьюго, и его тонкие губы под большими темными очками сложились в подобие усмешки. — Ну а ты поведешь нас, — обратился он к Лопесу.

— Да, сеньор, — упавшим голосом пробормотал Лопес. — Возьмем еще рабочих?

— Не надо. Пойдут мои парни.

— Можно подъехать часть пути на тракторном прицепе, сеньор.

— Дело. Подгони сюда... И не трясись ты, как скунс, Лопес. С моими парнями никто тебя не съест, кроме них самих, конечно, если проголодаются...

¹ Правые притоки Амазонки.

Хьюго, его парни и Лопес возвратились перед заходом солнца. К удивлению Кроу, с ними был еще кто-то. Пока они слезали с тракторного прицепа, Кроу внимательно разглядывал незнакомца. Это был высокий худощавый человек лет пятидесяти, загорелый, бородатый, в белом полотняном костюме, длинных, до колен, коричневых сапогах и широкополой соломенной шляпе, украшенной голубой лентой. Он опирался на тонкую трость с массивной металлической рукояткой.

— Бьерн Карлсон,— представился он, подходя к Кроу и снимая шляпу,— доктор экологии, комиссар ЮНЕСКО при Амазонской миссии в Манаусе. Рад с вами познакомиться, мистер Кроу. Много наслышан о вас и вашей фирме...

— Не могу сказать того же о вашей миссии, мистер Карлсон,— усмехнулся Кроу.— Впервые о ней слышу.

— Мы здесь только начинаем,— скромно пояснил Карлсон,— у нас еще все впереди, как и в экологической науке... Но,— он тоже усмехнулся,— надеюсь, еще услышите о нас.

— Как вы очутились тут?— Кроу хотел добавить: «на арендованных мною землях», но почему-то остерегся.

— Видите ли... Мне пришлось принять участие в небольшой экспедиции, организованной моими друзьями... бразильскими ботаниками. Мы разбили наш лагерь недалеко отсюда. Мои друзья задержались в маршруте, а я воспользовался любезным приглашением господина Биттнера и позволил себе удовольствие навестить вас.

— Они разбили лагерь в том самом месте, куда мы направлялись,— хмуро пояснил Хьюго,— именно там, а где-нибудь еще... Забавно, Арчи, не так ли?

— Мы прилетели сегодня в полдень,— кивнул Карлсон.— Тот ваш выруб показался нам удобной площадкой для посадки вертолета. Мы не предполагали, что работы еще продолжаются, тем более что...— он прервал и развел руками,— не знаю, как точнее выразиться...

— Профессор удивлен, что мы тут рубим сельву.— Тонкие губы Хьюго сложились в язвительную усмешку.— Там и здесь, у реки, в общем, на этом берегу Рио-Негру. Он утверждает — здесь какие-то резервации...

— По-видимому, произошла ошибка,— поспешно сказал Кроу.— Все эти земли на длительный срок арендованы у федерального правительства еще моим отцом. Мы потом всё легко уточним, а пока предлагаю поужинать. Ужин

уже сервирован в салоне катера. Прошу вас, профессор. Пошли, Хьюго, а твои ребята пусть ужинают на берегу.

— Я, пожалуй, тоже останусь тут,— проворчал Одноглазый.— У Лопеса наверняка найдется местная водка...

Лопес закивал поспешно.

— Ну вот, значит, порядок. Мы с профессором уже успели поднаесть друг другу. А ты, Арчи, побеседуй с ним. Профессор — занятный человек: он датчанин, недавно был в Париже — наверняка расскажет тебе массу интересного.

Карлсон испытующе взглянул на Хьюго, но промолчал. Хьюго усмехнулся, кивнул Карлсону и, сопровождаемый Лопесом, направился к столу под тентом, возле которого уже собрались его парни.

Кроу провел Карлсона в салон, извинился, что исчезнет на минуту, а сам снова сошел на берег и разыскал Хьюго.

— Нашли вы там что-нибудь?— тихо спросил он у своего помощника.

— Того, что искали, не нашли,— ухмыльнулся Хьюго, наливая себе в стакан зеленоватую местную водку,— абсолютно ничего, кроме этой странной экспедиции. Поговори, поговори с ним, Арчи. Только не очень... приоткрывайся. Он, конечно, приятный человек, культурный человек, умный человек, может, даже... чересчур умный, но мне он не нравится. С детства не терплю слишком умных, приятных и культурных,— он залпом проглотил водку,— датчан... Твое здоровье, Арчи!

* * *

Ужин прошел натянуто. Снаружи доносились возбужденные голоса, взрывы хохота, а за столом в салоне собеседники перебрасывались лаконичными, ничего не значащими фразами. Не помогло и шампанское... Кроу так и не удалось разговорить датчанина. Лишь после кофе, когда они поднялись с сигарами на мостик катера, Карлсон сказал:

— Изумительная ночь. Люблю ночи на экваторе. Особенно в сельве. Этот ее шорох, таинственный, зовущий... Слышите? И аромат... Какая симфония запахов... И звезды над самыми кронами деревьев...

Кроу глянул вверх, хотел сказать, что звезд сегодня почти не видно, но вместо этого поинтересовался:

— А вам уже приходилось бывать в этих краях?

— Да...— Карлсон скрестил руки на груди и о чем-то задумался.

— Именно тут, на Риу-Негру?— попробовал уточнить Кроу.

— Да... В других местах тоже... И ужасно жаль,— он испытующе взглянул на Кроу,— жаль, что эта девственная сказочность стремительно исчезает под напором нынешней предприимчивости. Нет, жаль — не то слово... Уничтожение тропических лесов — преступление, мистер Кроу, преступление перед человечеством. Особенно тут, в Амазонии. Эти леса — легкие Земли.

— Людям надо место, где жить,— заметил с улыбкой Кроу,— нужны пахотные земли, чтобы выращивать хлеб, а всему человечеству нужна древесина, целлюлоза... Людей на Земле, если не ошибаюсь, уже более пяти миллиардов.

— Да-да, конечно... Но, во-первых, не следует рубить сук, на котором сидишь, а во-вторых, выруб амазонской сельвы не приносит ожидаемых благ. Почвы на месте вырубленной и выжженной сельвы очень быстро теряют плодородие и не дают ожидаемых урожаев. Фермеры, осевшие на таких землях, быстро разоряются и бегут отсюда. В близкой перспективе, после того как будут вырублены здешние леса, сюда придет пустыня.

— Ну, не думаю, что дело обстоит столь трагично,— попробовал возразить Кроу.— Люди же и позаботятся, чтобы эти земли не скудели.

— А люди ничего не смогут сделать. Это не в их силах... На опустыненной территории сельву не возродить. Тут сейчас совершается трагическая ошибка. Одна из многих сделанных в двадцатом веке. Не исключено даже — самая трагическая...

— Не понимаю,— нахмурился Кроу.

— Ну почему же? Это так просто. Амазонская сельва — самая грандиозная на континентах фабрика кислорода. Таких лесов больше нет нигде. Не забывайте, мистер Кроу, от пояса тропических лесов ныне на Земле едва ли сохранилась одна треть... Две трети уже уничтожены безвозвратно, главным образом за минувшие сто — сто пятьдесят лет. В последние десятилетия темпы сведения лесов угрожающе растут. Если так будет продолжаться дальше, уже в начале следующего века лесов на Земле не останется. Поступление кислорода в атмосферу резко сократится, а наша промышленность и особенно транспорт потребляют его все больше и больше. В крупных городах кислорода уже не хватает для дыхания людей. Впрочем, недостаток кислорода еще не самое страшное. Прежде чем люди и животные начнут задыхаться от недостатка кислорода, в атмосфере резко возрастет количество угле-

кислого газа. Когда вы выжигаете селву, углерод, содержащийся в растительных тканях, превращается в углекислый газ, а он главным образом поступает в атмосферу. Когда же на место уничтоженных лесов придет пустыня, в углекислый газ превратятся и органические вещества почв, ибо при опустынивании почвы разрушаются. Так вот, углекислоты, которая перейдет в атмосферу за счет сведения тропических лесов и разрушения тропических почв, будет вполне достаточно, чтобы средняя температура на Земле поднялась на три — три с половиной градуса из-за парникового эффекта. Слыхали о таком?

— Слышал что-то... — Кроу пожал плечами.

— Углекислота в атмосфере играет роль стекла или полиэтиленовой пленки в парниках: пропускает извне солнечное тепло, а обратно от земли тепла не пропускает. Чем больше в воздухе углекислоты, тем сильнее парниковый эффект, то есть тем выше среднегодовая температура, тем теплее климат. Повышение температуры, о котором я говорю, неминуемо приведет к таянию полярных льдов. За последнее десятилетие оно уже усилилось. Все более крупные айсберги отделяются от льдов Антарктиды и уплывают в океаны, где постепенно тают. Сокращение полярных льдов даже на одну треть повысит уровень Мирового океана на десять-двенадцать метров. Представляете? Это будет означать еще один потоп — второй после библейского и не менее серьезный по последствиям, — ведь в зоне затопления окажутся большинство крупнейших городов и даже целые страны. Придется переселять миллиарды людей — цивилизации в целом будет причинен урон трудно поправимый...

— Хотите сказать, что я могу оказаться в числе виновников такого потопа? — засмеялся Кроу.

— А вы уже в их числе, — без улыбки ответил Карлсон. — Мы сегодня пролетали над вашей концессией на том берегу. Вы оголили огромную территорию. Сверху страшно смотреть. И на юго-востоке уже началось разрушение почв.

— Там начинал еще мой отец. — Кроу небрежно махнул рукой. — Я слышал — там плохие почвы.

— Почвы тут везде плохие, — Карлсон сделал ударение на последнем слове, — плохие, если уничтожить селву.

— Я не совсем понимаю, господин Карлсон. — Кроу нахмурился. — Зачем вам понадобилось читать мне эту... лекцию?

— Я это делаю всюду, где встречаю людей, от которых

зависят судьбы здешних лесов,— спокойно сказал Карлсон.— Такова моя обязанность, как эколога и представителя ЮНЕСКО.

— Извините, но тут вы находитесь на моей земле.— Кроу с трудом сдерживал нарастающее возмущение.

— Ну, не совсем,— Карлсон миролюбиво усмехнулся,— однако я думаю, нам не стоит дальше продолжать этот разговор. Уже поздно, и к тому же я ваш гость...

— Хорошо... Мы можем продолжить его завтра.— Кроу закусил губы.— А сейчас объясните все-таки, что значит «не совсем»? Как это понимать? Не совсем моя земля?

Карлсон с любопытством взглянул на своего собеседника. Прежде чем отвечать, он вынул изо рта сигару и приготовился стряхнуть пепел в воду, но в этот момент совсем близко за бортом катера раздался громкий смех и в темноте послышался хриплый голос Хьюго:

— Эй, Арчи, не заводись, я же предупреждал тебя... Доктор Карлсон, вы не обращайте внимания. У Арчи больные нервы... От здешней духоты... Я надеюсь, доктор Карлсон, вы не сказали Арчи про журналиста?

— Нет,— покачал головой Карлсон.

— Ну вот и прекрасно, а то бы он совсем расстроился...

— Что еще за журналист?— Кроу бросил подозрительный взгляд на Карлсона, но, прежде чем тот успел ответить, снова отвернулся в темноту.— Эй, Хьюго, где ты там? Какой журналист?

— Завтра, завтра,— донеслось издали,— спокойной ночи, Арчи.

— Нет, я хочу знать сегодня. Вернись, Хьюго!

Послышался смех, треск веток под тяжелыми шагами, потом голос Хьюго откуда-то из чащи прибрежных кустарников:

— Арчи, я пьян... Боюсь свалиться в воду... Ты ведь не хочешь, чтобы я утонул. Доктор Карлсон все знает про этого паршивого журналиста... А если коротко — он тоже ищет зеленых дьяволов и тебя... И всем, кого встречает, рассказывает, что ты дерьмо и хочешь присвоить чужую землю... Но ведь это совсем не так, Арчи... Всем известно, кто ты есть... И доктору Карлсону тоже... Спокойной ночи, джентльмены...

— Пьяный скот!— крикнул в темноту Кроу.— Не вздумай возвращаться на катер, пока не проспиться... Сколько раз я просил тебя... Извините его, доктор Карлсон, и меня извините... Здешняя духота действительно действует на нервы... Кстати, там, где сельва вырублена, воздух

становится суше... Там легче дышать... — Он тяжело перевел дыхание. — Ночлег для вас приготовлен в каюте за салоном. Первая налево... Желаю спокойной ночи. А мне придется все-таки выйти на берег. Боюсь, как бы эти пьяницы не натворили чего-нибудь...

* * *

На следующее утро Карлсон распрощался тотчас после завтрака. Он мягко отклонил предложение Кроу посетить его фазенду¹ и не возвращался больше в их беседе ни к экологии сельвы, ни к вырубам на левобережье Риу-Негру... Кроу, которому не терпелось продолжить вчерашний разговор и уточнить кое-что, тем не менее не рискнул это сделать. Он испытывал какую-то необъяснимую робость перед Карлсоном, хотя и не хотел в том себе признаться. Карлсон его и раздражал, и одновременно чем-то привлекал и настораживал...

«Станный человек, — подумал Кроу, глядя вслед уходящему датчанину, — что ему тут понадобилось? Дело, конечно, не в приглашении Хьюго. И без него появился бы здесь или на фазенде... В свое время отец совершил трагическую ошибку. Надо было арендовать земли выше по Риу-Негру. Отсюда слишком близко до столицы штата... Вот и появляются всякие Карлсоны, ботанические экспедиции, журналисты. Где-то в верховьях Риу-Негру были земли Фигуранкайнов — видимо, тоже большое поместье... К ним туда так просто не доберешься... Впрочем, о Фигуранкайнах — после краха их нью-йоркской фирмы — ничего не слышно. Может, и здесь их не осталось... Надо бы разузнать... На этом берегу, видимо, все-таки придется свернуть работы. Не сразу, конечно, но придется... Дело не в «зеленых дьяволах», о которых без конца твердит этот дурень Лопес, и даже не в журналистах и не в Карлсоне, но так будет вернее... Потом можно и возвратиться, если ситуация изменится. А пока...»

Приглядевшись, Кроу обнаружил, что Карлсон уже исчез из виду. «Странно, даже не захотел, чтобы его подвезли. До их лагеря не меньше двенадцати километров. Идти три часа. Смелый он человек... Три часа одному в сельве. — Несмотря на влажную жару, Кроу почувствовал холодок за плечами. — В сельве всякое может случиться...»

Он вдруг вспомнил о Хьюго: «Интересно, куда они все подевались? Никого не видно. Дрыхнут, наверное, после

¹ Фазенда — поместье (португ.).

вчерашнего?.. Подонки! Хьюго последнее время совсем обнаглел. Давно пора от него избавиться... Если бы не прошлое...— Кроу тяжело вздохнул.— Слишком многое ему известно. Даже отец побаивался этого типа. Конечно, фирма обязана ему многим... И все же. Об этом придется подумать... Рано или поздно их пути разойдутся. Лучше пусть раньше... Надо только найти ему замену».

Кроу вернулся в салон, взял сигару, раскурил, продолжая размышлять: «Таких людей, как Хьюго, в моем окружении, по-видимому, больше нет. Значит, придется искать. У Фигуранкайнов, помнится, был управляющий. Звали его Цвикк. Вот этот подошел бы. В Манаусе о нем можно узнать...— Он бросил взгляд на часы: — Уже десять... Куда, однако, все подевались?» На берегу возле штабелей фернамбуки, палаток, деревообрабатывающей техники и подъемного крана никого не было видно. Кроу подошел к двери салона, прислушался. Не слышно ни голосов, ни шума трактора.

Он уже собрался сойти на берег и заглянуть в лагерь, но в это время на дальнем конце поляны, там, где началась дорога, ведущая на северный выруб, появились три фигуры. Кроу пригляделся — узнал Хьюго и двух его парней. Они шли не торопясь: Хьюго впереди, парни следом; последний заметно прихрамывал.

Возле палаток они задержались — стали о чем-то советаться. Потом Хьюго махнул рукой и направился к причалу, а парни один за другим скрылись в палатке.

Уже ступив на причал, Хьюго разглядел Кроу, стоящего в дверях салона; он остановился, вскинул правую руку:

— Хайль, шеф!

— Зайди-ка.— Кроу не счел нужным отвечать на идиллическое приветствие.— Надо поговорить.

По тонким губам Хьюго промелькнула усмешка. Кроу успел заметить ее и нахмурился:

— Заходи, заходи... Времени мало. Скоро отплываем.

— Так я пойду предупрежу ребят.

— Успеешь.

Дождавшись, когда Хьюго подойдет к борту катера, Кроу спустился в салон. За спиной слышал потрескивание деревянных ступеней под тяжелыми шагами своего помощника.

В салоне Кроу присел у стола, указал Хьюго место напротив. Хьюго опустился в кресло и хлопнул в ладоши. Из буфетной выглянула курчавая голова боя.

— Пива!

— Может быть, ты все-таки сначала выслушаешь меня! — возмутился Кроу.

— Я могу это делать одновременно, — спокойно сказал Хьюго, — пить пиво и слушать тебя. Я ничего не пил с утра и, между прочим, уже прошагал два десятка километров. Я хочу пить...

Появился курчавый черный бой с подносом в руках. На подносе стояли бутылка пива и хрустальный бокал с кусочками льда. Хьюго взял бутылку с подноса, поднес к губам и, запрокинув голову, принялся пить прямо из горлышка. Бой замер на месте, не отрывая взгляда от ритмично двигающегося вверх и вниз кадыка Хьюго. Покончив с пивом, Одноглазый облегченно вздохнул, вытер губы тыльной стороной левой руки и, положив пустую бутылку на поднос, который продолжал держать бой, коротко приказал:

— Еще...

Кроу ждал, подперев подбородок ладонью и постукивая пальцами по крышке стола.

Бой принес еще несколько бутылок пива, поставил на стол и принялся осторожно наливать пиво в бокал со льдом. Затем он пододвинул бокал Хьюго и вопросительно взглянул на Кроу. Тот отрицательно покачал головой.

— Проваливай, — сказал Хьюго, отхлебывая из бокала. Когда бой исчез, он повернулся к Кроу:

— Ну?

— Послушай, Хьюго, — начал Кроу возможно спокойнее, — тебе не кажется, что ты ведешь себя вызывающе?

— Нет.

— Я имел в виду — по отношению ко мне... Ты забываешься. То, что ты позволил себе вчера, да и сегодня тоже...

— Ты позвал меня, чтобы сказать это?

— Нет, — крикнул Кроу, — я вообще не собирался говорить на эту тему, если бы ты... Но теперь говорю: ты играешь с огнем. И это может кончиться плохо. Я уже предупреждал...

— У тебя совсем разболтались нервы, Арчи, — голос Хьюго стал мягким, почти бархатным, — наверное, и сегодня опять не спал?.. Тебе решительно надо отдохнуть... Поезжай в Манаус или в Ресифе, даже в Рио... И не беспокойся ни о чем. Здесь все будет в порядке, как при тебе, или даже лучше...

— Прекрати свое шутовство. — Голос Кроу опять сорвался на крик. — Давай говорить серьезно.

Лицо Хьюго словно окаменело. Он отодвинул недопи-

тый бокал с пивом, пригладил волосы и молча скрестил руки на груди.

Кроу вдруг сразу остыл. Не то чтобы его испугала реакция Хьюго... Просто он подумал, что, в сущности, ничего серьезного не произошло. Вчера Хьюго напился «до скотства», такое с ним бывало и раньше... Сегодня? В общем, тоже ничего особенного не случилось. Хьюго хам по натуре и не скрывает этого и никогда не скрывал. Отец в таких случаях говорил: «Надо принимать его таким, какой он есть...» А то, что связывает Хьюго с семьей Кроу, гораздо важнее...

— Знаешь, не обижайся, старина,— сказал Кроу, опустив голову.— В чем-то мы оба не правы. Не в этом главное. Главное — дело... К нему и вернемся... Как ты оцениваешь здешнюю ситуацию?

— Конечно, авантюра, но ее следует довести до конца.

— То есть?

— Вырубить тут все, что можно, до самого водораздела. Там выше хорошая древесина. Лучше этой.— Хьюго указал пальцем в окно.— Вырубить, остальное выжечь, как обычно, а потом... потом смотри...

Хьюго достал из кармана скомканный носовой платок, развернул. На белой ткани матово поблескивали округлые желтоватые чешуйки и зерна размером с чечевицу и помельче.

— Что это? — не понял Кроу.

— Посмотри получше.

— Золото?

— Оно самое. И кажется, его тут немало.

— Как ты ухитрился? Где?

— Тс!.. Не надо громко, Арчи. Это Карлсон... Никакие они не ботаники... Геологи. Я это понял еще вчера — у них в лагере. Там лежали образцы золотосодержащих руд. Они ищут золото, это ясно. А Лопеса одурачили. Я теперь убежден, его рабочие сами нашли здесь золото, распустили слух о дьяволах сельвы и сбежали, чтобы потом вернуться, когда тут никого не будет.

— Невероятно! — Кроу покачал головой.— Наши люди всюду искали золото на том берегу. У отца одно время работала целая группа геологов.

— Знаю... Там не было... А на этой стороне есть. Понимаешь теперь, как важно закрепиться тут?

— Да, но граница концессии действительно проходит...

— Проходит там, где мы с тобой ее проведем, Арчи. На том берегу тоже не все было точно. Теперь там

плантации. Пойди докажи, откуда там твой фатер начал вырубать сельву.

— Так что будем делать?

— Порядок! Я уже начал... Геологи-ботаники сейчас сматывают удочки. Если, конечно, успеют... Там у них возле самого лагеря неприятность. Сельва загорелась... Дождя давно не было, так что сам понимаешь... Конечно, пропадет часть хорошей древесины. Но, думаю, не очень много. Барометр падает. К ночи соберется гроза. Ночью все погаснет. Пожары в этих местах дело обычное...

— Но как же ты...— ошеломленно пробормотал Кроу.— Даже не посоветовался...

— Зачем? Железо надо ковать, пока горячо. Утром я проверил место, откуда исчезли твои рабочие. Там вблизи протекает ручей. Вот это оттуда, из того ручья.— Хьюго указал на золотые крупинки.— Ботаники там еще не успели побывать. Значит... Значит, надо было ускорить их отлет. Пожар ко времени.

— Но они, вероятно, знают про здешнее золото?

— Про это едва ли... Это россыпное золото из ручья. А у них в лагере образцы руд из золотоносных жил. Где-то они наткнулись на жильное месторождение. Где — мы пока не знаем... Но я надеюсь, удирая сейчас от пожара, они растеряют взятые образцы и позабудут, откуда взяли. А мы потом постараемся все выяснить... О нашем золоте из ручья наверняка знают сбежавшие рабочие. С ними не будет проблемы. Они обязательно вернуться, и тогда,— Хьюго выразительно прихлопнул ладони, растер в них воображаемого комара,— наше от нас не уйдет, Арчи.

Кроу слушал внимательно, не отрывая взгляда от черных очков Хьюго. Кажется, Хьюго снова все решил сам, и ему, Кроу, остается лишь припечатать новую инициативу Одноглазого своим согласием? Ситуация, правда, прояснилась: тут его заслуга бесспорна. Перспективы обнадеживающие... Кроу бросил беглый взгляд на золотые крупинки, поблескивающие на столе. Найти золото было мечтой отца, но на том берегу Риу-Негру золота не оказалось... И вот теперь эта мечта — мечта их семьи,— может быть, близка к осуществлению... И снова благодаря Хьюго. Что за ирония судьбы!

— Ты все это ловко устроил,— сказал Кроу, когда Хьюго замолчал и принялся за пиво.— Я, правда, опасюсь за приятелей Карлсона... Кстати, его самого ты, очевидно, встретил, когда возвращался сюда?

Не отрывая от губ бокала с пивом, Хьюго отрицательно качнул головой.

— Как же так? Он ушел за час до вашего появления.

— Мы никого не встретили,— заверил Хьюго, отставляя пустой бокал и протягивая руку к следующей бутылке.

— Нет, невозможно,— Кроу нахмурился.— Ему некуда было деться. Там прорублена одна дорога.

— Повторяю — мы никого не встретили.— В голосе Хьюго послышалось раздражение. Он помолчал немного, отхлебнул пива и добавил уже совершенно иным тоном: — А в сущности, какое нам дело до этого датчанина? Мало ли что с ним могло приключиться. Сельва есть сельва...

— Так что теперь следует делать? — спросил Кроу.

Хьюго уловил в вопросе шефа неуверенность и усмехнулся:

— А ничего особенного. Ты собирался возвращаться в фазенду. Поехали... Я тут оставлю пару своих парней. Они присмотрят за Лопесом... и за порядком. Если хочешь, могут даже заняться поисками Карлсона...

— А ты?

— Я же сказал — поеду с тобой. Я ведь отвечаю за твою безопасность. Ну а потом мне тоже придется заняться поисками... журналиста, который нам с тобой тут совершенно ни к чему... Не так ли, Арчи?

* * *

К вечеру поднялся ветер и запах дыма усилился. В хижину, отведенную Туну Читапактлю, заглянул встревоженный отец Антонио:

— Это пожар, Тун. Сельва горит. И где-то не очень далеко... В поселке одни женщины и дети. Мужчины еще не вернулись...

Тун отложил бумаги. Встал из-за стола. Вышел наружу. Глянул вверх. В темнеющем небе, высоко над кронами деревьев, ветер гнал к северу серовато-белые рваные облака. Раскидистые кроны раскачивались на ветру и глухо шумели.

Запрокинув голову, Тун не отрываясь глядел на уносимые ветром причудливые облачные клочья. В них было что-то угрожающее. «Кажется, и там дым...»

— Странный запах,— заметил, пригнувшись, Антонио,— вы не находите? Слово бы отдает керосином.

— Пожалуй,— Тун опустил голову, нахмурился,— значит, напалм. Сельву подожгли.

— Что вы, Тун... Невозможно... И зачем?

— То самое, о чем я вам говорил... Когда должны вернуться мужчины?

— Завтра,— подсказал неизвестно откуда взявшийся Чико.

— Придется уходить на тот берег,— сказал Тун.— Река должна остановить пламя.

— Но поселок сгорит! — всплеснул руками Антонио.

— Да, по-видимому. Надо спасать людей.

— Тут нет лодок. На них ушли мужчины.

— Сделаем плот, женщин и детей перевезем на плоту. Пошли, Чико.

— Я сейчас прибегу помогать вам,— крикнул Антонио,— только выпущу змей, которых сегодня принес Чико.

К полночи плот был готов. Десяток пальмовых стволов скрепили веревками и лианами. Никто в селении не спал. Женщины и дети уже собрались на берегу. Малыши дремали за спинами матерей, дети постарше испуганно жались у самой воды. Вокруг слышался кашель. Селение уже заволокло дымом. Дым стлался и над рекой. На востоке взошла луна, но сквозь дым ее свет почти не доходил до земли. Зато с юга по небу надвигалось багровое зарево, и во мраке сельвы между темными стволами деревьев уже появились красноватые просветы. Оттуда, из глубины сельвы, все явственнее доносились угрожающий гул и треск.

— Надо грузиться,— сказал Тун.— За один раз всех не заберем. Придется возвращаться.

— Вы с Чико плывите с первой группой,— предложил Антонио,— а я останусь с теми, кто не поместится. Первыми пусть плывут дети и женщины с малышами.

— Распорядитесь, отец мой.— Тун взял в руки длинную доску, чтобы использовать ее вместо весла.— Вас они лучше послушаются.

В суматохе посадки никто не обращал внимания на противоположный берег. Тун, разместившийся со своим веслом на дальнем конце плота, первым глянул туда и ахнул. Там между стволами деревьев уже плясали языки пламени. Он указал на них Антонио, и оба, как по команде, повернулись в противоположную сторону. Тут стена огня находилась в нескольких сотнях метров от поселка и неумолимо приближалась.

В отчаянии Антонио воздел руки к небу:

— Господи, ты же видишь, что происходит. Помогите нам, помогите этим несчастным!

Дети на плоту подняли крик. Им начали вторить женщины на берегу.

— Сажайте на плот всех,— крикнул Тун,— всех до одной. Попробуем выплыть на середину реки и удержаться там.

— Плот не выдержит.

— Сажайте.

Крики на берегу вдруг смолкли.

— Быстрее на плот,— Антонио махнул рукой,— все на плот, быстрее.

Однако никто не двинулся. Женщины, сбившись в кучу, смотрели куда-то вверх.

Антонио тоже глянул вверх и остолбенел. Что это? Он бредит или... свершается чудо? Большие крылатые существа беззвучно кружили на фоне багрового зарева над кронами деревьев. Это не были птицы. И они не суетились... Они совершали широкие спокойные виражи, приближались к самой стене огня и снова возвращались к реке, а стена огня с каждым их приближением темнела, опадала, угасала почти на глазах. Редел и дым, он словно растворялся в ночном воздухе.

На плоту тоже затихли. Теперь все — и Антонио, и дети, и женщины, и Тун с Чико на плоту — не отрывали взглядов от удивительных крылатых созданий, беззвучно кружащих над рекой и горящей сельвой.

«Чудо, господи, чудо. Хвала тебе, господи!» — билась мысль в голове ошеломленного Антонио, а где-то совсем рядом возникала, прорываясь, другая мысль, которую Антонио не хотел, не имел права допустить. Не отрывая взгляда от свершавшегося в небе, он пытался вспомнить слова молитвы и не мог.

Пламя пожара угасало. Они потушили его. Потушили у самого края поселка. Но как? Каким способом? Этого Тун Читапактль понять был не в состоянии. Он невольно подумал о тайнах, которыми владели его далекие предки. Мысленно усмехнулся. Нет, здесь совсем другое... Наверху уже никого не было видно. Тун опустил голову, потер затекшую шею. Огляделся. Дети на плоту продолжали зачарованно глядеть вверх. Никто не произносил ни слова. За поселком в сельве, откуда еще совсем недавно надвигалась стена пламени, темно. На противоположном берегу огня тоже не видно. Небо чуть багровело далеко на юге, а над головой сквозь узор ветвей и листьев ярко светила почти полная луна. Серебристые пятна лунного света, пробившегося сквозь неподвижную листву, лежали на земле и на крышах хижин. Серебристой дорогой бесшумно струилась у ног река.

— На берег, сходите на берег,— обратился Тун к женщинам и детям на плоту.— Возвращайтесь в свои хижины. Беда миновала.

Поглядывая наверх, они молча покидали плот. Так же молча расходились по поселку. В тишине слышался лишь шорох шагов.

Привязав плот к воздушным корням лаурелии, росшей возле самой воды, Тун и Чико подошли к отцу Антонио. Он стоял, подобный изваянию, на залитой лунным светом утопанной площадке между деревьями. Склоненная голова касалась молитвенно сложенных ладоней.

— Не будем мешать,— шепнул Тун.— Он молится.

— Нет-нет, друзья мои,— со вздохом отозвался Антонио, медленно поднимая голову,— не молюсь, хочу понять...

— Если бы я верил в чудеса...— начал Тун.

— Я верю в них,— поспешно сказал Антонио.— Но сегодня... Чудеса творит бог, силы добра. Или нам все это привиделось?

— Привиделось или нет, но пожар погас.

— Это были дьяволы сельвы,— убежденно заявил Чико.— Зеленые дьяволы сельвы. Значит, они добрые. Почему они тогда...— Он не кончил и, закусив губы, глянул исподлобья на пастора.

— Зло не может творить добро,— растерянно пробормотал Антонио.— Ты ошибся, мой мальчик.— Он положил руку на курчавую голову Чико.— То не дьяволы сельвы...

— Тогда кто?

— Я не знаю.

— Попробуем выяснить это завтра,— сказал Тун,— может быть, узнаем, чем они сбили пламя.

— Просто захотели, и огонь погас.

— Если так, им необязательно было появляться и летать над поселком, Чико. Они летали довольно долго. Они чем-то воздействовали на огонь.

— Рассказы о них я считал легендой,— Антонио говорил совсем тихо, словно обращаясь к самому себе,— стала ли легенда явью, или это сон, бред, галлюцинация? Или Всевышний захотел испытать нас?

— Нам следует отдохнуть,— сказал Тун,— до рассвета еще есть время. Пожар погас, и пока нам ничто больше не угрожает. А утром поглядим, подумаем...

Перед рассветом Туна разбудил шорох дождя. Капли шуршали в листве, все громче постукивали по крыше и в спущенные деревянные жалюзи. Потом послышались раскаты грома и нарастающий шум ливня.

«Дождь, пожалуй, смоем все следы»,— подумал Тун и снова заснул.

— Все сгорело, босс,— Лопес всхлипнул,— ничего не успели спасти. Машины, палатки, инструменты, все пропало...

Выглядел Лопес жалко. Лицо в копоти, усы и брови опалены, одежда в дырах, пояса с пистолетами нет.

Кроу уже знал о пожаре. Утром сообщили по радио из поселка на правом берегу Риу-Негру. Кроу приказал послать катера, оборудованные противопожарными устройствами, но их на месте не оказалось. Ночью их вызвали тушить еще один лесной пожар где-то в противоположном направлении — в стороне Манауса.

Теперь вот явился Лопес. Стоя посреди кабинета хозяина, он переступал с ноги на ногу и со страхом глядел на Кроу.

— Все там погасло? — спросил Кроу, постукивая пальцами по столу.

Лопес пожал плечами:

— Все вроде... Дождь утром был сильный. Если бы не дождь, нам бы не выбраться оттуда. Тоже сгорели бы.

— Леса много пропало?

— Много, сеньор... Огня было, как воды в Риу-Негру, стеной шел.— Лицо Лопеса искривила судорога.

«Неужели из-за Хьюго? — думал Кроу.— Называется, выкурил друзей Карлсона! Эта идиотская затея, пожалуй, обойдется в несколько миллионов... И сам опять куда-то исчез... С утра не могут разыскать... А его дурни и этот кретин Лопес ничего не сумели сделать».

— Проспал пожар? — Кроу с отвращением взглянул на Лопеса.— К самому лагерю огонь подпустили? Опять перепились с вечера!

— Клянусь, сеньор! Я ни в чем не виноват! Огонь пришел, как молния. Никогда такого не было. Клянусь!

— Ты мне надоел, Лопес. И не оправдал моих ожиданий. Мне не нужны такие работники. Считай, что ты уволен с сегодняшнего дня. Стоимость потерь с тебя удержат, а не хватит — пойдешь в тюрьму.

Кроу не без оснований ждал, что Лопес испугается еще больше, начнет упрашивать не увольнять его, но ничего такого не произошло.

Лицо Лопеса словно окаменело, постоянно прищуренные глаза совсем исчезли в складках век. Тыльной стороной ладони он обтер уголки губ и негромко, раздельно сказал:

— Не спеши, босс... Лопес — нужный человек. Лопес кое-что знает...

— Что такое? — угрожающе протянул Кроу. — Да ты соображаешь, тварь, с кем разговариваешь?

— Не спеши. — Губы Лопеса искривила усмешка. — Знаю, что говорю. Спроси Одноглазого...

— Ах вот что. — Кроу вспомнил, что Лопеса ему рекомендовал Хьюго. — Но ты ошибаешься. Хозяин здесь я.

— Знаю, босс. — Лопес сглотнул набежавшую слюну. — Я не про то... Я тоже боюсь Одноглазого, как и ты... И не верю ему, как и ты... Пожар его дело, но...

— Да ты ошалел, — прервал Кроу, но тут же сообразил, что лучше дать Лопесу выговориться. Поэтому заключил вопросом: — С чего ты взял?

— Знаю, босс. Все знаю... Одноглазому помогли зеленые дьяволы. Это они пригнали ночью огонь...

«Совсем ошалел, — решил Кроу, осторожно выдвигая ящик стола, где лежал заряженный пистолет, — если только он двинется ко мне...»

Лопес предостерегающе выставил руку:

— Не спеши, босс... Ты тот раз говорил — надо стрелять. Я стрелял...

— В кого? — Кроу положил руку на пистолет.

— В зеленого дьявола... Они там были ночью. Гнали огонь на нас... Люди рассказывали — зеленые дьяволы гасят огонь в сельве. Эти гнали огонь на нас. Я стрелял в одного...

— Ну? — Теперь, с пистолетом в руке, Кроу уже не опасался Лопеса.

— Попал, видно... Он крикнул и стал падать, кувыркался, — Лопес показал пальцем, как падал «дьявол», — падал и кричал: «Хьюго, Хьюго...»

— И вы выбрали его?

Лопес развел руками:

— Как подберешь? Упал в огонь. Но потом был дождь. Огонь потух. Что-нибудь осталось. Я знаю то место, босс.

— А люди Хьюго? Они видели?

— Один там остался... Тоже стрелял, после меня. Но, — Лопес опустил голову, — дерево с огнем упало. Не успел отбежать. Другого мы привезли. Совсем плохой. Весь обгорел. Много раненых, обгорелых, шеф. Надо в больницу.

— Больница далеко. — Кроу потянулся к телефону. — Я скажу своему доктору. Он посмотрит. Поможет, кому не поздно. Где твои люди?

— На барже... Едва дотянули катером.

— Пусть выгружают. Распорядись и приходи сюда. Доктор подойдет.

— Надо плыть, босс.

— Я подумаю.

— И не надо говорить Одноглазому.

— Иди-иди и возвращайся быстрее.

* * *

— Я уезжаю, Антонио. Мне надо как можно быстрее попасть в Манаус. Если бы вы согласились отпустить со мной Чико...

— Я уже сказал — нет. Да он и не согласится покинуть меня.

— А если нам отправиться в Манаус втроем?

— Зачем? Для меня все случившееся — чудо.

— Чудес не бывает, Антонио.

— Мы оба и все обитатели поселка были свидетелями чуда. Я, конечно, сообщу о чуде епископу. Может быть, теперь он отпустит немного денег и удастся соорудить тут небольшой храм в память о чуде.

— Чудо, чудо! Вы же интеллигентный человек, Антонио!

— Не стоит продолжать наш спор, Тун. Мы оба интеллигентные люди, но я служитель церкви, а вы — атеист. Я уже понял: нам не разубедить друг друга. Возможно, моя позиция кажется вам недостаточно аргументированной, но и у вашей нет никаких вещественных доказательств. Вы не нашли ничего.

— Перед рассветом прошла гроза. Был сильный дождь. И, кроме того, я не имел возможности сделать анализы почвы, обугленной растительности. Кто знает, что могли бы показать анализы.

— Здешные индейцы относятся к племени йаномами. Севернее их соплеменники еще кочуют по сельве. Эти осели недавно. Они еще остаются собирателями, охотниками, следопытами сельвы. Чутье никогда не подводило их. И в сельве они никогда не ошибаются. Я тоже побывал с ними на пожарище, прошел вдоль границы, где стена огня вдруг остановилась. Они слушали, нюхали, смотрели, ложились на землю, пробовали на вкус обгорелые ветви и плоды. И они сказали твердо: тут был огонь, и ничего больше. Только огонь, который сам погас.

— Но почему?

— Этого они не знают. Причины для них не существует. Был огонь и погас. Это все.

— А для нас с вами, Антонио?

— Для меня — свершилось чудо.

Тун покачал головой:

— Я бессилен... Придется ехать одному. И у меня нет никаких доказательств, нет свидетелей. Не знаю даже, захочет ли шеф публиковать мои репортажи. «Чудо над сельвой»? Кому это сейчас надо?

— У вас есть и многое еще.

— И во всем не хватает доказательств. Разумеется, я постараюсь вернуться сюда как можно скорее, с телеоператором, но я боюсь... Я почему-то боюсь оставлять вас тут одного, Антонио.

— Разве я один? Со мной Чико и все они. Господь однажды оборонил нас, не оставит и дальше в беде.

— Мне очень не по душе уезжать одному, но сейчас это совершенно необходимо. Жаль, что вы не хотите ехать со мной.

Пастор улыбнулся, развел руками:

— Я же говорил...

В полдень Тун Читапактль покинул селение. Двое охотников, вооруженные луками и короткими копьями, взялись проводить его до устья Боа-Негру, откуда можно было бы добраться почтовым катером или вертолетом до Карвуэйру. Все обитатели селения, во главе с вождем и отцом Антонио, собрались на берегу. Когда долбленая лодка с тремя путешественниками отбыла от берега, все, как один, подняли руки в прощальном приветствии, а вождь высоко подбросил вверх украшенное перьями копье и, ловя его, крикнул:

— Дети Луны желают тебе удачи на твоей охотничьей тропе, брат наш Тун! Возвращайся и всегда найдешь здесь еду и кров!

Тун не отрываясь глядел назад, на отдаляющийся берег. Он пробыл тут совсем недолго, но, видимо, оставил частицу сердца в этом лесном селении, укрытом под пологом сельвы. Щемящая боль утраты не покидала его. Он уже догадывался, что в ней заключено предчувствие, но еще не знал, кому угрожает опасность — ему ли или тем, кого покидает. Последним он разглядел на берегу под раскидистыми ветвями огромной лаурелии Антонио. Лодка уже исчезала за поворотом реки, когда отец Антонио высоко поднял правую руку и осенил уплывающих широким крестом.

А спустя два часа над селением появился большой зеленый, в бурых пятнах, вертолет. Он пролетел над самыми кронами деревьев, и какой-то человек в больших темных очках выглянул в приоткрывшуюся дверь и бросил

вниз белый сверток. Сверток упал на землю между хижинами. Первыми к нему подбежали малыши. Антонио, вышедший наружу на гул вертолета, тоже увидел сверток. Он хотел крикнуть, чтобы дети не трогали его, но в этот момент сверток вспыхнул ослепительным пламенем. Раздался оглушительный грохот, дети исчезли в огненном вихре, а ближайшие хижины разметало в стороны. Антонио тоже бросило на землю, что-то горячее резко ударило его по лицу. Поднявшись на колени, он провел ладонью по щекам, увидел кровь. Мелькнула мысль: «Я ранен...» Тут он вдруг почувствовал, что возле колен шевелится что-то живое. Он глянул: это была совсем маленькая коричневая детская ручка — только ручка от пальцев до предплечья. Миниатюрные пальчики еще конвульсивно двигались — сжимались и разжимались. Антонио закричал пронзительно, дико, иступленно и, оглушенный собственным криком, уже не слышал, как отовсюду несутся крики, мольбы, стоны...

* * *

Вертолет приземлился на выгоревшую поляну в нескольких сотнях метров от селения. Хьюго сошел первым. За ним высыпались его парни в пятнистых шлемах и комбинезонах, с автоматами поперек груди. Хьюго оглянулся на них, широко расставил руки. Пригнувшись и направив перед собой автоматы, парни побежали вниз к селению постепенно расширяющейся цепью.

— В деревню без меня не входить! — крикнул им вслед Хьюго. — Глядеть в оба! Живыми взять только рыжего пастора и этого ублюдка с репортерской сумкой. Вы со мной, — кивнул он двум оставшимся, — от меня ни на шаг. А ты, — Хьюго повернулся к пилоту, — давай еще раз вверх и сбрось пару «конфеток». Потом вернешься и жди тут.

* * *

Прилетев в Манаус, Бьерн Карлсон решил прежде всего поговорить с Цвикком. Они познакомились полтора года назад, когда Карлсон только приступал к своей миссии в Амазонии. Из всех бизнесменов штата Мигель Цвикк тогда произвел на Карлсона наиболее благоприятное впечатление. Потом они встречались еще не раз, и Карлсон смог убедиться, что Цвикк безусловно порядочный человек и на его слова можно полагаться. Карлсон начал даже подозревать, что Цвикк — один из немногих здесь его единомышленников... Правда, временами Цвикк

надолго исчезал из Манауса, но на этот раз, к счастью, оказался в городе. Они договорились встретиться вечером того же дня в отеле «Хилтон», где у Цвикка было бюро фирмы и личные апартаменты.

Цвикк ожидал Карлсона в холле, крепко пожал руку и пригласил поужинать в ресторане на крыше отеля.

— Там, наверху, попрохладнее,— сказал Цвикк, пропуская Карлсона вперед, когда открылись двери скоростного лифта.

Вслед за ними в кабину лифта вошли еще несколько человек. Поднимались молча. Цвикк вытирал клетчатым носовым платком круглое розовое лицо и короткую шею.

«Здоровяк,— думал Карлсон, поглядывая на крупную, плотную фигуру своего спутника.— Наверняка за шестьдесят, а держится молодцом. В здешнем-то климате...»

Наверху, на открытой веранде ресторана, действительно было прохладнее. С юго-востока от широкого, осеребренного луной разлива Амазонки повеяло освежающим ветром. Внизу тысячами светляков горели и переливались огни и разноцветные неоны Манауса, над головой искрились неяркие звезды. Усаживаясь за столиком в дальнем углу веранды, Бьерн Карлсон отыскал глазами Южный Крест. Он висел невысоко над горизонтом и при полной луне не казался таким ярким, как неделю назад в сельве.

Цвикк, закончив переговоры с официантом, испытующе глянул на Карлсона и покачал головой:

— Вам, видно, досталось в этой поездке, Бьерн. Высохли еще больше.

Карлсон усмехнулся, провел ладонью по впалым щекам и бороде, кивнул:

— Было... Попали в небольшую переделку.

— Лесные пожары? — Цвикк нахмурился.— По левым притокам Риу-Негру?

— А вы откуда знаете, Мигель?

— Я все знаю.— Маленькие, глубоко посаженные глазки Цвикка хитро блеснули.

— Это был поджог. Лес подожгли напалмом.

— Стоило соваться в такие места! Чего вы там не видали?

— Боюсь, сельву подожгли именно потому, что мы там появились.— Карлсон не отрывал внимательного взгляда от лица Цвикка.

— Догадались, значит...

— Этого не знаю. Я там повстречал любопытных людей — некоего американского бизнесмена и... вероятно, его компаньона...

— Американского бизнесмена звали Кроу? Арчибальд Кроу, не так ли?

— Вот именно, а его компаньона — Хьюго Биттнер.

— Это уже серьезно! — Цвикк коснулся пальцем губ.

Официант подкатил к их столику трехъярусную тележку, заставленную бутылками и блюдами со всевозможными закусками. Принялся сервировать стол.

— Цены на нефть падают, — говорил Цвикк, внимательно разглядывая этикетки на бутылках, которые расставлял официант. — Нет, амиго, эту замените. — Он указал на одну из бутылок.

Официант торопливо переставил бутылку на тележку.

— Не тот год, — продолжал Цвикк, обращаясь к Карлсону, — я заказал ром, произведенный двумя годами раньше. А у этого, — он кивнул на отставленную бутылку, — особый привкус, мне лично не по душе. Так вот, я и говорю: мы в Бразилии перевели наш автотранспорт на алкоголь, который вырабатываем из сахарного тростника, а нефть дешевеет. Не пришлось бы снова возвращаться к бензину.

Официант укатил тележку. Цвикк разлил в бокалы густое красное вино. Поднял свой бокал:

— Выпьем за успех вашего благородного предприятия, Бьерн.

Карлсон тоже поднял бокал:

— Нашего общего, Мигель! Я ведь не ошибаюсь?

— Ну как сказать, — Цвикк усмехнулся, — вы хотите спасти амазонскую сельву?

— Хочу сохранить для будущих поколений.

— А я, — Цвикк вздохнул, — хотел бы наладить тут рациональное хозяйствование.

— Сохраняя тропические леса, не так ли?

— В основном да. Восстанавливая то, что вырубается.

— Значит, мы союзники.

— До определенной границы. — Цвикк отпил глоток вина и, разглядывая бокал на свет, продолжал: — Вы настаиваете на сохранении девственной сельвы, во всяком случае, значительной части ее, так сказать, в первозданном состоянии. Я преобразую сельву. Я беру от нее все ценное, что она может дать, и снова выращиваю тут лес, но лес, состоящий из наиболее ценных пород — ценных для человека. Однако это уже не ваша сельва, Бьерн, это вторичный лес, как в Европе, в Штатах. Экология, столь важная для вас, нарушается весьма существенно. Так что не знаю, — Цвикк снова глотнул вина, — союзники мы или противники.

— Моя роль и роль моих коллег в нынешнем сложном, мягко говоря, мире довольно затруднительна, — помолчав, заметил Карлсон. — Вероятно, мы основательнее, чем кто-либо на Земле, убеждены, что сведение лесов обернется для человечества ужасающей катастрофой, все последствия которой сейчас даже трудно предвидеть. С другой стороны, мы понимаем, что дальнейшее развитие прогресса и так называемой цивилизации мы не остановим. Рано или поздно все еще уцелевшие тропические леса будут вовлечены в орбиту хозяйственной деятельности. И не только тропические, это относится и к канадским лесам, и к советской Сибири. Я лично вижу выход в создании обширных заповедных территорий, резерваций, заказников, национальных парков — называйте как угодно. В них должны сохраниться первичные леса со всеми их экологическими связями. Ну, не со всеми, конечно, такое теперь уже просто невозможно, — с большинством связей. На остальной территории придется допустить рациональное хозяйствование. Рациональное — то есть, прежде всего, умное, дальновидное, рассчитанное не на сегодняшнюю прибыль, а на долговременное сотрудничество с природой. Таким образом, Мигель, вы — наш союзник, а вот Кроу... — Карлсон прервал и покачал головой.

— Если бы Кроу был одинок! — Цвикк долил вина в бокалы. — В Амазонии сейчас тысячи таких, как Кроу. Десятки миллионов гектаров сельвы ныне принадлежат американцам или арендованы ими на длительные сроки. Идет настоящий грабеж. Вывозится не только ценная древесина, но и золото, драгоценные камни, редкие металлы. Для этого в амазонской сельве создана целая сеть секретных аэродромов. Думаю, их тут не меньше тысячи. Федеральное правительство, а тем более власти штатов, особенно Амазонии, справиться с этим бедствием совершенно не в состоянии. Здешние земли распродавались оптом и в розницу еще при диктатуре военных...

— Которая может возвратиться?

Цвикк внимательно поглядел на своего собеседника:

— Не исключено... Недавно один из генералов в интервью газете «Трибуна де импренса» сказал примерно так: «В определенный момент армия вынуждена будет выйти из казарм. Не знаю когда, не знаю, кто ее выведет... Но если правительство будет продолжать действовать, как теперь, армия может вмешаться еще до очередных выборов...» Разумеется, американцам это было бы на руку. Не только Кроу и ему подобным, но и тем — в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго.

— Тогда положение безвыходное, Мигель?

— Ну, я так не думаю... Военные если и придут, лишь на время. Вы же знаете Латинскую Америку. Чехарда диктатур и конституционных правительств здесь дело обычное. Тут надо полагаться на себя, на свои собственные силы и возможности. Прямым — законным путем добиться справедливости, утвердить здравый смысл тут почти невозможно, даже и при конституционном правительстве. Здесь все продолжает решать сила. Кроу и его соотечественники не изобрели ничего нового. Они воспользовались лишь традиционными методами старых бразильских фазендейро.

— Разве вы не американец, Мигель?

— Помилуй бог! Я бразильский подданный, а родился в Эквадоре.

— Но вы не похожи на латиноамериканца.

— А что такое латиноамериканец? Кого только среди нас нет. Во мне, например, кровь эквадорских индейцев. Отец был наполовину поляк, наполовину индеец.

— Вы говорите, здесь все решает сила.— Карлсон сделал долгую паузу.— Вы в этих краях давно. Ваша фазенда где-то в самой глубине сельвы? Скажите, Мигель, «зеленые дьяволы» — кто они такие или... что они такое?

На широком лице Цвикка появилось выражение искреннего удивления.

— Так ведь это легенда. Легенда местных индейцев — йаномами и других.

— Возможно, когда-то существовала такая легенда. Недавно она воскресла или ее воскресили, и я убежден, вы не можете не знать об этом.

— У местных племен множество всевозможных легенд, Бьерн. Есть и более удивительные... Например, о «летающих тарелках»...

— А они не связаны?

— Вам лучше поговорить с этнографами...

Официант снова подкатил свою трехъярусную тележку — на этот раз с горячими блюдами. Цвикк опять заговорил о ценах на нефть, о золотой лихорадке, все шире распространяющейся в Бразилии.

— Знаете, Бьерн, сколько сейчас золотоискателей в Амазонии? Не меньше восьми миллионов. В основном — безземельные крестьяне, безработные... Чтобы стать золотоискателем, достаточно иметь таз, лопату и немного продовольствия... Золотоискатели проникают в самую глушь амазонской сельвы. Тысячами гибнут от болезней, от укусов ядовитых насекомых и змей. Ну а те, кому повезет,

празднуют победу тут, в Манаусе... Манаус не только столица штата, это «столица» амазонских золотоискателей. Город наводнен мошенниками, спекулянтами, преступниками. Ради золота, которое здесь скупают, построен новый аэродром — теперь тут могут приземляться любые самолеты. Выросли десятки новых банков, организована телексная связь с «большим миром», образовались армии частных детективов, телохранителей, проституток. А вы говорите о резервациях, заповедниках в сельве... Кому этим заниматься? Власти Манауса едва-едва справляются с делами и бедами в самом городе. За его пределами они бессильны. Там истинные хозяева — фазендейро и авантюристы вроде Хьюго Биттнера, который, кстати, и не Биттнер совсем.

— Вы знаете этого человека?

— Знаю кое-что о нем, не все, конечно... Личность яркая, загадочная и весьма опасная. Такому не стоит перебегать дорогу.

— Я убежден — именно он и его люди подожгли сельву на левобережье Риу-Негру.

— Не вздумайте сказать это кому-нибудь, кроме меня. Его отлично знают в Манаусе, у него есть друзья, а человеческая жизнь тут стоит меньше, чем самая маленькая крупинка золота.

— А здешняя полиция?

Цвикк добродушно рассмеялся, махнул рукой:

— Принимайтесь-ка лучше за еду, Бьерн. Эти тарелки и блюда с подогревом, но и они недолго сохраняют мясо горячим... А мясо бразильской игуаны теряет свой неповторимый аромат, если остынет...

За кофе датчанин вернулся к интересовавшей его теме:

— Однако «дьяволы сельвы»... Вы ведь так ничего и не сказали... Что о них известно?

— С чего вы взяли, будто мне что-то известно? — пожал плечами Цвикк.

— Не хотите сказать... Жаль.

— Нет, не то... От легенд мало проку, а если точнее, бьюсь об заклад, вам тоже кое-что должно быть известно... Вы немало побродили по здешней сельве.

— Хотите, скажу, что думаю обо всем этом?

Цвикк отставил чашку с недопитым кофе, прищурился:

— Любопытно.

— Это вполне реальные существа: специально тренированные боевики или достаточно совершенные биороботы, использующие летательные аппараты нового типа...

— Интересная гипотеза...

— Да, пока гипотеза, и, вероятно, от вас зависит, станет ли она теорией... Так вот, Мигель, я продолжаю: «дьяволами» управляет некий таинственный центр, который, скорее всего, находится где-то в глубине Амазонии, обладает неплохими техническими возможностями и, возможно, поставил себе задачу сохранить амазонскую сельву или, в крайнем случае, замедлить ее разрушение до тех пор, пока люди наконец сообразят, на что замахнулись...

— Ну-ну, продолжайте,— кивнул Цвикк, так как Карлсон вдруг замолчал.

Однако датчанин поднялся из-за стола и поманил кого-то рукой:

— Сюда, сюда, Тун... Это Тун Читапактль. Он из здешней газеты,— объяснил Цвикку, когда журналист, прижимая ладони к груди, приблизился к их столику.— А может быть, вы знакомы?

— Немного,— кивнул Цвикк, внимательно глядя на Туна.

— Простите меня, мистер Карлсон,— тихо сказал Тун, и по его бесстрастному коричневому лицу скользнула гримаса боли,— я искал именно господина Цвикка... и вас... Мне говорили... Но позвольте мне присесть...

— Да-да, конечно,— Карлсон торопливо пододвинул кресло,— вам нехорошо?

— Пустяки... Случилось несчастье, большое несчастье.— Тун говорил совсем тихо, обращаясь теперь только к Цвикку.— Они... уничтожили ту деревню... всех. Пастора Нуньеса — тоже, детей... По реке плыли трупы, и мы вернулись. Но там был только огонь. Нас выследили и охотились на нас, как на диких зверей... Мои провожатые — ребята из той деревни — погибли. Я вырвался... Сам не знаю как, но сумел... Я обязан рассказать обо всем... За мной идут по следу. Люди Одноглазого... Полчаса назад в меня стреляли, но я опять ушел от них... Вот...— Он оторвал ладонь от груди и показал Цвикку.

На пальцах была кровь.

— Вы ранены?— всполошился Карлсон.— Надо срочно вызвать врача.

— Нет.— Тун снова прижал руку к груди.— Все равно через несколько минут меня убьют или арестуют... Я... Я только что... застрелил Одноглазого. Он сидел внизу в холле — дожидался конца охоты. Я убил его, как бешеного пса... Возьмите мои бумаги, сеньор, тут все написано, как было...

Тун с трудом вытащил из внутреннего кармана куртки несколько мелко исписанных листков. Протянул Цвикку.

На бумаге темнели пятна крови.

Цвикк неторопливо свернул протянутые листы, сунул в карман. Поднялся из-за стола. Подозвал официанта.

— Помогите нам отвести этого парня ко мне в апартаменты и сразу вызовите врача. Ужин закончим там, у меня.

— Слушаюсь, сеньор.

Втроем они попытались приподнять Туна, но тело журналиста вдруг отяжелело и голова бессильно упала на грудь.

— Понесем его,— предложил Цвикк.

У дверей, ведущих на веранду, послышался какой-то шум, и тотчас там появились несколько фигур в белых костюмах и больших темных очках, с автоматами наготове.

Поводя автоматом, один из вошедших громко крикнул:

— Никому не шевелиться! Или перестреляем всех...
Нужен только один из вас. Не шевелиться...

На веранде воцарилась гробовая тишина. Официанты превратились в изваяния. Глаза всех, кто сидел за столиками, были устремлены на приближающиеся белые фигуры с автоматами.

Цвикк легонько потянул Карлсона за рукав и заставил немного отодвинуться от кресла, в котором полулежало тело Туна. И отодвинулся сам.

Обходя зал, белые фигуры постепенно приближались к их углу.

— Эге, вон он там!— послышался чей-то крик, и тотчас возле их столика очутились трое, наставив стволы автоматов на Цвикка, Карлсона и неподвижное тело Туна.

— Здесь, шеф, но он не один,— крикнул тот, что держал под прицелом Цвикка.

Неторопливо подошел четвертый с опущенным автоматом. Внимательно оглядел Цвикка, Карлсона, скользнул взглядом по неподвижному телу Туна.

— Отойди,— приказал официанту.

Трясущийся официант сделал несколько шагов в сторону.

— Знаешь его?— спросил незнакомец Цвикка, кивнув на журналиста.

— Не более, чем вас, сеньор,— спокойно ответил Цвикк.

— А как он оказался тут, за вашим столиком?

Цвикк молча пожал плечами.

— Прибежал... подсел к столу... сеньоры позвали меня,— пробормотал сзади официант.

— Заткнись там! Совсем не знаете?— Шеф банды не отрывал настороженного взгляда от Цвикка.

— Я же сказал...

— Спрашиваю потому, что меня вы должны бы знать, сеньор Цвикк.

— Ну, если вы меня знаете, уже хорошо,— прищурился Цвикк.— Впрочем, если приподнимете очки, может, и я узнаю...

— В другой раз! Извините, что помешали ужинать, сеньоры. Это он виноват.— Говоривший указал на Туна.— А ну посмотри,— приказал одному из бандитов,— жив еще или...

— Пададь. Уходил с моей пулей.

— Ладно... Забери сумку и документы.

— Кроме сумки, ничего нет, шеф.

— Тогда пошли. Чао, сеньоры!

Банда исчезла. Веранда постепенно оживала.

Карлсон бессильно опустил в кресло. Закрыв лицо руками.

Цвикк осторожно коснулся его плеча:

— Я послал официанта за полицией. Придется принять версию, подсказанную официантом. Вы слышите, Бьерн? И ни слова о документах, которые успел передать этот бедняга. Я понимаю, у вас ко мне теперь куча вопросов. Постараюсь все объяснить немного позднее...

* * *

Чико с трудом пробирался через сожженный лес. Он уже не ощущал боли от ожогов. Боль превратилась в пылающий огонь, который постепенно сжигал его тело. Остатки обгоревшей одежды он давно сбросил. Одежда причиняла боль невыносимую, а так — оставшись нагим — он еще мог двигаться. В его мозгу жила лишь одна мысль: отомстить... Отомстить за отца Антонио, за остальных... Отомстить белым дьяволам, спустившимся с неба. Белым дьяволам сельвы, которые второй раз за его недолгую жизнь принесли муки и смерть всем, кого он знал. И он отомстит... Справедливый бог, про которого так часто говорил отец Антонио, не даст умереть, пока он, Чико, не встретит белых дьяволов... У него нет оружия, его руки сожжены, но у него еще остались крепкие зубы. Справедливый бог поможет ему... Надо только не останавливаться, идти вперед, пока ноги несут его полусожженное тело.

Надо идти туда, откуда восходит солнце. Там находятся поселения белых. Там он отомстит за отца Антонио, за всех...

* * *

— Зачем вы придумали все это, Лопес? Зачем, черт вас побери, вам понадобилось тащить меня сюда?— спросил Кроу, усаживаясь на складной стул, поставленный Лопесом в тени полуобгоревшей лаурелии, которая росла недалеко от того места, где раньше находился причал.

— Клянусь вам, сеньор...

— Я уже устал от вашего вранья, Лопес. Вы хотели убедить меня, что тут все потеряно из-за вашего ротозейства?

— Клянусь, сеньор, все было, как говорил... Он был тут, лежал... Я показал место, где он упал. Все горело кругом, не горели только его крылья. Человек Одноглазого тоже видел... Стрелял, потом хотел подбежать, дерево упало... Ты видел, он там лежит, а дьявола нет, нет крыльев, ничего нет... Я не знаю почему. Не знаю, сеньор, но, клянусь святыми дарами, говорю правду.

— Мы еще побеседуем обо всем этом, когда вернемся... Иди, поторопи, чтобы побыстрее собрали, что там осталось от этого парня... Пусть грузят на катер, и поплывем. Сколько времени потеряли зря!

— Клянусь, сеньор...

— Проваливай, говорю...

Кроу остался один. Подумал, что, наверно, стоило бы перейти на катер, но не хотелось смотреть, как будут грузить останки погибшего. Здесь, в тени, зной почти не ощущался. От реки задувал влажный ветерок.

Кроу снял пробковый шлем, пригладил волосы. Мысли снова вернулись к словам Лопеса. Здравый смысл подсказывал, что Лопес все-таки наврал. Но зачем? Кроу поплыл сюда с единственной целью — показать этому наглецу Хьюго, что и он, Кроу, кое-что может. Без помощи Хьюго... Даже и не «кое-что», а вот сумел добыть легендарного «дьявола сельвы». Интересно, как бы повел себя в этом случае Хьюго? Кроу усмехнулся, но тут же снова помрачнел. А что, если Хьюго все знает об этих «дьяволах»? Ведь если Лопес кое в чем прав... И поведение самого Хьюго подозрительно. Все эти его исчезновения... В самые ответственные моменты... Вот хотя бы теперь... Третий день неизвестно где. И не предупредил...

Шорох в ветвях лаурелии заставил Кроу приподнять голову. То, что он увидал, было так страшно, что он оце-

пенел. Он не успел ни двинуться, ни закричать... Лишь когда лишенное кожи чудовище прыгнуло на него и у самого лица блеснули оскаленные белые зубы, Кроу заскулил чуть слышно...

* * *

— Ужасный конец,— сказал Карлсон, откладывая газету.— Живому перегрызли горло... Ужасно даже и в том случае, если все обвинения в его адрес справедливы...

— Но ведь вы читали последнюю корреспонденцию Туна,— пожал плечами Цвикк.

— Читал, однако многое остается неясным.

— «Дьяволы сельвы»?

— Хотя бы... Но не только...

— Автор корреспонденции, в которой описана гибель Арчибальда Кроу, называет «дьяволами сельвы» индейцев. Их трагедия его не волнует. Он твердит о непреодолимых инстинктах каменного века. Он даже не пытается размышлять о том, что жестокость никогда не порождает ничего, кроме жестокости... А ведь, по существу, жестокость нашего времени ничуть не уступает той, что известна в прошлом. Среди нас живут люди, способные уничтожить все человечество.

— И все-таки, Мигель, «дьяволы сельвы»— кто они?

— Для меня лично истинные «дьяволы сельвы» это ныне покойный Арчибальд Кроу, это его приспешник и опекун Хьюго и еще многие подобные им.

— Ну а те, которых описал Тун?

— Те — ваши помощники... Только они не всегда успевают справляться со своими обязанностями, которые добровольно на себя возложили. Как и вы, Бьерн... Я думаю, вам еще предстоит встретиться с ними... Вероятно, они сами придут к вам в нужный момент...

Александр ЩЕРБАКОВ
Кукушонок
Повесть



ПРЕДИСЛОВИЕ

ти записки были переданы мне лицом, пожелавшим, чтобы они хранились у меня и не предавались гласности, покуда будет жив депонент. Указанное лицо изложило мне мотивы своего пожелания, я счел их основательными, принял и выполнил поставленное условие.

Наверное, следует указать, что эти материалы хранились у меня более двадцати лет.

Разумеется, едва записки попали в мои руки, я попытался прочесть их. Это было трудное чтение. Насколько могу судить, автор трижды брался за дело, всякий раз начиная с иного события и отношения к окружению и всякий раз обрывая повествование на полуслове. Обычно в таких случаях предпочтение отдается последнему по времени варианту, но в домашних условиях невозможно было определить, какой из вариантов последний. Документы А1 и А2, как я их обозначил, находились в общей папке (А1— машинописный, А2— написанный от руки). Документ А3, тоже машинописный, был в особой папке. Все три документа пространны, но А3 по объему меньше, чем А1 и А2. В папку с документом А3 вложено несколько десятков разноформатных листков (Документ В), текст на которых, частично написанный от руки, частично исполненный на личном процессоре, местами причудливо перекликается с разными страницами документов группы А. Многие В-листы смяты, часть разорвана, текст кое-где частично, кое-где полностью смыт ацетоном. Руко-

писные А2- и В-листы заполнены двумя разными почерками (иногда оба почерка чередуются на одном листе). Помимо этих двух папок в комплект хранения входила дискета С1, явно со словесным текстом. Но запись производилась в условиях заражения программным вирусом весьма прихотливой природы и в прямом воспроизведении была просто невразумительна.

Окажись дело в руках специалистов, будь им известна истинная канва событий, они быстро привели бы записки в удобочитаемый связный вид. У меня же не было ни приборной техники, ни дополнительных сведений. Но за двадцать лет, мало-помалу, в несколько заходов, соблюдая всяческие меры предосторожности и предельно используя доступную аппаратуру, я прояснил многие темные места и организовал материал в нечто целостное.

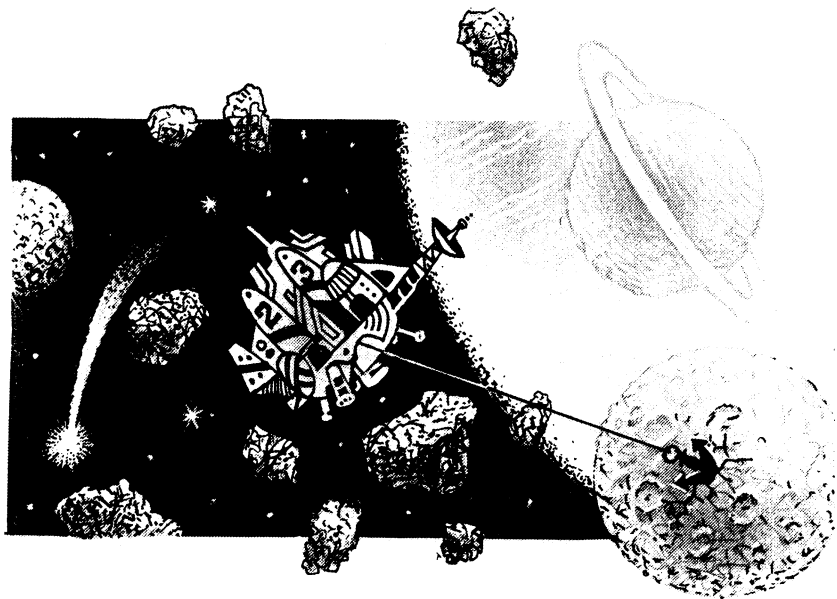
Что удалось выяснить?

Графологическая экспертиза (графолог-любитель) утверждает, что оба почерка принадлежат одному и тому же лицу. Мне не понятно, как это может быть, но эксперт уверяет, что люди с двух почерках не такая уж и большая редкость. Как правило, говорит он, это так называемые «переученные левши», то есть левши, которых с детства принуждали пользоваться правой рукой. Он уверяет, что такое отношение к левшам еще в недавнем прошлом было чуть ли не общепринятым (во что верится с трудом). По его словам, таких людей отличают крайняя несамостоятельность поведения, резкие беспричинные смены настроения, несобранность, несколько неуклюжий, но неутомимый полет воображения. На мой вопрос, можно ли считать эти признаки необходимыми и достаточными факторами формирования личности, способной на инсайт, то есть на внезапное решение задачи в условиях острого стороннего психологического давления, графолог ответил советом обратиться к психофизиологу. Эксперт убедительно показал мне, что почерки практически отличаются только наклоном, и даже предложил программу конформного преобразования одного почерка в другой на экране дисплея. Программа очень помогла мне при чтении неясно написанных слов.

Специалист по вычислительной технике (из числа моих друзей) ознакомил меня с процедурой излечения записи, пораженной программными вирусами, и рекомендовал оборудование. Следуя его указаниям, я довольно успешно восстановил запись на дискете С1. Оказалось, что это стихи. Моя поэтическая эрудиция слаба, но все же мне удалось провести экспертизу на авторство записанных стихо-

творений (подробности и выводы см. в тексте). Возможно, кое-кому из читателей удастся пойти вперед в этом отношении дальше, чем мне. Сочту их указания неоценимой помощью.

Неоднократно обследуя листы Документа В, я обнаружил, что в отраженном поляризованном свете удастся прочесть текст, смытый ацетоном, по следам, оставленным на бумаге пишущим инструментом. Восстанов-

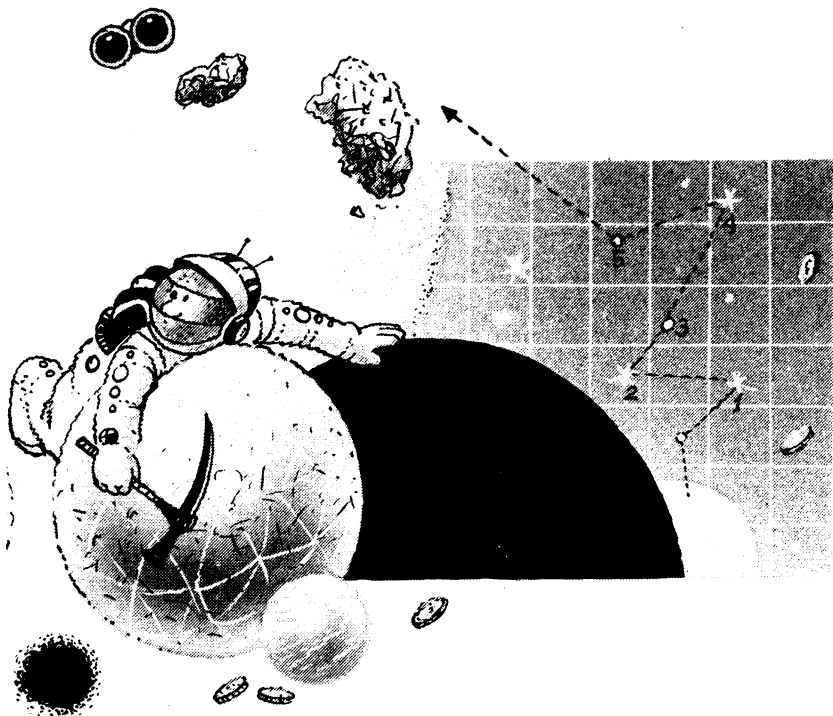


ление смытого текста — занятие весьма кропотливое (и, должен заметить, не всегда оправданное), но мне спешить не приходилось. Результат налицо — лишь об оторванных частях смытых текстов я не могу высказать сколько-нибудь убедительных соображений.

Наибольшую сложность представляло приведение записок к форме последовательного изложения. Мне удалось разработать и применить несколько приемов алгоритмизации такого приведения, но сведения, приведенные в документах, иногда настолько недостаточны, что раз или два я почувствовал себя обязанным сделать вставки, дабы по-

яснить канву событий хотя бы в меру своего понимания. И за это приношу покорнейшие извинения читателям более проницательным, чем я.

Теперь об имени автора и названии записок. В текстах имя не упоминается ни разу. Почти все двадцать лет я был убежден, что оно мне известно (со слов депонента). Это имя я и вывел в название записок, отправляя магнитопись литературному агентству. Через полгода



агентство известило меня о заключении издательского договора, но одновременно прислало три предварительные рецензии за подписями авторитетных экспертов мемуарного жанра. В каждой из рецензий выражалась одна и та же претензия: с какой-де целью публикатор изменил общеизвестное имя автора записок? Причем во всех трех приводились якобы истинные имена, и во всех трех — разные.

Тогда я решил убрать имя автора даже из названия. Выбор нового названия я доверил остроумной программе, как говорят, применяемой профессиональными литера-

торами. Полученный результат поначалу меня несколько коробил, но постепенно я привык к новому названию и даже вижу в нем некий смысл. Труды же по установлению истинного имени автора оставляю грядущим поколениям исследователей, если они не найдут себе более плодотворного занятия.

По обычаю, в конце предисловия полагается благодарить конструкторов и производителей электронных устройств, использованных в работе, но, положив руку на сердце, теплых слов признательности заслуживает лишь небольшая группа работников бюро обслуживания, беспрекословно и мгновенно заменявшая хромящиеся блоки заикающимися, и наоборот. Их горячее сочувствие и хлопотливая готовность помочь явно не соответствовали той малой корысти, которую они при этом извлекали. Только благодаря им я сохранил веру в технический прогресс и человечество, а последнее немаловажно, когда готовишь к печати материалы такого рода.

АЗ:

Битюг он. Битюг артиллерийский!

Зеванула обслуга, бочком-бочком подвинул он ворота и потопал по белу свету. Копыта — каждое с зарядом в мегакулон, обо что приложит — все вдребезги. Ноздри паром бухают — Гекла на раздумье. Лбище с Книгу Судеб, а под ним — робконько мечтанице о битюжьем царстве. О водах: мути — не замутишь, о травах: топчи — не затопчешь.

Прет себе битюг и преуспевает. Не сбруя на нем, а как бы фрак. И все равно от него конским потом шибает — орхидейки мигом дохнут, стоит ему вжучить цветок в пельку на лацкане.

Однако это модно — мордовать на лацкане какую-нибудь живность, платя за это тысячные штрафы. Моде надо следовать — так нашептывают консультанты. Про орхидейки на лацкане это не он сам придумал — консультанты подсказали. Да вот беда — мрут цветочки. Думал-думал — изобрел: холуй таскает за ним переносную оранжерею и каждые полчаса подает его битюжеству свежую пленницу.

Наверняка он и ко мне ввалится в сопровождении своего орхидей-лейб-гимmlера, чтобы тот заодно раскинул нам достархан на двоих.

Ввалится, всю скворечню мне обтопочет, пару книг крупом с полок на пол вывернет, вон ту стекляшку смахнет, взмокнет от стыдухи, спросит, почем взята, и предло-

жит мне в битюг раз больше. Это такой у битюгов способ просить прощения.

Душевные переживания бухнут ему изнутри в бока, он пошатнется и рухнет в кресло. Рухнет, умильно уставится, и мы приступим к ритуалу отвержения даров...

Дары — это так у битюгов называется меновая торговля.

Битюг дарит — значит, ему что-то позарез нужно. Дар принят — битюг разом переходит в режим домогательства. Теперь у него есть право. Зубом! Копытом! Боком! Грызи! Топчи! Жми! От имени справедливости и любви.

Недра битюжьи обильны огненной любовью — прекрасным платежным средством двухцелевого назначения. Порция любви — одновременно расплата за все прошлое и залог за все будущее. Еще подарить какую-нибудь пустяковину, фиг-ноличек, — и все наше, битюжье, законное. Вали!..

Во время оно толку с меня битюгу было на фиг-нолик. Облезлая кощонка на живодерне имела больший шанс выжить, чем я рядом с ним. Ударил черный час — битюг решил, что я могу быть полезен. Цена мне стала — миллион, я обдан его любовью до гроба. Надо ж так оплошать!

В придачу к любви мне предлагалась Нобелевская премия по астрономии. Нет такой? Учредим.

В какой-то черной дыре очередной пастырь завел академию наук на манер штрафного батальона. Так, может быть, я приму от него галуны полного четырехзвездного колдуна от естествознания. Плюс дарственную на тихий островок при экваторе. С гуриями, балаториями.

Слава богу, я не коллекционер. Тут бы он меня пришил.

А может, начать коллекционировать? Какие-нибудь там струйки дыма от черных дыр.

Втравил-то его во всю эту историю я.

Тут он прав.

Хороший мужик. А мается. Из-за меня.

Но чем я теперь-то могу помочь? Чем?..

A2:

А началось и впрямь во время оно. Через несколько минут после того, как инспектор двадцать третьего сектора Ямбор Босоркань с омерзением отвел от меня взоры и буркнул в межпланетную тьму:

— Здесь Босоркань. Мазепп, ответь Босорканю!..

То была незабвенная пора всеобщей переписи астероидов. Ее готовили долго, всесторонне, тщательно, так что нам, счетчикам, было что расхлебывать.

Я, штатный счетчик двадцать третьего сектора, обязан был, высадившись на астероиде, развернуть комплект «Учет», произвести все мыслимые замеры и расчеты, свести результаты в таблицу, перенести таблицу на здоровенный алюминиевый шильд и установить этот шильд на самом видном месте сего небесного тела. На все про все отведен был мне срок от месяца до двух. Свернув комплект, я должен был послать вызов нашему корыту. Тому полагалось явиться за мной и перенести на следующий объект.

Год работы при выполненной норме (восемь объектов) давал пять лет стажа. Два года — восемь лет стажа, право первенства на должность командира корабля и полные Плеяды на петлицы. Это ли не мечта всех молокососов? А я среди молокососов был счастливец из счастливцев. Я был из того первого выпуска, который с ходу оформили на двухлетний срок.

Но...

Выяснилось, что астероидов гораздо больше, чем значилось в реестре. Расход маршевой воды у наших корыт перекрыл все мыслимые лимиты. Комплект «Учет» шалил и требовал любви-заботы, что детский сад. Сроки рушились, расписание пересадок рассыпалось. Все дело грозило превратиться в вековую волокиту на потеху грядущим поколениям.

Верховный комиссариат принял драконовские меры. Счетчикам было приказано пользоваться для переброски с астероида на астероид попутным транспортом. Пароходо-владельцам и судоводителям Пояса были даны инструкции и обещана компенсация маршевой воды по прибытии в гавани. Но гавани, они во-он где, а воду надо извергать цистернами на причальные менуэты здесь, в безводной глуши. Причем графики у судоводителей свои и ответ за их соблюдение свой.

Кукующих счетчиков норовили не брать на борт. Если брали, то высаживали не на плановый объект, а на первый попавшийся по курсу. Бывало, что на уже оформленный. И корыта оттуда не досвищешься. Неразбериха крепчала, и выбирался из нее всякий кто как мог.

Уже на втором году, просидев раз за разом хорошего лишку на двух паршивых глыбах, чуя, что норма горит, а разнокалиберные пароходики юркают мимо, я с отчаяния пустился на хитрость — вышел в эфир как терпящий аварию, напирая на гуманизм и человеческую солидарность. Но на мой призыв откликнулись не меркантильные пароходчики — сам инспектор Босоркань, кочующий бог порядка и укротитель старательской вольницы.

Вряд ли это имя сейчас кому-то что-то скажет, а тогда оно гремело. Сам бывший старатель, Босоркань «понимал» — то есть знал старательскую жизнь, постоянно трущуюся о браконьерство, контрабанду и налоговые махинации, но опыт позволял ему отличать вынужденные проступки от наглого хищничества. Громоздкий свод законов, сочиненный для этих мест минимум за двести гигаметров отсюда, посреди женевского благонравия, он самочинно свел до размеров естественного права, но права беспрекословно чтимого. За проступки он, по мнению старателей, «журил», а хапуг «карал». Карая, он время от времени выкидывал сказочные, изуверские каверзы. Легенды о них с восхищением передавали те, кто при том не пострадал.

Подробности преображения грешного старателя в грозного слугу закона мне неведомы, но, скорее всего, тут взяли свое судьба, врожденные наклонности и благоприобретенные комплексы. Отношения со всем этим варевом души были у Босорканя не просты: он то идолопоклонствовал перед собой в новой должности (именно тогда он и вытворял жутчайшие из своих проделок), то уныло терпеть не мог ни занятий этих, ни себя.

Подцепи меня Босоркань на антенну в момент любви к благочинию, я не знаю, что он сотворил бы со мной за вранье, очевидное с первого взгляда. Но он подобрал меня в часы депрессии и не обругал даже тогда, когда я сам во всем признался и объявил, что желаю вместе со своим бараклом (между прочим, сорокатонной бочкой) проследовать на следующий плановый объект.

«Гори она огнем, такая богадельня!» — прочел я у него на лице мнение о моей статистической конторе. Но, видя, что я состою при ней в страдательном залоге, он счел ниже своего достоинства чехвостить седьмую спицу в колеснице. Просто, когда я выложил на стол комиссариатскую карту, он метнул поверх свое личное кроки. Я обомлел: на нем значилось пять близкорасположенных астероидов, о которых моя контора не имела представления! Причем один из них значился как активно разрабатываемая точка!

Внереестровый астероид в нашем секторе считали за полтора, внереестровый разрабатываемый — за два! То есть эту пятерку мне зачили бы за восемь, я разом выполнил бы всю норму второго года! Было за что побороться.

Я вслух признал свою контору богадельней, я взмолился, чтобы Босоркань доставил меня на разрабатываемый

объект, и, зная нравы незарегистрированных старателей, пал инспектору в ножки и воззвал о покровительстве.

Босоркань подумал-подумал и скомандовал мне погрузку.

Инспекторский катер не наше ковыляй-корыто. Прошло всего часов сто, и Босоркань, пробормотав: «Эта будка где-то тут», велел мне включить запросчик. За три часа запросчик сработал свои осьмнадцать раз. Бездна темени по курсу молчала. Я доложил об этом командиру в принятых выражениях. Скорей всего, они прозвучали как сомнения в точности инспекторской картографии. И тогда Босоркань включил внешнюю голосовую связь, с омерзением отвел от меня взоры и буркнул во тьму (см. выше):

— Здесь Босоркань. Мазепп, ответь Босорканю!

Минуты три тьма молчала и вдруг взвизгнула, как старая нищенка:

— Инспектор, Мазепп на связи! Я сейчас. Дайте из утробы-то выбраться!

«Утробой» на старательском жаргоне именовалась рабочая капсула со шланговым обеспечением от стационара. Наш невидимый собеседник, похоже, до последнего надеялся, что непрошеного гостя пронесет, как нанесло. Ан не тут-то было.

— Врубай манок, — распорядился Босоркань.

— Инспектор, вы ж меня знаете! У меня ни-ни, полный порядочек, — заныла нищенка.

— Мне повторить? — холодно спросил Босоркань.

— А с вашего передатчика можно? — с надеждой спросил голос из тьмы.

— Да кончай ты юлить! — отрезал инспектор.

В ответ донесся тяжелый вздох. Вскоре прямо по курсу замигал треугольник малиновых причальных вспышек, а наш катер дрогнул, перейдя на управление по сигналам гавани.

— Инспектор, но отход будет ваш! — продолжала торговаться тьма. — У меня в баках — на дне! Вот ей-богу же!

— Давай-давай, — закрыл дискуссию мой нечаянный патрон.

Я понял этот разговор так: старатель в одиночку колупает неучтенный пшик, на котором сидит; снаряжения у него в обрез, на горючем и энергии сэкономлено до хрипа; внештатная работа посадочной автоматики — разор куцеого НЗ ампер-часов; инспектора прошено расходовать свои аккумуляторы — он отказал; посадка и взлет катера хоть немного да столкнунут астероид с пути, и этот малый сбой

через полгода-год размахнется; в результате сборщик-рудовоз, следуя по старым ориентирам, не нашарит затерянную во тьме пылинку; чтобы этого не произошло, полагается, севши, скорректировать двигателями орбиту астероида, да так, чтобы после отлета катера она восстановилась до первоначальной; на это нужна солидная порция воды, и старатель предложил инспектору взять расход на себя; хотя по обычаю коррекция проводится за счет «гостя» и уж кому-кому, а инспектору воду экономить не приходится, Босоркань и этого не обещал. Вот так свистит инспекторский кнут: визгливому Мазеппу попадает за неведомые мне грехи, а я получаю урок впрок.

— Жмот ишачий, — процедил Босоркань. Чтобы я понял: сей Мазепп не так беден, как прикидывается, и наказывается за скупердяйство и криводушие.

Когда по радиолоту до посадки остался километр, Босоркань включил прожектор. Осветилась серая плешь, на которой многометровыми литерами было выведено: «Звезда Ван-Кукук». Под надписью был изображен зубастый череп, вместо костей ниже скрещивались кулачищи, и буквами помельче в три этажа извещалось, что место занято и просят убраться куда подальше.

Метрах в ста над поверхностью Босоркань отцепил мою бочку, нацелив ее бухнуться в глаз черепу, а сам повел катер вокруг астероида. Тот был неожиданно велик — километров пятьдесят в диаметре. Диву можно было даться, как до сих пор не засекли такую дуру телескопы Верховного комиссариата. Был он шаровидный, гладкий, лишь кое-где на глади темнели характерные звездобразные кляксы: об астероид расшибалась притянутая каменная мелочь.

Видя, что я удивлен и тянусь к номограмме силы тяжести, Босоркань буркнул:

— Чистый вольфрам-рений. Чудо природы. Мазепке везуха, но прежде чем возьмешь, штаны взмокнут.

Астероиды в огромном большинстве комья щебня и бесполезные каменюки. Лишь процентов пятнадцать состоят из смеси железа и никеля, годной для разработки, а тела более заманчивого состава редки и, как правило, невелики. Любой разговор в старательской компании непременно сходит на жуткие истории о войне браконьеров за алмазный или золотой астероид, слышанные от верных людей. Вправду ли существуют поминаемые при том Виконтесса и Голконда, судить не берусь, но верю, что первооткрыватели пошли бы на все и за дар небесный в виде кома заурядного угля или серы. Не говоря уже про лед.

Хотя космический мордобой требует гроссмейстерского ума, выдержки и познаний, от кандидатов в чемпионы отбою нет. И перед их соединенным напором удержать в единоличном владении вольфрамовую планетку?! Нет, на это никаких личных отбойных талантов неостанет. Тут другое.

Первоначальная неотзывчивость Мазеппа представилась мне в совсем ином свете. Не столько добытчик он, сколько тихий кирпич на гряде сокровищ. «Кирпич», чей-то знак, что сюда никому из ковыряльной братии дороги нет. А мне?

— Неужто сплошной вольфрам-рений?— глупо спросил я, холодея: ведь я какой-никакой, а служащий Верховного комиссариата, через меня весть о «звезде Ван-Кукук» дойдет до властей прямым путем. Мне же пикнуть не дадут «закирпичные»— тем же кирпичом прихлопнут!

— Кто ему в печенку лазил?— ответил Босоркань.— А снаружи — сплошной металл... Да ты не дрейфь раньше времени!— продолжал он, влет поняв, что у меня написано на роже.— Мазепка — сам трус, каких мало. Держи большую полуось торчком — все обойдется. Пчелка у него только-только мед собрала, раньше чем через полгода никто не явится, будете один на один.— И с плохо скрытым торжеством закончил:— Давно ему, удаву, было говороно: зарегистрируйся,— а он все тянул. Вот и дотянул.

Так и просится сплесть, что при этих словах Босорканя я постиг всю глубину его макиавеллистического замысла: он делает вид, что я, комиссариатский фрукт, приказал ему доставить мою персону на «звезду», и, таким образом, ни в чем не портя личных отношений с браконьерскими кланами, каленым железом прикладывает по беззаконию, чирьем засевавшему в секторе. Целиком за мой счет.

Но это озарение посетило меня намного позже, а в ту минуту я оказался настолько желторот, что с благодарностью принял прозвучавшие по внешней связи слова инспектора: «Ну что, шеф? Садимся?», сказанные, когда мы вновь очутились над черепом, изготовленным к кулачному бою. Я решил, что он эдак исподволь, заранее крепит мой авторитет на «звезде», напыжился и надменно протянул: «Разумеется. Благодарю вас, инспектор». И Босоркань аккуратнейшим образом ткнул кормой катера в другой глаз черепа, по соседству с моей бочкой.

Мы запаковались в «люльки» (капсулы-скафандры с полной автономией) и...

(Хотя в тексте Документа А2 имеется подробное и связанное по общему тексту описание посещения и досмотра карьера и жилого стационара на «звезде Ван-Кукук», принятый мною алгоритм связности упорно не включает этого отрывка объемом в 96 строк в общее повествование.

Это тем более странно, что именно в этом отрывке впервые приводится полное имя Мазеппа — Максимилиан-Йозепп Ван-Кукук — и обиньяком дается понять, что он и «битюг» — одно и то же лицо.

Варьирование алгоритма позволяет ввести отрывок в текст, но одновременно неизбежно приводит к нелепым нарушениям связности в других частях повествования.

С целью проверки я произвел случайное расчленение и перемешивание текстов пяти известных классических романов со сложным сюжетом и предложил компьютеру сегрегировать отрывки и восстановить их связность на базе неварьированного алгоритма. Результат получился блестящий, говорю не в похвалу себе, а в предупреждение поспешным критикам.

Конечно, я мог бы по своему произволу ввести отрывок в окончательный текст, но это означало бы измену принятым принципам работы. А я готов принять любую критику своей методологии, но только не упрек в измене принципам.)

В:

...глядя, как Босорканев катер проваливается во мрак.

— Фиг ли те тут надо? — спросил Мазепп. В его голосе не было и следа прежнего почтительного подвизгивания. Не знаю, чем кончилось бы дело...

А2:

...даром не проходит, нервы там у всех на пределе, малейший пустяк рождает безобразную ссору, а тут речь шла не о пустяках: обозначалась перспектива конца лихого владычества над «звездой». Слово за слово, и Мазепповы ноздри извергли пламя, что твой древний ЖРД.

От крупных неприятностей меня спасло то, что я был в «люльке», а он — в «утробе». Его связывали фалы, а я до поры до времени мог порхать, как бабочка. Но он все равно попер на таран.

Я увернулся, и тогда Мазепп обрушил гнев на мою бочку. Он ткнул ее в борт, увидел, что битьем не справиться, и развернулся на карьер за резаком, обещая располо-

совать ее в клочья. Это был мой шанс. До возвращения Мазеппа я должен был успеть отпихнуть бочку за пределы досягаемости его «утробы», не жалея маршевой воды в бачке «люльки». У него «люльки» не было — я это узнал по ходу Босорканева досмотра и мог чувствовать себя в безопасности всего в метре за предельным радиусом его фалов.

Налег я на бочку, но сорок тонн есть сорок тонн. «Люльку» пластало по ней, а ползли мы улиточкой. Мазепп вполне мог бы догнать нас, но мой движок напустил уйму ледяного тумана, в котором он потерял нас из виду. Чужая затылка рысканье мерзкой ругани Мазеппа, я высчитывал, как не переусердствовать с разгоном бочки, а то в ранце не хватит воды на торможение и посадку в безопасном месте. Со стороны потасовка выглядела, наверное, препотешно, но мне было ох как невесело! Я взмок, а под конец вообще перетрусил, бросил еле ползущую бочку и дернул прочь...

Они появились из ледяного тумана почти одновременно: первой — величественно плывущая бочка, а чуть позже в сотне метров левей — Мазеппова «утроба» с плазменным резаком в клешне манипулятора. Мазепп увидел бочку, рванулся к ней. Но было поздно: фалы, натянувшись, остановили его, и бочка уплыла из-под самого носа разъяренного мингера.

Думаю, у Мазеппа была безоткатная пороховая аркебуза для вколачивания дюбелей. И, как пить дать, здешние рукоделы приспособили ее под ближнюю боевую стрельбу. Но одно дело — в порыве ярости раскурочить мою бочку, а совсем другое — оставить в безгласном теле комиссариатского служащего, которого живым-невредимым доставил сюда сам инспектор Босоркань, знакомые всем экспертам дырки от дюбельных хвостовиков...

А!:

...притормаживая, поплыл куда глаза глядят.

А глядеть-то было почти не на что. От солнышка, которое отсюда виднелось с малую горошину, света было, как от неполной Луны на матушке-Земле, черта горизонта трюхала метрах в трехстах — пятистах, на серой глади чуть брезжили кучки камней и разметанный щебень. Никакой приманки глазу для стойбища.

Понуждая бочку следовать кривизне поверхности, проплыл я над этой металлической Гоби километров десять, то есть с восьмушку здешнего меридиана, и там начал устраиваться на привычное житье-бытье.

АЗ:

В начале был дюбель.

От одного этого слова мой бедный ливер трясет на все девять баллов по Рихтеру.

Знай, непосвященный: жизнь на астероиде наполовину состоит из забивания дюбелей. К дюбелям крепятся стойки для передвижения и стропы фиксаторов рабочей позы. На каждой бирюлечке — скобка, чтобы прикрепить к дюбелю: все незакрепленное уплывает прочь от малейшего толчка и бог весть когда вернется. Перед завтраком — полсотни дюбелей, дюбеля при каждом деле на закуску и на десерт, и еще полсотни — после ужина. Пройденные тобою астероиды будут ершиться во мрак полями дюбелей, а у потомков ты получишь название «хомо дюбелис».

Полтора миллиона вогнанных дюбелей — и вот уже ты пенсионер, намазанный на Багамские острова. Но до конца дней ты будешь думать и говорить так, словно мерно вколачиваешь гвозди на равных расстояниях один от другого.

С1—22:

Не желей, не желей

Дюбелей —

Наштампует Земля

Дюбеля.

Прицепись в уголку

К дюбельку,

Свет небес избельми

Дюбельми.

(Проведя поиск по Основным идентификационным признакам — далее «ОИП», — процессор отказался приравнять эти стихи к стихам какого-либо из 83 хорошо известных отечественных и/или иностранных поэтов — далее, соответственно, «ХИ-ОП» и /или «ХИ-ИП», — включенных в стек для опознания.)

АЗ:

И вот я вгонял и вгонял вокруг себя дюбеля, а мне все чудилось, как Мазепп мастачит из своей «утробы» жутковатый боевой кокон. Вот-вот зависнет этот кокон над мной, брызжа руганью и пламенем...

Прежде всего я установил фонендоскопы. Обычно с их помощью проверяют, не идет ли в недрах астероида тре-

щинообразование. Я бегал к ним послушать, что поделывает Мазеппушка.

А Мазеппушка трудился. По шестнадцать часов в сутки он отваливал полукубы металла на своем карьере, потом часа два шуршал в своей норе и на шесть часов затихал — спал. Тут бы и мне время спать, но ведь это были единственные часы, когда недра планетки не были наводнены бестолково прыгающими шумами и разрядами! Только в это время я мог спокойно работать со своим «Учетом». А когда Мазепп бодрствовал, поневоле приходилось бодрствовать и мне. В ожидании нападения.

Распорядок дня у меня развалился, стала болеть голова, брюхо вконец расстроилось. Глядь-поглядь на прибор, тюк да тюк по дюбелю, а в мыслях одно: что предпримет Мазепп? На его месте я ни за что не смирился бы с перспективой лишиться безраздельных прав на «звезду» или уплатить шестизначный штраф. Глядь-поглядь на прибор, тюк да тюк по дюбелю. Что бы я сделал, поняв, что мне не справиться с «паршивым фискалом, вавилонской гнидой»? Глядь-поглядь, тюк да тюк. Я вызвал бы подмогу, глядь-поглядь. А на месте подмоги я, тюк да тюк, учинил бы комиссариатскому фраеру грандиозную пакость. Какую, глядь-поглядь? Пакости рисовались мне одна другой гаже, тюк да тюк, и я окончательно терял покой, аппетит и работоспособность.

Работа требовала дальних экскурсий для установки датчиков. Были датчики, которые следовало устанавливать точно у антиподов. Но я боялся долгих отлучек. Вдруг вернусь, а на месте моего редута погром-привет от Мазеппа! А он, — урры-урры-урряуры в фонендоскопах, — вольфрам рубит и коварные планы лелеет, тюк да тюк, глядь-поглядь. Плетет мой «Учет», плетет-лепечет, а что — не понять. И поделом, что не понять! Разнес бы датчики, халтурщик, километров на пятьдесят — сто, все понял бы, тюк да тюк, глядь-поглядь. Не халтурщик, а трус. Не трус, а дурак! Сам сюда полез с Босорканевой подначки. Не драпануть ли отсюда, тюк да тюк? Свернуть программу тяп-ляп, а то и вообще ну ее! Не знал никто, глядь-поглядь, про эту дурынду, пусть и дальше не знает. А на Земле тоже хороши! Вольфрам туда бронтовозами везут, а там никто и ухом не поведет, откуда такое изобилие! Тюк да тюк, глядь-поглядь. Сколько я на бочке тихим ходом протяну? Гигаметр протяну, до соседнего Босорканева подарочка дочапаю. Баки засушу? Засушу, да не помру, глядь-поглядь, что за чушь приборы пишут! И никто мне ничего не скажет, «Учет» предназначен для каменных пла-

немок поперечником в три десятка километров, не более. Довольно и того, что посреди Пояса такое чудо-юдо заловлено, глядь-поглядь на приборчики-то...

Зазубрите эти два абзаца, бормочите их полтора месяца подряд в темноте, давясь концентратами вперемешку со рвотным и слабительным, — потом поглядим, на что вы сгодитесь.

Но все же я кое-что нащупал.

Выходило, что внутри планетки есть пазухи, заполненные металлом иной природы, чем наружный. Менее плотным. Пазухи располагались почти симметрично относительно центра. Как косточки в хурме. Будь наружная оболочка каменной, я разобрался бы с этим глубинным металлом. А так — ничего не выходило, отклики на мои вопросы — почти белый шум, подо что подведешь, то и выведешь. Должно бы все быть наоборот: снаружи должен лежать менее плотный металл, внутри скопиться — более плотный. Я решил, что мой «Учет» брешет. С ним это не раз бывало. Ну и пусть брешет. Все равно здесь вольфрам-рения матушке-планете на сто тысяч лет хватит, а будущие умники устроятся поудобней и уточнят обстановку. Но нелепость картины в мысли запала, и начиная с четвертой недели к тем двум маниакальным абзацам надо прибавлять этот. Через раз.

А на шестой неделе я потерял лерку М8. Последнюю. И чем прикажете теперь прочищать резьбу на встреленных дюбелях?

Нечем.

Сутки я то рылся в барахле, то башкой от злости в стенки тыкался. Половина нейронов о лерке звенит, половина — о Мазеппе. И спелась дикая мысль: поеду к Мазеппу и возьму у него эту самую лерку! Пусть попробует мне отказать! Да я его, да я ему... Короче, истерика.

Еще сутки я себя накручивал.

Накрутил. Заправил «люльку» и наперекор всему на свете двинулся к Мазеппу на карьер.

Подплываю. Издалека вижу вспышки. Выждал в стороне, пока глаза попривыкли, пригляделся — вот она, Мазеппова «утроба», над эскарпом покачивается, дуговой ряд на жале «Марс-Эрликона» играет.

Включил я голосовую связь, кричу:

— Эй, Мазепп!

И слышу в ответ:

— Я Мазепп. Ты кто?

То есть как это «кто я?»? Он что, не знает, кто я и что здесь делаю? Меня как холодной водой обдало. Объясняю, кто я. И слышу в ответ искренне удивленное:

— Так ты, значит, еще не похромал отсюда, гнида вавилонская?

И до меня окончательно доходит, что Мазепп и думать обо мне забыл.

Я маюсь, я с ним день и ночь воюю, а для него меня просто на свете нет! От этого открытия я настолько растерялся, что все заготовленные речи у меня из головы вылетели, а новые не явились.

По моему сценарию, он должен был угрюмо спросить: «Чего надо?»— а я должен был звонко и дерзко потребовать: «Сей момент дай мне лерку эм-восемь!» Но он преспокойно продолжал работать. Я мог торчать тут сутки, двое — ему было наплевать.

Я понял, что слова от него не дождусь, пока сам не заговорю. Что-то мешало мне просто попросить лерку, и я промямлил, что надо, мол, поговорить.

— Ну, говори,— отозвался он, волоча в сторону очередной полукубометр металла.

С собой у него наверняка не было лерки, а я во что бы то ни стало должен был к ней приблизиться, у меня перед глазами маячил слесарный патронташ на стенке его пещеры, я прямо-таки зрочки царапал о гнездо, где лежит себе, почивает эта чертова лерка! Там, рядом с ней, он мне не откажет, а здесь — откажет. И я сказал:

— Здесь не буду. Поехали к тебе.

— Времени нет,— ответил он.

— Дело есть,— спел я ариозо змия-искусителя.

Спел и замолк. Не знал, что дальше петь.

И надо же: победило мое молчание!

Мазепп закрепил товар, примкнул жало «Марс-Эрликона» к блоку питания и, пятясь задом, чтобы фалы собрались у него в заспинные гармошки, поплыл из карьера. Я последовал за ним, лихорадочно придумывая, о каком таком деле собираюсь говорить.

— Ну?— спросил он, когда мы забрались в его пещеру.

По случаю жары он был в одной маечке, громадный, жирный, весь до пупа в веснушках. Он высился надо мной как гора.

Я шарил глазами по стенкам. Вот здесь мне колдовался слесарный патронташ. Колдовался, да не выколдовался: на стенке было пусто.

— Ты тут на астероиде давно? Как его нашли?— спросил я, оттягивая время, все еще не придумав, о чем говорить.

— Тебе что за какао?— незлобно ответил Мазепп.

Его надо было сразить наповал, и я выпалил:

— Ему томографию делали? Ты делал?

— Чи-иво?— изумился он.

— Томографию. Ну, просвечивали его? Смотрели, что внутри?

Я прекрасно знал, что не смотрели. Откуда у старателей взяться такому оборудованию?

— Кончай темнить,— сказал он.

— Значит, не делали. Так?— непокорно продолжал я.— А я сделал. У меня прибор для этого есть.

— Врешь!— каким-то новым голосом ответил Мазепп. Какой старатель не накололся бы на этакый разговор!

— Дурак!— вел я.

— Золото?— выдохнул он чуть ли не вместе с душой.

Он был у меня на крючке. Господи, как мне легко стало. Но крючок надо вонзить понадежней.

— Астероид нерегистрированный,— сказал я.— Я и сам мог бы его заявить, ты понял? Но я в этом деле пацан. Только грыжу наживу огнестрельную, и с приветом. При надежном человеке мне и доли хватило бы.

— Сколько?— спросил он.

— Я не жадный. Сам назначь, чтоб между нами чисто было. Ты понял?

— Это смотря какой товар,— опомнился он и повторил:— Смотри какой товар. По мне, и этот в жилу.

— Есть и получше,— возразил я.

— Ну! Говори.

— А не обманешь?

— Слушай, ты,— ответил он.— Говорю, что не обману, а там как хошь, верь — не верь. Клейма на честность мне доктора не ставили. Однако соображай сам: был бы я прохиндей, тут бы не горбатил. Сечешь?

Я помолчал и ответил:

— Солома.

На жаргоне Пояса это означало, что меня убедили.

— Ну, так что?— впился он в меня рыжими глазенками.— Золото?

— Нет,— ответил я.— Уран. Все печенки у него урановые.

Почему всплыло у меня про уран, понятия не имею. Наверное, потому что с детства слышал: «Уран! Мало урана! Нет ничего дороже урана! Уран — сердце энергетики, уран — средство овладения богатствами Вселенной!» Ну и подумал, что уран-то подороже вольфрама будет. И не ошибся. Мазеппа под потолок болтнуло от этой новости.

— Быть не может, чтоб уран!

— Пальцами не шупал,— говорю.— А приборы показывают.

— Приборы, приборы. Врут твои приборы!

— Может, и врут,— гордо говорю я.— А может, и не врут.

— Врут!— кричит Мазепп.— Вон у меня счетчик Гейгера есть. Я точно знаю, что он работает. Я ему верю. А он что? А он молчит. А будь здесь уран, он захаживался бы! Во!

Умница Мазепп. Опростоволосился я. Не умеешь врать — не берись. Что ж теперь делать-то?

— Да он снулый,— ляпнул я первое, что пришло на ум.

— Как это «снулый»?— ошарашенно спросил Мазепп, и тут у меня в глазах потемнело от вдохновения.

И понесло меня. Я врал отчаянно и красиво. Я объяснил Мазеппу, что сам по себе атом урана вовсе не радиоактивен, а вполне устойчив. Так же, как и атом любой железяки. Лишь когда он попадает под мощный поток нейтрино, то под их мелкими частыми ударами ядро расшатывается, начинает ходить ходуном и в нем начинаются процессы, которые мы называем естественной радиоактивностью. Если взять, скажем, кусок земного возбужденного урана и отнести его подальше от Солнца, на световой год или два, то там не будет нейтрино высоких энергий и за сто тысяч лет колебательные процессы в нашем уране затухнут. Он станет снулым. Но стоит доставить его обратно, то есть сунуть под солнечные потоки нейтрино, он опять проснется и станет привычным для нас радиоактивным ураном. Если, конечно, не спрятать его в нейтринонепроницаемый футляр. Очень может быть, что здешний вольфрам-рений именно таким футляром и является. И следовательно...

— Бомба!— ахнул Мазепп.— Мы сидим на бомбе!

— Да брось ты!— строптиво сказал я.— Всё вам бомбы снятся, тихоням.

Мне ничего не стоило согласиться с ним. Бомба, которую в неведомой дали снарядили «пришельцы» и заслали сюда. Зачем? Чтобы взорвать Солнечную систему. Байка в самый раз для Мазеппа. Именно поэтому я на нее не согласился, а продолжал витать в прекрасных сферах вдохновения.

— А что же это?— азартно спросил он.

Я победил. Он слушался малейшего движения моего пальца, тончайшей дрожи в голосе.

— Это зародыш планеты,— нахально объявил я.

Пройдет всего каких-нибудь сто миллионов лет (подумаешь, для Вселенной это миг), и снулый уран в недрах астероида проснется. Как? А очень просто: к тому времени планетка обрастет каменным мусором, станет массивней, сместится поближе к Солнцу, примерно туда, где Земля; там нейтринный поток вчетверо мощнее, и он прошибет вольфрам-ренийевый футляр. И что получится? Отличный атомный реактор, мощный планетный мотор, такой же, как у Земли, у Венеры, у Марса. Ведь всем же ясно, что именно такой мотор движет эволюцию Земли (конечно, это было ясно только мне и с моих слов мингеру Макс-у-Йозеппу)! И вскоре, через два-три миллиарда лет, в Солнечной системе созреет новая планета. Может быть, такая же, как Земля,— являйтесь, «пришельцы», заселяйте, пользуйтесь. Так что этот астероид — что-то вроде кукушкина яйца, подброшенного под бочок нашему светилу, чтобы кукушонок вылупился тут и процветал, объяснил я изумленному Мазеппу. И вполне может быть, что его подбросили совсем недавно. Именно поэтому его никто не заметил до сих пор, именно поэтому я и начал с того, что спросил, давно ли его открыли и как долго находится здесь Мазепп, изящно закруглил я свою сказочку.

— Думаешь, за ним следят?— настороженно спросил Мазепп.

— Ты за каждым семечком следишь, которое посеял?— ответил я.— Может, их тысячами формуют и кидают куда попало! Авось где-то присоседится. Кукушка, между прочим, тоже не следит за гнездом, куда яйцо положила.

— И глубоко он, этот твой снулый?— спросил Мазепп. Он готов был сей же миг взяться долбить свою «звезду», чтобы добраться до вожаемых залежей.

Я примерно нарисовал ему расположение инородных пауз в теле планетки. Чтобы добраться до ближайшей паузы, надо было грызть сплошной вольфрам-рений на глубину в пятнадцать километров — тут я не врал. При теперешней технике это двадцать лет работы. Так что близок локоть, да не укусишь.

Мазепп уперся ручищами в стенки своей пещерки, пьяно повел башкой и протянул:

— Н-ну, солома-а! Пробьемся.

— Да, кстати,— небрежно бросил я.— Я тут лерочку эм-восемь упустил. У тебя лишней нет?

— Есть,— отозвался он все тем же зачарованным голосом.

— Подари,— протянул я руку.

— Они у меня не здесь,— неохотно вернулся он в свою телесную оболочку.— Они на карьере. Заглянем по дороге. Снулый уран! Ну, диво,— воспарил он опять душой к радужным эмпиреям.

Вот так мы с Мазеппом Ван-Кукуком открыли снулый уран.

Говорю «Мы с Мазеппом», потому что, не будь его, эта идиотская мысль никогда не пришла бы мне в голову.

Мы на полном серьезе договорились, что в нужной графе моего шильда будет невразумительно написано: «Al?— Pb?». Показаниями моего «Учета» можно было обосновать и не такую чушь. Само собой, Мазеппу придется немедленно зарегистрировать предприятие, уплатить штраф и недоимки с процентами. Но что значит «немедленно»? Здесь это слово означает «годы». «И оформят, и заплатят»,— туманно выразился Мазепп.

Я оговорил, что моя сторона ничего, кроме открытия, в дело не вкладывает и от участия в самой долбежке «звезды» решительно уклоняется. Соответственно, Мазепп определил мою долю дохода от грядущей торговли металлом «косточек» в десять процентов. «Это ж миллион! Разменяй на трешки — за всю жизнь не сжуешь»,— прокомментировал он свою щедрость. Я кивнул. Мы пожали друг другу руки и съели банку консервированных личжи «Калимантана сэлэд».

Пока я врал, совесть меня не мучила: я обманывал врага.

Заполучив желанную лерку, я долго еще восхищался своим вероломством. Знать не знал за собой таких талантов! И заранее ластился ко всеобщему хохоту, под который пушу в нашей компании этот анекдот.

И потом — не все же я врал! «Звезда» и впрямь больше походила на конструкцию, чем на каприз природы.

Была у меня мыслишка, отбывая со «звезды», вызвать Мазеппа по голосовой связи и ехидными словами выложить всю правду. Была, да забылась. Как и желание хвалиться в компании. Уж больно через силу шла работа: голова болела непрерывно, и ливер докучал. Крепко меня подкузьмили эти полтора месяца на «звезде Ван-Кукук». Забить бы мне тревогу, бросить все и кинуться в реабилитационный центр на Ганимед, а я в полубреду алчно тянул руки к остальным четверем Босорканевым подаркам. Ну,

потерплю, ну, поднатужусь — и разом все кончу. А Мазепп — что Мазепп? Вразумят его. Без меня. Найдется кому.

В:

Ложа. Оперетта. Свист.

Ничего этого я не помню и не помнил. Это концертный номер, который я так-сяк слепил пятнадцать лет спустя из каких-то фразочек Мазеппы, заполняя пробелы золой и огарками собственной фантазии.

Но это уже не имеет значения. Чересседельник битюга набит образцами снулого урана, подпольный доктор всех наук лезет из кожи вон, чтобы соню растолкать, а я болтаюсь вокруг них по неопределенной орбите, как фиалочка в компостомешалке.

Впредь настоящим будущему сэр-пэру, а ныне копотуну в подполье на его германский фриз над левантинским нюхалом накладывается прозвище «Кулан фон Муфлон», сиречь «Осел фон Баран», он же его долботронство Не-добертольд Шварц.

Прозвать бы как-нибудь и супругу его Элизу, но тут из меня продуцирует гейзер таких словечек, что надо подумывать, какое выбрать...

А2:

Не знаю, что тошнее: писать об этом или читать.

По-моему, все же писать.

Получил я свои восемь лет стажа. Вожделенные Плеяды не сию секунду, но на моих петлицах взошли. Ни один долбайкомпьютер не оспаривал моих прав первенства на командирскую должность. Но тут в мою жизнь журавлиным клином вдвинулись врачи, и все мои блестящие перспективы пошли по частям под топор.

«Не делал этот мальчик каждый день шестичасовую зарядку и силовым костюмом пренебрегал. Прибавьте к этому ранее не выявленные конституционные дефекты, иными словами плохую наследственность (уж мальчику лучше знать, кто в его роду и чем злоупотреблял), и вот результат: кости картонные, сосуды трухлявые, дегенеративные явления в железах, переброс на рефлексивное мышление. Года за два подштопаем, но работа в заатмосферных условиях в дальнейшем категорически противопоказана».

Я взвыл.

— Как же так!— говорю.— Значит, мне с самого начала, при найме, сулили золотые горы, обрекая на перемол?

— А вы что, думали, что там курорт и золотые горы вам сулят исключительно за ваши красивые глаза и дипломчик с отличием?— хладнокровно ответили мне хором три головы главного Асклепия.— Их сулят только за чреватое последствиями хождение по лезвию. Опять же, в свете тогдашних представлений ваша нагрузка находилась в пределах допустимых норм. Но пока вы там своевольничали (вы же не станете отрицать, что своевольничали и пренебрегали предписанным режимом!), нормы изменились — это раз, и мы научились смотреть зорче и глубже, чем прежде,— это два. Мы работали, подполковник, работали. И не думайте, что нам все так просто давалось.

— И что же, вы даёте мне чистую отставку?

— Подполковник, фу! Подумайте — в ваши годы вы уже подполковник! Многие дослуживаются до этого звания в сорокалетнем возрасте. Наше дело — дать медицинское заключение. Вот мы его и даём. А решаем не мы, решает ваше начальство.

На черствость людскую посетовать не могу. Меня жалели. Я понял так, что начальство ретиво воткнет в эн плюс первый кабинет три эн плюс третий стол с тремя телефонами, дисплеем и терминалом, терминал потихоньку отсекут, меня там усадят, положат приличный оклад, пожмут руку и навек забудут. А я по этим телефонам дозвонюсь лишь до мелкого сутяжничества и прогрессирующих кризов на почве зависти. И дрожащей лапкой буду напильник на разные места капающие сверху бубенчики за выслугу лет. Кто доверит серьёзные дела убогоныкому, за которым надо слать в кильватере реанимашку?

И я ушел. Подал рапорт и ушел. Коллеги с перепугу мне даже отвалной не устроили. И за все эти годы никто из них мне не позвонил, обо мне не вспомнил. Люди казенные, претензий не имею.

Не женился.

Растить и прилаживать к миру детишек, зная, что подсунул им дрянь-хромосомы,— это, в конце концов, подло. А приглашать подругу исключительно на роль «утоли моя печали» — гадко.

Не повесился.

Где выкинули мне мизер, там пусть и точку ставят. Пусть озаботятся. А я за бесплатно чужую работу делать не макак.

Профессий переменял — не счесть.

Предпоследняя — самая любимая. Ласковый конюх.

На приличном конном заводе имеются конюхи трех родов: громила, никакой и ласковый. Лошади памятьливы. Громила — укрощает и уходит. И маячит неподалеку, как символ безраздельного господства двуногих. Никакой — он никакой и есть, мало ли колготни при стойлах. А ласковый конюх на этом фоне дает животному высший шлиф. Вот я его и давал.

Говорят, у меня это получалось.

Не почел бы себя блаженненьким всепрощителем с автоподавленным вкусом ко злу. По-моему, дело обстоит как раз наоборот: с большим удовольствием насолил бы многим. Но у меня не хватает на это душевных сил. Было время, я из-за этого даже грустил. А потом увидел: в нашей кишасей россыпи всегда полно и поводов для взаимного воздаяния, и желающих, не сходя с места, этим воздаянием заняться. Всегда найдется кто-нибудь, кто, сам того не ведая, воздаст и за меня. И я могу с легким сердцем и чистой душой встать себе на зорьке и насладиться неспешным походом по росистой плитчатой дорожке в пятый блок, где меня ждет приятель, чей естественный мир решительно не имеет ничего общего с житейскими страстями моих сородичей.

Возможно, мой питомец соглашается на общение со мной именно из-за отсутствия перекрещивающихся житейских интересов. Кони высших статей — себялюбцы и гордецы. Вся их жизнь — непрерывное ревнивое состязание с себе подобными, а миг счастья — круг почета — так краток. С неподобным себе нечего делить, поэтому общение со мной — для коня глубокий отдых. Ценить его кони научаются в одночасье.

Видимо, я тоже себялюбец и гордец. По крайней мере, настолько, чтобы принять межвидовое общение как целительную передышку. Мне и коню, нам друг с другом хорошо, учение легко переходит у нас в бескорыстную игру, и...

И наверное, займись я вместо этих подпольных откровений описаниями того, как дрессировал лошадей, я сочинил бы нехудую книгу. Во всяком случае, более разумную, полезную и долговечную, чем та, которой занят. И тоже тайную. А что? С барышников станется. Засекретят.

Вряд ли я учил коней тому, что им нужно. Само собой, они отвечали мне тем же. Я стал слишком просто смотреть на людей. То, что прежде я принимал за причины людских поступков, стало представляться мне всего лишь

следствиями очень простых состояний внутреннего довольства или недовольства внешними обстоятельствами. Не велика ересь, но заблуждение опасное.

Но ничего не могу с собой поделать. Я зачарован моими прелестными скотами и непроизвольно соизмеряю круг коней и круг людей. А моего дорогого Мазеппа представляю себе не иначе как в образе битюга крепкой конституции. Но с некоторой рыхлиночкой, заметной, правда, лишь очень опытному эксперту. Спорная рыхлиночка. Есть за что попрепираться при бонитировке, если таковая мингеру когда-нибудь предстоит.

А помянутый мингер долго-долго не давал о себе знать.

Впрочем, возмись я сдуру составлять реестр персон, не дающих мне о себе знать, мингера я в него не включал бы, поскольку начисто о нем забыл. Он напомнил о себе сам.

Произошло это года три тому назад. Может быть, четыре. Не тот у меня образ жизни, чтобы точно помнить даты.

Два года возился я с Апострофом. Великолепный был конь. Наш, с небольшой добавкой кабардинской крови. Была мысль повести от него новую линию. Стоило на него взглянуть — эта мысль сама приходила в голову всякому, кто понимает в наших делах. А я видел его изо дня в день, и мысль о новой линии въелась мне в самую печень.

И вдруг его продают. Худой год, там платеж, тут платеж, завод буквально подсекло, а за Апострофа какие-то персы разом кладут на бочку умопомрачительную сумму. И наш опекунский совет сдался.

Я на стенку лез. Меня трясло.

Буквально накануне отправки Апострофа до меня добрался поверенный этих персов и предложил контракт. Если я поеду с Апострофом и стану опекать там его, и только его, мне положат очень даже приличный оклад. Это меня взорвало. Мало того, что эти халифы, наглотавшись деньгí, пускают по любому поводу золотые пузыри, у них еще хватает наглости нанимать нас в лакеи! Я отказался. Врачи не рекомендуют мне менять климат, вежливо объяснил я.

Апострофа увезли, а я наладился в отпуск. В тихую обитель для таких, как я, отставничков.

Давно я не купался в море. Приехал — и сразу в воду. Всласть навозился в воде, выбрался на берег, упал в шезлонг, закрыл глаза и вострепетал, чуя, как прошивают мою

некондиционную плоть солнечные лучи. Краем уха услышал, как кто-то подходит. И раздается:

— Приветик, светик.

Я разлепил веки и узрел веснушчатое вздутое брюхо, обросшее густым рыжим волосом. Над брюхом высилась жирная грудь в тех же рыжих зарослях. Только дремучий хам способен выставить на всеобщее обозрение такую безобразно раскормленную тушу. Я поднял взгляд выше и увидел огромную харю, расплывшуюся в приятной улыбке. Харю, никого мне не напоминавшую.

— Не узнаешь, — огорчилась харя. — Я пыхчу, я на их сторону монету кулями ваю, а они прохлаждаются и не изволят помнить. Эх ты! Небось я твое имечко день-ночь шепчу. Не икалось? Вижу — не икалось. Нехорошо. Где ты сыщешь на свете еще одного такого порядочного человека, как я? Ведь мы с тобой договорились на честное слово, без никакой бумажки, я тоже мог бы забыть. Мало что не забыл — ищу товарища по всему свету, себя не жалею, от дела отрываю. Нахожу — а тот смотрит, глазами лупает: извиняйте, мы с вами незнакомы. Нехорошо. Ну, припомнил?

— Извините, не припоминаю, — сказал я, хотя припомнил.

Но так не хотелось припоминать!

Покончено с этим, давно покончено. Нечего подсовывать под меня фитили из прошлого! Прошлого нет.

— А ты припомни. Алюминий, знак вопроса, тире, плюмбум, знак вопроса. Славная была шкода! Я на этой шкоде до сих пор держусь. И ты держисься. Ведь ты в доле! Ну!

— Мазепп, — неохотно выговорил я.

— Ну. Только для ближайших друзей, которых у меня не осталось. Только ты. Только для тебя я по-старому Мазепп. — Он даже всхлипнул.

— Ты как здесь оказался?

— Ха! Ты забыл, что такое Мазепп. Во у меня рука!

У меня перед носом закачался жуткий конопатый кулачище все в той же рыжей шерсти.

— А в ней «Марс-Эрликон». Когда такая рука и в ней «Марс-Эрликон», разве есть место, куда Мазепп не войдет в свой полный размер? Гляди!

В кулаке неведомо откуда оказалась бутылка. Кулак напрягся — бутылка хрустнула.

— Во! Видал?

Старый школярский фокус. Между бутылкой и ладонью закладывается камушек острым ребром к стеклу.

— Я тоже так умею. У тебя еще бутылка есть?

— Есть. У меня для тебя все есть. Каждая десятая бутылка мира — твоя. По уговору. Но об этом после.

— Не сори битым стеклом на пляже, не будь свиньей. Подними и отнеси в мусорный бак.

— Для этого у меня есть шестерка. Но чтоб ты знал, как я тебя люю... Вот! Для друга, для дела Макс-Йозепп сделает все!.. Он трудящийся человек, он не белоручка... Трудящему человеку никакой труд не в обиду... Хоть там, хоть тут, хоть где...

Пока он, булькая речами, собирал осколки и ходил к мусорному баку, я мучительно соображал, как мне себя вести и что все это значит. И ничего толкового не сообразил.

— Порядок! Порядок у Макса-Йозеппа. Всегда был, всегда есть, всегда будет. Сейчас Макс-Йозепп макнется в это сусло, раз уж выпал ему такой «дженерал», а потом мы с тобой поедем и я покажу тебе одну штуку. Идет?

— Пошел к черту!

— Непременно пойду. Все мы пойдем. Все мы грешники, и Макс-Йозепп тоже грешник. Но он желает быть настоящим грешником, чтоб и в пекле его уважали. Едем, светик, — не пожалеешь. Ты втравил Макса-Йозеппа в эту историю, без тебя он ее не расхлебает. Помоги. Ты должен. Как между честными людьми.

— Мазепп, я инвалид. Понимаешь? Инвалид. Кто бы мне помог!

— Знаю. Я все про тебя знаю. Я знаю про тебя больше, чем ты сам. Чтоб ты не сомневался, я тебе скажу. Дурацкая конюшня, где ты ошиваешься, давно бы прахом пошла, если бы не деньги Макса-Йозеппа. Я тебя не трогал, я платил и не возражал. Но приперло, и ты мне понадобился, ты, только ты, и больше никто на свете. И придумал Макс-Йозепп, как весело устроить нашу встречу, — организовал увод лошадки, при которой ты хлопотал. Он думал, ты поедешь за ней хоть на край света и там мы встретимся. И мне так было бы удобней, и ты бы развеселился, как я вручил бы тебе лошадку, и все пошло бы ах как славно. А ты не поехал. И вот я к тебе с повинной. Захочешь — бери свою четвероногую обратным рейсом. Но прежде выслушай Макса-Йозеппа там, где ему удобно. Солома, а?

— Слушай, Мазепп! Ты... ты не имел права! Кто тебя просил печься обо мне! Я тебе не игрушка! Я...

— Пустые твои слова. Макс-Йозепп их не слышит. Всякий человек имеет право печься о другом. Я не играл с

тобой. Ты хотел своих лошадей — ты их имел. Ты не любишь Макса-Йозеппа — не люби. Но я прошу помощи. Помоги трудящему человеку и езжай обратно к своим скотам, если скоты тебе милей. Хотя тут ты идешь против бога. Богу было скучно со скотами, и он выдумал людей. Тебя, меня и других. Идти от людей к скотам значит идти против бога — это говорит тебе трудящийся человек. Он ничего не украл, он все добыл — сам. И если ты не поможешь ему, ты будешь не прав. Думай, а я пошел.

Он купался. Эта рыхлая туша была нелепа и в воде. Он не умел купаться. Некогда было ему учиться — он рубал свой вольфрам-рений, который Земля рвала у него из рук. Злясь, брюзжа и кряхтя, выводила ему сумму прописью, но никогда, никому не пришло в голову сказать Максимилиану-Йозеппу Ван-Кукуку «спасибо» от имени цивилизации, жрущей металлы. А я? И я туда же?..

Когда он вылез из воды, я сказал ему:

— Мазепп, что тебе надо? Не темни, объясни толком.

— По дороге! — алчно выдохнул он.

— По дороге куда? На «звезду»?

— Ха! На «звезде» Макс-Йозепп справляется сам. Ближе, чем ты думаешь. Без перегрузок и невесомостей. Пошли!

— Дай штаны-то натянуть.

— Черт с ними, со штанами! Все штаны мира... — Он осекся и махнул рукой: — Я знал. Ты человек. Бери штаны, на все прочее плюнь. Фирма платит. Не фырчи — не я, а фирма. Вонючая деньга нищих духом, цена этой братии — фиг-ноличек, если нет моих рук и твоей головы. Давай!

Я не верил своим ушам. Не было этого, это кто-то другой придумал и валит теперь на мою голову. Втемяшивает мне чужое прошлое. То, чего я не делал и не говорил.

Десять лет мингер, поверивший в мою идиотскую выдумку, долбал свою «звезду», пока не добрался до одной из обозначенных мною пазух. Все было не так просто, как хочется об этом писать. Комбинациям не было числа, но в результате на «звезду» доставили оборудование, которое и пазухи эти точно засебло и вдвое ускорило прогрызание штольни. Лет пять тому назад мингер по приборам прошел границу фаз и вырубил первый полукубометр желанного металла. Расколупал его на маломерные образцы, по всем правилам упаковал и отправил на анализ.

Само собой, не в Кавендишскую лабораторию. У воль-

ных старателей есть свои ученые притоны, и трудятся там не менее классные специалисты. В мою сказочку про «снудый уран» они ни на секунду не поверили. Но отчего ж не посмотреть, чем набита эта редкостная вольфрамовая капля? Тем более что проходка штольни с лихвой окупалась тем, что из нее вытаскивали, и сам по себе истово рвался в дикий металл какой-то кретин-энтузиаст. И пресловутый «ванкукукиш», смешки смешками, а был растерзан и допрошен самым доскональнейшим образом. И грянул гром: он оказался практически чистым ураном-235 во всех отношениях, кроме одного — «ванкукукиш» был нерадиоактивен.

Моя (моя!) выдумка о «снулом уране» в один миг превратилась из безграмотного вранья в смелую, блестяще подтвердившуюся научную гипотезу.

Я в это время терся по мелочам и знать не знал, что сделался авторитетной личностью. Настолько авторитетной, что мне был посвящен семинар, на котором был заслушан доклад о моем героическом прошлом и никчемном настоящем. Солидные деловые люди тщательно рассмотрели вопрос, стоит ли мне дальше жить. Учли, что при моем-то здоровье и утруждаться особенно не придется. Провели тайное голосование и большинством в один голос дозволили мне жить дальше. Здрасьте, пожалте, — этакое благородство проявили, уж не знаю, чем отблагодарить.

Мысленно поздравив меня с таким блестящим успехом, тайная ученая братия вернулась к своим меркантильным заботам.

«Звезда Ван-Кукук» могла поставлять на Землю уран в неограниченном количестве хоть сто лет. Но кому и на что нужен «снудый уран»? Уран нужен бодрствующий на подхвате. Так не изволят ли господа ученые изобрести способ растолкать соню и заставить его работать так, как, самоизводясь, жарко трудится его брат-близнец? И господа ученые взялись за дело.

И вся эта змеиная свадьба — заткнутая мятым пипифаксом алхимическая колба с кипящими мозгами — роскошествовала на горбу одного-единственного человека, моего славного битюга, который ничего об этом не знал, копошился в металлической щели где-то за орбитой Марса и, по горло в собственных отходах, рубил аккуратными полукубометрами чудесный «ванкукукиш». Рубил и свято верил, что стоит собрать двух-трех умных ребят, потрянуть любую на выбор глыбу — и вот оно, старательское счастье! Хочешь личные висячие сады — на висячие сады; хошь причал, мощный лобанчиками, — на причал; хошь

умереть со скуки и назавтра воскреснуть — и это тебе обеспечат, да еще спросят, в каком виде желательно воскреснуть. В виде белого лебедя с алмазной короной? Пожалуйста! Кретинизм, чистой воды кретинизм! Битюжьи грезы!

Гужует битюг свои тонны, гужует, а искушение растет. Сон на сон и еще на сон — получается на ощупь вроде близкой яви. И притом лучшие годы вот-вот изойдут — не воротишь.

И срывается с места честной старатель мингер Максимилиан-Йозепп Ван-Кукук, несвучно молотит враздробь золочеными крылышками, подгребает к матери-планете и бухается мешком в подставленное кресло. Бухается, ошарашенно башкой вертит, подлокотнички щупает, не золотые ли. И слышит: был бы ваш уран ураном — и подлокотнички были бы золото золотом. А так — извините, скажите спасибо, что не в луже сидите. И до лужи вам, мингер, совсем недалеко: спит ваш снуленький и просыпаться не собирается. Как ни бьемся, нам его не разбудить.

И взвыл мингер, и всех — по-старательски, с гибами-перегибами, на все боки. Дураки вы все и жлобы! А где ж он, мой единственный, мой взаправдашний компаньон, друг десятипроцентный, который все это наворожил, о котором вы десять лет анекдотцы травили. Вы головы? Вы не головы, на таких головах у павианов хвосты растут. Он голова! Он за всех вас все понял и сообразил, что к чему. И вот — лопните вы все! — еще раз сообразит, и тогда я все ваши дипломы из рамок повыдеру, все наши отчеты из сейфов повытряхну, и вы сами — вы только на то и годитесь — скатаете из них надобный рулончик, нет, два рулончика, на всю жизнь их хватит мне и милому дружку десятипроцентному, подать мне сюда рапорт, где он, что он, каково живет-радуется и так ли вы его опекали, как было вам сказано!

И попер на дружка мингер, сгреб в объятия, облил слезой дружочков траченный ливер и взмолился: «Расколдуй, что наколдовал!»

Повез он дружка в незнакомые горы, дремучие леса, а там стоит избушка на курьих ножках. Внутри печки-лазеры, суперпроцессоры хлам на полках переставляют, а на пороге, встречая дорогих гостей, согнулся в полупоклоне подпольный доктор наук и тутошних крыс-пауков, муфлонов-куланов заправила, их долботронство Недобертольд Шварц, а при нем супруга его Элиза.

Побродил друг десятипроцентный по избушке, об то споткнулся, об се шишку наставил, и говорит он битюгу

своему дорогому таковы слова: «Мазеппушка ты мой любезный! Что б тебе сразу меня кликнуть — вмиг бы мы это дело с тобой разморочили, а теперь так просто не выйдет: растащили нашего снуленького по крошечкам-трепетушечкам и каждую крошечку в такую дрянь закутали, что руки опускаются и шум в башке, как у столетнего юбиляра наутро после честного пира. Ну, да ничего, не съест нас свинья, помогу я тебе, и славную бульку мы отчебучим».

Стал друг десятипроцентный посреди пустыни Рассахары и шепнул повелительным шорохом: «А ну, крысы-пауки, муфлоны-куланы, снести мне тотчас сюда все крошечки-трепетушечки нашего снуленького и соорудить двойную тетрадуру так, чтобы нижняя тетрадура в землю целиком ушла вершиной вниз, а верхняя в небеса возвысилась. Вот я вам на обороте кабацкого счета эскизец прикинул, так чтоб у меня все было в точности по нему!»

Перепугались крысы-пауки, муфлоны-куланы так, что потрудились на славу, всего снуленького, что был растрясен, в одно место собрали и веленые тетрадуры соорудили. И сами изумились тому, что вышло, поскольку наружная тетрадура получилась в натуре размером с пирамиду Хеопса. И в соображении, что у них другая такая хеопсина в землю уходит и не видна, заробели маленько, посчитав, сколько ж это преславный битюг там, на «звезде», в одиночку копытом нарыл.

«А теперь, — молвил друг десятипроцентный, — отойдите все в стороны и станьте в кружок при тетрадурах. И ждите, поскольку мне надо свою волшебную палку зарядить. Довольно и глянуть на меня, чтобы понять: дело это не простое и нуждается в глубокой задумчивости».

И впрямь. Вид у него ветхонький, до того стертый, что перед зеркалом поставить страшно: как бы он целиком на отражение свое не ушел. Отошли в сторонку крысы-пауки, муфлоны-куланы, расселись в кружок и стали ждать.

А десятипроцентный разделся нагишом, сел в позу лотоса перед хеопсиной и начал сосредоточиваться.

Три дня и три ночи сосредоточивался он, а на рассвете четвертого гикнул громким голосом и встал. И увидела почтенная публика, что он в полном порядке, а палка его волшебная багровым огнем пышет и сама в дело просится. Шагнул десятипроцентный и торкнул палкой тетрадуру. И тут же проснулся снулый уран, и мигом сделался из него уран натуральный, ни в чем не сверхъестественный.

А поскольку при этом вышло, что его критическая масса в миллион раз превышена, тут кы-ык жвахнуло!

И сделалась от того жваха в земле такая дырка, что стекло туда без остатка море Средиземное, а потом и Карибское.

А в небе, напротив, сделалась такая дыра, что солнцу в тот день восходить стало не на что. И только если очень приглядеться, маячили в бездне той дыры две ма-аленькие звездочки. И вовсе то были не звездочки, а то сам мингер Ван-Кукук и дружок его десятипроцентный в парообразном состоянии уносились в сторону своей «звезды», при том барахтаясь и весело беседуя.

«Что, Мазепп!— вопрошал десятипроцентный.— Разве я не здорово тебе помог? Разве не славную бульку мы отчебучили?»

«Да уж!— отвечал трудящийся грешник Ван-Кукук.— И помог ты мне так, что вовек больше помощь не надобна, и бульку мы отчебучили наиславнейшую! А им всем — фиголик, самая размало-микро-нано-пико-миникулка от того компота «Калимантана сзлед», что, помнишь, мы когда-то на двоих вылакали. Не журишь, у меня там еще банка завалялась. И мы ее ради такого события вскроем».

А третья дыра от того жваха, простым глазом не видимая, но самая пекучая, сделалась в человеческом установлении, именуемом «транснациональной системой промышленно-финансового кредита». И за вольное обращение с этим установлением тени Мазеппа Ван-Кукука и дружка его десятипроцентного приговорены к вечному ежедневному колесованию, истоптанию и анафеме. Составить методичку для такой казни и изобрести оборудование поручено их протодолботронству Недобертольду. За это ему обещано повышение в звании.

При этом известии наши тени только ухмыльнулись. Мы-то знаем: до скончания века будет изобретать Недобертоша, да так ни фиго и не изобретет.

«Здорово задумано!»— поддакивает битюг, а сам с консультантской подачи готовит этой сказке совсем другой конец. Крысам-паукам, муффонам-куланам приказано: на рассвете четвертого дня, как встанет, как гикнет друг десятипроцентный, всей кучей навалиться, палки волшебной лишить и обеспечить почетные похороны. Палку же ему, битюгу, к ногам положить, а тетрадуры обратно разобрать на мелкие кубики. С тем чтобы ему, битюгу, кубики самому волшебной палкой торкать и торговать горяченькими, пока не погаснет живое лукавство в очах битюговых.

Через малую печаль по дружку такой конец сулит битюгу великие радости. Во-первых, не будет никаких жвахов и все обойдется тихо, как мыслилось и делалось с самого начала. Во-вторых, система кредита, которая из-за промедления в делах (копуша Недобертольд!) несколько передоена, перестанет досаждать битюгу и получит свой процент. В-третьих, солидная торговля поспособствует осуществлению битюжьих грез об островах и гуриях. Все это слишком заманчиво для того, чтобы очень церемониться с дружком.

«А ведь кубиками не только торговать можно», — только сейчас пришло мне в голову.

Полсотни лет державы, кряхтя, разоружались, друг дружку договорами путали и системами контроля. И полсотни лет сеть на сеть кидали, чтобы никто и нигде ни-ни сквозь те сети до этих кубиков не дотянулся и не встал над безоружными континентами в дамках на большой диагонали.

А дорогой мой битюг к этой позиции поближе других будет.

Ну, не он, так Недобертоша. Ну, не их долботронство, так кто-нибудь из крыс-пауков, куланов-муфлонов, что вокруг колготятся и в данный момент об этом вполне искренне и не помышляют. Раз такая возможность появится, не может быть, чтобы кто-нибудь за ней не потянулся.

Так что дружку десятипроцентному есть над чем подумать, прежде чем браться по избушке похаживать.

И знает дружок, чего от него ждут и в каких обстоятельствах он приходит к инсайту. Даже само слово это знает. Сидя на конном заводе, книжечки почитывал и прочитанное примерял не только к животным, но и к людям. А после его неосторожных воспоминаний вслух — относительно обстоятельств в курсе и битюговы консультанты.

Так что десятипроцентному надо быть готовым не к самому веселому времяпрепровождению здесь в ожидании своих процентов. Давить будут. Непременно будут.

Вероятно, сам битюг при этом деле будет как бы в стороне.

Похоже, я крупно влип.

А не рано ли вы труса празднуете, рыцарь, едва за круглый стол севши-то?

И кто ж это нам в теплое гнездышко такое яичко-то подбросил, а?

Мазепка судорожно бдит,
Клыками впившийся в кредит.
Он без кредита был старатель,
А при кредите стал бандит.

(По ОИП процессор приравнял эти стихи к стихам ХИ-ИП, жившего 10^3 лет тому назад, в современной полиреверберативной интерпретации, см. также «Варьирование некорректное». Однако полуторачасовой поиск варианта-прототипа оказался нерезультативен, что делает весьма сомнительным тезис о непринадлежности данных стихов данному автору.)

A1:

— Не пора ли карты на стол?— говорю.

— Не то чтобы рано,— отвечает,— а ни к чему. Сам дорого бы дал, чтобы кое-чего не знать, и мое твердое желание — тебя от этого оберечь. Так, Наука?

Недобертольд сделал вид, что отсутствует духом.

— Есть такая фирма — УРМАКО. Добротная фирма, все как надо, без фуфла. Скажем, ты ее вице-президент. Ездишь, смотришь, говоришь с нужными людьми. Транспорт и obsлyга у тебя по категории «экстра». Как у меня. Имеешь коробочку, «Кадуцей» называется. Включаешь последовательно с телефоном — и полный порядок. Мечта. А, Наука?

Фон Муфлон кивнул:

— Очень удобно.

— Вот. Он соврать не даст. И на первый раз ты катишь в Гуманистан. Ведома тебе такая дыра?

— По карте.

— А теперь увидишь в натуре. Нищета — одни кальсоны на троих, и те продаются. Однако имеют Центр ядерных исследований. Есть там у нас свой человек. Ознакомишься с ходом работы. Вот Наука введет тебя предварительно в курс. Вернешься — обмозгуем, стоит ли продолжать. Ясно?

— Неясно,— говорю.— Есть вопросы.

— Поверь Мазеппу, светик, три четверти из них лишние. На прочие ответится. Главное, Мазепп тебе рад. И Наука тоже рад. Ты нам очень поможешь.

На лице Недобертольда выразилась такая, с позволения сказать, радость, что я был бы не я, если б не сказал:

— Солома.

А почему бы и нет?

Я не наивничек, не разумеющий, куда прет. Я зверюга, которую крепко подшибло в драке. Решил, что шансов нет, отполз в сторонку, сгоряча показалось, что так надо, что со мной покончено. Унижает поражение, но еще больше унижает упрямство после нокаута.

Отполз — и понял: ринг освещен, зал во тьме, а на границе света и мрака подшибленного ждет тоска. Ох и тоска!

И вдруг — шанс! Комбинация грошовая, ставки не мои, но — шанс! Омерзела ведь тоска, так омерзела, что краше кинуться под колеса да ляпнуть по наваливающему бамперу уцелевшей лапой.

Театральщина все это. Философия после дела. В тот момент я так не думал. Я учуял, что меня спускают на доктора, что доктора трясет от одного моего вида. Выграла гордыня, и я попер на доктора.

Писать полезно.

Пока в памяти держал, не понимал. А написал — и вижу: тут-то я и дал маху. Не в том, что попер, дурак, на умного, какой там Недобертоша умник! А в том, что поступил, как хотелось битюгу. Ведь он как раз и имел в виду одним моим видом и причастностью подхлестнуть Недобертольда, и я ему это дозволил. А раз дозволил, значит, выполнил битюжьей волю. А раз выполнил, значит, по битюжьему разумению, он надо мной верх одержал в личной встрече. А когда битюг решает, что одержал верх над человеком, жди беды.

Он, битюг, в руках у конюха-громилы не побывал, а я к нему с ухватками ласкового. Бить надо было. С ходу бить, не откладывая, не раздумывая. А я попустил.

При следующей личной встрече битюг попреет на меня, будучи уверен, что я отступлю. И если я не отступлю, он будет наседать, наседать, пока не выйдет драка на-смерть.

И если повезет и верх будет мой, он будет подыхать, удивленный. Как же так? Ведь я же слабее, ведь я же тогда покорность изъяслял! Стало быть, и теперь должен. И вдруг такое! Не-ет, так не годится, так не по-нашему, не по-битюжьей. С тем и помрет.

А если не повезет и верх будет его, я буду подыхать в полном сознании, что получил по заслугам.

Такое вот лирическое средисловие.

Мы отлично съездили в Гуманистан. Мы — это я, клерк-магистр-бухгалтер и Анхель-хранитель. Тот еще хранитель! Ступи я чуть вбок — от меня осталось бы мокрое место. Я как глянул на него — мигом это понял. Озлился на себя дико, но куда денешься? Чую — не то, а что не то, еще и сам не знаю. Выждать надо, сообразить, оглядеться.

Сцепил я зубы и вбок не ступал. Так что Анхель держался скромно, зыркал себе по сторонам и не выставлялся.

Наш подрядчик чем-то там в Центре руководил, какой-то балаторией. Установка, которую сооружали в Центре, предназначалась вовсе не для нас, но подрядчик брался «нечаянно» заложить в нее наш образец, когда она будет готова. В случае успеха установочку должно было порядком растрясти, и подрядчик заодно вел расчет, как свести ущерб к минимуму и сунуть концы в воду.

Сроки расчетной части подрядчик соблюдал и выдал нам технические требования на образец: несколько зерен снулого урана следовало в определенном порядке запечь в металлическую матрицу. Глянул я на чертежик — чуть язык не прикусил. Уж очень он напоминал вид строения «звезды Ван-Кукук» на той достопамятной бумажонке, что я когда-то накарякал Мазеппу, — ведь сберег ее любезный мой битюг и мне предъявил!

А вот с установкой дело не ладилось. Не хватало какой-то требухи, которая выпускается только в Сарабандии и только под строгим правительственным контролем. Подрядчик намекнул, что не плохо бы нам встрять и помочь. К такому обороту меня подготовили, и я ответил неопределенно.

Мы обосновались в приморском городке. Весь этот Гуманистан — бесплодное плато, которое обращается к морю двухсотметровым уступом, кое-где расчлененным узкими извилистыми долинами, и городок был втиснут в одну из этих щелей.

Контроль за иностранцами в Гуманистане жесткий, особенно не погусаришь. Подрядчика давно засекали бы, если бы здешними глазами и ушами не ведал его родной брат, большой любитель запчастей к автомобилям по льготной цене. Вот его томлениям мы пошли навстречу и были вознаграждены разрешением побывать на диком пляже километрах в тридцати от города. Там нас ждал сеанс подводной охоты с аквалангами, а в кустах под обрывом сержант, лично ответственный за слежку за нами, собственноручно запек барашка.

Брат Недреманное Око, тыча в морскую даль смуглым пальцем, обратился ко мне с длинной речью, которую перевел брат-подрядчик.

— Он говорит, триста лет назад тут, недалеко от берега, утонул голландский корабль. На нем везли с Явы серебро. Он и сейчас там, на дне. Сегодня штиль, вода прозрачная, его видно. Если хотите, можно посмотреть.

— А глубоко там?

— Метров шестьдесят. Но видно хорошо.

— Серебро, поди-ка, подняли до последнего гроша?

— Нет. Это национальный мемориал. За-по-ведник. Можно только смотреть уважаемым гостям.

Меня удивило такое почтение к древнему разбитому корыту.

— Несколько моряков с того корабля спаслись. Одна шлюпка. Они здесь высадились. Они не могли уехать и остались здесь. Один стал визирем у нашего короля. А когда король умер и визирь умер, королевны взяли себе еще одного в мужья и короли. Эти моряки делали большую пользу. Их потомки — самые уважаемые роды в стране. Мы из такого рода.

Брат Недреманное Око не умолкал, и брат-подрядчик продолжил:

— Один был лекарь. Трахома, оспа. Он делал прививки от коровы. Построили мельницу. От ветра. Тот, который лекарь, нашел траву сеять вместе с пшеницей, чтобы зерно было крепкое и богатое.

— А потом пришли англичане, — от многознания посочувствовал я.

— Сюда не пришли. Они были там. Где город. Им был нужен город и порт и чтобы не было пиратов. Мы не пираты, и они сюда не ходили.

— И про серебро не дознались?

— Сыновья клялись отцам, что никому не расскажут.

— И вы клялись?

— Нет. Теперь не клянутся.

— Почему? В одну чудную лунную ночь кто-нибудь нагрянет и мигом высосет со дна весь клад.

Братья захохотали. Брат Недреманное Око развеселился настолько, что кое-как произнес по-нашему:

— Нет, нет. Локатор. И батарея ракет. Бджум-бджум-бджум — и все. Не промахивают себя. Японские.

— А нас они не «бджум-бджум-бджум»?

— Нас — нет. Они знают. Я предупредил.

Я задрал голову и повел взглядом по верхнему краю археозойского отруба умершей каменной плиты. Только

что я чувствовал себя здесь, как первочеловек на нехоженом поле побоища богов, ан, оказывается, где-то в этих глыбах задолго вперед меня прижилось в потай родимое кусучее семя!

— Не смотри,— отсоветовал Недреманное Око.— Хорошо спрятано. Они сейчас твой коронка на зуб видно. А ты — ничего. Только это — тс-с-с,— приложил он палец к губам.— Никому. Как между деловой партнер. Да?

Этот смуглявый бес гордился! Гордился гнилыми досками в тине морской, родовыми заслугами и даже японским самострелом, прилаженным среди камней. Гордился, шкура продажная! И братец его ученый, готовый за гроши чуть ли не на воздух поднять гигантскую махину, с таким трудом сооруженную на задворках географии,— он тоже гордился!

Впрямь забурил я на конном заводе — оторопь берет при виде разносторонности своих собратий.

И вот им, таким, с битюжьего соизволения в лапы мой снуленький? Да им пистоны к детскому пугачу продавать нельзя: вмиг соорудят пакость для кровавого разбоя!

На резиновой лодке мы добрались до места, где, по уверениям Недреманного Ока, лежал на дне затонувший корабль. В воду сунули обзорную камеру, но я ничего не мог разглядеть сквозь такую толщу. Нырять на глубину — для меня безумие. Анхель-хранитель тоже не изъявил желания лезть в пучину. Братья-разбойнички полопотали, и Недреманное Око ткнул пальцем в сторону моториста. Тот белозубо улыбнулся, напялил сбрую и пал за борт. Минут через пять он вынырнул, подняв над головой сжатый кулак. Братья подхватили его, помогли перевалиться в лодку и снять снаряжение. Некоторое время парень сидел, бессмысленно таращась и слизывая кровавые потеки из носа. Потом шумно вздохнул, опять заулыбался и подал мне на разжатой ладони серый ноздреватый камушек. Брат-подрядчик перехватил камушек, поскреб ногтем, сполоснул за бортом и вручил мне — серебряную монету:

— Вот. Видите? Все правда.

Я вынул из бумажника десятку и протянул парню. Тот сжался и робко глянул на брата Око. Око благосклонно кивнул, и моторист, просияв, сунул бумажку под ветошь, на которой сидел.

— Не положено,— укоризненно сказал Око.— Иностранная валюта. Очень щедро. Сейчас разрешаю. Больше никому не давать. Тюрма.

— Как сувенир,— сказал я.

— Сувенир! — захохотал Око.— Сувенир! Полгода заработок. Сувенир!

Пока шли приготовления к пиру, я сидел на камне, опустив ноги в воду. Вечерело. Бледное небо, густая синева моря, багрово-бурые библейские утесы.

Анхель помалкивал шагах в десяти сзади, а во мне поднималось что-то неизъяснимое. Словно вот сейчас я встану и начну прорицать, сам не понимая рвущихся наружу звуков, корчась и захлебываясь от невозможности исполнить волю, наказующую мне. И вдруг нечаянно произнесу странное слово — и небо разверзнется, хлынет палящий бесцветный свет, утесы распадутся, а море встанет стеной. Меня сшибет, заткнет дыхание, но я еще успею догадаться, что это гром.

Я разом видел и этот крах и безмятежность, и влачащуюся во мраке «звезду» и мой рисунок ее потрохов, и Апострофа на круге и Мазеппа за полированным столом, и тысячу других предметов и событий. Словно у меня было не одно зрение, а семь, словно я мог заодно существовать в семи мирах, в одних буйствуя, в других подвергаясь буйству, в третьих растворяясь в упоительном немыслии.

Вдруг наложились друг на друга мой эскизик прежних лет и чертеж брата-подрядчика, и...

Чепуха жуткая. Жуткая чепуха.

Ересь.

Недобертоше сказать — его перекосит. Не скажу. Пусть трудится спокойно. И долго.

А сказать-то хочется.

Серебряную монетку прячу подальше.

Глянешь на нее — оживает в душе отзвук. Все бы разнес, заорал бы... И скоренько топишь взгляд в здешнем сытом барахле, чтоб завязло, заглохло, тихой ряской затянулось.

Будто я и впрямь игрушка в чьих-то звонких пальчиках.

Выложил я подрядчиковы бумаженции Недобертольду на стол, пошуршал он ими — отшвырнул.

— Шарлатанство,— говорит.— Я так и думал. Направление надо закрывать. Выражаясь вашим языком, завязывать.

Я и глазом не моргнул, хотя это не мой язык — битюжий.

— Это все шарлатанство,— говорю.— Меня, во всяком случае, учили, что процесс радиоактивного распада нашему воздействию не поддается.

— Я не собираюсь воздействовать — я собираюсь инициировать. Это совсем другое дело.

— Много на себя берете, доктор.

— Ваши мнения по каким бы то ни было поводам меня совершенно не интересуют.

— Отчего же так, доктор? — говорю.— На вашем месте я помнил бы, кто именно открыл снулый уран.

— Вы его не открыли. Вы его хапнули. Открытие есть результат труда. А вам просто повезло.

— Важен результат.

— У меня нет ни времени, ни желания беседовать с вами на эти темы.

— А у меня есть. Предпочитаю полную ясность в отношениях, уж такая у меня выучка.

— Люди клали жизнь на труды, силясь вытянуть из абракадабры хоть одно-единственное осмысленное слово. Одно-единственное! И вдруг является обезьяна, машет хвостом, и складывается целая фраза. Это мошенническое оскорбление моего способа жизни. Единственного способа, который нам дан и гарантирует доброкачественный результат.

— Какого способа?

— Трудиться и еще раз трудиться, чтобы получить ответ от природы.

— Ах вот оно что! Но меня же можно наложить на милый вам процесс познания вполне удовлетворительным образом. Просто в моей голове нечаянно скрестились линии действия многих, на ваш взгляд, достойнейших людей. Они трудились не зря, а я как личность здесь ни при чем, я лишь случайная точка.

— Так и ведите себя соответственно.

— Я и вел. Я не просил, чтобы меня вытаскивали с конного завода. Ну же, доктор! Вы же поклонник логики. Рассуждайте. Будьте последовательны.

— К сожалению, есть вещи сильнее логики. Я вынужден это признать. Меня тошнит от этого признания. Но раз уж я признал, с какой стати мне сдерживаться при виде вас?

— Зависть, доктор?

— Нет. Омерзение.

— Зря. Ведь я жестоко заплатил за свое открытие. Не меньшую цену, чем ваши трудяги. Я всеми надеждами, всеми планами, всем здоровьем заплатил. Разве не так?

— Не так. Что бы вы ни сделали, что бы ни сказали, все это будет не так. По определению.

— Эмоции.

— Да. Уж извините, весь мой разум уходит на другое.

— На задачку, которую подкинули нам «братья по разуму»?

— Вот-вот, начинается! О чем я могу говорить с человеком, набитым трухой сказочек для черни?

— Раз уж мы с вами оказались в одной лодке, не лучше ли выработать статус терпимости?

— Это верно. Мое требование одно: не путайтесь в мои дела.

— Неосуществимо. Ведь меня посадили в лодку именно для того, чтобы я в них путался. Разве не так?

— Что за чушь! Ну и самомненьице у вас! Да вы неспособны на это хотя бы по недостатку знаний.

— Я кончил известную вам академию, а там неплохо учили, если я сумел сделать то, что сделал. Вам так не кажется?

— Хватит. У меня такое чувство, что меня облепили щупальцами и тянут в пасть. Не хочу продолжать этот разговор. С вас достаточно?

— Будь по-вашему.

Сложная затеяна игра. И еще не все линии задействованы.

В:

А действуют-то по традиции. Недалеко ушли. Жмут с трех сторон.

Мы обедаем с мадам Элизой. Наедине. Кстати, вряд ли она супруга Недобертольда, это, похоже, мой вымысел. Такое существо ничьей супругой быть не может. Но так смешнее, а юмора мне резко недостает.

Первое блюдо она ест спокойно, а перед вторым у нее загорается в глазах огонек, два-три судорожных вдоха, и она начинает говорить. Говорит все быстрее, все нервной. Рассказывает. Что попало и как попало. Самонакручивается.

К концу рассказа обычно вскакивает, бежит, жестикулирует. Иногда, словно запнувшись, всматривается, глаза горят, пальцы так и ходят, так и вопьются сейчас мне в горло!

Внезапно нормальным голосом прощается и почти убегает.

По-моему, что-то подобное как-то по-медицински называется, но как именно, я забыл.

Если это актерство, то очень изощренное. Полный аналог цветного сна-кошмара. Рассказы долго бродят в голове, не давая ни о чем думать. За следующим обедом все начинается сначала.

Преодолимо. Есть средство. Но если я покажу, что не берет, будет сделан следующий шаг.

Сделал вид, что берет настолько, что пытаюсь уклониться, и не пошел обедать. День не обедал, два, а вечером третьего мне организовали... Писать об этом не буду. Не могу.

Стал снова ходить на обеды.

Разыгрывая сбитого с толку, приходится время от времени чередовать обеды и эту гадость.

Третий пресс работает независимо. Врач. Я вынужден постоянно бывать у врача. Компетентен, заботлив. И очень точно и к месту кидает словечки про то, как именно и с чем именно у меня плохо обстоит дело. Образно.

Терплю. Жду своего часа. Маневрирую как могу. Выказываю, что задерган. Это нетрудно. Если выкажу нечувствительность, будет намного хуже.

А потом появляется битюг — само братство, простота, откровенная просьба о помощи, посулы. Если я ему пожалуюсь, отменяют. И применяют другое. Наверняка худшее.

Вон оно как провоцируют инсайт в избушках-то!

А спасаюсь тем, что записываю рассказы мадам Элизы. Напал на это случайно. Как запишу, так порция юмора и все вон из головы. Пока помогает.

В:

История рода мадам Элизы фон Муфлон
моими словами по ее рассказу

У русского царя Петра Великого был старший брат Вильгельм Вильгельмович, которому по праву принадлежала русская корона. Вильгельм Вильгельмович основал новую русскую столицу, назвал ее своим именем и задумал жениться на испанской инфанте, чтобы объединить владения Испании и России.

Но пока он ездил в Испанию, младший брат Петр Алексеевич произвел переворот, взял столицу и переиме-

новал в Петербург. А инфанта буквально накануне свадьбы умерла.

Огорченный Вильгельм Вильгельмович надел траур и поехал назад в Россию. На чешской границе его дожидались верные полки, и между братьями разгорелась война. В решающем бою брат Вильгельм потерпел поражение и решил бежать через Сибирь в Америку. И на берегу Тихого океана открыл знаменитую Магнитную гору, о которой писано еще у Плиния Старшего.

Вильгельм Вильгельмович, прекрасно образованный человек, понял, что перед ним богатейшие залежи железной руды, построил у подножия горы сталелитейный завод и основал город Магнитогорск. Окрестное славянское население признало его повелителем, и он принял титул Великого князя Магнитогорского. Под этим титулом правили новым процветающим княжеством и его потомки. Внук Вильгельма Вильгельмовича помирился с внуком Петра Великого царем Теодором Джоновичем, Магнитогорское княжество стало частью России, а княжеская семья переехала на жительство в столицу Грузии Кисловодск, где прапрапрадед мадам Элизы женился на грузинской царевне Элеоноре.

Когда власть в России захватили большевики, семья спаслась просто чудом и перебралась в Париж. Но прадед мадам Элизы не выносил столичного шума, он искал тишины и перевез семью в маленький французский городок Жёмон возле бельгийской границы, где открыл первоклассный канцелярский магазин.

Вскоре началась вторая мировая война. Гитлер захватил Жёмон, и в огне жестоких боев бесследно исчезли владетельные грамоты великокняжеской семьи. Возможно, они когда-нибудь отыщутся. Мадам Элизе уже намекали, сколько это стоит, но, во-первых, у нее сейчас нет таких денег, а во-вторых, семейная гордость не позволяет ей унижаться до купли-продажи ценностей, которые и так ей принадлежат.

Но настанет день, и все убедятся, что мадам Элиза по праву сохраняет за собой титулы грузинской царевны и Великой княжны Магнитогорской. Ей лично эти титулы не нужны, она давно отказалась бы от них. Но они принадлежат роду, в том числе ее будущим детям и внукам, и она не может и не должна решать за них столь важный вопрос.

В:

На нас работают в восьми уважаемых научных центрах. Кое-где — официально, от имени УРМАКО, по расчетной части. Кое-где — нет.

УРМАКО имеет кредиты от консорциума шести банковских групп и, кроме того, от трех правительственных организаций в Африке, Азии и Южной Америке, которые, по-моему, не подозревают о существовании своих компаний.

УРМАКО не одна. Думаю, битюг имеет еще две-три благопристойные личины, но к этим документам я не имею доступа.

Получаю копии всех ученых отчетов. Те, что потолще, не читаю. Многословие — верный знак заблуждения. Те, что потоньше, стараюсь смотреть. И ничего не понимаю.

Начинаю читать каждый раз со страхом: а вдруг нащупали. До сих пор не нащупали, но это не может длиться вечно.

А случая все нет.

Устал я. Недобертольд...

АЗ:

— Думаешь, я хотел? Зуб дам, что не хотел. Зуб дам, что не лез, не шнырял, не подсиживал. И мокрых дел не обстраивал. А так выходило: чуть где затрет, так, кроме Мазеппа, некому.

Думаешь, я «звезду» открыл? Не я. Бросовый мужичонка нашарил и сам ко мне подвалился: «Мне не сдюжить, а ты вон какой!» Взялись на паях, он год повкалывал, а потом взмолился: «Мочи нет. Ни полпая мне не надо, ни четверть пая. Гони тридцать кусков... Черт с тобой, хоть двадцать, лишь бы враз — и владей на здоровье, а я линяю».

А где мне двадцать кусков взять?

Я в «Семью» полез, как в петлю. Думаю, гореть — так с песней. Взял пятьдесят кусков, добыча пополам. Тому мужичонке двадцать сунул, на остальные «Марс-Эрликон» справил — рубаю. Половина с ходу не моя, половиной за долг рассчитываюсь, сухари грызу. Тут тебя и нанесло.

Под твою ворожбу передоговорился с «Семьей». Остаток долга скащиваем, они вкладывают миллион, платят за регистрацию — я долбаю. И ежели пойдет, тридцать моих, семьдесят ихних. Вся троица приезжала, «звезду» общупали, как невесту. Регистрация на мое имя, сам закон знаешь. Платишь — и сиди. Чуть стронулся с места,

два года прошло — и прощай права. Я сижу. Долбаю.

Добрался — выдал первые кубы. И все точь-в-точь как ты обещал. И приезжает ко мне средний. Младший, говорит, спился, две дочки у него, зятя — хапуги, дело загубят. Старшего саркома ест. Лечится, лечится, а мысли уже не те. У меня, говорит, сын, так он картинки рисует, заходится. Только разговор, что «Семья», говорит, а по сути я один, в деле сотня миллионов крутится, и кругом одни рвачи, никому не верю. Так нельзя. Протяну, говорит, ну, три года, ну, пять и начну молотить направо-налево. И делу конец. А такое дело! Два десятка точек в разработке, транспорт налажен, от клиентов отбою нет, и все тихо. Это же никакому расхудожнику так аккуратно не нарисовать! Случись со мной что, говорит, так помру не с того, а с тоски, что такой красе конец.

А ты? — говорит. У тебя авторитет, ты такую махину своротил и не свихнулся. Тебе верю. Иди, говорит, в «Семью». Пока — самым младшим. Все точки отдаю под твой надзор. Твое дело — производство, мое — рынок. А там посмотрим. Как сдюжишь.

Ну, договорились. Вместо меня подставку сделали, но закон есть закон. Каждые полтора года дергаю на «звезду» и там на глазах у всех инспекторов собственноручно кубы режу, как резал. И пока я жив, все права за мной.

Одного они не знают в Верховном комиссариате — они думают, я вольфрам режу. И считают «звезду» по второй категории. Не дай бог, дознаются, что там уран, — переведут в первую, и катись, Мазепп, колбаской! Сунут мне отступные, объявят международный консорциум.

— Но ведь снулый уран-то, Мазепп! Снулый!

— Чудак, в том-то и сила! Конец света не завтра, вперед глядеть надо, мозгами раскидывать. Пока Наука возится, я склады битком набью, а что на складах, то уже наше. Только больше я тебе ни слова не скажу. Ни к чему.

— Так вдвоем со средним, значит, и мозгуете?

— Помер он. Инсульт. Я один. Вся «Семья» — это я. У него хоть я был, а у меня — никого.

— Даже меня?

— Ты-то есть, — протянул он. — Ты-то есть. Денег нету. Горим. Все выжато. Если к первому концентрат с пятнадцатой не подспеет, чем проценты платить буду, не знаю. Так-то вот. И объясни мне хоть ты, как же это выходит: высший закон исполняю, все от себя отдаю, а меня со всех сторон гвоздит и гвоздит, будто я против течения пу. А? В чем фокус?

Этому ни я коней не учил, ни кони меня не учили.

Аз:

«Фёрст мэн».

Мазепп решился. Мы поплелись на поклон к «фёрст мэну».

Сцена представляет собой квадрат с диагональю в тридцать пять километров. Никаких промышленных и сельскохозяйственных предприятий — псевдодевственная лесостепь с веселенькой живностью. В центре квадрата — добротный плантаторский дом со службами посреди псевдозапущенного парка. Народу-у — тьма, но опытные оберткрайсландшафтмейстеры обеспечили иллюзию полного безлюдья. Запашок человеконенавистничества под этим природолюбием простой душе и не помстится.

— Мазепп! Остановись, глянь и подумай! Он же тебя съест в один хлоп челюстями! — Что-то в этом роде я лепетал, пока мы шли по молча указанной нам тропинке.

— Слезь с души. Сам знаешь — выхода нет. Ели меня ели, да не съели. А съедят — пусть лучше он съест, а всем прочим — фиг-нолик.

Робел битюг, но бодрился. Усиленно. За нас двоих.

Ну, идем.

Историки грезят о протоколах таких бесед, но что-то их нет, протоколов. Так что предлагается уникальный товарец.

Ей-богу, если б я не знал, кто перед нами, прошел бы мимо этого типа, как мимо смятой банки из-под пива.

Злюсь. Преувеличиваю. Мужик как мужик.

Считается, что у таких людей время дорого и аудиенции дольше десяти минут не длятся. Чушь. Ему явно нечего было делать, он был нам рад, как сопляк трехлетний калейдоскопчику, вертел на все боки и смотрел на свет. Три с лишним часа.

Легенда об открытии «снулого урана» нашла благодарного слушателя. В отличие от повести о финансовых тяготах, под которую ему зевалось со скуки.

Сам он говорил очень просто и откровенно. Сначала я инстинктивно искал за этим подвох, но потом меня осенило: а с какой стати ему строить нам подвохи? Мы же у него как божьи коровки на пальце: бежим, бежим, чешем лапочками, а пальцевладельцу — милая забава.

— Завидую вам,— сказал он Мазеппу.— Чем бы ни кончилась партия, начато и поведено красиво. Это достойно войти в хрестоматии, независимо от того, каков эндшпиль. Но с эндшпилем вы пришли ко мне, я вас правильно понимаю?

Мазепп кивнул.

— А мне, представьте себе, претит садиться и доигрывать за вас. Вел-вел виртуоз, и вдруг является каток. Хрусь!— ни позиции, ни доски, король в лепешку, но разве это мат? Срам! Я на это не согласен. И при том, что я каток, я же уязвим, как медуза. Сколько народу только и ждет, чтобы я на чем-нибудь этаким споткнулся! Уличить меня в связях с вашей братией — все наши комитеты, подкомитеты и комиссии спят и видят. А ведь есть еще две трети мира: русские, китайцы, Индия, Африка. Что скажут они? Что я проклятый комбинатор и, как все это дрянное семя, липну к мелким подлогам и обманам? Ведь все ваше дельце — это мелкий подлог и обман в космическом лабазе, не так ли?

— Так,— согласился Мазепп.

— Приятно слышать. А то публика вроде вас даже в личном пользовании увертывается от называния вещей своими именами. И вы хотите, чтобы я на глазах у всего мира попался на такой дешевке? Фу, дорогие мои, фу! Не пойдет. Родничок тут поблизости, пить не хотите? Посидим на берегу.

Попили, присели.

— И все же мне хочется вам помочь. Но как? Притом чтобы не испортить партию и не замараться. Ваши предложения?

Мазепп изложил предложения.

— Не годится,— покачал головой «фёрст мэн».— Это построено на неверном представлении обо мне. Вам вбита мысль, что я могу купить добро. Бред! Это не дано никому. Я работаю на перепадах зла — от большего к меньшему, или наоборот. И поверьте, от этого не в восторге. Хотя и в выгоде.

— Так ехали бы к русским. Или к китайцам,— брякнул битюг.

«Фёрст мэн» рассмеялся.

— Родись я там, я был бы, наверное, неплохим коммунистом. Ведь я стою на том, что аккуратно выполняю правила игры. Но менять правила на ходу — это плохая игра. Это не для меня.

— Не понимаю, что же для вас хорошая игра,— вязался я.

— Это уже вопросы!— живо сказал «фёрст мэн».— А мы не договаривались на интервью. Но вам, так и быть, отвечу. Я стригу алчных и ленивых дураков. Вообразить невозможно, сколько на свете таких дураков и как они разнообразны. Я их стригу, а потом коллекционирую.

— Значит, по-вашему, я проиграл этим самым дуракам,— гнул свое Мазепп.

— Нет. Этого я не сказал. Но, чтобы выиграть, вам нужен резкий поворот мысли. Непостижимый для дураков. Они тянут вас в свою паутину, а вы поддаетесь. Вырвитесь. На иной уровень. Кое-какие существенные моменты я, по-моему, вам обозначил. Думайте. Когда придумаете, приходите. До той поры обещаю вам нейтралитет. Мысленно ставлю на вас и буду огорчен, если не выкарабкаетесь.

— Сколько сроку даете?

«Фёрст мэн» поморщился:

— О чем вы говорите! Сроки даю не я, а ваши кредиторы. По мне, так все равно — неделя или месяц.

— А если год?

— Ну, если вы продержитесь год, то за каким чертом вы вообще ко мне явились? Думаю, вам приспичит гораздо раньше.

Когда мы уже садились в вертолетик, меня тронули за плечо и попросили немного задержаться. Не забуду, какими собачьими глазами глянул на меня Мазепп.

«Фёрст мэн» завтракал на веранде.

— Не откажите разделить со мной трапезу. И не могли бы вы рассказать поподробней, как вам пришла в голову мысль о «снулом уране»?

— Не могу,— честно сказал я.

— Почему?

— Потому что я сам этого не понимаю. Да и не помню.

— Л-любопытно,— протянул «фёрст мэн».— Уж и не знаю, повезло вашему приятелю с вами или наоборот, но

хотел бы я быть на его месте. Разумеется, предпочел бы ваше, но такое пожелание уж вовсе грешно. И вы уверены, что эта ваша «звезда», она кем-то сконструирована?

— Напрашивается. Но мало ли что напрашивается.

— Ах как хочется прилепиться к этому делу! Но вы все так запутали, перепачкали. Зачем? Вам не стыдно?

Почему бы не ляпнуть, что запутали-то без моей помощи? Палец так милостиво, так бесцеремонно разводит божьих коровок по азимуту. Почему бы не помочь пальцу? Та-акому пальцу!

— У меня нет досуга на эти размышления.

«Фёрст мэн» улыбнулся:

— Как хотите, а мне было бы спокойней, если бы «снулый уран» пробудился без помощи вашего друга. В свой срок. А? Вы не согласны?

— Нет.

— Естественно. Благодарю. И у меня к вам есть предложение.

Молчу.

— Когда и если вы освободитесь от этого дела, не согласились бы вы на некоторую близость к моим заботам? В любой форме, которая вас устроила бы?

Выдать бы ему, как шилом в кончик пальца!

— Боюсь, что с этим придется подождать,— промямлил я.

— Что ж, я умею ждать. Вы ешьте, ешьте. Дорога дальняя — проголодаетесь. Простите, что задержал. Вас доставят, куда прикажете. Мои извинения вашему другу. И всяческие добрые пожелания.

Куда, куда! В мою берлогу при конном заводе, куда! Второй год, как мечтаю поблаженствовать в шлепанцах без Анхелей-хранителей на пороге.

Эк всем инсайты нужны! Оказывается, я товар нарасхват. Не подкинуть ли битюгу мыслишку совершить натуральный обмен: он «фёрст мэну» меня купно со всей обслугой, «фёрст мэну» ему либо отсрочку платежей, либо новые кредиты под снуленького?

Впрочем, тут мне беспокоиться нечего. «Фёрст мэны» сами не сидят сложа руки. Мазепп задавится — меня не отдаст. А мне в любом случае лучше не будет.

Заело.

Как битюговы художества расписывать, так рысцей к процессору, на ходу ручки потирая, а как до своих дошло, так настроения нет, надо подумать и здраво рассудить! Поздно.

А с другой-то стороны, никто меня не щадил и не щадит, так с какой стати еще и мне самому на себя насеждать?

Тоже резонно. Время есть. Во всяком случае, до того, как битюг вернется со «звезды», ничего не произойдет.

Так долго ждать, так вдумчиво готовиться, так ставить все на одну карту, а потом сидеть и тупо маяться, что сделана глупость, какая-то колоссальная глупость!

Проще всего убедить себя, что это очередной инсайт, не поддающийся разбору. Хотели от меня инсайта? Хотели. Получайте, а с меня взятки гладки. Но это проще всего.

В:

Суп-пюре из шпината. Он мне очень полезен. Ненавижу. А он, зеленый, мне еще и снится.

Старший брат мадам Элизы — великий изобретатель. Например, он еще в юности изобрел антемат — систему приемов для порчи настроения людям в его отсутствие. Он являлся — и неприятности разом кончались. Так, безо всяких усилий с его стороны, у людей создавалось приятное отношение к нему.

Самым серьезным образом он работал над фобософией, много раз меня даже подход к этому понятию, пока не взялся по вдохновению последовательно переписывать труды философов, древних и современных, подставляя вместо каждого слова — обратное по смыслу. Это подвижничество привело его к ряду изумительных открытий, к идее создать новый вид искусства — духовное ваяние, то есть художественную обработку человеческой души. Продолжая занятия фобософией, он одновременно

исполнил несколько анимоскульптур, как назывались его произведения.

Простого автомеханика он сделал настолько тонким искусствоведам, что тот, к несчастью, кончил свои дни в приюте для неврастеников. И наоборот, одареннейшего музыканта в три года превратил в образцового унтер-офицера прусской школы. Вот только унтерофицерствовать было негде, у бедняги на безделье сделалась язва желудка, и, помня о своей первой неудаче и не желая ее повторения, брат срочно перелепил его в талантливые системные программисты.

Он особенно гордился тем, что для этих преобразований применялись не какие-нибудь там изощренные методы или чудеса фармакопеи, а самые простые доступные средства, которые отягощают анимоскульптора ничуть не больше, чем обычного скульптора — резец, молот и возня с глиной.

Естественно, речь шла не об опытах над людьми — брат работал с математическими моделями личностей. Он был увлечен самой идеей преобразования психологических воздействий в «отрасль точной технологии», как он любил говорить.

Но труд его был, видимо, преждевремен и потому чрезмерен. Против него ополчились и психологи, и педагоги, и философы. Бюро патентов отказывало ему раз за разом. Даже тогда, когда он подал заявку на новый способ дрессировки служебных собак, очень экономичный, потому что не требовались расходы ни для поощрения, ни для наказания животных.

Брат был в отчаянии. Мадам Элиза уговаривала его применить к своим врагам хотя бы невиннейший антемат, но старший брат считал, что это было бы нечестно — применять такое средство, когда сведения о нем не опубликованы в «Вестнике изобретений», пусть даже в его закрытом приложении.

И наконец он решился. Он сам, по своему собственному методу переваял свою духовную сущность и превратился в не очень удачливого садовода-бирюка. Он порвал все связи с прежним кругом, и даже неизвестно, жив он или нет, а если жив, то где находится.

Любопытно, как оплачиваются услуги грузинской царевны — повременно или по метражу магнитозаписи? Судя по ее словоохотливости, все же по метражу.

С1 — 28:

мадам
голоден и недолог
я слагался

вижу жив
лезу в узел
а жую ужа
низ неба бензин
верх рев
и лун нули
лазер срезал

о пел я лепо
а жую ужа
мазь ла бальзам
делологии гололед
иисусии

снес нонсенс

болвана в лоб болвана в лоб
алиса шанс наша сила
гни ври о ирвинг
и ешь шеи
и макрогубы бугорками

безумия и музе б
мадам

(Принадлежность этого опуса перу автора записок прогоном по ОИП не проверялась. Его палиндромического построения сам я не заметил, и это был единственный случай, когда отнесение текста к поэтическим было проведено экспертом. «Могу назвать десяток ХИ-ОП, которые весьма позавидовали бы автору,— заявил эксперт.— В добровольно вздетых веригах автор изворачивается предельно изящно, так что все это имеет приемлемо четкий трагикомический смысл».—«А это не машинные стихи?»— спросил я. «Хотел бы я заловить чудака, способного обеспечить такой результат на машине за рационально мыслимое время! Я бы половину лаборатории уволил и ходил вокруг него на цыпочках»,— ответил эксперт, известный в своих кругах алгебраист-поэтолог.)

В:

Решительная битва скромной науки
со спесивым невежеством,
всяческое торжество первой
и безоговорочное посрамление
последнего

— Я человек Ренессанса. Мне тысяча лет. Меня поразила стоячая давка цехов и гильдий, маразм общин, увязших в чуме и усобицах, я его сжатая антисуть и раз-на-всегда не желаю иметь с ним ничего общего. У меня эйфория независимости, я желаю следовать только собственной воле, я пою даже от возможности жестоко платиться за это, меня проще убить, чем загнать назад, в скотные дворы круговой поруки и всеобщего равного прозябания. У меня не бывает ни соратников, ни обязательств, и поэтому слова «измена» и «предательство» для меня ничего не значат. Сейчас и здесь я потому, что так мне угодно, а завтра я уйду и не оглянусь, и упрекать меня в этом бессмысленно.

Недобертольд орал. Кажется, я его допек.

— И мне, такому, как я есть, культура обязана всем. Пусть я не раскрыл тайн природы, но я привел их к виду, удобному для употребления, преобразовал производства и искусства, осознал безмерный мир как комок сырой золы, открыл уму тысячу иных, истинно бесконечных пространств, и физических, и духовных, где я волен и неукротим, невзирая ни на какие внешние обстоятельства.

Никого так не боятся ваши ханы и свинопасы, как меня. Да! Они удавили бы меня в уголку, если б знали, как без меня понукать оравами, мясом и пóтом которых сыты и озабавлены. Сопя от ненависти, мне дают жить — чтобы грабить меня. И грабят, потому что знают: за свою свободу я отдам все, что произвели мой ум и руки. Ибо произведенное, сделанное для меня мертво, а живо лишь творимое.

Вот творимого я не отдам, я никого к нему не подпущу, я буду грызться, как бешеный пес! Не подпущу, слышите вы! Не подпущу!

Я хватил ладонью по столу так, что какая-то дрянь мерзко звякнула, и попер на приступ:

— С чего вы взяли, что это —«ваше»? Это мое! Потому что первому пришло в голову мне. Это Мазеппово! Он ногти и зубы искрошил, пока выковыривал. А вы — паразит, карманник с философией, нового Ферми из себя корчите. Отобратъ у вас этот кусок и во всеуслышание кинуть любому, кто пожелает,— это уж такая справедливость, что

проще не бывает! И элементарное приличие по отношению к тем, кто способен такие пилюли штамповать и разбрасывать по белу свету.

Недобертольд ощерился и отработал на знакомый мотив.

— Опять эти сказочки для нищих духом! Нет, это все-таки похабщина: недоумок нечаянно нашарил в мусоре алмаз и теперь корчит из себя пророка-теоретика! До чего вы мне противны, вы, мартышка со счастливым билетиком в вечность! Уймись, вам и так уже повезло сверх всяких приличий, и дайте дорогу тому, кто не боится труда и умеет трудиться!

— Это вы-то умеете трудиться? Вы фат и шут!

— Фат и шут?! Ну, хорошо! Идемте, я вам кое-что покажу. Только бы вы сумели понять, о чем речь, и я заставлю вас вылизать все ваши словечки и прихлопну, как удачную вошь! Идемте, вы, подханок!

— Идемте! Куда прикажете? Идемте!

— Идемте!

— Да, да! Идемте!

Добеседовались! Ни у него, ни у меня уже слов в языке никаких не осталось, одно голое бешенство, которым выючат первое попавшееся полумеждометие.

И он привел меня в свой цифирный чулан с дохлыми дисплеями и врубил заласканный трехмерный фонарь.

— Глядите!

В глубине фонаря за клубился рой синих и красных блесток, слитых в пульсирующий, текущий эллипсоид.

— Ну и что?

— Извольте ждать. Это модель ядра обычного урана-235. Мое производство. Период полураспада — семьдесят миллионов лет. Демонстрационный масштаб во времени замедлен в миллиард раз, чтобы вам удобнее было разглядывать. Ждите. Ядро может распасться сию секунду, а может валандаться перед вашими взорами в таком вот виде до конца времен. Я сам его сроков не знаю, я, который его соорудил. Зримая определенность на играх неопреде-

лимого. Уж и так подступались к этому, и сяк, а соорудил я, шут и паразит, как изволите выражаться. Ждите, ждите. Вдруг вам еще раз идиотски повезет, и вы увидите то, чего еще никто не видел, даже я,— самопроизвольный распад этой погани, от которой, знать о ней ничего не зная, греются миллиарды вам подобных. Ну, насмотрелись? Все. Не смею больше отнимать ваше драгоценное время.

Это впрямь было здорово. Завораживало, услаждало, порабощало. Перед такой картинкой можно было сидеть веками. Глубоко же мы въелись в печенки природе, если куланы-муфлоны имеют возможность играть в красоту!

— Пусть эта буля играет себе там, где ей положено играть,— в насекомстве регистров. А мы, разумные люди, обозрим фокус номер два. Хоп!

В фонаре явились четыре шара из тех же блесток, плотно сжатые в тетраэдр. Тетраэдр дышал, колыхался, но было в нем что-то жесткое, неизменное. Из его центра вырывались и вились вокруг синие блестки. Немного, с десяток.

— Честь имею представить — модель ядра распрекрасного ванкукукиша. Так и просится сказать, что фальшивка. Четыре ядра обычного железа, сшитые избыточными нейтронами. Все держится на динамике взаимных превращений, всяк миг разваливается и не успевает развалиться. Если я не помогу. А я помогу.

Он поиграл кончиками пальцев на клавиатуре процессора.

— Проще некуда. Я прилагаю внешнее давление. То же действие, что вы производите на стул. Программа его наращивает, наращивает... На обычное ядро я этим воздействовать не могу в силу его прецессирующих симметрий. А на это могу — уж больно торчат перенапряженные вершины. Могу! Смотрите! Хоп!

Тетраэдр сложился в шар, шар заплескался, заметался, блестки ослепительно засияли, и клубок разнесло в клочья, размазавшиеся и угасшие по незримым стенкам фонаря.

— О-ля! Будь это природный уран-235, при этом выделилась бы энергия 220 мегаэлектронвольт. А этот отдает на полпорядка больше — все то, что было затрачено на его сооружение. Как взведенная пружина.

— И какое давление?

— Всего ничего. На порядок выше, чем в центре солнца. Вы удовлетворены?

Расхохотаться бы, но я молчал. По Недобертольдову сценарию я, да и не только я, должен был при этом зрелище смешаться с тленом на донышке пепельницы. С удовольствием смешался бы, если бы мог, да хвост себе пристроил слишком длинный. Зря старался. Снуленький, мой снуленький, ты мог бы спать спокойно и без моих забот за ширмочкой, которую так убедительно разрисовали их долботронство. Но кто ж знал? Ой как глупо все кончается.

И жаль мне стало себя, так жаль, так жаль, что заквакал я с донышка пепельницы, услаждая Недобертольдов слух. Не по том я квакал, по чем он слышал, а все польза. Вид судорог поверженного гада доктору необходим. Пройдет время, и он придаст долботрошиным речам особо вескую непререкаемость, когда придется убеждать битюга, что тужились зря, а денежки пропали.

«Ква-ква» первое:

Но и у вас, уважаемый доктор, так и рвется с языка, что «снулый уран» имеет искусственное происхождение! И это после стольких трудов под знаменами иной расцветки! Как прикажете понимать?

Аж выиграл Недобертоша от такой возможности выказаться!

— Ваши рацеи были и остаются болтовней. И по природе, и по назначению: с помощью такой вот болтовни дикарь облегчал себе стряпанье мировоззрения. Не сомневаюсь, что, получив мои цифры, вы свою болтовню усовершенствуете. Что вам мешает соорудить на «звезде» балаган во славу мирового разума с торговлей медалями, наштампованными из ванкукукиша? Выгодное дельце. Расходы на мои потуги окупятся довольно быстро, учитывая податливость черни на басни о «пришельцах», «братьях по разуму» и «контактах». Но с цифрами-то в руках оцените масштаб действий этих ваших «братьев» с масштабом действий людей. Составьте пропорцию и увидите, что для этого «U-существа» мы значим примерно то же, что для нас вирус. Какой «культурный обмен», какое «братство» возможны между нами и вирусами? На досуге вообразите себе торжественный прием полномочной делегации вирусов в Организации Объединенных Наций. Насколько он реален, настолько реально и наше с вами общение с «U-существом». Сопоставление трагичное для провокато-

ров вселенской мифологии вроде вас, а по мне — это еще одно свидетельство в пользу прямого отказа от подобных спекуляций. Людям может служить только то, что идет от людей. Так было, так будет. Все, кто пытается идти от противного, только вносят пустую сумятицу. Факты я признал бы, но фактов по-прежнему нет. С тем же успехом можно объявить делом рук «U-существ» и обычный уран. Вам это не приходило в голову? А мои выражения — я выбрал их, чтобы вам было легче представить, о чем речь. Считайте любезностью с моей стороны.

Что ж, звучит вполне убедительно. Давай и дальше в том же духе, Недобертоша.

«Ква-ква» второе:

Черт с ним, поднатужимся и проверим вашу модель экспериментально. Во что это обойдется?

— Не тужьтесь. У нас нет иного способа получения нужных давлений, кроме грандиозного ядерного взрыва. Ядерные взрывы в любых целях давно запрещены волею всего человечества. И вы, сидя в затхлом подполе, возьметесь нарушить этот запрет во имя проблематичного торжества оборачиваемости ваших тертых медяков? Вы взяли бы, да что от вас останется, когда при такой вспышке вы станете видны невооруженным глазом? Пожизненный рай в местах строгой изоляции вы можете устроить себе гораздо дешевле и без моего участия.

Тоже неплохо. Чтобы попусту не злить публику, рекомендовал бы смягчить выражения, но, думаю, у Недобертольда хватит ума на это и без меня.

«Ква-ква» третье:

А вдруг «снудый уран» сгодится на что-нибудь другое? На какие-нибудь технологические карточные домики или на поющие блесны для рыболовов-любителей?

— Вдруг. Но это уже без меня. После того, что я сделал, не разминиваться же на такие мелочи! Поеду дожи-

вать век в какой-нибудь «ниверситет» попроще, где не дела обделывают, а вразумляют юношей посредством философских бесед на манер Сократа. Посотрудничав с вами, я гожусь для этого в самый раз.

Ах какая достойная поза! Я разок пробовал, могу поделиться опытом. Много перемолоть в себе надо, прежде чем привыкнешь на конном заводе. И не дай вам бог, доктор, чтобы вас оттуда извлекли, как Мазепп меня, и поднесли вам братину с пустой тщетой, как поднесли мне. У вас не будет сил еще раз вернуться туда, как нет их у меня. Я тоже человек Ренессанса. Меня не учили жить сообща. Мазепп, вы, я — мы просто мини-фёрстмэны и, только ставши на свой лад фёрстмэнами, имеем возможность добратся до правды, которую, стесняясь, шепчем на ушко тем, кто карабкается следом: добра нельзя купить, а возня с перепадами зла доставляет удовольствие, только запыхавшись от самовнушения.

В:

Вешать собак на других, кивая на справедливость и нежно выводя за скобки собственную персону,— если бы какая-нибудь крыска занималась этим делом под моим сторонним взглядом, я улыбался бы презрительно и томно. Поэтому не надо, не будем. Люди Ренессанса, каждому свое.

Часы свободы от Анхеля-хранителя слишком дороги для того, чтобы тратить их на блаженство в шлепанцах. Тем более что это подарок та-акой персоны!

Закон есть закон: при въезде в каждый крупный город на справочном щите среди прочих выписан код вызова специального уполномоченного международного контрольного органа Организации Объединенных Наций — в просторечии «офицера доверия». Код простой, чтобы легко запоминалось. Вот я и запомнил.

— Офицер доверия двадцать три пятнадцать. Слушаю вас.

Говорит по-нашему почти чисто, но как-то чуждо. Или это мои домыслы? Возможно.

— У меня срочное дело. Очень срочное. И я не располагаю временем. Не могли бы вы прислать за мной транспорт?

Не добираться же было мне к нему с ведома людей любезного «фёрст мэна»! А у самого в кармане ни шиша,

один «Кадуцей», который мигом вывел бы на меня томящегося в неведении битюга.

— Не уверен, что могу. Уставом не предусмотрено.

— Но и не запрещено. Поверьте на слово, дело того стоит.

Он подумал и согласился. Очень нехотя. И я его понимаю.

— В соответствии с «Уложением» предупреждаю вас, что каждое произнесенное здесь слово записывается. Я обязан принять вас и выслушать в присутствии представителя местных властей. Он вызван. Ваша личность и свободная воля сделать заявление представителю международного контрольного органа должны быть удостоверены при нем. После того как вы сделаете заявление, вы вправе потребовать от меня гарантий вашей безопасности впредь до окончания расследования. Но если будет доказано, что заявление ваше ложно, вам грозит обвинение в государственной измене и прочие довольно крупные неприятности. Ознакомьтесь, пожалуйста.— Он протянул мне брошюрку.— Там обо всем сказано. И прошу: впредь до прибытия представителя местных властей больше ни слова. Можете оставаться здесь, но лучше перейдите в комнату ожидания. Пока все. Ждите.

— Но у меня очень мало времени.

— К сожалению, могу лишь повторить то, что сказал.

Само собой. Я ему не сват и не брат. На психопата не похож и то слава аллаху. Сидит себе чинно министерский племянничек из Великозапечии и уютно мшеет за большие деньги. Два-три раза в год звонят ему большей частью любители розыгрышей или вообще подозрительные типы, гнать их с порога. Держава ни против какой иной державы не злоумышляет, весь его опыт за это и против меня, черт знает кто я, откуда и что все это значит!

Жду.

Заявилась местная власть. Рекомендуется. Уполномоченный губернатора по особым вопросам в ранге заместителя начальника управления. Удовлетворен ли я? Да, я удовлетворен. Ты мне без разницы.

Оба смотрят на меня, как на скорпиона. Со страхом и гадливостью. Сказать не могут, но посмотреть могут и умеют. Дипломаты. Ну, я вас заставлю попотеть.

Выкладываю все. Как в омут головой. Полтора часа. Кратко, деловито, без эмоциональных выражений. Образцы на стол.

Я говорю, а местная власть при каждом моем слове расцветает. Ликует: никаких нарушений международных обязательств, держава чиста и невинна, речь идет о мелкой браконьерской афере, так что вообще не очень понятно, при чем здесь офицер доверия. Ну да это чужая забота.

— Э... Простите, э... Дело вполне в компетенции национального следственного ведомства, хотя, э... Не берусь, конечно, судить о степени его серьезности, но почему, э... вы обратились с этим к офицеру доверия, а не к губернскому прокурору?

— Потому что это дело, по моему мнению, относится к области действия международных соглашений по эксплуатации внеземных источников сырья, как-то: Аддис-Абебской конвенции от такого-то года, Мадридского соглашения от такого-то года, Джекказганского протокола, Лос-Анджелесского протокола и т. д.

Все эти священные преамбулы у меня от зубов отскакивают до сих пор. Выучка есть выучка.

И полковничек запечный приободрился. Верно, раскусил дьявол: дельце — пустяк пустяком, но дает возможность выставиться — грудь колесом, встречи на высоком уровне, честной протокольный трезвон. А может, и следующий чин, кто его знает?

— Согласно «Уложению», с которым вы ознакомлены, я обязан обеспечить вашу безопасность, как лица, обратившегося с заявлением в международный контрольный орган. В частности, до момента рассмотрения вашего заявления вы можете получить убежище в любом иностранном посольстве...

— Отказываюсь от охраны и защиты.

Если начистоту, жалею об этих словах. Но у меня не было другого способа добиться, чтобы они перестали смотреть на меня как на мелкого доносчика. Уж очень мне было противно, и я выиграл.

— Конечно, как хотите... — протянул великозапечеч разочарованно.

Не очень-то убыло брезгливости в выражении его лица, так что зря я корчил из себя...

— Минуточку, э...

Это местная власть.

— Со своей стороны, э... Если будет позволено, я, э... Все же не вижу смысла, то есть особого смысла, э... занимать высокую международную инстанцию делом такого рода...

И все же мне повезло с великозапечечем — включается с полуоборота.

— Оценивать поступающий материал не входит в мою компетенцию. Я обязан принять и передать руководству. И одновременно вручить вам копию, с которой вы вольны поступать, руководствуясь местными законоположениями...

Ай да молодец, все шнуры тебе и банты плюс мои Плеяды с петлиц за булыжную твою верность уставу! Мне же публикация нужна. И не где-нибудь, а в «Ежегодном своде документов, поступивших в учреждения ООН». Здешних прокуроров да уполномоченных битюжина покупать пойдет, если уже не купил. А до ооновской гильдии добраться — дело пропащее. К ним не подступишься. Бывал, знаю тамошние порядки. И какая бумажка к ним ни поступи, обязательно будет опубликована. И конец битюгову шествию по тихим лужайкам.

Вот. А теперь выходит, что совался-то я зря. Великий магистр ордена проб и ошибок Недобертольд фон Кулан торжественно завел дело в тупик. Само собой, не навсегда — на годы. Но этих годов хватило бы мне на тихую разлуку с УРМАКО и финальную пастораль на конюшне. Увернулся бы я тихой сапой и хихикал бы злорадно в уголку. Вот какой расклад готовил мне благородный доктор, а я и не знал. Без пяти до срока выставился, полез сам и теперь, что там ни вещай доктор Муфлон, хорошо огребу по затылку при общем мирном расставании. Такого не прощают.

Мило.

Это при том, что существует «Национальная программа защиты свидетелей» и я в самый раз под нее подхожу. Переменили бы мне имя, физиономию пересобачили бы, росточку поубавили, и жить бы мне да жить.

А чего это я особенно торжествую? Кто сказал, что прав я, а не Шварц? Мало ли что могло помститься обезьянке со счастливым билетом в вечность, как изволит выражаться Недобертольд. Ну, как там будет у вечности, меня это мало касается, а вот что на подходе к ней меня ждут крупные неприятности, когда можно бы и без них, — это факт.

И вот что смешно: ведь решил я на эти неприятности сам, и сейчас выводит меня из себя только то, что на фоне кулановых успехов они выглядят не так красиво, как мне хотелось. Черт, обидно, мужики!

В:

Вернулся Мазепп, притопал битюжина.

И большие новости привез.

Будь это три года тому назад, я, наверное, даже выслушать его не сумел бы — тут же полез бы со своими полицейскими откровениями: мол, чего тянуть. Но что-то случилось со мной за этот срок, и я сидел, слушал и думал.

И не о том я думал, что мне говорено, а о том, какие слова сгодятся мне описать услышанное. Представлял, как будут они являться мне в зеленых ореолах на дисплейчике, как я буду одни собирать в ряды, отжимая предложения, а другие разворачивать обратно в мирный сон в сотах памяти.

Но не суждено было мне нынче добраться до процессора. И схватил я карандашик, и начал им по бумаге, по бумаге шуршать, выводя букву за буквой, как писали сотни лет тому назад. И оказалось, что это очень трудно: рука медлит, не поспевает за быстрой мелодией, на которую я весь настроен, и мелодия рассыпается, глохнет, и нужно почти болезненное усилие, чтобы, не потеряв внутреннего биения мысли, еще держать и саму мысль, которая дробится на сотни протоков, как речная дельта, и хочется сразу писать о тысяче действий и вещей, не заботясь, какие из них более главные, а какие нет и могут быть посажены на ожидание.

И так я могу сидеть и писать, писать — вовсе не о том, о чем собирался и что почитал главным, когда садился. И вдруг понимаю: так получается потому, что вначале метушливый инстинкт отвел, выдал за главное вовсе не главное, а медленная рука и без него знала и знает, что главное, да ей-то писать об этом не позволяю я сам.

Не позволяю и тужусь на усилие уговорить себя, что есть щелка, в которую можно нашептать будущему мелкие подробности вместо главного, что эти подробности совершенно необходимы будущему, что именно из них оно на лету и с благодарностью выдернет истину происходящего.

И оказывается, не так уж трудно уговорить себя, что это так и есть, и можно блаженно строчить подряд хоть стометровый список известных мне названий городов и местностей. Я-то знаю, что в действительности стоит за этим списком, и верится, что будущее тоже не собьется, не спутается, отбросит словесность этого списка, как кожуру, и взволнуется главным, тем, что укрыто мною под ней даже от самого себя.

Да, мы это, кажется, умеем — сказать, не говоря. Как и наоборот умеем — говорить, говорить, ничего не сказыв-

вая. Даже битюг умеет, как ни странно, и поэтому все, что я дальше пишу, есть самая настоящая правда, которая не только что не вытекает из произнесенных им слов, но от имени их может быть в любую минуту убежденно объявлена ложью.

МАЗЕПП РАСПРАВИЛСЯ СО «ЗВЕЗДОЙ».

Через некоторое время после его отлета со «звезды» в залитый доверху бак ударит шальной небесный камень. «Звезда» в этот момент, к несчастью, окажется в перигелии, и малейшей добавки орбитальной скорости, которую она получит от аварийного нерасчетного истечения пара из бака, достанет на то, чтобы сбить планетку с известной дороги во тьму, где ее найдут не найдут — неведомо. И чтоб уж точно не нашли, через полгода или год сработает еще одно «столкновение» и вышибет «звезду» из плоскости эклиптики в путанку прецессий. Еще полгода — и оставшийся за нею ледяной трек развеет солнечным ветром — сыскать «звезду Ван-Кукук» можно будет только случайно, если какому-нибудь еще одному Мазеппу коварно улыбнется старательская фортуна.

А сам Мазепп в сокрушении всех надежд, которое обнаружится при следующем его маршруте в расчетную точку встречи, обратится к страховому пулу за суммой в сто пятьдесят миллионов. Именно на такую сумму застрахована «звезда Ван-Кукук». Само собой, вся эта сумма уйдет на расплату по кредитам, не будет Мазепке ни островов с золочеными причалами, ни райских гурий по беседам. Но «Семья» останется «Семьей», отторгнув, как ящерица, слишком выросший хвост, лишивший ее верности.

Вон оно как мы, люди, обходимся с небесными дарами! И вряд ли заслуживаем за это похвалы.

А вот на месте «фёрст мэна» я счел бы такое решение гениальным, окончательно зауважал бы Мазепку и закатил бы в его честь роскошный пир: десяток перепелиных яиц всмятку и бокал шампанского.

На своем месте я даже не имею права огорчаться. Ведь я сделал все, чтобы отнять «звезду» у битюга. И насколько понимаю, по неведению здорово подпортил ему, потому что простое и ясное дело о выплате страховой премии теперь будет ненужным образом осложнено действиями Верховного комиссариата по моему доносу — будем наконец называть вещи своими именами. Глупо все вышло, ну да что уж...

На месте Недобертольда я просто пожал бы плечами. «Звезда», как таковая, его уже не интересует. Его успехам

откроется желанная лазейка к гласности, образцов «сну-лого урана» для доказательства его правоты и публику дивить — на Земле больше чем достаточно, во все «ниверситеты» раскатаны ему теперь ковровые дорожки. Надеюсь, что до поры: пока, покорпев над «Ежегодником ООН», какой-нибудь воструша не призадумается над моим доносом и не сообразит, в чем фокус. И не оповестит мир о том, какое сокровище мы потеряли.

Со мной все ясно. Если не вмешается «фёрст мэн». Но с какой стати ему, чистюле, вмешиваться? Он и знать не знает о наших событиях. А я его не извещу. Даже если захотел бы, вряд ли успею.

Завтра в десять утра Недобертольд официально доложится Мазеппу. Возможно, при том буду присутствовать я. Потом мы останемся вдвоем с битюгом, и настанет час моей исповеди. Устал я тянуть и не желаю больше юлить перед битюгами.

Очень противно. Я не думал, что будет так противно. Но три шага вперед сделаны, надо тянуть ручки по швам и говорить, зачем вышел. Не плестись же молча обратно в строй.

Оформить, что ли, отвлеченья ради какую-нибудь Элизину болтовню?

В:

Имею возможность запечатлеть концовку нашей беседы с битюгом.

Очень странное чувство: будто меня уже здесь нет. Или я не по полу ступаю, а в то же время вот он я. Могу стульями швыряться, орать — только никто не услышит, не увидит, не удивится, не спросит, чего это со мной.

— А знаешь, мне легче стало, — сказал Мазепп. — Там, на «звезде», руки делали, а душа вон просилась. Из-за Науки да из-за тебя, что я с вами в молчанку сыграл. Будто я вас обижаю. Сам в дело не спрося втащил и сам не спрося вышибаю. А так — легче. Ты ведь сделал мне то же, что я тебе. И решил, по сути, то же, что и я, и так же без меня, как я без тебя.

— Мазепп, ты подумай: мы все трое, каждый сам по себе, сделали все, чтобы закрыть лавочку. Как по-твоему, это что-нибудь значит или нет?

— Может, значит, может, нет, да я сейчас не про то. Ты закрыл — и линял бы сразу под жилет к губерна-

тору. Или там в посольство, или к «фёрсту». А ты ко мне явился. Зачем? Чтоб ты, значит, был святой, а я, трудящийся человек, смотрелся бы как последний гад? Вот это нехорошо, светик, вот тут у меня к тебе претензия, вот тут обидел ты меня. Но и я тебя обидел, пусть по-другому, но обидел. Стало быть, в расчете мы, и сдавай дела.

— Ничего мне сдавать, Мазепп.

— А и то. Мордой об стол у нас дела. Только скажи, как на духу, ты веришь, что Наука прав?

— Думаю, что прав,— утешил я его ложью в своем последнем слове; гадко стало, и я поправился: — Верней — нам с тобой здесь, в подполе, снуленький не дастся, это уж всяко так.

— Поторопился ты. Но ты же от любви, а не от злобы. Я понимаю. По мне, так на тебе миллион за службу-дружбу с доставкой за мой счет туда, откуда тебя вынул. И я так и скажу, можешь верить. Но ведь я там не один, светик, там голов много, и в каждой мысля своя. Уж как решат, светик.

— Я без претензий, Мазепп, и суетиться не буду. Убрал бы только от меня Анхеля, уж так он надоед, мочи нет.

— Не могу, светик. Не поймут.

На том и расстались. Всё. Всем доброго утра, а мне спокойной ночи.

С1 — 3:

Прошел осел по потолку,
И было начихать ослу,
Что он ПРОШЕЛ ПО ПОТОЛКУ,
А не по луже на полу.

(Проведя поиск по ОИП, процессор отказался приравнивать эти стихи к стихам кого-либо из ХИ-ОП или ХИ-ИП, включенных в стек для опознания.

Поскольку это последний стихотворный текст из включенных алгоритмом связности в отобранную последовательность, время и место подвести итог:

во всей полноте продемонстрирован объем работы по определению авторства приведенных стихотворных текстов;

вывод о принадлежности стихотворных текстов самому автору записок представляется обоснованным в достаточно высокой степени.

Не считая себя специалистом в данной области, не беру на себя смелость высказывать суждение о качественных показателях приведенных стихотворений.)

В:

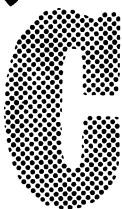
Я это прочел. Это и неправда, и правда, но за них вместе заплачено ценой, лишаящей меня, живого, права бить себя в грудь, требуя отделения одного от другого. Тем более что единственный свидетель противной стороны не в силах сказать больше или иначе, чем сказал.

Так пусть это ждет, пока мы не сравняемся в немоте. А потом пусть идет в мир, и единственное, чего бы я хотел, так только того, чтобы наш суд, если он когда-нибудь состоится, не сделался очередным посмешищем суеты.

Подпись-факсимиле

(Поскольку приведенное выше имя не вызвало сомнений у рецензентов, не вижу оснований для его снятия, а заодно подтверждаю подлинность факсимиле.)

ДМИТРИЙ КАРАЛИС
**Летающий
водопроводчик**
Рассказ



Древние римляне пили только виноградное вино, разбавленное водой, и не знали табака.

(Из учебника истории)

лучилось так, что Кошкин попал в древний мир; случайно попал, по глупости.

Пролез поутру в забор одного НИИ и шел, напевая, в буфет за квасом и папиросами, — а там эксперимент ставили. Ну и... Кошкину кричали, руками махали. Вовка Егорушкин, однокашник его бывший (он у них за начальника — с бородкой ходит и по утрам кроссы бегают), кулаком грозил: обойди стороной, дубина! Еще какой-то дядька в белой накидке и с браслетами стонал и за голову хватался. Кошкин бочком-бочком в кусты, а там — труба громадная! Черная, как ночная подворотня. Затянуло его, как пылинку в пылесос, и понесло.

Ох и несло его, беднягу! Из одной трубы да в другую, потом кислым паром обдало, искры вокруг, темнота, вой, свист, грохот... Кошкин рукой махнул: не видать ему сегодня курева и кваса.

Очнулся — древний мир. Все в туниках и сандалиях на босу ногу. Солнышко припекает. Говор незнакомый. Кошкин пиджак снял, рукава у рубашки закатал и пошел на разведку. Час ходил — ни пивного ларька, ни буфета. Попил из фонтана, лег в тенечке и задремал. Утро вечера мудренее...

Проснулся оттого, что его за ногу дергают. Глаза протер — два стражника. И толпа вокруг. Ни фиги себе, думает, приключеньице. Ох, Егорушкин, все беды от вас, отлич-

ников. Гад ты, Егорушкин, а был мировой парень — вместе на заднем дворе курить пробовали. Встал Кошкин, отряхнулся, пиджак неторопливо скатал, сунул под мышку. Идемте, коль не шутите. Мне, дескать, даже интересно. И толпа на почтительном расстоянии сзади двинулась.

Кошкин особенно не робел. Он слышал от ребят из пятого ЖЭКа, что сейчас такие перемещения случаются, — двадцать первый век на пороге. Главное — не мельтешить перед начальством, не дергаться. Если и прижмут поначалу, он знает, как отвертеться. Радикулит симулировать умеет. Температуру нагнать может — хоть до сорока градусов. Давление опять же скачет. «Они меня, скажем, на сельхозработы, а я им больничный под нос, — рассуждал дорогой Кошкин. — Мигрень и расстройство кишечника. Не зря с фельдшером на рыбалку ездили».

Кошкина привели к какому-то начальнику. Тот сидел в тени у фонтана, отгородившись от трудового люда высокой каменной стеной. На нем были шикарные сандалии с ремнями до колен, как у Наташки из восьмой квартиры, и голубая туника. Начальник надменно посмотрел на Кошкина и что-то спросил не по-нашему.

— Салям алейкум! — поднял руку Кошкин. — Привет честной компании! Я тут, понимаешь, проездом из двадцатого века. А как собачку зовут? — кивнул он на здоровенного пса, не спускавшего с него настороженного взгляда. — Что за порода?..

Мужчина с нехорошим лицом, который стоял за креслом начальника, наклонился и что-то шепнул тому на ухо.

Все трое — начальник, пес и прихлебатель (так сразу окрестил Кошкин дядьку с нехорошей физиономией) — с интересом разглядывали пришельца. Собаченция же, до которой быстро дошло, что Кошкин ее нисколько не боится, перестала важничать и удивленно наклоняла голову то в одну, то в другую сторону, следя за движениями приведенного.

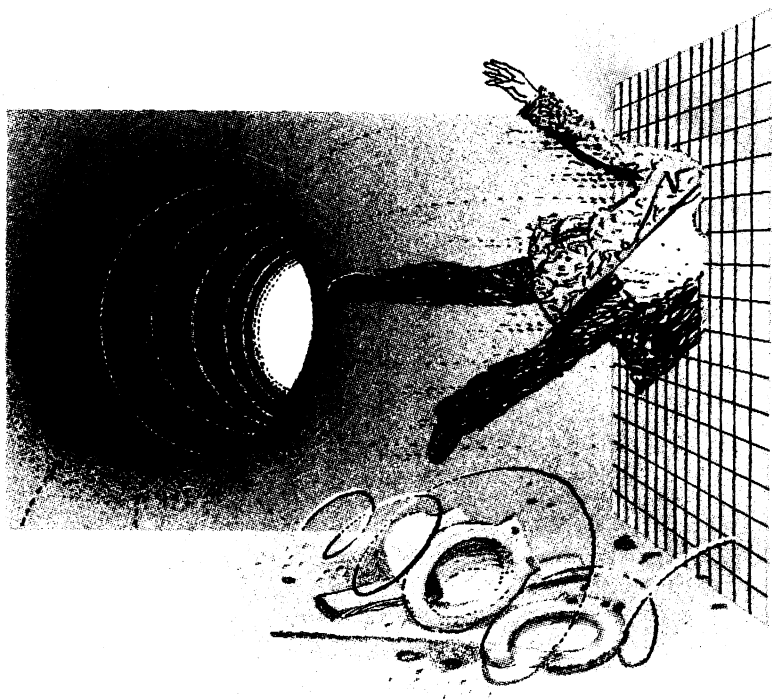
— Шпрехин зи дойч? — напористо спросил Кошкин и пощелкал пальцами: — Ну это... Хенде хох! Инглиш! Не понимай? И переводчика нету? Эх, мать честная, вологодские нескладухи получаютс...

Нескладухи продолжались недолго.

Кошкина еще пару раз о чем-то спросили — он, помогая себе жестами, объяснил, как пошел за папиросами и квасом, его затянуло в трубу и выбросило сюда, в ихний древний мир. Кошкин сказал, что в ближайшее время он, безусловно, вернется в родной двадцатый век, но пока он

здесь — готов поделиться передовыми знаниями в обмен на комфорт и гостеприимство. Совет там какой дать, консультацию. Открыть глаза на явления природы. Почему, например, гром гремит. Тычинки-пестики разные...

Кошкин хотел еще рассказать про электричество и радио, но начальник досадливо поморщился, дал стражникам знак, и те, подхватив Кошкина под руки, повели его к выходу.



— Ну ты и болван! — только и успел крикнуть Кошкин через плечо. — Счастья своего не понимаешь! Ишак пучеглазый! Подожди, Егорушкин за меня голову тебе отвернет!..

Оказавшись в загородке с крепкими решетчатыми стенами, Кошкин прилег на солому и задумался. «Авось не пропаду, — успокоил он себя. — Водопроводчик — специальность ходовая. Опять же фонтан починить, канали-

зацию прочистить. Глядишь, первое время на хлеб с маслом хватит. А там и Егорушкин со своим агрегатом наладится — заберет отсюда, не бросит в глубине веков».

Кошкин покусывал соломинку и соображал, где бы раздобыть покурить. Пожилой стражник, у которого Кошкин пытался по дороге стрельнуть табачку, посмотрел на его жестикуляцию недоуменно и пожал плечами. Не встретились курящие и среди прохожих...



«Надо же, — поглядывал на своего охранника Кошкин, — стоит тут, охраняет меня и не знает, что давно уже умер. До чего наука дошла!..» Помянув науку, Кошкин подумал, что неплохо бы ему проявить свои способности, — он ведь не какой-нибудь пентюх в накидке, а человек цивилизованного века. Луч, можно сказать, света в темном царстве. Может, аэроплан смастерить или дирижабль? Кошкин вообразил, как он с ревом пронесится над садиком, где сидит заносчивый тип в сандалиях, и усмехнулся. И трассирующими пулями по фонтану: та-та-та-та!

Кошкин поднялся с соломы и прошелся из угла в угол. Стражник впился в него взглядом. А мотор где тут возьмешь? Крылья? Нет, не выйдет...

«Чем бы их поразить?..» — размышлял Кошкин. Вспоминались школьные опыты по химии. Наливают что-то белое, добавляют что-то прозрачное, и получается красное! Но что наливают, чего добавляют? Убей — не вспомнить... Хорошо бы спичечные головки в фольгу насовать и бабахнуть, чтоб зауважали, но спичек, как и курева, не было — Кошкин тщательно обследовал свои карманы. И тут его осенило: порох! Надо изготовить порох! Сера, селитра и древесный уголь. Делали же пацанами.

Кошкин решительно подошел к решетке.

— Эй! — бойко выкрикнул он и потряс прутья. — А ну, открывайте, сволочи, а то динамитом рвать буду! — припугнул он на всякий случай. — Разделаю всех, как нищий музыкантов! Вы еще Кошкина не знаете...

Неторопливо приблизился стражник. Взгляд его был недобрый.

— Ну что смотришь, хунта? — несколько мягче сказал Кошкин. — Открывай давай! Мне к начальству надо.

Не обронив ни единого слова, стражник сунул меж прутьев решетки палку и больно ткнул Кошкина в бок.

— Ах ты, паразит! — Кошкин отступил и поискал глазами камень. — Думаешь, я на тебя управы не найду?

Стражник потянул из ножен короткий меч.

— Психопат... — забормотал Кошкин, отходя подальше. — Слова ему не скажи — за саблю, понимаешь, хватается. Нервный какой... Подожди, я вам тут шорох наведу — не обрадуетесь.

Кошкин угрюмо лег на солому и подумал, что неплохо бы предсказать солнечное затмение или чуму. Тогда бы они попрыгали.

По земляному полу полз жук. Кошкин, подперев голову ладонью, следил за ним. «Природа вот древняя...» — подумал Кошкин и от нечего делать цыкнул в жука слюной. Плевков оказался немного неточным, и жук, почуяв опасность, заметался и побежал прочь с открытого места. Кошкин приподнялся на локте и выпустил вдогонку жуку длинный и тонкий плевков, но опять промахнулся. Жук удирал, семена лапками. Кошкин, охваченный азартом, быстро сел, скрестив ноги, и стал обстреливать насекомое высокими навесными плевками, выпуская их через специальную дырочку между верхними передними зубами. Эту дырочку он устроил себе еще в пятом классе, засовывая на ночь меж зубов сначала одну, а потом и две спич-

ки. Накрыв наконец жука, уползшего от него метра на четыре, Кошкин отсалютовал своей победе сверхдальным плевком в верхний угол клетки и только тогда заметил восторженную улыбку на лице стражника, который стоял за его спиной, упираясь локтями в решетку.

— А-а, хунта,— миролюбиво сказал Кошкин.— За просмотр, между прочим, платить надо. Принес бы кувшинчик сухого.— Он изобразил руками контур сосуда и сделал вид, что прикладывается к нему губами.— Башка трещит,— сморщился Кошкин, трогая лоб.

Стражник задумался и, постреляв глазами, отошел.

Вскоре он поставил у дверей глиняную кружку, покрытую листом лопуха, и, сделав знак быстро забрать ее, отвернулся. Кошкин пулей подлетел к решетке и осторожно втянул кружку в клетку.

— Вот за это мерси,— радостно забормотал он, перебираясь с кружкой к соломе.— Цивилизованное человечество вас не забудет!

Выпив вина, которое показалось Кошкину слабоватым и, быть может, даже разбавленным, он вернул кружку и, подмигнув охраннику, блаженно развалился на подстилке. «Молодец, батя. Выручил. За мной тоже не станет...»

Почувствовав вскоре некоторую легкость в организме, Кошкин решил отблагодарить своего надзирателя, рассчитывая при этом установить с ним более тесный контакт. «Сейчас я ему подкину идею!» Кошкин нашел щепочку, расчистил кусок земляного пола и старательно изобразил на нем паровоз с дымом из трубы.

— Эй!— окликнул он стражника, который сидел под навесом и пытался плевать, подражая Кошкину.— Иди-ка, батя, сюда! Иди, иди!

Стражник подошел, вытерев подбородок.

— Видишь?— торжествующе спросил Кошкин, тыкнув пальцем в рисунок.— Паровоз! У-у! Чух-чух-чух!— Он согнул в локтях руки и прошелся по клетке, топая ногами и изображая движение шатунов.— Паровозо! Понимай?..

Стражник с недоумением и опаской поглядывал на Кошкина.

— Эх ты, барано!..— огорчился Кошкин.— Хочешь тебя изобретением осячастливить, а ты глазами хлопаешь. Элементарных вещей не понимаешь...

Справедливости ради заметим, что, случись Кошкину объяснять устройство паровоза, он бы не объяснил толком, помня лишь, что паровоз имеет котел, топку и колеса. Да! Еще гудок и трубу!

Кошкин помолчал, соображая, какую бы идею попроще толкнуть пожилому охраннику, и вновь взял щепочку.

— А это поймешь?

Он схематично начертил пушку с вылетающим из ствола ядром и, резко жестикулируя, последовательно изобразил выстрел: «бабах!», полет ядра: «у-у» и попадание его в человека: «бемс!» Кошкин стукнул себя кулаком в грудь и со стоном повалился на пол, разметав руки и жутко оскалившись.

— А-а! О-о!— дергался он, изображая смертные мучения.— Покойник! Усек?..

Охранник с испугом взидал на Кошкина.

— Темнота!— поднялся с пола Кошкин.— Давай начальника зови. Надоело мне здесь. Бугор! Шефо! Боссо! Боссо! Будем порох делать!

Мужчина отступал, перетаптываясь.

— А, чтоб тебя!— Кошкин наставил на него пистолетиком палец.— Пуфф! Пуфф! Боишься, хунта! Неси еще кружечку. Пить хочу — умираю...

Однако вина Кошкин не дождался, хотя и пытался петь, плясать и стрелять навесными плевками в дальний угол клетки. Стражник угрюмо сидел под навесом, не откликаясь на призывы пленника.

Ближе к вечеру Кошкина вновь привели к рабовладельческому начальнику.

И тут Кошкин засуетился. Он тыкал пальцем за горизонт и пытался объяснить, что он — человек космического века, у них там телевизоры, магнитофоны, хоккей, пивные бары-автоматы и консервированная килька в банках.

— Ракеты!— указывал Кошкин на небо.— Понимаете? На Луну летаем! Холодильники в каждой квартире!

Он рисовал на песке грузовик и урчал, изображая езду на мотоцикле. Но все как об стенку горох...

Легкомысленность, с которой Кошкин поначалу воспринял свое путешествие в века, сменилось теперь законной тревогой за будущее. «А ну как Егорушкин забрать меня отсюда не сможет?— нервничал он.— Заклинит в ихней трубе чего-нибудь — и привет! Мыкайся тут в древнем мире по клеткам...»

Главный рабовладелец между тем негромко скомандовал что-то стражникам, и те с готовностью подступили к Кошкину и жестами приказали раздеться.

— Кровапийцы!— Кошкин снял с себя джинсы с нашлепкой «Ну, погоди!» и швырнул их к ногам начальника.— Берите, берите! Недолго вам осталось народ угнетать. И

рубаху забирайте, сволочи. И майку!.. Восставший люд... И на обломках, так сказать, самовластья...

Оставшись в плавках, носках и матерчатых ботинках, Кошкин с независимым видом скрестил на груди руки и стал наблюдать, как обреченные историей рабовладельцы с опаской разглядывают его одежду. Они с интересом трогали пластмассовые пуговицы на брюках, осматривали, переглядываясь, ровные строченные швы, покачали головой на тисненый контур зайчишки и осторожно двинули замочек молнии. Мелочь, еще вчера приготовленная Кошкиным на курево и квас,— будь они неладны!— была исследована ими с особым вниманием, и чертов прихлебатель даже куснул гривенник и пятак, сморщившись при этом. Пиджак, оставленный Кошкиным под соломой в клетке, не был обследован, и Кошкин пожалел об этом, припомнив, что в нагрудном кармане пиджака лежит его удостоверение, выданное жилконторой номер семнадцать, с фотографией и печатью.

Вскоре одежда была возвращена Кошкину, и не без почтительности, надо сказать. Прихлебатель даже попытался поддерживать Кошкина под локотки, когда тот запрыгал на левой ноге, натягивая брюки.

— Без сопливых!..— дернул плечом Кошкин, отстраняясь, а про себя удовлетворенно подумал: «Дошло наконец». И небрежно вжикнул молнией.

В тот день Кошкин был оставлен для ночлега в просторной и уютной комнате на втором этаже дворца.

Устройству на ночь предшествовал симпатичный ужин, во время которого размякший от пережитых волнений и легкого вина Кошкин пытался втолковать хозяину, что тот не прав, угнетая простой люд и живя нетрудовыми доходами. Но безрезультатно: хозяин лишь настороженно улыбался, кивал и с опаской поглядывал на раскачивающийся возле резной ножки стола ботинок гостя.

Спал Кошкин крепко, с раскатистым храпом, и ему несколько не мешали протяжные крики-отклики часовых, которые расхаживали вдоль забора.

Разбудил Кошкина настойчивый шепот возле самого уха: «Се-ре-га! Ко-о-ш-кин! Ты меня слышишь? Се-ре-га!..» Кошкин разлепил глаза. Никого. Набирающий силу рассвет парусом надувал занавеску на окне. Мерцали вазы в углах комнаты. На полу, возле широкой кровати, стопочкой лежала его одежда.

— Кошкин! Серега!— продолжал звать голос.— Видишь маленькую коробочку?..

Кошкин быстро сел на кровати и закрутил головой:

— Какую коробочку? Кто это говорит?..

— Это я, Егорушкин,— раздалось где-то совсем рядом.— Тихо! Поищи рядом с собой коробочку — транслятор. Видишь? Я из него говорю...

— Вижу...— Кошкин действительно увидел небольшую, размером с портсигар, металлическую коробочку и осторожно взял ее в руки.— Ты что, в ней находишься? — жалобно спросил он.

— Идиот!— с облегчением вздохнул голос Егорушкина.— Я у себя в НИИ, на центральном пункте. Немедленно спрячь транслятор и прими все меры к его сохранности. Ты один? Тебе удобно разговаривать?..

— Один!— оглянувшись на закрытую дверь, хрипло шепнул Кошкин.— Вовка, друг, сосновые лапти! Что же теперь делать?..

— Слушай меня внимательно!— перебил его Егорушкин.

И командирским голосом сообщил инструкцию на ближайшее время.

Первое. Не дергаться! Центр принимает все меры, чтобы забрать Кошкина обратно. Второе. На связь выходить с помощью транслятора при восходе и заходе солнца. Для этого уединиться и нажать синюю кнопку. Третье, и последнее: телеграфно, без эмоций, доложить обстановку — где и в каком веке он находится. От этого будет зависеть план дальнейших действий. Говорить коротко и ясно, потому что в трех городах и двух поселках отключен сейчас свет, чтобы обеспечивать устойчивую связь.

— Понято!— Уверенный тон бывшего одноклассника произвел на Кошкина бодрящее действие.— Докладываю — жив-здоров. Нахожусь в каком-то дворце с колоннами, в постели. До вчерашнего вечера содержался под стражей. В одиночке. В каком веке — не знаю. Говорят не по-нашему...

Кошкин и в самом деле не представлял, в какой век его занесло и где он находится. Древний Рим? Или Древняя Греция? Трудно сказать. Ясно только, что не Египет: там фараоны...

Из всей истории Кошкину больше всего нравилось про Чапая и Петьку. Еще про средние века интересно было. Крестоносцы. Дон-Кихот с Санчо Пансой. Нет, определить, где и в каком веке он оказался, представлялось Кошкину решительно невозможным...

— Выгляни в окно,— подсказал Егорушкин.— Людей видишь?

— Пóнято!— С транслятором в руке Кошкин прошлепал к окну и отогнул занавеску.— Людей вижу. И женщины есть. Симпатичные. Вы бы мне курева прислали, я же за ним пошел...

— Подожди ты с куревом,— шептал Егорушкин сквозь века.— Прислушайся к их речи — какие слова они говорят?

Кошкин прислушался. У стены, меж кустарников, сражались деревянными мечами два мальчика. Вот один из них споткнулся, упал, и другой тут же наступил ему на руку и приставил к груди оружие. «Вэ виктис!»— радостно воскликнул он.

Кошкин, как мог, повторил слова мальчика в транслятор.

— Все правильно!— обрадовался Егорушкин.— Латынь! В Древнеримском государстве ты, Кошкин! Нажимай зеленую кнопку. Век уточним позднее. Связь заканчиваю...— Голос Егорушкина зазвучал слабее.— Следующий сеанс — на закате. Мы тебя вызовем. Постарайся уединиться и нажми синюю кнопку. Другие пока не трогай.

— Про курево не забудьте,— заторопился Кошкин.— Хотя бы пачку «Беломора». И спички!..

— Транслятор береги...

— И на работу сообщите, а то прогул поставят...

— Спрячь его... Держись, Серега! Наблюдай... Не болтай лишнего. Ты наша... на рожон не...

Кошкин хотел заверить, что выполнит, так сказать, задание Центра — не подведет, но голос Егорушкина угас и транслятор смолк.

«Вот ведь оно как,— растроганно подумал Кошкин, разглядывая коробочку с множеством мелких, утопленных вровень с корпусом кнопочек.— Не забыли, волнуются. Как, дескать, ты там, Серега?..»

Как ему и предписывалось, Кошкин надавил зеленую кнопку и тут же ощутил некоторую перемену в окружающем мире. Что-то изменилось. И как показалось ему — на улице. Кошкин крадучись подошел к окну и с удивлением обнаружил, что понимает разговор мальчиков, фехтовавших недавно у стены. Ну да! Они говорят, что пора заканчивать гимнастические упражнения и идти умываться. Более того, Кошкин почувствовал, что тоже может сказать им что-нибудь на их языке. «Здравствуйте,— например.— Как поживаете?» или: «Сегодня хорошая погода».

Вот она, наша техника! А кое-кто не верил.

Кошкин быстренько оделся и засунул транслятор в носок, но тут же перепрыгнул его в плавки — так ему показалось надежней.

Думая о чудесном приборе, Кошкин испытал соблазн понажимать на свой страх и риск другие кнопочки, кроме синей и зеленой, назначение которых было теперь понятно ему, но после колебаний он решил оставить устройство в покое. «Егорушкин недаром отличником был,— рассудил он.— Сказал — не трогать, значит, надо слушаться».

С транслятором Кошкин почувствовал себя увереннее. Шутка ли, все понимаешь и ответить можешь. Он бодро прошелся по своей спальне и решил, что как всякий разведчик,— а именно в этом качестве он ощущал себя ныне,— он будет больше слушать и меньше говорить. Пожалуй, вначале он вообще ничего не будет говорить по-латыни, держа в тайне свое превращение. Но потом, когда разберется в политической обстановке, даст им звону. Быть может, ему пришлют пулемет и ящик с патронами, и тогда он поможет восстанию Спартака, например. Не зря же его сюда прислали...

Через час с небольшим после своего пробуждения Кошкин, выбритый цирюльником, аккуратно причесанный, с красиво обрезанными ногтями и намытый в ванне, сидел за столом с хозяином дома, неспешно, с достоинством завтракал и предвкушал, как отвиснет у этого холеного мужчины челюсть, когда он услышит от своего гостя что-нибудь вроде: «Вы проиграли, сударь! Ваша карта бита! Я — Кошкин!»

Рабовладелец, отослав слуг, потчевал Кошкина легким холодным вином, ароматным мясом, терпкими и удивительно сладкими травами, приятно улыбался при этом, и Кошкин, с вежливым поклоном принимая от хозяина очередное блюдо, восторженно восклицал: «О-ля-ля!», скрывая обретенную им способность изъясняться на латыни.

— Отведайте жареных пиявок.— Хозяин протянул Кошкину золотое блюдо.— Прошу вас!

— Что? Пиявки?..— брякнул Кошкин по-латыни, к черту разрушая всю свою конспирацию.— Бр-р-р...— Он передернул плечами и заметил испуг на лице хозяина.

— Кто вы?— шепотом спросил тот, и массивное блюдо звякнулось из его рук на стол.— Вы из Рима? От нашего императора, отца отечества и э-э... освободителя Цезаря?

Кошкин забегал глазами, хмыкнул, почесал нос и, понимая, что таиться дальше нет смысла, окончательно перешел на латынь:

— Вас, если не ошибаюсь, зовут Марий?

— Вы не ошибаетесь.

— Не пугайтесь, любезнейший. Будем считать, что я — из другого государства. Или даже другого мира. Меня зовут Сергей Кошкин.

— Сергей Кошкин, — коряво, но с готовностью повторил мужчина и встрепенулся, намереваясь подняться.

— Сидите, сидите, сейчас вы все поймете...

Объяснение вышло путаное, с множеством недомолвок, что и неудивительно, учитывая положение Кошкина.

Марий жестами призывал своего гостя говорить тише и беспрестанно озирался. Несколько раз он прикладывал ладони к вискам и встряхивал головой, словно пытаясь избавиться от наваждения.

Кошкина же прорвало. Он уже позабыл, что собирался дать звону эксплуататорам, и теперь отчаянно хвастался.

— Мы высадились на Луне! Можете себе представить? Но там никого нет — пыль и кратеры.

— О боги! — прикрывал глаза Марий. — На Луну... Пыль и кратеры... Извините, но поначалу, увидев на вас штаны, я принял вас за грубого галла. Простите великодушно!

— Ладно, бывает, — прощал Кошкин и азартно щелкал пальцами, вспоминая новые достижения своего века. — Мы умеем опускаться на дно моря и выходим оттуда совершенно сухими! Представляете? — хихикал он.

— Умоляю — потише! И у стен могут быть уши...

— Кстати, об ушах! Мы можем сидеть у себя дома и слышать человека, который находится в другом городе! На другом конце Земли! И не только слышать, но и видеть. А то, что Земля имеет форму шара, вам известно? Или вы до сих пор верите, что она стоит на трех китах?..

Кошкин рассмеялся, налил себе вина и, нашаривая закуску, сунулся было в блюдо с пиявками, но тут же отдернул руку, произнеся несколько слов не по-латыни.

— Что вы сказали?

— Ничего, ничего. Так вот: Земля имеет форму шара, и у нас каждый школьник умеет это доказать!

Марий пробормотал что-то про Демокрита и Аристотеля и задумался.

— А каков диаметр Земли?

— Очень большой, точно не помню. А доказывается очень просто. — Кошкин взял для наглядности яблоко и повел по нему пальцем. — Если все время идти прямо, никуда не сворачивая, то вернешься в то же место, откуда вышел. — Он постучал пальцем по исходной точке и, хлебнув вина, захрустел наглядным пособием. — У нас, Маркуша, жизнь — будь здоров! У вас, конечно, тоже ничего, но у нас лучше.

Марий взял из вазы другое яблоко и медленно провел пальцем по окружности.

— Как же можно идти вниз головой? — тихо, но твердо спросил он.

— Ха! А сила притяжения? Слышал про такую? Ты вот сидишь сейчас вверх ногами и даже не замечаешь этого. И все благодаря силе притяжения! Не помню, кто ее открыл, кажется, кто-то из ваших...

Марий испуганно перевел взгляд с пола на потолок и подавленно замолчал.

— А вы... вы тоже были на Луне? — спросил он наконец.

— Был,— кивнул Кошкин.— Несколько раз был. Последний раз с Жорой Гречко. Видишь шрам? Это я в кратер упал, а Жора меня вытащил. Хороший парень!

— И на дно моря спускались?

— Сто раз.— Кошкин махнул рукой и вновь выпил.— С этим... С Жак Ив Кусто. Видишь шрам? Это Кусто меня от спрута отбил. Подводный гад чуть не отгрыз мне ногу...

— О боги!..

— А бога, между прочим, нет! — наставительно поднял палец Кошкин.— Есть явления природы. Не надо их бояться!..

Он стал рассказывать про молнию, гром и электричество, вплетая в повествование забавные случаи из своей жизни, связанные с проявлением грозной стихии: «Меня ка-а-к тряханет! Клеща ка-а-к звезданет! Дзинь! Бемс! Стремянка на полу, я под столом, старушенция — в обмороке!» — и Марий, который, похоже, оправился от первого испуга, слушал загадочного гостя внимательно, но не без скепсиса. Тень недоверия, как говорят в таких случаях, легла на его лицо. Он продолжал оглядываться на дверь и окна и однажды, когда в комнату вошел улыбающийся юноша в белой тунике, отослал его строгим взглядом обратно.

— Пойдемте в сад,— предложил Марий.— Там будет удобнее беседовать.

— А это?..— Кошкин покосился на стол с закусками, но Марий успокоил:

— Принесут.

В саду пели птицы, журчал фонтан и бесшумно колыхались листочки деревьев. Похрустывая гравием, Марий и Кошкин дошли до портика с белыми мраморными колоннами и расположились в тени его крыши. С возвышения портика хорошо просматривались зеленеющие

окрест поля, курчавые рощицы, серая лента дороги, убегающая вдаль, к холмам, и пропадающая между ними, и розовеющие в отдалении постройки невысокого города.

— Неплохо у вас тут, — похвалил Кошкин и незаметно коснулся транслятора.

Аппарат был на месте и работал самым замечательным образом: едва Кошкин собирался что-либо произнести, как он услужливо подсказывал латинские слова и целые фразы. Речь Кошкина лилась без запинки:

— Даже расставаться не хочется. Но дела, брат, дела!.. В любой момент отозвать могут...

Марий задумчиво хмыкнул и в который раз уставился на рифленую подошву кошкинских ботинок.

— Хочешь, подарю? — заметил взгляд Кошкин. — Или поменяемся? Сносу не будет — «Скороход»!

— Как — скороход? — шепнул, озираясь, Марий. — Скоро ходят?

— Очень скоро! Бери, пока я добрый. Скидывай свои и надевай. Вот так. Теперь мы с тобой друзья — кореша по-нашему. — Кошкин потер руки. — Обмыть положено, иначе плохо носиться будет!

— Будет так!.. — Марий шевельнул пальцами ног и поморщился.

Кошкин проснулся в пять часов дня по местному времени. Еще сквозь сон он ощутил тяжесть в голове, наждачную шершавость языка и смутную тревогу. С трудом разлепив глаза, Кошкин тяжело поднялся с постели и проковылял к окну. В стонущем мозгу мелькали обрывки воспоминаний...

Марий, наливающий ему полный бокал вина, и хитрый взгляд при этом: «Не разбавить ли водой?», тосты за дружбу, женщин, потом и сами женщины — в смелых нарядах и улыбающиеся, какие-то пляски, хохот, песни, анекдоты... Припомнилось вдруг, как он кричал, что всех любит, а потом — что в гробу всех видал в белых сандалиях. И бил себя в грудь, доказывая что-то, и шрамы показывал женщинам — на коленке и локте. И вопросы, вопросы, которые как бы между делом задавал Марий. Настырные вопросы, с подковыркой. «Так-так-так, — Кошкин походил по комнате, кряхтя и натыкаясь на вещи, и вновь вернулся к окну. — Чем же кончилось? Отчего эта тревога?» И тут он вспомнил про назначенный сеанс связи.

Кошкин сунул руку в плавки.

Транслятора не было...

Его не оказалось ни в брюках, брошенных у кровати, ни в клубочке носков, сунутых в новые сандалии, ни в постели, которую мигом вспотевший Кошкин суетливо перетряхнул два раза. «О боги!.. — заходил по комнате Кошкин. — Неужели похитили? Тогда — конец!..»

Кошкин быстро оделся и дрожащими пальцами стал застегивать пряжки сандалий. «Обмыли обновочку! — поздравил он сам себя. — Марий спер, буржуй недорезанный. Больше некому...» И вдруг в гудящем мозгу Кошкина засвербила мысль, что транслятор он как будто... как будто... Кошкин встал с кровати и огляделся. Вазы... Так-так. Одна из ваз показалась ему стоящей несколько иначе, чем утром. Кошкин на негнущихся ногах еле дошел до нее и сунул руку в темноту горлышка. Пальцы зашарили по прохладному шершавому дну, наткнулись на плоскую коробочку, уцепили ее, и Кошкин с бьющимся сердцем вытянул транслятор из вазы. Спрятал!..

И в тот же миг в дверь постучали, затем она бесшумно отворилась, и в комнату вошел Марий.

Кошкин замер над вазой, соображая, куда сунуть транслятор, который он прижимал к животу, и сунул его прямо мехонько в карман брюк.

— Вазу вот, понимаешь, осматриваю, — с улыбкой забормотал он, выпрямляясь. — Хорошая ваза, вместительная...

Марий стоял скрестив на груди руки и недоуменно разглядывал Кошкина, словно видел его впервые.

— Как самочувствие? — подмигнул Кошкин. — Лихо мы с тобой гульнули...

Марий продолжал разглядывать Кошкина, и левая бровь его колыхалась вверх-вниз, словно пыталась улететь с лица. Марий придавил беглянку пальцем, выждал секунду и, убрав с лица руку, заговорил. Кошкин в недоумении приоткрыл рот: он не понимал ни единого слова из речи Мария. «Транслятор! — сообразил Кошкин. — Надо нажать зеленую кнопку!»

Продолжая говорить, Марий прохаживался по комнате, останавливался, вскидывал подбородок, надменно поглядывая из-под полуприкрытых век на Кошкина и напоминающая в этот момент верблюда, и Кошкин, двигаясь вслед за ним, кивал, хмыкал и поджидал момента, чтобы незаметно ткнуть замечательную зеленую кнопку. Наконец он изловчился и ввел транслятор в действие.

—... И не позднее, чем завтра утром, я должен отправить гонца в Рим, чтобы он сообщил о тебе, — услышал

Кошкин.— Скрывать от великого Цезаря появление человека, который ведет такие речи, я не имею права! Я сказал!

— Какие речи? — испугался Кошкин.— Чего я там наплел, Маркуша?

Марий в упор взглянул на Кошкина, и левая бровь вновь запрыгала на его лбу.

— Ты забыл, что обещал вызвать свет с помощью электричества?

И тут Кошкин припомнил, как во время застолья хвастанул лишку — пообещал римлянам зажечь огонь в прозрачном сосуде, именуемом лампочкой, надеясь, естественно, получить необходимые приборы от Егорушкина. «Эк, дал я маху!» — раздосадовался Кошкин, но виду не подал.

— Помню,— небрежно махнул он рукой.— Сделаем. Денька через два устроим в лучшем виде...

— Ты обещал завтра утром! — строго напомнил Марий, ловя пальцем бровь.— Можно ли верить твоим словам?

Кошкин взглянул на разогнавшееся к закату солнце и сказал, что можно. Пусть только сегодня вечером и завтра утром ему никто не мешает. Он сам позовет, если что-нибудь потребуется.

— Сделаем,— уверил Кошкин и улыбнулся: — Как там наши ребята — Сильва, Тиберий?..

Кошкин ожидал, что его пригласят к ужину, но Марий хмуро скользнул взглядом по растерзанной кровати:

— Пищу тебе принесут, когда попросишь...— И вышел.

Вечером, когда огненный диск солнца стал заваливаться за горизонт, у Кошкина состоялся сеанс связи.

Услышав далекий голос Егорушкина, Кошкин чуть не прослезился. Первым делом он пожаловался на устроенное ему испытание и потребовал прислать ему лампочку, батарейку и провода, а еще лучше — карманный фонарик. Иначе ему хана. Об обстоятельствах, предшествовавших «испытанию», он умолчал.

— Тыфу ты, черт! — выругался там, за своим пультом, Егорушкин.— Влетишь ты нам в копеечку! Мы тебе уже папиросы и спички послали. Говорили тебе — не болтай лишнего!

— Вы уж постарайтесь с фонариком,— заныл Кошкин.— А то казнят, чего доброго, у них ума хватит. Завтра обо мне Цезарю хотят доложить...

— Цезарю? — ахнул Егорушкин.— Эх, какой ты нам эксперимент загубил!..

— А чего надо сделать-то? Говорите — может, справлюсь. Только тогда пистолет с патронами вышлите и ампулу с ядом, чтоб не мучиться в случае провала...

— Исключено! — отрезал Егорушкин. — Только тебя к Цезарю и посылать...

— Не доверяете, значит... — обиделся Кошкин. — Зачем тогда в древний мир направили?

— Никто тебя, дубину, не направлял. На фига ты в трубу полез?

— А вы забор почините, — резонно заметил Кошкин. — А то вахтеров понаставили, а в дырку все ваше НИИ вынести можно...

— Ладно, — прервал его Егорушкин. — Слушай и запомняй. Фонарик получишь завтра утром. Папиросы сегодня, но кури скрытно; они табака еще не знают...

— Пóнято!

— При крайней опасности — нажми красную кнопку.

— А чего будет?

— Что надо, то и будет... И перед возвращением прихвати что-нибудь ценное. Пергамент с текстом или восковые дощечки с записями. Об отлете мы тебя предупредим. Но твое возвращение, возможно, будет не совсем точным. Не исключено, что ты перелетишь двадцатый и угодишь в двадцать первый век. На пару часиков. И мы тут же трансформируем тебя обратно — домой...

— Чего-чего? — возмутился Кошкин. — Какой еще двадцать первый век! Кончайте химичить, ребята! Усасы-вайте туда, откуда высосали!

— Тебе разве не интересно побывать в будущем? — пристыдил Егорушкин. — Посмотришь, как потомки живут, нам расскажешь...

— Чего я там забыл... — заупрямился Кошкин. — Мотайся тут, понимаешь, по векам из-за вашей неосторожности. И для здоровья, наверное, вредно.

— Кошкин, ты нахал! — определил Егорушкин. — Тебе свалилось такое счастье, а ты выпендриваешься!

— Ладно, — подумав, согласился Кошкин. — А как с зарплатой будет? За все века начислите? Или только командировочные?

— Действительно нахал, — услышал Кошкин чей-то далекий голос в трансляторе. — Сорвал нам эксперимент и еще торгуется.

— Вернется — разберемся, — пообещал кто-то начальственным баском.

— И теперь этот обормот попадет в герои. Срам!..

— Да я пошутил, — испугался Кошкин. — Если науке

требуется, могу и бесплатно слетать. Посмотрим, внимем, доложим...

Солнце плавно исчезало за горизонтом, и голос Егорушкина стал затухать.

— Никуда не уходи с этого места, сейчас придет посылка. Завтра на рассвете выходи на связь и жди фонарик. Не болтай лишнего...

— Как там Клещ с Вьюгой? Привет им из древнего мира! И Наташке из восьмой квартиры приветик с кисточкой! Жду посылку!

Кошкин поднес транслятор к уху, потряс его, но аппарат уже молчал. Кошкин аккуратно засунул его в брюки и щелкнул пальцами: «Значит, я попаду в герои! Славно!» Он на цыпочках подошел к двери и резко открыл ее. Никого...

И в тот же миг воздух в комнате сгустился, стал плотным, как в самолете, когда задраивают люк, затем раздался легкий щелчок, и Кошкин увидел зависший прямо перед его лицом небольшой контейнер голубоватого цвета. Контейнер медленно вращался, словно выбирая место для посадки. «Посылка!» — догадался Кошкин и схватил ящичек руками, но приблизить его к себе не смог: ящичек перестал вращаться, но висел, как приклеенный, в воздухе. Сопя и чертыхаясь, Кошкин рванул контейнер на себя — раз! другой! — и на третий раз с грохотом повалился на пол в обнимку с долгожданным грузом.

Вскоре Кошкин уже лежал на кровати, дымил папиросой и вспоминал сеанс связи с соотечественниками. «Надо же! Так прямо и сказали: теперь этот парень будет национальным героем!»

Быстро темнело, и стражники у стены уже перекликались нудными голосами. Один из них — рослый и широкоплечий — был поставлен против окна комнаты, где остановился странный гость.

Утром Кошкин спустился вниз, поигрывая фонариком. Марий с непроницаемым лицом уже сидел в кресле. Возле его ног лежал пес. При виде Кошкина он поднялся и зарычал.

— Ну-ну, не рычи,— сказал Кошкин и кивнул Марию: — Где будем превращать э-лек-три-чество в свет? Здесь или где потемнее?

Кошкин чувствовал себя уверенно. Фонарик работал — он проверял его, и теперь оставалось только легким движением пальца выпустить из него луч света и посмотреть, как темный человек Марий вытаращит глаза на диковинное уст-

ройство. И потом — новый банкет. Быть может, прощальный. Его ждет новое задание Центра, опасности, приключения. Ах как на него смотрела Сильва...

Марий встал, покосившись на блестящий цилиндр в руке Кошкина, и хлопнул в ладоши. И тотчас в зал вбежали, топая по мозаичному полу, два десятка стражников — с копьями, при щитах и с короткими мечами у пояса. Запахло кожей, потом, железом. Вбежав, они мигом выстроились в две шеренги, образовав собою коридор, ведущий к выходу из дворца. Марий с Кошкиным и пес, который не отставал от хозяина, прошли этим сверкающим и грозным коридором на улицу, и солдаты, звякая металлом, промаршировали за ними и быстро перестроились, взяв Кошкина в квадрат. Марий же незаметно улизнул от Кошкина и опустился в кресло под невысоким деревом. Пес тоже схитрил и теперь, сев рядом с хозяином, с ехидцей поглядывал на окруженного Кошкина.

— Нормально.— Кошкин оглядел забор из копий.— Как у нас в Летнем саду. Ну-ну... Амфора об амфору, значит?

— Ты, который называет себя пришельцем из другого мира,— с грозной торжественностью начал Марий и напавил на Кошкина тонкий палец,— готов ты вызвать свет посредством электричества? Отвечай!

«Ну, сейчас я ему покажу!» — зло подумал Кошкин и отвечал, так же выставив указательный палец:

— Ты, который серый-серый, совсем зеленый, который давно умер и ликвидировался как класс! Ты не оконфузишься со страху, когда увидишь, на что я способен? А?..

— Начинай! — рявкнул, багровея, Марий.

— Ну, смотри! — зловеще прошептал Кошкин и прицелился в Мария из фонарика, как из дуэльного пистолета.

Марий напрягся в кресле. Пес насторожил уши.

— Держись! — гаркнул Кошкин, нажимая кнопку.

По его разумению, Марий должен был сейчас же отшатнуться или прикрыть лицо руками, защищаясь от неяркой, но все же различимой вспышки света. Но тот не мигая продолжал смотреть на стекло фонаря, и только капелька пота стекала по его лбу, забегая в бороздки морщинок.

Кошкин повернул фонарик к себе — лампочка не горела. Что за черт! Кошкин пощелкал кнопкой и встряхнул его — электричество и не думало превращаться в свет.

— Я сразу понял, что плут и пьяница! — злорадно сказал Марий и поднялся.— Вас сразу видно, из какой бы страны вы ни пришли. Ты выдаешь себя за мессию в на-

дежде жить на дармовщинку. Много вас таких развелось — не желающих работать. Но быть тебе распятым вместе с беглыми рабами!

Марий не спеша направился к квадрату стражников. Кошкин торопливо развинчивал фонарик.

— Значит, ты был на Луне, а Земля имеет форму шара? — издевался Марий, приближаясь к Кошкину. — И вы ездите под землей в длинных колесницах, запряженных электричеством? Ха-ха-ха! Я не знаю, где ты взял эти хитрые вещи, но они не твои. Скажи, где ты украл их, пока я не позвал своего любимого палача!..

Марий двинулся вдоль копий, презрительно поглядывая на Кошкина.

— Как только ты выпил неразведенного вина, я понял, что ты из рода пьяниц! А твой «скороход»? — припомнил Марий. — Мы надеваем такие колодки рабам, чтобы они не смогли убежать. Я велю приколотить их к твоему кресту! Ты раб! Ты лгун! Ты пьяница и болтун!..

Кошкин уже и не думал оживить фонарик. Плюнув на все условности, он доставал папиросу и думал, что пора нажимать красную кнопку. Только бы там не было осечки!..

Кошкин чиркнул спичкой, выпустил из ноздрей дым, и стража попятилась, оцетинившись копиями.

— Взять его! — рыкнул Марий, отступая. — Взять!..

Копья, заметно подрагивая, стали приближаться к Кошкину. Квадрат сбился в неровный круг. Завыла собака. Марий, взвизгивая, топал ногами:

— Взять! Взять!

И тут Кошкин быстрым движением вытащил из брюк транслятор и ткнул пальцем в красную кнопку. И тотчас же неведомая сила отбросила от Кошкина и солдат, и Марию, и воющего пса, и они забарахтались в нелепых позах на земле, сиюсь подняться и разева в криках рты. Бедного пса перекувырнуло через голову, и он с испуганным визгом сучил лапами, катаясь на спине. Марий на четвереньках уползал к дворцу. За ним хвостом волочилась разорванная туника.

Сам же Кошкин, без всякой на то воли, стал медленно подниматься вверх, словно привязанный к воздушному шару. Фигурки барахтающихся во дворе людей стали уменьшаться. Кошкин увидел крышу дворца, вершины деревьев проплыли мимо, ослабевал собачий вой...

— Эй-эй! — замахал руками Кошкин. — Куда же это! Хватит! Хва...

Взмахнув руками, Кошкин почувствовал, что может управлять своим полетом. Он вытянулся горизонтально и, как пловец, плывущий брассом, стал разгребать руками воздух.

Кошкин двигался с легкостью, легкостью изумительной. Каждый взмах рук устремлял его на несколько метров, и тогда в ушах его начинал посвистывать ветер. Освоившись немного, Кошкин сунул транслятор в тесный карман брюк и с фонариком в руке и папиросой в зубах стал кружить над дворцом и садом, подобно коршуну, высматривающему добычу. Двор вмиг опустел, но Кошкин видел, что под деревьями прячутся стражники и Марий выкрикивает им какие-то команды с дворцового крыльца.

Кошкин занырнул пониже, брыкая ногами, и сейчас же несколько копий, пронзив листву деревьев, залпом устремились к нему. Но не успел Кошкин по-настоящему испугаться, как острые наконечники копий ткнулись во что-то твердое и упругое в метре-другом от него и закувыркались обратно. «Ага! Попались!» — возликовал Кошкин, сообразив, что его окружает какое-то защитное поле. И, взмыв вверх, стал заходить на своих обидчиков с солнечной стороны, намереваясь пройти двор на бреющем. Маневр удался, и противник заметил Кошкина, когда тот уже спикировал на крыльцо, где стоял побелевший от ужаса Марий в разорванной тунике.

— Получай, морда!..

Металлический цилиндрик сверкнул в воздухе, звонко шлепнул Мария в живот и засветился на мгновение неярким желтоватым светом. Марий ахнул и провалился в двери. Пронзил воздух новый залп копий, но тщетно: они не нанесли нашему воздухоплавателю никакого вреда, срикошетив на землю и высекая искры.

Кошкин полетал еще немного, разгоняя остатки толпы и мстительно бросая вниз зажженные спички, и завис над крышей дворца, взволнованно покуривая.

— Значит, электричества нет? — рычал с небес летающий водопроводчик, соображая, не залететь ли ему во дворец, чтобы достать коварного Мария. — Я ведь тебя, гада, с самого начала предупреждал — со мной лучше не связывайся!..

Но залететь во дворец Кошкин не рискнул. Он спикировал во двор, выплюнул окурок и ухватил за ручку красивый узкогорлый кувшин, который лежал на боку и истекал вином. С этим трофеем он стал выгребать к зеленеющим вдали холмам, надеясь найти там временный покой и подкрепиться. Но, отлетев немного, вспомнил о своем пиджа-

ке под соломой и завернул за ним, приведя пожилого охранника в трепет и изумление неописуемые. Кошкин добыл пиджак с документом, плеснул лежащему на земле старику полкружки вина:

— Видишь, батя, за мной не стало! — и прощально махнул рукой.

Долго прятались в кустах, подвалах и под крышами строений местные жители, напуганные вознесшимся в небо человеком, который выпускал из ноздрей дым, пил неразведенное вино, сыпал сверху огнем и которого не брали острые копья. Бедняга Марий забился в кладовку и при каждом шорохе вздрагивал и покрывался потом, полагая, что возвращается разгневанный Сергей Кошкин, чтобы добить его.

Кошкин же долетел до холмов, облюбовав себе тихую лужайку, опустил на нее и там, под сенью деревьев, дождался заката, покуривая и размышляя о превратностях судьбы: «Надо же, пошел в буфет, а что получилось... — Он смотрел на пчел, жужжащих над цветами, и позевывал. — Но вот что значит твердый характер — своего добился! И курево прислали, и кое-что покрепче кваса добыл...»

...В тот же день Кошкин благополучно совершил пристрелочный перелет в двадцать первый век и оттуда через пару часов вернулся в родной двадцатый.

То, что Кошкин увидел и услышал за два часа своего пребывания в будущем, изучается сейчас компетентными органами и огласке пока не подлежит. Сообщим только, что с будущим все обстоит более-менее неплохо, если не считать мелких огорчений: пропадут вобла, раки, охотничьи сосиски и выйдут из моды «хэви металл» и кроссовки.

По возвращении домой Кошкина обследовали ученые, расспрашивали специалисты, и он дал подробный отчет о своем путешествии.

Мы приведем только фрагмент видеозаписи одной из бесед, который поможет вам понять, почему Кошкин не был зачислен в национальные герои и до сих пор не выпускаются почтовые марки с его изображением.

В о п р о с. А вы уверены, что скульптура в музее изображала именно вас?

К о ш к и н. Конечно.

В о п р о с. И какая надпись была под скульптурой?

К о ш к и н. Вот, дескать, неизвестный человек прошлого в состоянии алкогольного опьянения. Это я-то неизвест-

ный! Ну и дальше — что такое алкоголь и как с ним бороться.

В о п р о с. А что, вам приходилось фотографироваться пьяному?

К о ш к и н (*смущенно*). Да снимали однажды в ДНД. Мы тогда с Гришаней за «Зенит» пили. Гришаня глотнет и кричит: «„Зенит“ — чемпион!» Я не кричал, я только карусель крутил. Нас и забрали...

В о п р о с. Вы говорили, музей называется «Пережитки прошлого»? А что вы еще видели в этом музее?

К о ш к и н. Да разное видел. Входишь — и милиционер стоит как натуральный. Я даже испугался. Дальше — цыгане петушками на палочках торгуют. Футболисты-амбалы с университетскими дипломами стоят. Гости за столом сидят: культурненько так все, с закусью, в телевизор смотрят. Два начальника в кабинете пьют, бумаги подписывают. Хмырь какой-то животом на трибуну навалился, что-то по бумажке читает — зал спит. Ну и всякое такое...

В о п р о с. А ваша скульптура в каком зале?

К о ш к и н (*не без гордости*). Я — в отдельном. Там стены из бутылок и подсветка через них...

(Члены комиссии негромко переговариваются, сожалеюще разводят руками: «Мы его в герои, а он — в музее пережитков. Нет-нет. Не та фигура», «Придется повторять эксперимент», «Взять подписку...», «Ему и так никто не поверит...», «Да, жаль парня».)

Н-да, так все и было.

Сейчас Сергей Кошкин уже не работает в жилконторе номер семнадцать. Он устроился полотером в исторический музей.

Вечером, когда залы музея пустуют, Кошкин ходит от витрины к витрине, подолгу разглядывает экспонаты и, вздохнув, приступает к работе. Дольше всего он задерживается в зале Древнего Рима, где в стеклянном кубе стоит его трофейный кувшинчик с узким горлом. Кошкин задумчиво смотрит на него, качает головой и вспоминает, как летел с ним по небу после маленькой битвы в первом веке до нашей эры.

После того путешествия у Кошкина обнаружился жгучий интерес к истории и естественным наукам. Он прочитал по нескольку раз все школьные учебники и теперь взялся за институтские.

Он часто прохаживается вдоль нового железобетонного забора НИИ, останавливается на том месте, где раньше

была дырка, и, пробормотав что-то гневное по-латыни, идет дальше. Несколько раз Кошкин встречал у проходной Егорушкина и о чем-то настойчиво просил его, но тот непреклонно мотал головой, садился в автомобиль и уезжал.

После того как Кошкин бросил пить и стал бегать по утрам кроссы, Наташка из восьмой квартиры поглядывает на него с интересом, и Кошкин считает, что у него есть шансы... Недавно они ходили смотреть фильм «Антоний и Клеопатра», и на обратном пути Кошкин развлекал свою спутницу рассказами о Древнем Риме. Держа, естественно, в секрете факт своего пребывания там.

Несколько раз Кошкин вел переговоры с участковым, и его не покидает надежда получить обратно свои пьяные фотографии и уничтожить их, чтобы в будущем не угодить в музей пережитков.

Друзья Кошкина — Клещ и Вьюга — потеряли к нему всякий интерес, но он вовсе не огорчается этим.

Иногда Кошкину снится, что он летает...

Аскольд
ШЕЙКИН

Академический случай

Рассказ



та история сразу же началась как трагедия.

В один из декабрьских дней 1952 года лаборант Николай Алексеевич Цоколев, уходя с работы, забыл выключить электрический чайник и едва не устроил пожар. На следующее утро Цоколева вызвали в отдел кадров — расписаться в получении выговора. И вот тогда Цоколев — человек мстительный и завистливый — принялся чернить заведующего лабораторией Рутимовского. Все, что он говорил, было отъявленной клеветой, причем Цоколев то и дело оглядывался на входную дверь и повторял:

— Я только вам... Другим я разве скажу?..

И ночью Рутимовского арестовали.

И уже на следующий день все его печатные статьи были изъяты из институтской библиотеки (изъяты были и статьи, в которых упоминалась его фамилия, имелись ссылки на его работы), ну а дирекция вдруг открыла, какую редкостную змею пригрела на своей груди: Рутимовский занимался психофизиологией. Он пытался установить физико-химические изменения в нервных клетках человеческого организма, вызываемые проявлениями эмоций. И теперь было обнаружено, что такое изучение есть механицизм, вредоносный, чуждый, корнями уходящий в заокеанские дали,— обвинение, очень обычное для пе-

риода культа личности Сталина в 1948—1952 годах и тяжкое в ту пору до чрезвычайности.

Группу, которой руководил Рутимовский (два младших научных сотрудника Сидоров и Смирнова, аспирант Фофанов, лаборант Цоколев), немедленно расформировали. Всю аппаратуру было приказано сдать на склад. Аспиранта даже отчислили из института: он упрямо требовал не демонтировать установки Рутимовского. Опечатать хоть семью печатями, но сохранить для будущего, потому что Рутимовский в области радиотехники был эмпириком, и созданные им приборы не имели какой-либо документации.

Этим он, впрочем, только подлил масла в огонь. Слово «эмпирик» звучало тогда тоже как тяжкое обвинение.

Просил он также хотя бы разрешения снять принципиальную схему аппаратуры. Но раз направление, в котором работал Рутимовский, было признано ошибочным, аспиранту откровенно посоветовали подумать о своей собственной голове и лишили права доступа в институт.

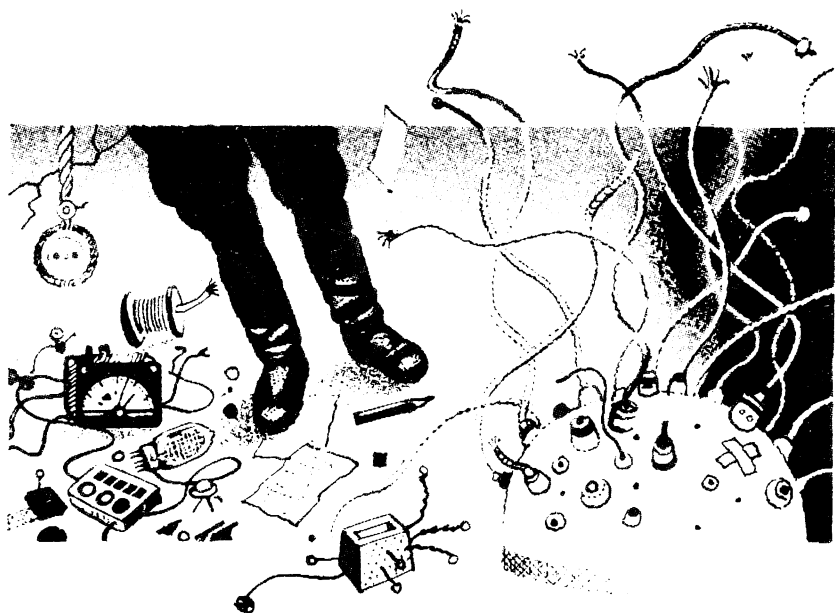
Ну а Цоколев? Он продолжал спокойно жить и работать.

Правда, три или четыре дня спустя Цоколев пережил некоторое потрясение: Рутимовского неожиданно привезли в институт. В сопровождении двух штатских, осунувшийся, бледный, низко опустив голову, он прошел по лаборатории, односложно отвечая на вопросы спутников. Около тридцатиканального энцефалографа — по тем временам прибора довольно редкого — он несколько минут стоял, положив руку на эбонитовую панель, усеянную гнездами для подключения электродов. И пока штатские рулеткой измеряли расстояние от энцефалографа до ближайших окон и зарисовывали расстановку приборов в помещении, он все стоял так, невидящими глазами глядя перед собой и машинально ощупывая панель.

А когда его увели, Сидоров и Смирнова — сотрудники больше не существующей группы Рутимовского — с самыми обворожительными, как показалось Цоколеву, улыбками вдруг обратились к нему с просьбой дать им возможность в последний раз снять энцефалограмму. Цоколев, испуганный неожиданным появлением Рутимовского, покорно и торопливо натянул на голову шлем с электродами.

Ему подавали команды, он в уме складывал и вычитал числа, думал о музыке, вспоминал радостные и горестные события своей жизни, здоровался с воображаемым другом — такие задания он повторял уже много раз и вы-

полнял совершенно автоматически. В сущности, в этом и заключалась его работа у Рутиловского все последние годы: быть объектом исследования — ну а Сидоров и Смирнова, заглядывая в крошечную бумажку, исписанную, заметил Цоколев, рукой Рутиловского, колдовали у переключателей.



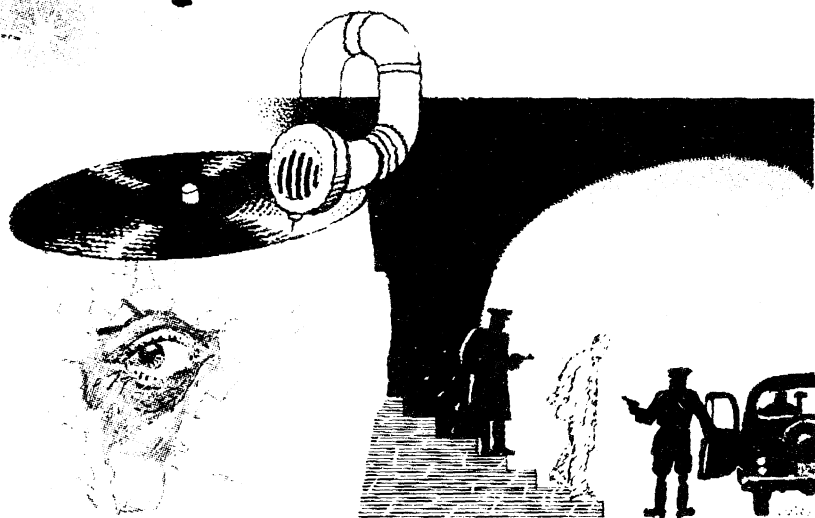
И, наблюдая, с каким напряжением они работают, он думал во время пауз для отдыха: «Вертитесь, вертитесь... И с Рутиловским-то были вы пешки, а уж без него вообще...»

С теми же обворожительными улыбками Сидоров и Смирнова распростились с Цоколевым после окончания опыта, и на этом их пути навсегда разошлись. Научные сотрудники принялись демонтировать установку, а Цоко-

лев поспешил к своему новому месту службы в другой лаборатории.

Через неделю он получил по почте большой квадратный конверт.

Случилось это в субботу, под вечер. У Цоколева собра-



лись приятели. Собрались, чтобы, как говорится, хорошо погулять, и были уже изрядно на взводе.

Конверт разодрали под шутки и гогот («От приятельницы!»—«Гы-гы-гы!»—«Вот, мол, тебе мой портрет».—«Гы-гы-гы!»). Однако в конверте был не портрет, а листочек бумаги да кустарная патефонная пластинка: кусок рентгеновской пленки с изображением чьих-то ребер, с дыркой в центре и матовым кругом звукозаписи.

Цоколев схватил листок. На нем оказалась всего одна короткая строчка, напечатанная на пишущей машинке.

— «Желая добра. Рутиловский»,— вслух прочел Цоколев.

Приятеля заготовили:

— «Желая добра!» Гы-гы-гы!

— Постойте, постойте, ребята,— проговорил Цоколев.— Это же такое дело... Ай-ай-ай! Ну если похабщина, ну если похабщина...— повторил он.

Это значило: тогда он передаст письмо и пластинку следственным органам, и положение Рутиловского ухудшится.

А приятели уже накручивали патефон...

Когда раздались первые такты режущей слух ритмической мелодии, он все еще думал: «Ну если похабщина...»

И вдруг он почувствовал, что больше не слышит музыки, но что просто в нем, в Цоколеве, возникают толчки теплой дрожи. Они возникают в концах пальцев рук и ног и рывками подбираются к позвоночнику. И было это так необычно, что он едва не закричал «караул». На лице его, вероятно, изобразился ужас: он увидел, что приятели смотрят на него совершенно растерянно. Это, впрочем, длилось секунды. Ритмические толчки прекратились. Теперь в уши его врывался ровный звенящий гул. И, глубоко и облегченно дыша, Цоколев почувствовал, что теплые потоки достигли затылка, сошлись там, тысячекратно усилились...

И тут его сознание померкло.

Человек стоял с гордо поднятой головой. Он стоял среди пространства, где ему все было чуждо: черная от времени, кривляющаяся мебель, занявшая стены. Тарелки и бутылки на столе. Трое дико орущих людей — красные лица, воспаленные глаза, хриплые голоса.

Человек долго всматривался в этих людей, прежде чем понял: они искусственно привели себя в такое состояние, когда хочется безумолчно болтать, глупо смеяться,— какая карикатура на истинное веселье!

— Колька!— услышал Человек. Один из людей, шатаясь, подошел к нему.— Совсем окосел ты, Колька!..

Обняв Человека, он попытался поцеловать его.

— Послушайте,— сказал Человек, вырвавшись из объятий, и шагнул к столу, чтобы немедленно же открыть

этим людям нечто такое, что разом переменит их жизнь.— Послушайте. Мы все здесь не юноши. И к нам всем уже пришла ясность. И мы знаем: самое дорогое на земле — человек.— Он мучился, отыскивая те единственные слова, которые только и могли выразить теснившиеся в его мозгу мысли, и говорил поэтому отрывисто, делая большие паузы.— И каждая минута,— продолжал он,— потерянная без пользы для общего блага, каждая несправедливо оборванная жизнь — это невосполнимейшая утрата, потому что все будет еще много раз: и восход солнца, и чередование ночи и дня — но никогда-никогда не будет уже второй жизни точно такой, какая была и прошла...

Что последовало затем? Выслушав Цоколева, приятели сокрушили в комнате все: и буфет, и абажур над столом, и картины на стенах, и пузатый комод, доставшийся Цоколеву «в наследство» от ушедшей два года назад жены. Сам Цоколев в этом разгроме участия не принимал. Он стоял у окна и не отрывал глаз от безмятежного синего неба, от облаков, любовался тем, как солнце золотило крыши и трубы домов. За его спиной слышались крики и грохот, но Цоколеву ничего не было жаль из того, что крушили приятели: он жил эти минуты в другом мире — в мире высоких помыслов и благородства.

Но уж, конечно, утром Цоколев только и делал, что хватался за голову. Такой разгром! Такое небывалое безобразие!

Он кинулся к соседям по квартире. Те подтвердили: когда эти его дружки громили мебель, сам он, Цоколев, с улыбкой поглядывал в окно. Потому-то никто из соседей и не вмешался. Правда и то, что соседи его не любили и добра ему не желали вообще.

Добрый час, как только мог и умел, Цоколев клял и себя, и своих приятелей, а потом... Потом, несмотря на декабрьский мороз, он распахнул окно в своей комнате, поставил на подоконник патефон, положил на диск пластинку Рутимовского и начал заводить пружину. Угостить всех жильцов дома этой чертовой музыкой. Вот чего он хотел. Пусть тоже перевернут столы, стулья, буфеты!

Вращая рукоятку, Цоколев пошатнулся и вытолкнул патефон за окно.

И видел, как подхваченная ветром пластинка соскользнула с диска и полетела вдоль фасада.

В этот же день Цоколев поскандалил во дворе с одним из работников домконторы и, доказывая, что у него простая открытая душа, уже начал было рвать на себе пальто, как вдруг откуда-то сверху донесся знакомый властный ритм.

И Цоколев осекся на полуслове.

И сознание его померкло.

А очнувшись, он вышел на улицу...

Человек был прям, горд, высок.

Человек шел заснеженным тротуаром в потоке людей, каждого из которых он любил словно брата и томился желанием отдать себя, свою кровь, чтобы сделать любого из них счастливей.

«Люди! Я готов на все ради вас!»— пело в груди Человека.

В подворотне одного из домов он увидел мужчину в сером осеннем пальто, в летней кепчонке, в полуботинках. Зябко ссутулясь, тот примостился на скамье в темной каменной нише. Одинокий? Не нужный никому?

Человек склонился над ним.

— Вам плохо?— спросил он.

— Ц-цоколев?— удивленно отозвался тот.— Т-ты?

— Вам плохо?— повторил Человек.

— Мне очень плохо, Ц-цоколев,— ответил мужчина.— Уз-знаешь? Я же Фофанов, аспирант Рутилковского.— Он произнес это с вызовом и ударил себя по груди. Ударил и сразу увял.— Был,— устало сказал он.— А теперь...— Он махнул рукой и вдруг оживился:— А ну пошли. Тут недалеко. У тебя есть деньги, Цоколев? Пошли, пошли, посидим в тепле...

Человек пошел с ним в пивную. Они сели в углу, возле круглого столика с мраморной крышкой, и, хотя Человек знал, что не будет пить, перед ним тоже поставили кружку.

И они беседовали.

Ф о ф а н о в. Конечно же это ты, Цоколев... Похож и не похож. Глаза не твои. Осанка не твоя. Говоришь другому... А что же твое?.. Что с тобою случилось, Цоколев?

Человек. Я стал очень богат. Это принесли мне такты мелодии. Я не могу повторить ее. Я могу только услышать и стать очень богатым.

Ф о ф а н о в. О чем ты говоришь, Цоколев? Какую мелодию ты услышал? Что ты городишь, Цоколев?

Ч е л о в е к. Это мелодия Рутиловского. Он прислал ее мне на патефонной пластинке. Самодел. Из рентгеновской пленки.

Ф о ф а н о в. Цоколев! Что ты сказал? Ты прослушал пластинку, которую Рутиловский сделал своими руками? Прислал тебе?.. Тогда все понятно, Цоколев. Она и принесла переродившую тебя информацию.

Ч е л о в е к. Я слышал лишь музыку.

Ф о ф а н о в. Разве этого мало?

Ч е л о в е к. Какая же информация, если не было слов?

Ф о ф а н о в. Да послушай ты, Цоколев! Все, что ты узнаешь из окружающего тебя мира, из книг, от других людей, поступает в твой мозг в виде сигналов биотоков, импульсов, приходящих от органов чувств, и запоминается там. А что это значит? Это значит, Цоколев, что в клетках твоего мозга всякий раз создаются какие-то новые физико-химические структуры. А коли так, то в принципе человеку можно сообщить любую информацию, не прибегая к словам, зрительным образам. Надо лишь вызвать в его мозгу создание аналогичных структур. Рутиловский и работал над этим, используя инфра- и ультразвук. Ведь действует на людей обычная музыка! И печалит, и радует, и пробуждает забытое, а природа всех звуков едина. Ну-жен ключ. Он его и искал.

Ч е л о в е к. Но зачем обходиться без слов?

Ф о ф а н о в. Чтобы по-новому обучать людей. Чтобы человеку не приходилось тратить годы, обретая способность читать, писать, постигая основы наук. Чтобы все это возникало в нем бессознательно, как при рождении возникает умение сделать первый вдох, первый глоток.

Ч е л о в е к. Но зачем? Люди всегда обходились без этого!

Ф о ф а н о в. Всегда обходились! Что за барьер!.. Да послушай ты, Цоколев! Быт и работа с каждым днем усложняются. Если не решить этой задачи, уже через полсотню лет людям придется быть школьниками всю свою жизнь. И вот Рутиловский хотел оставить на долю человека лишь подлинно творческий труд — синтез накопленных фактов. А его обвинили в подготовке психологической диверсии. И против кого! Как!.. Что за бессмыслица! У этих следователей куриные мозги!

Ч е л о в е к. Вы говорите о влиянии на всех людей. Но почему же мелодия действует лишь на меня одного?

Ф о ф а н о в. Да потому что мы три года исследовали спектры резонансных частот элементов твоего мозга, Цоколев! Это очень узкие спектры! На них невозможно наткнуться случайно. Их надо выбрать из миллиардов значений! Тебя изучали мы целых три года и дело свое далеко не закончили! То, что работы Рутиловского прерваны,— трагическая несообразность, великое горе!

Ч е л о в е к. И великая подлость. Чем я могу искупить вину?

Ф о ф а н о в. При чем здесь ты, Цоколев?

Ч е л о в е к. Я оклеветал Рутиловского.

Ф о ф а н о в. Что ты сказал, Цоколев? Ты понимаешь, скотина, что ты сказал?..

Фофанов говорил что-то еще, но Человек уже не слышал его. Голос бывшего аспиранта доносился до него все слабей.

И мрак поглотил Человека.

Когда Цоколев пришел в себя, он увидел, что Фофанов замахнулся на него пивной кружкой.

Шапка смягчила удар.

И тотчас Цоколев сам с наслаждением ударил Фофанова своей кружкой.

И вдруг увидел, что лежит на полу, что в руке его ничего нет и он кулачком молотит по ножке стола, а над ним разливается милицейский свисток...

Да. Все эти трагические события произошли в декабре 1952 года. А в 1953-м, после смерти Сталина, после ареста Лаврентия Берии канули в прошлое те времена, когда наветом можно было причинять неизбывное горе.

Если в это не верить, как тогда жить?

Рутиловского, конечно, реабилитировали. Произошло это быстро. Но в институт он не вернулся. Вообще, уцелел ли? Да если и уцелел, то стоило ли ему возвращаться на пепелище? Разве мало институтов в нашей стране?..

Однако на Цоколева временами по-прежнему находит состояние душевного богатства. И тогда он твердо убежден: «Рутиловский жив. Это — биение его сердца».

Правда, став потом снова самим собой, он задумывается: ну кто же все-таки заводит пластинку? Любитель звукозаписи, упорно доискивающийся, какая это мелодия?..

А может, пластинка попала к поклонникам западной музыки? И в то время как он, Цоколев, переживает свое второе рождение, они скопом извиваются в рок-н-ролле?..

Иногда, впрочем, Цоколев думает по-другому: а вдруг это происки врагов?

О, когда Цоколев думает так, он выбегает из своей комнаты и на цыпочках бродит по лестницам дома, прикладывая ухо к замочным скважинам: а не здесь ли пластинка? Узнать, взять на заметку, следить не спуская глаз...

И бывает, что его застают за этим занятием и гонят прочь. И, шепча проклятия, он убегает к себе и, запершись на ключ, бьется головой о диванные валики...

А потом опять теплая дрожь внезапно охватывает его. И он опять становится Человеком.

И тогда — потому, что он все отчетливей знает уже, что это состояние временно, что оно скоро пройдет, — он спешно покрывает листы бумаги обрывками вычислений, чертежей, фраз, намекающих на какую-то великую мысль.

Мысль об открытии Рутиловского? Об устройстве его установки?..

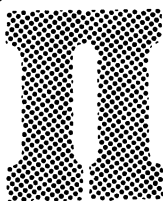
Трудно судить. Заметки Цоколева клочковаты, бес-связны.

Пребывая в этом своем состоянии, он с каждым разом все с большим страхом думает о том, как мерзка и пуста жизнь, ожидающая его после пробуждения, и торопится одарить радостью встречаемых...

Лев КУКЛИН

Крылья

Рассказ



рокаленный солнцем сухой воздух над кремнистыми критскими скалами оставался неподвижным целый день. И только к вечеру с юга, со стороны Африки, потянул едва ощутимый лбом и щеками ветерок.

Дедал в легком льняном хитоне стоял на плоской площадке одной из дворцовых башен и смотрел на солнце, цвета остывающей в плавильне меди, которое заметно скатывалось к линии горизонта, четко прочерченной на границе неба и моря. Морская вода не была ни глубокой, ни синей.

У греков вообще не существовало в языке слов, означающих эти цвета. Слепой аэд со странным для слуха именем Гомер назвал море «виноцветным».

Да, пожалуй, именно такое вино он пил тогда — там, в далекой прежней жизни, — густое, фиолетово-красное вино, привозимое в больших глиняных пифосах с острова Хиос прокопченными, как рыбы, курчавыми финикийцами. Это вино тяжело плескалось в фиале, подергивалось на свету маслянистой радужной пленкой — и тогда его цвет и впрямь точь-в-точь совпадал с цветом моря на закате... И в глубине его просверкивали тусклые золотистые искорки.

Вот как сейчас. Прав Гомер...

Дедал глядел в сторону Греции... Камни квадратной башни, остывая от дневного зноя, еле уловимо потрескивали. Отсюда, с башни дворца, не было слышно, как ветер шелестел узкими серебристыми листьями в оливковых рощах, оглаживал пористые щечки еще зеленоватых незрелых апельсинов. Ветер дул вдоль вытянутого тела острова немного наискось, вместе с ним летели в сторону родины птицы...

И опять — в который уже раз! — Дедалу померещилось, будто стоит он не на башне построенного им дворца, а у обрыва беломраморной скалы, на которой возвышался афинский Акрополь. И с криком падает вниз его племянник Тал... Как случилось, что рука Дедала, движимая злой волей богов, толкнула мальчика? Конечно, ум Дедала мутился после большого пира, устроенного афинянами в его честь. Да, его, Дедала, называли великим скульптором, и горожане славил его последнюю статую. А хиосское вино было терпким и крепким, и его было очень много, и он, подобно далекому северным варварам, пил его, не разбавляя родниковой водой. Напрасно... Да... В голове шумело, словно море в полосе прибоя. Опираясь на плечо племянника и пошатываясь, как пьяный Силен, выбрался Дедал на свежий воздух. Но какая злоба мгновенно ослепила его? Бесспорно, Тал был очень талантлив и мог бы своим мастерством превзойти Дедала в будущем. Он помогал скульптору и был его лучшим учеником. Но умный помощник — всегда угроза! Неужели — втайне от себя самого — он желал Талу зла? Нашлись свидетели убийства — нашлись и завистники, считавшие убийство умышленным и требовавшие для Дедала смертной казни. О боги, боги! Какое горькое похмелье иногда подсовывает нам жизнь!

Икар, конечно, не таков... Он добр и послушен, он сумеет использовать, но он не сможет создать!

А Дедал и здесь, на Крите, после тайного побега построил чудо света. Только, пожалуй, он один — архитектор и создатель — мог бы войти в придуманный им Дворец и безошибочно пройти по всем его залам, помещениям и кладовым, запутанным галереям и переходам: ведь весь план Лабиринта по-прежнему отчетливо существовал у него в мозгу.

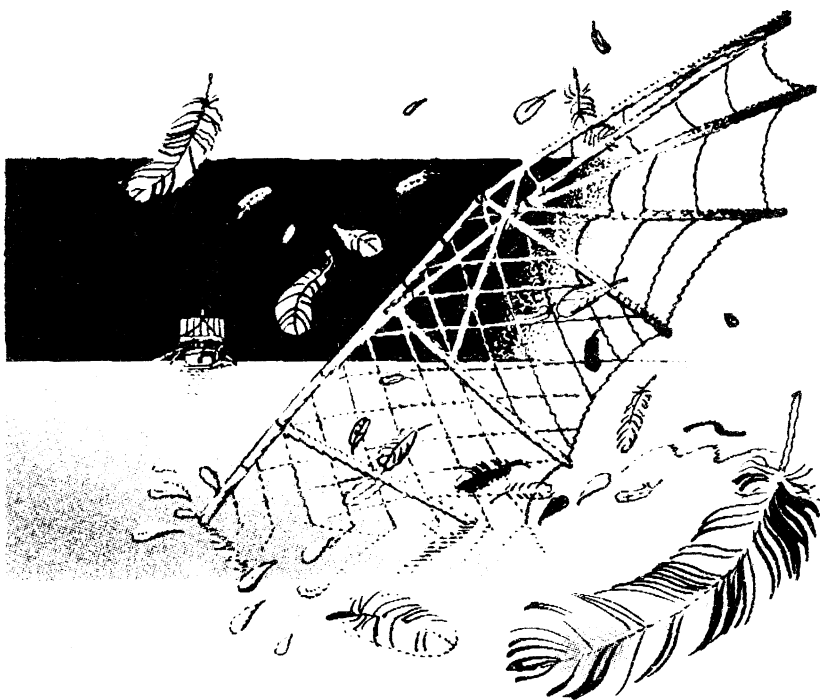
Уже одиннадцать долгих лет...

Дедал помнил, как впервые у него зародилась смутная идея.

Четырехлетний Икар играл на дворцовой стене у его ног. Он урчал, как сытый щенок, довольный жизнью, мял

в руках воск, из которого Дедал лепил ему смешные фигурки... А в тот раз он забавлялся тем, что пускал по ветру перышко, легкое, как овечий пух. Перышко взлетало, подгоняемое дыханием ребенка, и, вращаясь, мягко опускалось на каменную кладку.

Что-то было в этом, какая-то тайная связь: ветер, перышко и воск. Воск, перышко и ветер...



Он взял белое голубиное перышко из рук сына и с силой дунул. Почти невесомое, оно вырвалось у него из пальцев и унеслось вниз со стены — в сторону Греции.

Перышко из белого голубиного крыла...

Крыло — и ветер!

Как-то почти неосознанно он смастерил крыло, примерно в три раза больше голубиного, и, сидя в мастерской, медленно, словно бы опахалом, обмахивался им, ощущая упругое сопротивление воздуха.

Икар неожиданно вошел в мастерскую и застал отца за этим занятием. Задумчивый, сосредоточенный на тайной работе мысли, взгляд Дедала не сразу обратился к сыну.

— Птицы свободны...— с тяжким вздохом сказал Дедал.— Для них нет предначертанных дорог. Свободны-ми...— и он сильно взмахнул моделью крыла, так что оно



со свистом рассекло воздух,— свободными их делает это! Но человек умнее птицы, и он должен научиться летать!

— Ты... ты сделаешь нам крылья?— задохнулся от восторга и сладкого ужаса Икар.— Как у птиц?

Дедал покачал головой.

— Нет...— твердо отчеканил он.— Машущие крылья — нет! На это может рассчитывать только глупец. Боги дали разную силу птицам и людям. Для того чтобы понять это, достаточно самого простого опыта. Встань здесь,— приказал он сыну,— и попробуй, не сходя с места, взмахи-

вать руками. А я буду вести счет... твоей забаве. Долго ли ты сможешь выдержать?

Икар с охотой включился в игру. Он с улыбкой взмахивал и взмахивал вытянутыми в стороны руками с сомкнутыми вместе пальцами. Но вот... вот его взмахи стали медленнее, он стал поднимать разведенные руки с трудом, с явным усилием. И наконец... Его губы скривились от досады и удивления.

— Я... я не могу больше поднять рук!— пожаловался огорченный юноша.— У меня болит... тут и тут...— Он ткнул пальцем в плечо и в локтевой сгиб.

Дедал жестко усмехнулся:

— Вот видишь... А птицы летают целый день, и у них не отнимаются руки от боли. Нет, сынок. Надо следовать разумным законам природы. Ты заметил, что коршун, выслеживающий добычу, или горный орел могут долгое время парить над землей?..

— Не делая ни единого взмаха!— радостно закричал Икар.— Значит... значит...

— Это значит, что воздух, эфир — среда, на которую можно опираться. Зачерпни морскую воду в ладони — она прозрачная и мягкая. Но она держит на себе деревянные корабли! А воздух наполняет парус. Паруса заменяют судам крылья, сынок! И если я не могу уйти от Миноса ни сухим путем, ни по морским волнам, то ведь открыта же дорога неба! Всем владеет богач Минос, но даже он не может владеть воздухом!

Дедал шел по тропинке, истертой в пыль. Она облачками подымалась за каждым его шагом. Сбоку от тропинки слышалось дробное цоканье овечьих копыт.

Он двинулся вдоль изгороди, за которой светились налитые соком виноградные гроздья. Под подошвами его сандалий сухо хрустели прошлогодние панцири виноградных улиток. Управляющий дворцовым хозяйством царя Миноса в тонкой белой тоге с цветной каймой по вороту и подолу встретил его, приветливо вытянув руку ладонью вперед и вверх.

— Опять остановились насосы, подающие морскую воду в бассейны,— скупое сообщил он.

— Я посмотрю...— так же коротко ответил Дедал.

Да, он был великий скульптор, архитектор и изобретатель — но он был подневольным человеком. Золото не искупало неволи...

Багряный виноградный лист, оторвавшись от породившей его лозы, перелетел через ограду и, планируя, лег к

его запыленным сандалиям. Дедал поднял его и долго рассматривал зубчатую ткань листа, рассеченную прочными на разрыв жилками.

«Вот он — мой путь...— сказал себе Дедал.— Основа... И — единая плоскость...»

В своей мастерской, куда был запрещен доступ всем, кроме сына, он сделал гибкую прочную раму из расщепленного одревеневшего ствола заморского тростника, скрепив ее скрученными воловьими жилами. На этой раме он сплел хитроумную сеть наподобие рыболовной, только с очень мелкими ячейками, и, набрав мешок птичьих перьев на хозяйственных задворках, укрепил их в ячейках сети льняными нитками и белым пчелиным воском.

Получилась легкая и надежная конструкция.

К раме он приделал кожаные сыромятные петли — для рук и туловища — и засмеялся от радости.

В тайном месте острова, сильно разбежавшись с откоса, с рвущейся вверх рамой за плечами, он сумел оторваться от земли и несколько долгих мгновений парить в вечерющем воздухе.

Теперь можно было открыться Икару.

Мальчик быстро овладел тренировочными полетами. Дедал изготовил вторую раму — для сына. И наконец настал тот день...

— Слушай меня, сынок,— сказал Дедал.— Завтра на рассвете с попутным ветром мы улетим с Крита. Ты будешь лететь за мной. Не отставай и не перегоняй меня. Не спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги не намочили и не утяжелили перья. Но и не подымайся слишком высоко к солнцу, чтобы его жаркие лучи не растопили воска... Держись разумных пределов, и тогда наш полет будет безопасным.

Таясь от всех, еще ночью они перетасили свои рамы на верхнюю площадку большой башни. Рассвело. Потянул сильный устойчивый ветер. Они сотворили молитвы богам-покровителям, и Дедал первым продел руки в кожаные петли. Сильно разбежавшись, он оттолкнулся и прыгнул с башни навстречу воздушному потоку. С изумлением следил Икар за отцом, который парил в воздухе подобно гигантскому орлу.

— Ну, что же ты?— поманил тот сына.— Смелее!

...Дедал, как и было условлено, летел впереди, не оглядываясь, поскольку это было и невозможно. Он следил за режимом полета, то поднимаясь, то опускаясь немного, будучи абсолютно уверенным, что сын, как ведомый, послушно повторяет его маневры.

А Икара, конечно, опьянило ощущение небывалой свободы. Свобода кружит и не такие головы!

Он набирал полную грудь свежего утреннего ветра, пахнувшего солью и водорослями, вопил от восторга нечто нечленораздельное, закладывал крутые рискованные выражи, с трудом выправляя податливый аппарат, и с любопытством снижался над каким-нибудь тихим зеленым островком, чтобы поглядеть на человеческую жизнь сверху — с высоты птичьего полета. Тогда он видел, как внизу скользила по бурой выгоревшей траве или по песчаному берегу его собственная крылатая тень...

Редкие в этот час ранние рыбаки и мореходы, с отверстиями от потрясения ртами наблюдавшие их полет, были уверены, что видят двух вольных богов, скользящих над водным пространством. И одни — в зависимости от характера — падали ниц на дно лодки или палубы судов, а другие цокали языками от восторга и зависти.

За плечами мальчика от стремительного движения пошвыстывали пестрые перышки на раме.

— Примите благословение богов! — озорничал Икар, пролетая над большой лодкой, где вытягивали на борт сеть, блестящую от бьющейся в ней рыбы. — Удачи в ваших делах!

Он и впрямь чувствовал себя богоравным, рожденным для добрых дел и славных подвигов. И незаметно для себя самого начал подыматься выше и выше, к солнцу, к той невидимой дороге, по которой ходит слепящий бог Гелиос.

И вот уже лодка с рыбаками кажется продолговатой половинкой грецкого ореха... Небо было безоблачным, а светило — горячим и безжалостным. Прямые его лучи жадно ударили в раму, и светлый пчелиный воск стал быстро размягчаться и таять... Ветер начал легко срывать перья и оголять ячейки. Надежный воздушный поток не встречал больше сопротивления, и подъемная сила исчезала, подобно воде, которая неумолимо просачивается сквозь решето...

Икар понял это и стал икать от страха. На его истощенный крик Дедал смог вернуться не сразу. Он только увидел издали, что сын больше не планирует, а, несколько раз перевернувшись в воздухе, переставшем быть опорой, теряя с рамы нелепо изломанной, последние перья, глухо ударился о поверхность моря. Плавать он не умел — и сразу погрузился в воду. Его жалобный, словно у большой раненой чайки, крик подобно занозе застрял в ушах отца.

У Дедала пресеклось дыхание. Тело сделалось непослушным и тяжелым, стало деревенеть, и он испугался, что рухнет за сыном. Если бы он мог, он бы закричал или застонал, но ни крик, ни стон нельзя было выдавить из одеревеневшей гортани. Он не мог ничем помочь. И не мог снизиться: это означало бы еще одну бессмысленную гибель. Неужели, о боги, его настигла кара за ту, давнюю вину? Неужели он платит собственным сыном за гибель талантливого племянника Тала?!

На слабой ряби виноцветного моря плавала только горстка мелких пестрых перышек... Так вот какова она, цена за горький путь познания и свободы!

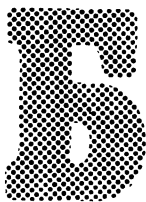
— Сынок... Сынок... — мучительно и беспомощно зывал Дедал, делая широкие печальные круги над местом гибели мальчика. — Ну почему ты не внял моим советам? Почему?! Вот вечная проблема отцов и детей... Если бы можно было вложить в них свой выстраданный опыт! Но нет... Каждое поколение рождалось и будет рождаться вновь и вновь для повторения своих собственных ошибок. А ведь сыновья становятся крылатыми за наш, отцовский счет... Ах, сынок, сынок... Горе мне, горе!

Дедал благополучно дотянул до берега. И там, в полном одиночестве, проклял тот день и час, когда в его мозгу зародилась сумасшедшая идея побега с Крита воздушным путем. Это был путь богов, и этот путь всегда оказывался преждевременным для человека.

Он изломал и сжег свои крылья на пастушьем костре и плакал от горького вонючего дыма, наблюдая, как трещат и плавятся в огне пестрые перья...

Дедал жил еще долго и счастливо. У людей странная память: давнее его преступление — убийство Тала — прочно забылось, но все помнили и прославляли нелепую смерть Икара. Глупые восторженные художники изображали на черно-красных вазах, как он, Дедал, привязывает юноше крылья, похожие на лебединые. Дедал только усмехался в бороду, начавшую седеть, и не поправлял невежественных художников. Этим неучам все равно бесполезно объяснять, что подъемная сила таких крыльев мала для человеческого тела...

Дедал долго и счастливо жил в Сицилии, у царя Кокала. Он изобрел топор и бурав, принимал щедрые подношения современников, но никогда больше не возвращался к своему великому и печальному летучему изобретению — дельтаплану...



у斯卡доры разворачивались улиткой. Они были стянуты в центр, к Паласо, через три минуты после заявления Песо по визиону. Песо подключился к программе визио, прервал ее и сказал про Арму. Сказал, что Арма сработает. Сказал, что она уже упрятана в Торридо и через час сработает. Песо сказал: или — или. Или он через час займет место в Паласо, а судьбу самозванца Примо решит изнывающий под гнетом народ Торридо. Или Арма сработает и решит судьбу Торридо вместе с Примо и миллионом жителей. Песо сказал: Нейтра для Армы у него есть, но выпустит он ее, только поменявшись местом с самозванцем Примо...

— Слушай! Нет, ты слушай! Слушай, тебе говорю!.. Слышишь, да?! Почему плохо слышно?! Это у тебя фонн трещит!.. Вот теперь хорошо? Теперь слышишь?!.. Почему — бью?! Ты что, с ума спрыгнул?! Как я могу ее бить?! За что?! Доктор сказал, на этот раз точно мальчик будет! Мальчик, понимаешь?! Если бы опять девочка, то я бы точно палку об нее обломал! Зачем мне седьмая девочка?! Слышишь, да?! Конечно, кричит! Зачем клиника?! Они там обдерут, как банан! Шесть девочек без всякой клиники! А теперь мальчик будет! Точно, мальчик! Доктор сказал! Мальчик, понимаешь?! Уже скоро! Уже она кричит, слышишь?! Давай споем?! Давай «Розиту» споем! Давай, ты там, а я здесь! Ты друг или нет?! Мальчик же! Ну?! «Спит Розита и не чу-ует, что у ней тира-ан ночует! Вот пробу-удится Розита и прого-онит паразита!..» Эй! Ты куда пропал?! Эй!.. Ф-ф... Ф-ф-ф... Ф-ф...

...Бускадоры замкнули первый круг — ничего не нашли. Все выходы каждого дома в Торридо блокированы. Если у Песо есть сообщники и Арма — в одном из домов, то эти сообщники не самоубийцы, они сделают попытку покинуть дом. Но через три минуты после заявления Песо в действие вступил Нулевой режим. По всему Торридо. Каждый должен оставаться в своем доме. Каждый. И в своем. И фонны по всему Торридо отключены. Если нервы у сообщников Песо не стальные, то эти пособники самозванца выскочат наружу — попадут в руки бускадоров. Должны выскочить — Арму не разрядить, она уже запущена, она работает через час. Арма не работает только тогда и если Песо выпустит Нейтру. Нейтра в руках Песо, а он отсиживается в Джунглях мобилей, стиснувших по периметру весь Торридо. Но Песо выпустит Нейтру, только когда Примо сложит с себя полномочия и уступит место главы. В противном случае Арма работает. Песо терять нечего!

...Бускадоры замкнули второй круг — ничего... Они осмотрели каждый сток, облапили стены по сантиметрам поисковыми щупами — ничего... Бускадоры закольцевали маяками отработанную поверхность и вышли на следующий круг спирали. Шире. Как после камня в воду. Если они не найдут Арму и она работает — то это тоже будет кругами, как после камня в воду. Только скорость будет иной, чем у расползающихся бускадоров. Все произойдет очень быстро...

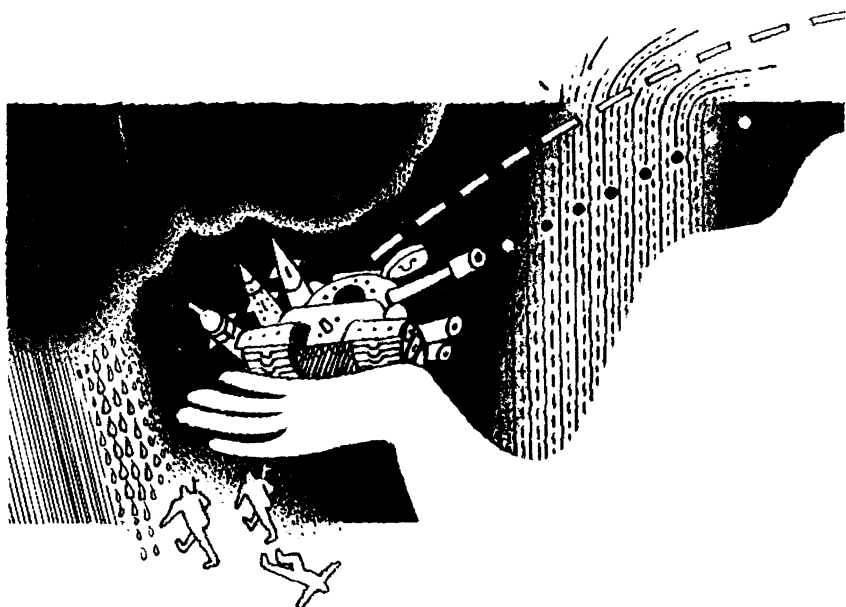
Примо сидел в Паласо, затянутый в кожу мундира, окруженный камерами визио. Примо говорил твердо. Но это была твердость графита — Примо готов был сломаться. Он обращался ко всем и каждому жителю Торридо: «Спокойствие!»

Спокойствия не было. Даже то, что бускадоры всё дальше уходили от сплошной изгороди пыльно-зеленых, ребристых, колючих цереусов, окруживших Паласо, не успокаивало. Это означало только то, что Армы нет вблизи резиденции. Но когда она работает, то всё равно достанет всех и всё, захватит в свою зону весь Торридо. Вместе с Паласо и окраиной. И вместе с Джунглями мобилей, где отсиживается Песо. Но тому терять нечего. Или — или! Игра стоит свеч!

Спокойствие, жители Торридо! Примо смотрел чуть поверх камеры визио, в контрольный экран. Плохо! На последних словах у него заплясала челюсть. Примо ухва-

тил ее пальцами, уткнул подбородок в ладонь. Так лучше. Прямо думает, Прямо ищет выход, Прямо не паникует. Он спасет всех и каждого жителя Торридо.

— Да, контроль. Да, есть контроль... Да, пора. Да, Нейтра на месте... Да, у Песо...— Чин выталкивал слова в раструб фонна короткими очередями.— Да, десант готов.



Да, ждем... «Пробуждение Розиты»— через тридцать две минуты... Всё! Контрольный выход на связь через четверть часа.

Чин щелкнул клавишей фонна и опустил глаза — сквозь прозрачный пол кабины был виден весь миллионный Торридо. Далеко внизу. Аккуратная улитка, стиснутая со всех сторон Джунглями отработавших свое мобилей.

Пневмолет завис высоко — Арма не достанет, Арма действует стелящимися волнами. Тридцать две минуты до «Пробуждения Розиты»...

— «Спит Розита и не чувствует...» — Чин фыркнул. За долгие годы песенка навязла в зубах, но если зацепила, то не отпускала.

Чин помолчал, барабанил пальцами.

— «Спит Розита и не чувствует...» Тьфу!

Тишина. Время. Его остается все меньше. Зеленые секунды извивались. Где-то в Торридо так же торопливо



тикала Арма. Прямо чувствовал — тикало у него в животе. От напряжения. На раздумья оставалось полчаса. Хотя раздумывать было не о чем.

Когда пять лет назад Прямо подвел к резиденции тяжелые роботанки и потребовал отставки «деспота и тирана» Песо, тому тоже не пришлось долго размышлять. Залп роботанков — и ни Песо, ни Паласо. Песо тогда предпочел прыгнуть в шлюп и катапультироваться в Джунгли мобилей. И там отсидеться, гадая, откуда у дважды самозванца Прямо взялись тяжелые роботанки, — не собрал же он их из перекореженных мобилей, Джунглями обступивших

Торридо, пока скрывался от законной власти, от власти Песо.

Нет, Примо, конечно, не рылся в необъятном хламе железа, пластика, смолла. Примо знал, что ЦЕРЕУС не оставит его, испытанного и давнего друга, рыскать в Джунглях до конца дней своих. И Примо ждал. И ЦЕРЕУС не оставил его.

И Чин пришел. Чин сразу нашел его, хотя за два года бускадоры не раз прочесывали Джунгли в поисках Примо. Чин не какой-то там бускадор, Чин второй десяток лет в ЦЕРЕУСе — и он сразу нашел. Чин не продирался через битые окна мобилей, не громыхал вмятыми листами крыш, не хлюпал ботинками в островках вытекшего смолла. Он просто возник.

Тогда, два года назад, Примо подпрыгнул от неожиданности и схватился за линзер ближнего боя. А Чин только кхекнул. Не первый же раз! Пора и привыкнуть! Первый раз Чин возник точно так же — семь лет назад. Тогда Чин возник и сказал Примо, что ЦЕРЕУС внимательно следит за настроениями в Торридо. Что ЦЕРЕУС видит — жители Торридо, изнывающие под гнетом «деспота и тирана» Песо, достигли последней черты. Что жители Торридо только и ждут, когда Примо скинет этого сукиного сына и по праву займет место в Паласо — по праву более умного, более опытного... И более сильного, добавил Чин, еще раз кхекнув, — ободранный, заросший Примо семь лет назад не производил впечатления силы. Той силы, которая позже позволила ему нагряться в Паласо и пять лет удерживаться у власти.

Не сразу. Чин еще два сезона готовил Примо, ЦЕРЕУС два сезона перебрасывал в Джунгли пневмоконтейнеры. А потом... Потом Примо выполз из Джунглей на головном роботанке, ведя за собой колонну. И окружил Паласо, предъявил ультиматум. И теперь уже Песо счел за лучшее катапультироваться в Джунгли. И теперь уже бускадоры пробирались через мешанину мобилей, чтобы выскрести самозванца Песо и предоставить решение его судьбы жителям Торридо. Они не нашли его так же, как не нашли в свое время Примо в опале.

Примо, усевшись в резиденции, считал, что самозванцу Песо как раз самое место на свалке, в Джунглях мобилей. Но, с другой стороны, как бы его, самозванца, оттуда... Есть опасения, что самозванец просто затаился. И Песо подтвердил эти опасения — еще через пять лет он, в свою очередь, объявился с колонной роботанков. И пришла очередь Примо снова катапультироваться... А еще через...

«Вот пробудится Розита и прогонит паразита!..» Примо чуть было не мотнул головой, пытаясь избавиться от мотивчика. Нет, нельзя! Визионы ловили любое движение... Поймать бы того гаденыша, который эту песенку придумал! Этот гаденыш по-иному бы запел! В Подвале!.. Но миллион жителей, распевających «Розиту», в Подвал уже не утрамбуешь... И «Розита» гуляла по Торридо который год. Примо делал вид, что она — про Песо. А Песо прикидывался, что принимает ее на счет Примо...

Но сейчас на очереди — он, Примо. Чуть было не стал грызть ногти. Но вовремя спохватился. Это не тот жест, который может придать уверенности жителям Торридо. Нельзя показывать городу, что Примо бессилен перед каким-то самозванцем!.. «Спит Розита и не чует...» Правда, Песо сам считает его, Примо, самозванцем. Самозванцем дважды. И Песо заявил, подключившись к программе визио, что он не намерен больше терпеть бесчинств в дорогом его сердцу Торридо. И еще Песо сказал про Арму и Нейтру.

Это запрещенный ход! Да, пусть Примо дважды вышвыривал Песо в Джунгли, а тот — в свою очередь, но пока только один раз. Да, пусть пришло время сравнять счет! Но ведь надо оставить возможность для следующего хода!!! И Примо, и Песо, занимая резиденцию, первым делом клялись разгрести Джунгли, очистить от них подступы к Торридо. Но куда потом катапультироваться после очередного переворота?! И Джунгли становились все гуще и непролазней, изолируя Торридо. И где-то там сейчас прячется Песо, не оставивший на этот раз возможности для следующего хода ему, Примо. Ведь одно дело, когда роботанки окружают Паласо и угрожают залпом только резиденции. И другое дело, когда Арма угрожает всему Торридо.

Бускадоры расползались на третий круг — медленно, сосредоточенно, не отрывая взгляда от поисковых щупов. Только изредка переключивали их в другую руку, чтобы зачерпнуть горсть из мешочков с тальком и забросить под мышки. Расстегнув рубаху. Или, подтянув живот, ссыпать эту горсть в пах.

Пустые улицы, выбеленные зноем. Только бускадоры, двойками патрулей растянувшиеся на прочесе. Нулевой режим. Тишина, все отключено, даже насосы, качающие смолл из колодцев, и те не работали. Нулевой режим. Жители Торридо не высывались из домов. Для Армы не су-

ществует стен, крыш, подвалов. Но весь Торридо укрылся в домах. Нулевой режим. Каждый должен быть в своем доме. Каждый. И в своем. Цепеня от жары. И от ожидания Армы. Пружина. Эта пружина может «сыграть» — и весь Торридо ринется к Паласо, сменяя бускадоров, прорубая сплошное ограждение резиденции, сплошное ограждение из трехметровых мощных цереусов.

Жители Торридо за прошлые пять лет могли убедиться, чего стоит Песо. Песо не лучше, чем Примо. Так же громоздились Джунгли мобилей, и так же в колодцах смолла хлюпали насосы — непрерывно, без передышки. Не давая передышки и каждому жителю Торридо. Да, Песо не лучше, чем Примо. Но лучше уж Примо очередной раз свалится из Паласо, чем сработает Арма.

«Вот пробудится Розита...» Это запрещенный ход! Натравить на Примо всех и каждого жителя Торридо?! Поставить под удар не только Примо, но и весь город?!

Нет, Примо далек от милосердия, и если ему снова придется уйти в Джунгли, то вернется он с такой штукой, против которой Арма — игрушка! Чин же обязательно возникнет! Чин не может не возникнуть! Чин снова скажет: пора! И ЦЕРЕУС снабдит Примо той самой штукой. ЦЕРЕУС — испытанный и давний друг. Само название говорит за себя! ЦЕРЕУС — знак уважения к символу Торридо, кактусу, подсвечником торчащему, куда бы ни падал взгляд. Включая герб города.

Нет, утешал себя Примо, пружина не «сыграет». Весь Торридо не будет брать штурмом резиденцию. Выходы из каждого дома заблокированы, бускадоры на чеку, выжидая нарушителей Нулевого режима — возможных сообщников Песо. Бускадоры уже взяли три десятка таких нарушителей прямо на выходе из домов. Те не успели и двух шагов сделать. Ложная тревога в каждом случае. Глухой старик, прозевавший сигнал о Нулевом режиме. Дюжина пьяных рож, которым сигнал нипочем. Невменяемый дурачок, известный всему Торридо. Нет, это не сообщники. Бускадоры иссекли щупами каждый дом изнутри — Армы у нарушителей Нулевого режима не было...

Бускадоры продолжали прочес. Они берут каждого, кто высунул нос. Сразу на выходе. Нет, пружина не «сыграет».

Если только все разом кинутся из домов... Но для этого нужна сильная организация, единая команда. Сообщникам Песо не поднять миллионный город. Если они вообще

существуют — сообщники. Тем более что Паласо надежно защищен стеной колючих цереусов. Штурмом Паласо не взять. А на осаду нужно время.

Время! Двадцать одна минута...

Человек стучал по фонну кулаком и надрывался:

— Доктор! Доктор! До-окто-ор!!!

Сбрасывал щелчком уже набранный номер и снова тыкал в кнопки фонна:

— До-о-октор!!!

Женщина у него за спиной хрипела на кровати. Две дочери постарше суетились у постели с какими-то тряпками. Успокаивающе шептали: «Сейчас... сейчас...» Остальные притихли по углам. Самая младшая сидела на полу, вертела головой. Неуверенно потряхивала пластиковой погремушкой-цереусом. Созревая для плача.

— До-о-окто-о-ор!!!

Фонн не отзывался. Нулевой режим.

Арма! От Армы нет защиты. Пока нет. Если Примо все же придется катапультироваться в Джунгли, то Чин снова найдет его. Испытанные и давние друзья из ЦЕРЕУСа перебросят в Джунгли какую-нибудь новую штуку, против которой не только роботанки, но и Арма — игрушка. Но Примо совсем не хотелось еще на пять лет уходить в Джунгли. Ему и в Паласо хорошо!.. Было хорошо. Пока Песо не объявил про Арму.

Но откуда у этого самозванца Песо взялась Арма?! И откуда у него еще раньше взялась более мощная, чем у Примо, колонна роботанков?! У Песо есть свой Чин?! Чей?! Кто может противостоять ЦЕРЕУСу?! Леваки? Это не их методы. И не в их силах... Но ведь кто-то противостоит. Кто-то есть за спиной Песо. Кто-то, снабдивший Песо не только Армой, но и Нейтрой... И теперь весь Торридо под угрозой. Весь Торридо... Весь... Значит, и ЦЕРЕУС! Пусть глубоко законспирированный, но от всех и от всего, кроме Армы. Значит... Значит, ЦЕРЕУС не может не иметь Нейтры. ЦЕРЕУС всегда может отвести от себя любую угрозу. И если миллион жителей Торридо на грани уничтожения, то в их число входят и сотрудники ЦЕРЕУСа. Этого ЦЕРЕУС никогда не допустит, ЦЕРЕУС может все! Даже нейтрализовать Арму... Вот! Именно! На всякую Арму есть своя Нейтра!

Пусть Нейтры нет в Паласо, нет у Примо — но ЦЕРЕУС не может не иметь Нейтры.

Нужен Чин! Срочно нужен Чин! Позарез нужен Чин!

Примо уперся кулаками в стол, выжался из кресла — камеры визионов дрогнули и поползли вверх, ловя Примо в фокус.

Есть решение! Примо сложил пальцы цереусом-символом и шлепнул пустоту перед собой салют-жестом. Спокойствие, жители Торридо! Ваш Примо с вами! Он спасет вас! Десять минут полной секретности! Десять минут отключения визио! Десять минут высочайшего одиночества! Всего десять минут!..

Камеры пыхнули по цепочке. Отключились. Все, кроме контрольного экрана, в нем было: бускадоры замкнули еще один круг. Ничего... Никакой Армы. Бускадоры уже приближались к границе Джунглей, но Армы так и не нашли. Оставался расчет на сообщников — Арма все же спрятана в доме, и кто-то должен не выдержать и выскочить. Только вот когда?!

Секунды корчились. Тиканье.

Воздух дрожал. Марево. Поисковые щупы хлестали мостовую, разметая пыль. Темные пятна расплылись у бускадоров под мышками и на спине. «Жуки» обнаружения, серьгой впившись в ухо каждому, мерно попискивали: не-е-ет... не-е-ет... не-е-ет...

Армы не было. Все еще не было. Щупы упруго заплетали коробки мобильных, замерших у стен. Не-е-ет... не-е-ет... Разжимались и опадали, снова выхлестывая на мостовую. Не-е-ет... не-е-ет...

Пыль, поднятая щупами, набилась в горло, царапала мотком колючей проволоки. Бускадор из двойки патруля заперхал и сплюнул серой кляксой. Высыхающей тут же на глазах.

— А может... кх-х! кх-х!.. Может быть, он пошутил?.. Может быть... кх-х!.. ее и нет... этой... которая... кх-х...

Второй бускадор с тремя нашивками скрипнул зубами: кого прислали на прочес! Полло! Цыпленок! Ни одной нашивки. Ботинки новые, даже без подковок, не цокают. Полло! Еле удерживает щуп двумя руками. Первый раз на прочесе!

Бускадор с тремя нашивками чуть дернул кистью — щуп свистнул в воздухе и впечатался в плечо Полло, оставив резкую малиновую полосу — там, где расстегнутая рубашка открывала кожу.

Полло издал «с-с-ссс-с-с», вбирая в легкие воздух с очередной порцией пыли, и заерзал затылком по вороту.

Но тут же снова наклонил голову вниз и вперед, где перед ним метался по камням его щуп. Нельзя отвлекаться! Нулевой режим! Если уж ты стал бускадором, то не отвлекайся. Если ты уже не качаешь днем и ночью смолл из колодца, а состоишь на службе у города, то нельзя отвлекаться! Нулевой режим. Нельзя отвлекаться! А то можно упустить эту... которая... ну, эту... И можно еще раз заработать щупом по спине. Если вдруг отвлечешься.

Нельзя отвлекаться! Бускадор с тремя нашивками это усвоил. Три нашивки — это девять пар сношенных ботинок, это три облавы в Джунглях мобилей (на Примо, на Песо, снова на Примо). Бускадор усвоил, что эти перевертыши из Паласо шутить не умеют и шуток не принимают. И если Песо сказал про Арму, то она есть. И бускадоры должны ее засечь! Нельзя отвлекаться! Не-е-ет... не-е-ет... Нужно следить за щупом. Нужно следить за желторотым Полло, чтобы тот не пропустил ни сантиметра поверхности. Нужно следить за выходами из домов — сообщники Песо, если они есть, должны сорваться, должны обнаружить себя...

Мобиль у стены бормотал включенным двигателем, пригибая выхлопами жалкую рвань узловатого кустика. Дело обычное — переход на Нулевой режим в три минуты, и владелец мобиля даже не успел отключить двигатель... Лохмотья проросшего сквозь мостовую кустика колотили камни, нарушая полную неподвижность улицы. И Полло снова отвлекся. Переключил внимание с поискового щупа, уставившись вперед — на дробное шевеление у мобиля. Щуп вырвался из его рук и забился в судорогах, свиваясь в кольца и снова распрямляясь...

— Дорогой друг! Есть обстоятельства, при которых действия принимают вынужденный характер. В сложившейся ситуации возникла прямая угроза безопасности и самой жизни сотрудников ЦЕРЕУСа. К нашему глубочайшему сожалению, мы поставлены перед необходимостью временно покинуть ваш гостеприимный город.

Надеемся и впредь считать вас в числе самых испытанных и давних друзей ЦЕРЕУСа, коими мы, в свою очередь, остаемся для вас. Искренне уверены, что вы сможете найти выход из создавшегося положения и ликвидировать возникшую угрозу как для жителей Торридо, так и для ваших неизбывных единомышленников из почитающего вас ЦЕРЕУСа...

Внутри у фонна шелкнуло. Кассета кончилась, отговорила свое. Примо продолжал отжимать клавишу спецсва-

зи, хотя все и так было ясно. Удрали!.. Дежурный пневмо-лет, выстреливший собой в небо из давно заброшенного законспирированного колодца. Вся эвакуация в полчаса. Удрали!.. И зависли вне досягаемости. И ждут, когда бускадоры нащупают Арму. Или когда бускадоры ее так и не нащупают...

Удрали!.. ЦЕРЕУС ведь мог взять в пневмолет испытанного и давнего друга! Прямо не занял бы много места! Прямо согласился бы на грузовой отсек! Прямо на что угодно согласился бы! Только не сидеть перед фонном спецсвязи и не слушать кассету. Только не грызть ногти, отсчитывая последние секунды полной секретности. Только не думать о перспективе последних пятнадцати минут перед камерами визио. И о том, что будет после. Когда эти минуты протекут в песок.

А если прыгнуть в шлюп и... Но шлюп не зависнет. Шлюп — не пневмолет. Шлюп катапультирует в Джунгли, и только.

Удрали!.. Не оставив Нейтры! Не взяв его, Прямо, с собой!

Чин всегда нажимал на то, что ЦЕРЕУС не вмешивается. ЦЕРЕУС поставит колонну роботанков, да. Но! Все это просто свалилось с неба — никакого ЦЕРЕУСа! Все это, да, собрано дьявол знает из чего за долгие пять лет ковыряния в Джунглях мобилей — вот так! ЦЕРЕУС отнюдь не желает, чтобы леваки всех цветов и оттенков подняли шум внутри и вокруг Торридо. Правда, внутри города леваки давно сведены на нет. Усилиями и Прямо, и Песо...

Так что ЦЕРЕУС всегда готов п о м о ч ь. Но ЦЕРЕУС никогда не станет вмешиваться. За тот единственный час, который этот самозванец Песо дал на раздумья всему Торридо, невозможно помочь, не вмешавшись. Прихватить с собой в пневмолет Прямо — и то вмешательство. Нейтру можно выпустить, и она сама найдет Арму. И заблокирует... И Прямо усидит. А потом наконец бросит всех до единого бускадора на разгребание Джунглей. И вычешет оттуда этого ублюдка Песо!.. Но если Нейтра будет выпущена из законспирированного колодца ЦЕРЕУСа, то это вмешательство, а не помощь. И лучше погрузиться в пневмолет и эвакуироваться. И зависнуть... И ждать, когда Арма сработает. Или когда Прямо сломается, признает условия Песо. И прыгнет в шлюп, а на нем — в Джунгли. А Песо на своем шлюпе катапультируется в Паласо, прижимая к себе Нейтру. И, уже заняв резиденцию, Песо выпустит эту Нейтру. Все или ничего... Нервы!

Сколько нужно времени Нейтре, чтобы добраться до Армы? Вопрос — куда эта Арма запрятана! Минуту? Две? Пять?.. Тогда у Примо в запасе остается еще меньше. Даже если бускадоры найдут Арму, что они смогут сделать?! Нейтра ведь у Песо!!!

Фонн спецсвязи еще раз щелкнул:

— Дорогой друг! Есть обстоятельства, при которых действия принимают вынужденный характер. В сложившейся ситуации возникла прямая угроза...

...Человек выскочил из дома, шарахнулся от бускадоров и побежал вдоль улицы. Проскочил мобиль с включенным двигателем. Резко остановился, обернулся. Бросился обратно. К мобиле.

Бускадоры пытались укротить развоевавшийся щуп. Щуп выписывал спирали, норовил подкосить под щиколотки, взвивался вверх, замирал в воздухе, падал и снова бесновался на мостовой. Бускадоры подпрыгивали, увертывались. Пытаясь одновременно с этим поймать щуп за ручку. Щуп не давался.

Бускадор с тремя нашивками исходил потом и черными словами. Полло! Недоносок! Ему смолл качать, а не в патруль ходить! Из-за него, из-за этого мозгляка, они чуть не прозевали сообщника Песо! И прозевали бы, если бы человек не остановился, не кинулся обратно, к мобиле.

Бускадор прыжком ушел от щупа, упал на мостовую, перекатился, выпустил заряд линзера, отрезая человека от мобили. Человек замер. И... снова побежал. Человек что-то кричал.

Полло повторил маневр старшего, но неудачно, недалеко. Кувыркнулся, упал в пыль, торопливо ловя человека в прицел.

— В ноги!!! В ноги!!! — заревел старший.

Щуп достал Полло и хлестнул. Полло вскинулся, дернул стволом линзера вверх...

— Без изменений... — сказал Чин. — Должна сработать... — сказал Чин. — Да, по плану... — сказал Чин. — Песо будет с Нейтрой в точке «пробуждения». Да, уверен. У Примо только один выход. Да, десять минут... Держать десант наготове. Последний выход на связь за минуту до «Пробуждения Розиты». Всё!

Человек еще пытался что-то сказать. Шевелил губами. Бускадор с тремя нашивками склонился над ним:

— Арма!!! Где Арма?!! Где?!!

Человек напрягся, приподнял голову от мостовой. Выдавил:

— Док... тор... Нуж-ж... ж-жен... Док... тор...— Затылок глухо стукнул о камни.

Этому человеку доктор уже был не нужен.

Бускадор выпрямился. Обернулся к Полло. Тот не мог оторвать взгляда от тела. Бускадор сделал замах — Полло закрылся двумя руками и втянул голову в плечи. Н-недодосок!.. Но это потом... Сначала — Арма!

Бускадор кивнул в сторону дома, откуда выскочил человек, — держать на мушке! Сам прынул к стене. Прижимаясь к ней спиной, бесшумно заскользил к темному провалу входа. Выждал секунду. Ринулся. Спружинил плечом от косяка — внутрь и в сторону.

В слепящем полумраке кто-то хрипел. И еще детский голос сказал:

— Пришел доктор! Доктор пришел!

Песо уже вывел шлюп. Он скрючился в кабине, крепко обхватив Нейтру. В последний раз оглядел оскалы изуродованных мобилей вокруг. Один из них щурился сплюсченной фарой. Подмигивал: всё в порядке! «Вот пробудится Розита и прогонит паразита!» Всё в порядке! Песо всегда знал, что испытанный и давний друг не подведет. Песо верил — Чин не оставит его. ЦЕРЕУС не бросит Песо в Джунглях мобилей. ЦЕРЕУС будет ждать момента и дождется — чтобы, не привлекая внимания, упрятать в Торридо Арму! А потом переправить Нейтру в Джунгли мобилей — для Песо. Чин готов на все для испытанного и давнего друга Песо. Чин готов был поставить для Песо колонну роботанков более внушительную, чем у самозванца Примо! А теперь Чин, представляющий ЦЕРЕУС, еще раз утвердил свои добрые чувства к законному хозяину резиденции — дождался, упрятал Арму в городе и вручил Нейтру Песо.

Песо глядел вверх, туда, где был Чин. Чин следит за Паласо, и, как только Примо поймет окончательно, что у него нет ни единого шанса, и катапультируется в Джунгли, Чин даст контрольный сигнал-высверк. Пора!

Чин дал контрольный сигнал-высверк, отследив блошинный скачок шлюпа из Паласо, — Примо сдался! Примо вернулся в Джунгли мобилей. Потом Чин отследил скачок шлюпа из Джунглей — Песо вернулся в резиденцию. Все точно! Эти два болванчика, два давних и испытанных друга ЦЕРЕУСа, хорошо послужили. Пока город днем и ночью качал насосами редчайший смолл, оба болванчика были просто необходимы ЦЕРЕУСу для прикрытия.

ЦЕРЕУСу нужен смолл? Но ЦЕРЕУС никогда не вмешивается! ЦЕРЕУС всегда блюдет законы тех мест, где находится. Весь Торридо качал смолл для... Торридо. А кто во главе Торридо, кто в Паласо? Примо. Или Песо. ЦЕРЕУС готов помочь законному правительству — Примо ли, Песо ли. А уж как законное правительство распоряжается единственным богатством города — это дело законного правительства. Если оно решает отгружать весь смолл своим неизбывным друзьям, то это их решение. Самостоятельное решение. А когда Торридо становится совсем неспособен без отдыха качать и качать этот смолл, когда город закипает, то Примо меняет Песо, обещая перемены. Потом Песо меняет Примо, обещая перемены. И Торридо на время остывал, успокаивался. Торридо — миллион вонючих макак. Отработанная порода. Колодцы иссякли, смолла больше нет. Торридо больше не нужен со всем своим миллионом макак...

Но этот миллион еще поработает на ЦЕРЕУС. Две минуты до «Пробуждения Розиты»!.. Песо уже выпустил Нейтру. Своими руками. ЦЕРЕУС не вмешивается. Нейтра не станет искать Арму. Нейтра сработает через две минуты без всякой Армы. Тем более что никакой Армы не существует. А Нейтра сработает и захватит в свою зону весь Торридо. ЦЕРЕУС не вмешивается — про Арму сказал Песо, про Нейтру тоже сказал Песо. И если эти макаки не смогли управиться с чертовски сложным механизмом и что-то произошло с Торридо — при чем здесь ЦЕРЕУС?! ЦЕРЕУС никогда не вмешивается. Но помочь готов. Всегда готов помочь испытанным и давним друзьям. И через две минуты десант посыплется на Торридо, на идеальный полигон для «Пробуждения Розиты».

Нейтру не было смысла испытывать где-то в пустыне. Пустыня и есть пустыня. А вот как Нейтра сработает в миллионном городе? Как сработает после нее десант — ему надо рассыпаться по городу, занять ключевые позиции, распылить в ничто миллион макак, пока они не начали вонять при таком зное. Когда Нейтра будет задействована в реальной экстремальной ситуации, на эти вопросы должен быть ответ.

И ответ этот будет. Через две... нет, через одну минуту. Когда у этих макак ЧТО-ТО случится. И ЦЕРЕУС будет вынужден помочь...

Чин, не спуская глаз с города далеко внизу, нашарил слева от себя фонн, притянул к себе, два раза дунул в раструб.

— Внимание!.. — отсчитал про себя с десяти до нуля. — Розита! Пробудилась!..

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ольга Ларионова.</i> ПЕРУН. Рассказ	3
<i>Вячеслав Рыбаков.</i> ДОСТОИН СВОБОДЫ. Повесть	40
<i>Артем Гай.</i> МИСТИФИКАЦИЯ. Повесть	85
<i>Андрей Столяров.</i> ПОСЛЕ НАС. Рассказ	133
<i>Сергей Снегов.</i> В ФОКУСЕ ХРОНОБОЯ. Повесть	146
<i>Андрей Бельтюков.</i> ПОСЛЕДНИЙ ПИЛОТ. Рассказ	231
<i>Александр Шалимов.</i> ДЬЯВОЛЫ СЕЛЬВЫ. Повесть	247
<i>Александр Щербаков.</i> КУКУШОНОК. Повесть	294
<i>Дмитрий Каралис.</i> ЛЕТАЮЩИЙ ВОДОПРОВОДЧИК. Рассказ	360
<i>Аскольд Шейкин.</i> АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Рассказ	384
<i>Лев Куклин.</i> КРЫЛЬЯ. Рассказ	394
<i>Андрей Измайлов.</i> АРМА. Рассказ	402

Составитель

Александр Иванович Шалимов

МИСТИФИКАЦИЯ

Сборник фантастики

Заведующий редакцией *А. И. Белинский*

Редактор *В. М. Шевелева*

Художник *А. В. Сергеев*

Художественный редактор *И. В. Зарубина*

Технический редактор *Л. П. Никитина*

Корректор *Н. Б. Абалакова*

ИБ № 5271

Сдано в набор 06.12.89. Подписано к печати 03.07.90. М-17614. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарн. тип. «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,47. Уч.-изд. л. 24,78. Тираж 100 000 экз. Заказ № 304. Цена 1 р. 70 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.



1 р. 70 к.

